



Виктор Платонович Некрасов

* 4 (17). 6. 1911 † 3. 9. 1987

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэкс
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Oz · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Авраам Бен-Яков
Avraham Ben-Yakov
6, Hagana str.
Jerusalem 97852, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
Edward D. Lozansky
508 23rd Street N. W.
Washington, DC 20037, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Higariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Ё. Максимова

K

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

53

Издательство «Континент»
1987

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей Магарик – Новые стихи	7
Анатолий Шварц – Жизнь и смерть Михаила Булгакова. Документальное повествование	10
Странник – «Чтоб человек дышал и пела птица...»	98
Михаил Федотов – Из цикла «Иерусалимские хроники»	102
Зоя Эзрохи – «Обняв Пегаса теплого за шею...»	115
Лев Халиф – Улыбка	125
Владимир Атон – Семь стихотворений	141
Михаил Лемхин – На доклад командиру 593 военно-строительного отряда	145
СТИХИ	
Михаил Бараш, Рина Левинзон, Евгений Дубнов, Мара Фельдман	157
Юз Алешковский – Из новой книги «Похмельные повести». Маленькая повесть об одном безумце и сломанной собаке. Окончание	175
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Александр Зиновьев – Научная критика коммунизма. Статья вторая	221
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Алекса Джилас – Югославский федерализм: отсутствие единства восьми партийных бюрократий	243
ЗАПАД – ВОСТОК	
Арман Малумян – Два очерка	249
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Григорий Кравичк – По дорогам бессрочной ссылки. Главы из рукописи	261
ЭКОНОМИКА	
И. Адриим – Урок правды Горбачева и пятилетний план	271
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Татьяна Горичева – О религиозном в постмодернизме	277

ИСТОКИ

- Иосиф Косинский** – Две мемуаристки о ленинградской блокаде 291

ИСКУССТВО

- Александра Орлова** – Тайна жизни и смерти Чайковского 311

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Соломон Волков** – Вспоминая Анну Ахматову. Разговор с Иосифом Бродским 337

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 383

НАША ПОЧТА 387

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Наталья Кузнецова** – И комиссары в пыльных шлемах... 391

- А. Радашкевич** – Лирическая автобиография Александра Верника 396

- Ирина Муравьева** – «И дышат почва и судьба» 399

- Максим Кротов** – Мир как воля и представление 407

- В. М.** – Женская проза 410

- Майя Муравник** – Сказание о походах 413

КОРОТКО О КНИГАХ 417

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 425

НАША АНКЕТА

- Интервью с **Бранко Лазичем**. Ведет *Галина Келлерман* 433

НОВЫЕ СТИХИ

(апрель – май 1987, лагерь 4Х 16/8, Омск)

* *
*

Л. Вольвовскому

Выходишь за вахту уже не во сне,
Счастливый, кочуешь по страшной стране.
Ее с самолета не ставишь ни в грош
И «Мóци асírим», мой милый, поешь.

Но вот пролетел самолет, как урок.
Остался лишь звук, жесты рук, топот ног.
Бродяги в столовую сыпят гурьбой
И в небо пускают дымок голубой.

Кочевники, мы тяготеем к земле.
С весенней задумчивостью на челе,
Построясь в колонны под первым дождем,
Оседлое наше хозяйство ведем.

Под боком природа: игрушечный лес,
Ленивое телодвиженье небес,
Меж белых грудей облаков кучевых
Серебряный крестик племен кочевых.

* *
*

Весна: как в бинокле, резче
Из белой торчат стены
Растения – части речи,
А тени нам не видны.
Зато в небольшое небо
Смотреть – вдохновенный труд,
Как будто волшебный невод
Забросить в священный пруд.
Террарий с исправным светом,
С надежностью секторов,
Наш мир никому не ведом,
Отечески к нам суров.
И годы проходят проще,
Чем в ушко иголки нить,
И мне не дано о прочем
Ни думать, ни говорить.

* *
*

Как строчки отмененного приказа,
Загадочны столбцы в календаре.
Но я не Фауст – муха в янтаре.
Мгновенье, не тянись, ты не прекрасно.
О Господи, вот факты: я живой.
Остановилось время ненадолго,
Но мой секундомер в руке подонка –
Мента в шинели общевоисковой.
Что делать? Выйти в сектор в 6.05,
Взглянуть в глаза светлеющему небу,
Слов человеческих звонкую монету
«Закуривай, покурим» разменять.

* *
*

Снег. 2 зэка. Зэк с лопатой. Мент.
Бег-саней. В упряжке пидар пегий.
Вид на ДОЦ и сварочный (фрагмент).
Судя по манере – Питер Брейгель.
Далее на вклейке «Огонька»
Впечатляет город истместами,
Речкой и катаньем на коньках
Близиких родственников. Но оставим
У остановившейся реки
Все это хозяйство островное.
Мне пора. Прощайте, старики,
Женщины и дети. Основное:
Не шкворите белых лебедей,
Сизых голубей не тихарите
И промеж самих себя людей
Как звезда с звездой говорите.

* *
*

Родина – не Родина, и я – не я.
Остров Пасхи с новым истуканом.
Люди на субботник покаяния
Не зовут меня с моим стаканом.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Документальное повествование

Памяти Фриды

Прежде всего, друзья мои,
не надо лжи...

А. Чехов

Если ехать прямо, от Киева до Москвы, что первым классом, что третьим, не более восьмисот верст. Но кто же ездит прямо, когда кругом стреляют и везде война?

Путь этот занял у Булгакова два года и проходил через много южных городов. В Москве, без денег, без вещей, он появился лишь в сентябре двадцать первого года и сразу стал искать жилье. «На Большой Садовой стоит дом здоровый...» Зять приютил его здесь, запомним этот адрес: Большая Садовая, дом 10, квартира номер 50. Незабываемый, волшебный дом. Найдя приют, Булгаков стал искать работу.

По профессии он был врачом. Вернувшись в Киев из далекой Вязьмы в самый разгар гражданской войны, он повесил на дверях своей квартиры строгую табличку: «Доктор М. А. Булгаков. Кожно-венерические заболевания». Тут он был знаток. На Смоленщине в белой облупленной больничке посмотрелся он той звездной сыпи, стал настоящим кожный врач.

Но в Киеве к нему никто не шел – тут все пылало пламенем на двадцать верст кругом. Совдепы, Рада, немцы, гетман и Петлюра, большевики, Деникин, снова большевики – четырнадцать переворотов кряду перенесли киевляне, до кожных ли было им болезней?

Петлюровцы мобилизовали Булгакова, объявив его полковым врачом, тут он понял: пора бежать, снял с дверей табличку и, покидая город, спрятал лекарский диплом подалше.

На Кавказе он добывал пропитанье, работая в каких-то подделах, Лито, Изо, Тео, был лектором, актером, порою голодал, но так и не вернулся к медицине. Даже скрывал, что он врач.

В Москве он появился как раз в то время, когда столица отмывала стекла и переходила к мирному житью. Зашевелились улицы, открылись двери кафе и ресторанов. Кузнецкий, Петровка, Неглинная и Арбат протерли пыльные витрины, и свет от круглых ламп упал на выставленные товары. Чего тут только не было! В нищей Москве откуда-то нашлись и шпроты, и сардины, икра и все сорта колбас. «Но что же купишь, – горевал Булгаков. – Всюду сотни, сотни!» А у него не было не черный хлеб. Тася, жена, молотила ржаные зерна на домашнем обушке, и вместе они мечтали о самой малой комнатухе.

«Бьемся оба, как рыба об лед...» Он шел по городу, искал работу, шел по Мясницкой, по Варварке, толкался на Деловом дворе, на Старой площади, в Центросоюзе. Голод загонял его в Сокольники, на Девичье поле – где только не побывал он, изморя бескрайнюю столицу, за какое не брался дело, но дела в те дни не шли.

Красные флаги уже трещали под ноябрьским ветром, по тротуарам мела поземка, а он все бегал, бегал... В Москву он прибыл налегке, в чем был, и ужас охватывал его при мысли о зиме. «Может, померем, а может, нет. Бог не выдаст». Булгаков напрягал все силы, и к концу ноября стало ему легче. «Мы с Таськой уже кое-как едим, запаслись картошкой, начинаем покупать дрова...»

Ночами он сочинял смешные фельетоны, которые казались ему не смешнее, чем зубная боль, и однажды, остервенясь от холода, постного масла и картошки, придумал ослепительный проект световой рекламы. К сожалению, точно такая уже светилась на Театральной площади в Москве. «Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки».

Вот и зима, февральский снег засыпал тротуары. «Обегал всю Москву – нет места. Валенки рассыпались».

Наконец он устроился репортером от промышленной газеты и получил аванс. Денег ему хватило ровно на три недели, газета к тому времени прогорела, и он побежал наниматься в Льянной трест. Кем он там был и был ли вообще, не столь уж важно, но трест тоже прогорел, и доктор Булгаков оказался

старшим инженером в Научно-техническом комитете, а вечерами вел конференс в эстрадном театре. «Работать приходится не просто, а с остервенением, – писал он матери в Киев. – С утра до вечера, и так каждый без перерыва день».

Тут он опять повернулся к медицине, стал писать «Записки земского врача». Давно то было, но приятно вспомнить: деревня, глушь, жар от голландской печки в докторской квартире, свет от лампы под зеленым абажуром – и кругом покой. Сколько вечеров провел он здесь, листая старые амбулаторные журналы. И как работал! «День занимался мутно-белый, а заканчивался черной мглой». В первый же год он сделал две ампутации бедра, а пальцев и сосчитать нельзя. А грыжи, а трахеотомии! Ртом приходилось ему отсасывать пленку из горла дифтерийных детей, и однажды, поперхнувшись, он втянул ее глубоко... Тут же ввел себе антитоксин, сделал прививку, но к вечеру свалился с нестерпимой болью. Сам впрыснул морфий, раз, другой – и не мог остановиться. Таня помогла ему тогда, если б не Таня... А сколько гнойников он вскрыл, какие раны зашивал, какие видел гнойные плевриты и взламывал при этом ребра. А роды... Кесарева сечения он не делал, это правда, отправлял рожениц в город, но щипцы, повороты – сколько хотите. И всегда один. «Я до всего доходил своим умом». В полном одиночестве принимал он по сто человек за день и, возвращаясь на свою квартиру, мечтал лишь об одном: чтобы никто не позвал его на роды. Что делать, ночью его увозили в санях...

В канун революции то было, в завьюженном, стремительном семнадцатом году. Давно судьба и бурные лета разлучили его с зеленой лампой, с флигелем под снегом. Что там теперь? Кто ходит в белом штопаном халате? Кто бы ты ни был, прими привет от бывшего врача.

...Ночь шла к концу, обрывая нить воспоминаний. Москва стучала в его окно звонами трамваев на Садовой, пора было добывать насущный хлеб. Матери он писал в те дни: «Самым приятным воспоминанием за последнее время является – угадайте что? Как я спал у вас на диване и пил чай с французскими булками. Дорого бы дал, чтобы хоть на два дня опять так лечь, напившись чаю, и ни о чем не думать».

По молодости лет поставил он себе задачу – в три года завоевать жильё, одежду, книги и наладить сносный быт. Но уверен не был: «Удастся ли – увидим».

Счастлив только, когда Таська поит меня горячим чаем... Пережить бы зиму, не сорваться на декабре. Мечтаю добыть Татьяне теплую обувь.

Как ни был труден для Булгакова первый год в столице, он выстоял, не отступил. Одна беда: жилье! Больше всего на свете он боялся возвращения зятя. «Комната Андрея мое спасенье». За комнату эту он держался, как утопающий за круг. «Самое главное была бы крыша...»

Но что за крыша над этой проклятой квартирой № 50! Всю ночь под Рождество с потолка лил дождь. И с умывальником какая-то неразбериха, днем он сух, ни капли не дождешься, а ночью под ним вода. В вечерних сумерках Булгаков бродит по квартире, как слепой, наощупь. Свету, свету ему не хватает, а пыльная лампочка над головой, завернутая в старую газету, то вспыхнет радостно, то безнадежно угасает.

А соседи? Боже, кто выдумал соседей! За левой стеной женский голос выводит: «Бедная чайка...», за правой звенит неумолчно гитара. А внизу, под полом, и вовсе нельзя понять, что происходит. Чёрт знает, что там происходит. Ужасный дом, кошмарная квартира.

Дом этот назывался «Дом Пигит – рабочая коммуна». И выходил покоем на одну из самых шумных улиц. Прескверно жилось Булгакову в том доме. Впрочем, слава Богу, что он там удержался. Трижды управляющий Сакизчи пытался выставить его добро на мостовую, довел Булгакова до белого каленья, но он молчал. «Я сдерживаюсь, потому что не чувствую, на твердой ли я почве». И правда, куда же им деваться с Таней в этой заснеженной Москве?

Год целый прожили они в комнате Андрея Земского, борясь с домкомом, и, наконец, переехали «по уплотнению» в корпус по соседству. Здесь, в квартире № 34, они вздохнули посвободней: комната хоть и мала, зато все четыре угла принадлежали им и во всех четырех навалом лежали букинистические книги.

Булгаков освоился, окреп и стал писать большие вещи – «Дьяволиаду», «Роковые яйца», начал давно задуманный роман.

Где он писал и когда, совершенно неизвестно, за столом его никто не видел. Есть подозрение, что он писал ночью, лежа на полу около круглой керосинки, а может, в редакциях, присев к чужому столику, или, скорее всего, поблизости от

дома, в садике у Патриарших прудов, примостясь на скамейке неподалеку от турникета, где, позвякивая за низкой чугунной оградой, огибали сквер трамваи. Всё может быть, но пока всё это остается тайной. Ясно лишь одно: за письменным столом Михаил Булгаков в ту пору не сидел, поскольку приобрести такую вещь был попросту не в силах.

Зато с одеждой он устроился отлично, купил по случаю на барахолке старый френч, тут же приталенный ему Татьяной, из дома выписал крахмальные воротнички и белоснежные манжеты, раздобыл где-то яично-желтые ботинки на резиновом ходу и, чист, гладко выбрит, отутюжен, с идеально набриолиненным косым пробором, выходил на Садовое кольцо.

Перед ним была Москва, загадочный и необъятный город, который он собирался завоевать в кратчайший срок. Совсем неприметной казалась рядом с этим молодцеватым, свежeweмытым гражданином женщина, разделявшая в те дни все его горести и заботы. Высокая, худая, всегда в каком-то скучном темном платье, Татьяна Лаппа выглядела много старше своих тридцати трех лет. Жила она так тихо, незаметно, словно понимала всю свою непричастность к будущей булгаковской судьбе. А он выступал уже на литературных вечерах, читал «Роковые яйца», и молодые женщины в нарядных туалетах смеялись и с надеждой смотрели ему вслед.

Красив он не был, но был высок и строен. Морщил лоб, когда читал, и остроглазые дамы замечали, что талантливое лицо его становится при этом настороженным и сердитым. Словом, лицо было из тех, что привлекают внутренней силой. «Больших возможностей лицо», – заметила одна из дам.

Татьяну на этих вечерах никто не видел, даже к соседям на чашку чая он заходил всегда один. Что-то между ними пробежало, но заладилась у них жизнь в Москве. «Он был не один тогда и все-таки один», – заметил наблюдательный сосед. Однажды в его присутствии Булгаков задумчиво сказал: «Если на одиннадцатом году не расходятся, так потом уж остаются вместе надолго...» Видно, решал он тогда какой-то мучительный вопрос. На Татьяне он, двадцатидвухлетний студент Киевского медфака, женился в апреле 1913 года, и расстаться с нею было ему непросто.

Второго февраля 1922 года Булгаков получил телеграмму: от сыпного тифа скончалась мать. Смерть эта всколых-

нула в нем далекие воспоминания: город на Днепре, стрельба, пожары, снег, черный от пролитой крови – и тишина в садах. Мать прикрывала их тогда от бури, думала обо всех... Оборвалось время, и память унесла его назад.

ПИСЬМО МАТЕРИ

10-го ноября 1917 г.

Киев

...Хуже всего было положение бедного Николая, как юнкера*. Вынес он порядочно потрясений, а в ночь с 29-го на 30-е я с ним вместе: мы были буквально на волосок от смерти. С 25-го октября в Печерске начались военные приготовления, и он был отрезан от остального города. Пока действовал телефон в Инженерном училище, с Колей разговаривали по телефону, но потом прервали и телефонное сообщение. 28-го арсенал был разгромлен, и оружие попало в руки рабочих и темных банд...

Мое беспокойство за Колю росло, и я решила добраться до него, и 29-го после обеда добралась. Туда мне удалось попасть; а оттуда, когда в 7½ вечера мы с Колей сделали попытку (он был отпущен на 15 минут проводить меня) выйти в город мимо Константиновского училища** – начался знаменитый обстрел этого Училища. Мы только что миновали каменную стену перед Училищем, когда грянул первый выстрел. Мы бросились назад и укрылись за небольшой выступ стены; но когда начался перекрестный огонь – по Училищу и обратно – мы очутились в сфере огня, пули шлепались о ту стену, где мы стояли. По счастью, среди случайной публики (человек 6), пытавшейся здесь укрыться от пуль, был офицер: он скомандовал нам лечь на землю, как можно ближе к стене. Мы пережили ужасный час: трещали пулеметы и ружейные выстрелы, пули цокались о стену, а потом присоединилось уханье снарядов... Но видно, наш смертный час еще не пришел, и мы с Колей остались живы (одну женщину убило); но мы никогда не забудем этой ночи...

* Николай Булгаков, средний брат, был юнкером Военно-Инженерного училища.

** Пехотного.

В короткий промежуток между выстрелами мы успели (по команде того же офицера) перебежать обратно до Инженерного училища. Здесь уже были потушены огни, вспыхивал только прожектор; юнкера строились в боевой порядок; раздавалась команда офицеров; Коля стал в ряды, и я больше его не видела... Я сидела на стуле в приемной, знала, что я должна буду там просидеть всю ночь, о возвращении домой в эту страшную ночь нечего было и думать, нас было человек восемь такой публики, застигнутой в Инженерном училище началом боевых действий. Я пришла в себя после пережитого треволнения, когда успокоилось ужасное сердцебиение. Как мое сердце только вынесло перебежку по открытому месту к Инженерному училищу. Уже снова начали свистеть пули, Коля схватил меня обеими руками, защищая от пуль и помогая бежать. Бедный мальчик, как он волновался за меня, а я за него...

Минуты казались часами, я представляла себе, что делается дома, где меня ждут, боялась, что Ванечка кинется меня искать и попадет под обстрел. И мое пассивное состояние превратилось для меня в пытку... Понемногу публика выползла в коридор, а потом к наружной двери... Здесь в это время стояли два офицера и юнкер артиллерийского училища, также застигнутые в дороге, и вот один из офицеров предложил желающим провести их через саперное поле к бойням на Демиевке*, этот район был вне обстрела... В числе пожелавших пуститься в этот путь оказались 6 мужчин и две дамы (из них одна – я). И мы пошли... Но какое это было жуткое и фантастическое путешествие среди полной темноты, среди тумана, по каким-то оврагам и буеракам, по непролазной липкой грязи, гуськом друг за другом при полном молчании, у мужчин в руках револьверы. Около Инженерного училища нас остановили патрули (офицер взял пропуск), и около самого оврага, в который мы должны были спускаться, вырисовывалась в темноте фигура Николаичика с винтовкой... Он узнал меня, схватил за

* Демиевка – район Киева, противоположный Подолу, к которому ведет Андреевский спуск, где жили Булгаковы, – очень длинный путь через весь город.

плечи и шептал в самое ухо: «Вернись, не делай безумия! Куда ты идешь? Тебя убьют!» Но я молча его перекрестила, крепко поцеловала, офицер схватил меня за руку, и мы стали спускаться в овраг... Одним словом, в час ночи я была дома (благодетель офицер проводил меня до самого дома).

Воображаете, как меня ждали! Я так устала и физически и морально, что опустила на первый стул и разрыдалась. Но я была дома, могла раздеться и лечь в постель, а бедный Николайчик, не спавший уже две ночи, вынес еще два ужасных дня и ночи. И я была рада, что была с ним в ту ужасную ночь.

Теперь всё кончено... У нас торжественно вчера объявлена Украинская Республика, был большой парад. О юнкерах вопрос еще не решен. Их распустили на месяц. Инженерное училище пострадало меньше других: четверо ранено, один сошел с ума. Они разделились на две партии – одна пошла в отпуск, другая добровольно осталась в Училище нести дежурства и караулы. Коля присоединился к последним, хотя я предпочла бы, чтобы он отдохнул дома от всех потрясений. Но он так поглощен своими училищными делами; эти события еще больше захватили его, у него развилось чувство долга. Больше писать негде...

Любящая мама

Светлой королевой называл ее Булгаков. Много лет позднее, умирая, он сказал сестре Надежде: «Ее памятник – строки в „Белой гвардии“».

Варвара Михайловна Булгакова была дочерью соборного протоиерея из Карачева, небольшого городка на реке Снежить между Брянском и Орлом, мать ее Анфиса была урожденная Турбина. «Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?.. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец».

Так всё сцепилось: мать, Николка, юнкера, стук затворов, разведчики в жупанах и руины древнего Печерска. «Эх, Киев, жемчужина Киев, беспокойное ты место!»

А Саардамский плотник? Печь с изразцами, абажур, часы с гавотом? Нет, Плотник и часы бессмертны, их оставила им мать. Город прекрасный, город счастливый... «Когда небесный гром убьет всех до единого писателей, и явится лет через пятьдесят настоящий Лев Толстой, – будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве».

Книгу эту задумал он сам. «Это будет такой роман, что небу станет жарко».

Москва, весна 1923 года

Дорогая Надя,
крепко целую тебя, Андрея и дитё.
Спасибо за пирог.

...Живу я, как сволочь, – больной и всеми брошенный. Я к вам не показываюсь, потому что срочно дописываю первую часть романа «Желтый прапор»*... У меня рука болит. Цел ли мой диплом?

Потом он передумал, назвал роман «Белая гвардия» и с первых же страниц не скрывал, на чьей он стороне.

«Но как жить? Как же жить?»

Алексею Васильевичу Турбину, старшему – молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене – двадцать четыре, капитану Тальбергу – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете.

.....
Мать сказала детям:

– Живите.

А им придется мучиться и умирать».

Однако, в первом варианте пьесы, написанной по роману, Алексей говорил: «Буря эта временная, всё станет на свое место, как стояло раньше». И вся турбинская компания уходила во мглу под утихающую песню:

Бескозырки тонные, сапоги фасонные –
То юнкера-гвардейцы идут...

* Прапор – знамя (укр.).

– Естественно, пришлось эту картину изменить, – сказал режиссер Илья Судаков. – Не стало того Алексея. Отпали его монологи о восстановлении России... Театр сознательно работал над радикализацией пьесы.

Автор же, если хотел видеть, кроме репетиций, еще и спектакль, должен был соглашаться. Он так и поступал. «В пределах художественной правды», – заметил Судаков.

Но когда скальпель Судакова добрался до сердцевины пьесы, юный драматург восстал.

*В Совет и Дирекцию
Московского Художественного Театра*

Сим имею честь известить о том, что я не согласен на удаление Петлюровской сцены из пьесы моей «Белая гвардия»...

Также не согласен я на то, чтобы при перемене заглавия пьеса была названа «Перед концом». Также не согласен я на превращение 4-х актной пьесы в 3-х актную...

В случае, если Театр с изложенным в этом письме не согласится, прошу пьесу «Белая гвардия» снять в срочном порядке.

4 июня 1926

Михаил Булгаков

И прославленный театр отступил, восстановил на время урезанную сцену, сохранил все четыре акта и, по совету актера Лужского, назвал инсценировку «Белой гвардии» нейтрально: «Дни Турбиных».

Судаков был откровенен, но сказал не всё. «Дни Турбиных» сыграли слишком большую роль в судьбе Булгакова, и следовало поискать свидетелей чуть откровенней. Павел Марков долгие годы заведовал литературной частью МХАТа, и я пошел к нему.

– На премьере «Турбиных» автора не выпустили на вызовы. Олеша, Катаев, Леонов выходили, а Булгакову не дали, побоялись оваций.

Он говорил, как будто это произошло вчера. Выслушав, я спросил:

– Как попал к вам, художникам, безвестный автор?

– Очень просто. Режиссер наш Вершилов наслушался о романе «Белая гвардия» от поэта Павла Антокольского, и я

позвонил Булгакову – началась дружба. Станиславский был сильно настроен против пьесы: «Что вы мне большевистскую агитку навязываете...!» Для него и Булгаков был большевик! Потом посмотрел на репетиции, как актеры играют, и согласился: нет, не агитка. По первой раскладке гетмана должен был играть Качалов, Алексея Турбина – Леонидов. И весь спектакль задумали мы как общее дело старого и молодого поколения. Мы хотели показать, что театр может, не отступая от своих традиций, поставить хорошую советскую пьесу. Если хотите, «Турбиных» мы ставили, чтобы доказать свою лояльность новому режиму – и вдруг, как гром среди ясного неба, все газеты хором объявили пьесу антисоветской, а спектакль – ошибкой. Это было непостижимо, мы стали судорожно искать просчеты, кромсать сцены, вписывать новые куски. Но что мы могли сделать, когда в театре заседала политкомиссия, они говорили нам, что «Вишневы сад» можно ставить, потому что Чехов разоблачил в этой пьесе дворянство... Однако мы искали выход. Судаков писал наметки, помогал автору сделать лучезарный финал. Станиславский просил Булгакова написать сцену, в которой белый офицер Алексей Турбин открыто признает бессмысленность борьбы с большевиками...

Булгаков боролся за своих героев, но в конце концов сказал: «Играйте как хотите, только играйте». В это время, надо полагать, он уже понял, что не по своей охоте Судаков и Станиславский калечат его пьесу. Театр был под угрозой. Возвратясь из длительной поездки по Соединенным Штатам, актеры вдруг почувствовали холодок, газеты иногда писали, что Художественный театр устарел и в таком виде никому не нужен. По Москве ходили слухи о ликвидации Театра. И выглядело все это настолько реально, что однажды Немирович-Данченко, ведущий режиссер, придя на репетицию «Ревизора» прямо от наркома, громко сказал: «Я только что узнал, что есть решение закрыть наш театр!» Актеры, как были в гриме городничего, чиновников, застыли и тут же закричали: «Как закрыть? Да разве это допустимо?!» И вдруг услышали спокойный голос режиссера: «Вот так и надо начинать первое явление „Ревизора“...» Не клеилось у них начало, когда городничий собирает чиновников, чтобы сообщить им пренеприятное известие, и Станиславский просил Владимира Ивановича наладить эту сцену.

Прием удался, что и говорить, но ведь поверили актеры, вот в чем дело!

«Так уж играйте как хотите, только играйте», – уступил Булгаков. И Театр сыграл распад и гибель белого движения. Сражались офицеры в карты, метался по просцениуму полковник Алексей Турбин, повторяя: «Ни во что не верю!» И победно гремел за кулисами «Интернационал».

– Я звонил наркому Луначарскому, – продолжал Марков, – мы сделали ряд уступок, и пьеса пошла.

Всё было теперь на месте: стреляли пушки, белые бежали, в город входили большевики. И Станиславский вполне законно полагал, что выиграл сражение за спектакль.

Пошла пьеса, пошла... И вдруг он снова увидел заголовки:

**«КЛАССОВЫЙ ВРАГ НА СЦЕНЕ»
«ДОЛОЙ БЕЛУЮ ГВАРДИЮ!»**

– Ну, что ты будешь с ними делать? – терялся седой актер. Представляю, как он, одним движением сбросив чеховское пенсне, откладывает газету и долго шурил свои бездонно голубые глазки, стараясь придумать новый ход, укрыть спектакль от этой бури. Но не получалось.

«Рабочая Москва», 20. X. 1926 г.

РАБОЧИЕ ХАМОВНИКОВ О ПЬЕСЕ БУЛГАКОВА

Расширенный пленум рабкоров Хамовнического района (больше 600 человек) вынес резолюцию, в которой заявляет, что пленум считает общественным долгом рабкора присоединить свой резкий голос протеста к общему возмущению постановкой на сцене советского театра пьесы «ДНИ ТУРБИНЫХ».

В этой резолюции пленум, целиком соглашаясь и поддерживая точку зрения газет «Правда», «Рабочая Москва», «Комсомольская правда», разоблачивших истинную природу пьесы, расценивает эту постановку как идейную вылазку обывателя-мещанина, как общественную демонстрацию и защиту своих обывательских прав.

Все-таки выпустили его на сцену. 7 октября 1926 года, после второго представления «Дней Турбиных», Булгаков в сереньком костюме вышел к рампе, остановился и, взглянув в

темный зал, впервые в жизни ощутил прикосновение славы. Зал гремел, и, стоя боком, бледный, без улыбки, он угловато кланялся то публике, не отпускаявшей его со сцены, то окружавшим его со всех сторон актерам. Настал его день.

В. В. Вересаев – М. А. Булгакову

Михаил Афанасьевич! Когда Вам будет приходиться туго, обращайтесь ко мне. Я бы так хотел, чтобы Вы это делали так же просто, как я это предлагаю! Поймите, я это делаю вовсе не лично для Вас, а желая хоть немного оберечь крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем.

Ввиду той травли, которая сейчас ведется против Вас, я думаю, Вам приятно будет узнать, что Горький (я летом имел письмо от него) очень Вас заметил и ценит.

Ко всеобщему изумлению, «Дни Турбиных» не запретили, и это обстоятельство играло в жизни драматурга решающую роль. Ругань, требования снять, горькие упреки МХАТу, карикатуры на автора в монокле – всё это Булгаков перенес спокойно: пьеса шла. И чем злее, яростней ее ругали, тем длиннее была очередь у кассы театра. Этот закон обратного эффекта был установлен на булгаковских спектаклях – и остается в силе по сей день.

Но вот что интересно: газеты разносили его пьесы в пух и прах, а театры наперегонки старались перехватить их друг у друга.

Градом прошли по Москве булгаковские премьеры. Следом за «Днями Турбиных» в том же октябре 1926 года столица смотрела еще один спектакль: актеры театра Вахтангова с блеском сыграли «Зойкину квартиру» – веселый фарс о воровском притоне, в котором развлекались новые хозяева страны. Такого Москва давно уж не видала. А Булгаков не уставал, Булгаков изобретал всё новые сюжеты. В том же году он кончил злейшую сатиру «Багровый остров» и, быстр, схватчив, сцену за сценой, сон за сном гнал неотразимый «Бег». Удивительные дни!

После премьеры «Турбиных» и «Зойкиной квартиры» Булгаков достиг вершины театрального успеха, какой никогда потом не достигал. Молод, весел и удачлив, он носился на мотоцикле Харлей-Девидсон по Москве.

24. VII. 1926

Многоуважаемый Михаил Афанасьевич!

У Вас есть новая пьеса «Багровый остров».

Я надеюсь, что Вы, согласно нашему уговору в мае, дадите мне возможность ознакомиться с Вашим новым произведением, дабы иметь возможность вовремя включить пьесу в репертуар нашего театра... Я очень бы желал повидаться с Вами в Москве.

Искренне уважающий Вас

*Юрий Юрьев**

24. VI. 1927

Многоуважаемый Михаил Афанасьевич, большое спасибо, что откликнулись на мое письмо. Ах, как досадно, что у Вас нет пьесы!

Ну, что поделаешь?!

Осенью необходимо повидаться. Беру с Вас слово, что Вы будете говорить со мной по телефону 3-04-11...

С приветом

В. Мейерхольд

К. С. Станиславский – Л. М. Леонидову

Ницца, 10. II. 1930 г.

...Пьеса Булгакова – это очень интересно. Не отдаст ли он ее кому-нибудь другому? Это было бы жаль.

Юрий Олеша, писавший в то время «Зависть», мог только вспоминать их молодость в редакции «Гудка»:

...Тогда со всеми одинаков,
Пером заржавленным звеня,
Был обработчиком Булгаков,
Что стал сегодня злобой дня.

М. Горький – А. Н. Тихонову

Капри, 10 марта 1927 г.

А что Булгаков? Окончательно «запрещен к богослужению»? Нельзя ли познакомиться с его пьесой.

* Ю. М. Юрьев – ведущий актер б. Александринского театра в Ленинграде (ныне театр им. Пушкина).

Нет, в том году Булгаков держался еще крепко. Была попытка запретить «Дни Турбиных», но Станиславский обратился к наркому, и цензоры на время отступили. «На этот год, по крайней мере, „Турбины“ вам разрешены», – заверил театр Луначарский.

Булгаков не сходил со сцены. Шла у вахтанговцев «Зойкина квартира», Немирович-Данченко начал репетировать во МХАТе «Бег», а Камерный театр принял к постановке совершенно удивительную пьесу, в которой Булгаков решил начистоту высказать всё, что думал о революции и братоубийственной войне. Именно эту пьесу Горький просил прислать ему на Капри.

В те годы дома у Булгакова всегда бывало людно. Театр платил ему по двести рублей со спектакля, сумму по тем временам большую, и деньги эти он с женой Любашей охотно тратил на угощение, давал актерам в долг, а иногда и без отдачи. Был он молод, знаменит и, хоть рабкоры всех мастей продолжали клясть его в газетах, верил в свою удачу. Любаше он купил хорьковую шубу, тут же названную «Леопардом», и жемчужные сережки, а себе золотой портсигар.

В лихо отглаженной черной паре, при черной «бабочке» на крахмальном воротничке и в лакированных штиблетах фасона «джимми» он принимал гостей.

Пусть шумят газеты – в Сивцевом Вражке, на квартире у артиста Степуна, гремит банкет. Булгаков празднует с друзьями премьеру своей пьесы. Икра, балык, севрюга, семга, разные вина, маринады, дичь, колбасы, пироги и торты – всех «турбинцев» пригласил Булгаков, позвал Катаева, Олешу... Павла Маркова и Судакова, постановщика спектакля, я в его списке не нашел. Не думаю, что автор их забыл случайно, видно, свежи были еще на теле его раны.

Так или иначе, Булгаков пировал. Молва уже прочно связала его имя с Художественным театром, со Станиславским, с оглушительным успехом первой пьесы.

Виктор Станицын, актер театра, снял его на репетиции «Дней Турбиных». Блондин с рассыпавшимися волосами и мальчишески озорной улыбкой, он и впрямь выглядел тогда счастливым человеком. Внешне он ничем не выделялся среди артистов прославленного театра: голубовато-серые глаза, вечный хохолок на затылке... Но что-то неуловимое его отли-

чало. «Чувствовалась в этом человеке особенная чистоплотность», – заметил актер Яншин.

Иногда он видел Булгакова с Маяковским. Странная то была пара. Маяковский бил Булгакова деревянными стихами, открыто грозил привести на «Дни Турбиных» двести человек, чтобы сорвать спектакль, а в доме Герцена на Тверском бульваре Яншин постоянно видел их за бильярдом. «Лучший из поэтов» любил класть шары так, чтобы трескали лузы, удар Булгакова был мягче, но точнее. «Михаил Афанасьевич, – вспоминала Любовь Белозерская, – играл с каменно замкнутым лицом».

Булгаков никогда не спорил с прессой, не отвечал на газетную хулу. Один лишь раз он выступил на обсуждении своей пьесы, чтобы пристыдить критика Орлинского, и замолк навсегда. «Хотите видеть меня белогвардейцем? Не возражаю...» Он даже решил подыграть своим врагам: вставил в правый глаз монокль и, смазав русые вихры бриолином, аккуратно расчесал их на прямой пробор. Чем не полковник Алексей Турбин? Монокль он научился выкидывать из глазницы виртуозно и, поиграв шнурком, вставлял вновь, иногда, по рассеянности, в другой глаз.

Но игра была опасна.

«Комсомольская правда» напечатала статью «Положить конец „Дням Турбиных“» и сделала официальный запрос в Главискусство, требуя снять пьесу. Чудо, просто чудо, что спектакль держался, шел иногда дважды в неделю. И гремел на всю Москву. По вечерам, лишь только загорятся фонари у Театра, к подъезду тянутся одинокие фигуры, к кассе они даже не подходят, ловят билетик на ходу. Зато в маленьком флигеле во дворе, в конторке Фили, Феде Михальского, царил большой ажиотаж. Здесь за пять минут до начала спектакля снимают правительственную броню и продают невыкупленные места. Фили был величайший психолог в мире: мельком взглянув на документ, просунутый в его окошко, он смотрел в лицо просителю и тут же решал: дать или не дать. Вся эта процедура – много лет позднее я видел ее сам – продолжалась не больше одной минуты. Но толпа не убывала, пока из фойе не доносился третий, окончательный звонок.

Аншлаг, аншлаг... Почти три года «Дни Турбиных» продержались на сцене Художественного театра. Три сезона спектакль о белых офицерах шел под огнем, Булгаков собрал три-

ста двадцать ругательных рецензий и развесил их бордюром по стенам. На триста двадцать первой спектакль был запрещен: «Такой Булгаков нам не нужен»...

Шум нарастал, и угроза уже нависла над спектаклем «Багровый остров». Тут Булгаков совсем не удивился: смех сотрясал потолок Камерного театра, когда, среди действия, в переполненном партере вдруг появлялся капельдинер и объявлял: «Савва Лукич в вестибюле снимают галоши», а в это время настоящий «Савва Лукич», он же Владимир Иванович Блюм, цензор, гроза Главреперткома, прятался за штору в директорской ложе. «Савва Лукич в вестибюле...», – шептал испуганный суфлер. «Савва Лукич», – подхватывали на сцене трепетавшие актеры, а директор театра, хватаясь за голову, кричал буфетчику: «Готовьте самые большие бутерброды!». Блюм, не двигаясь, сидел за шторой. В конце спектакля Савва Лукич разрешал пьесу и, обращаясь к автору, говорил: «В других городах-то я все-таки запрещаю... Нельзя все-таки... Пьеска, и вдруг везде разрешена». Именно так и поступила театральная цензура с «Днями Турбиных».

Но сатира в этой пьесе была нацелена повыше Блюма. На острове том Булгаков поселил два племени туземцев, схватившихся в кровавой драке. Белые арапы... красные эфиопы... Ах, не надо, не надо было ему смеяться, намекать на события недавних лет. И этот Савва Лукич, загримированный под Блюма. Опаснейших врагов нашёл Булгаков. Даже простые люди понимали, что пьесе этой он придал форму шутки, буффонады, чтобы досказать те мысли, которые Судаков и Станиславский вытравили из «Дней Турбиных».

Пал «Багровый остров». И вот уже запретили «Зойкину квартиру». Три лучших его пьесы – и все под нож. Что же это будет?

«Театры освобождаются от пьес Булгакова», – ликовала пресса. А Главрепертком тем временем зарезал последнюю его надежду, пьесу «Бег», которой Горький предрекал анафемский успех на сцене МХАТа. «Ужасный был удар, как будто в доме появился покойник».

Так что же это будет, жить-то как? Куда ему деться от застройщика, хозяина его квартиры, от острых взглядов Любы? Булгаков бедствовал; самый что ни на есть знаменитый автор, он вдруг сошел со сцены, попал под запрет во всех редакциях, журналах и мог лишь изредка публиковать один-

другой коротенький рассказ из «Записок земского врача», да и то в журнале «Медработник». Фамилию свою он уже видел напечатанной с маленькой буквы, и слово «булгаковщина», брошенное Блюмом, злым огоньком разлетелось по газетам.

Надо было что-то делать. Белозерская устроилась редактором в Техническую энциклопедию. «Ох, смотри, Любаша, ничего из этого не выйдет», – напутствовал ее печально Михаил Афанасьевич. И правда, через месяц жену его уволили с работы.

Булгаков видел, как скверно обернулось дело, и ничего хорошего не ждал. Но держался. Друг его киевский, Коля Гладыревский, молодой хирург, работал грузчиком на складе Моссельпрома, только бы выдержать, остаться сверхштатным ординатором в клинике университета, а он ходил по редакциям, выслушивал отказы, боролся, терпел нужду и ни на шаг не отступал.

Дом его замер, телефон немовал, Булгаков сидел с Любашей в пустой квартире и писал заявления. «Я не совсем еще умер, я хочу говорить настоящими моими словами...» Никто его не слышал, а из друзей остались лишь большеглазый пес Бутон да черный кот Аншлаг. «Корабль мой тонет, – писал он брату, – вода идет ко мне на мостик...»

И тут задушенный писатель принял совершенно дерзкое решение, надумал рассказать со сцены о своей сценической судьбе. Безумец, кто ж ему позволит говорить с подмостков! На этот раз он всё предвидел, в пьесе будет другой герой, другое время и другие люди. Но речь пойдет о гибели талантливого драматурга.

Булгаков сел за драму о Мольере. И быстро, в полной тишине квартиры кончив пьесу, он отнес ее осенью двадцать девятого года в Художественный театр. Лучшие знатоки признали эту вещь самой сильной из всего, что он доселе написал, Станиславский, где-то в Германии на водах, волновался, как бы пьеса не ушла в чужие руки. Актерам уже снились роли, и Москвин мечтал сыграть Мольера, загубленного черной кабалой святош. И все-таки застряла пьеса. Что-то в ней заподозрили, чего-то в ней недоставало. Булгаков замер, рушилась последняя надежда. «Если погибнет эта пьеса, средств спасения у меня нет», – сообщал он брату.

В середине марта 1930-го года совет Театра известил драматурга, что пьеса его не рекомендована к постановке. За спиной Мольера легко угадывался автор.

Круг сузился, и Булгаков ощутил петлю на шее. Тут он, наконец, сообразил, что бьют его не на живот, а на смерть, и сел за письмо наверх.

Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть СССР...

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

Горький был в то время, пожалуй, единственной его надеждой. «Прошу Вас, Алексей Максимович, поддержать мое ходатайство». Булгаков собирался написать ему подробное письмо, сел за стол – и не мог. «Мое утомление, безнадежность безмерны... Всё запрещено, я разорен, затравлен, в полном одиночестве».

Травили его в огороженном заборе, по всем правилам волчьей садки.

28. IX. 1929 г.

Все мои пьесы запрещены,
нигде ни одной строки моей не печатают,
никакой готовой работы у меня нет, ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает,
ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечает,

словом – все, что написано мной за 10 лет работы в СССР, уничтожено. Остается уничтожить последнее, что осталось, – меня самого.

На Арбате он встретил Колю Гладыревского и тут же, отведя в сторонку, стал читать ему письмо:

Ныне я уничтожен... Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и будущие. ...Все мои вещи безнадежны... Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо... Налицо в данный момент – нищета, улица и гибель...

Гладыревский собирался на побывку в Киев, и, прощаясь, Булгаков сказал ему: «Я иду ва-банк. Когда ты вернешься, возможно, я буду уже в тюрьме».

Велик был риск, но ничего другого ему было не дано. Висельник, он сделал дерзкую попытку вырваться из петли.

Правительство он просил об одном: отпустить! Зачем держать писателя в стране, где его произведения существовать не могут?

Но правительство рассудило иначе.

Замечательное устройство телефон. Один человек на вершине пирамиды, другой лежит плашмя, раздавленный ее громадой, но вот звонок – и оба они вроде за одним столом. Меньше всего Булгаков ожидал, что ему позвонит Сталин. Тем не менее, это был он. Булгаков едва успел крикнуть жене: «Любаша!» И та взяла вторую трубку. Мне она сказала: «Разговор был странный... Сталин получил ваше письмо... Сталин прочел... – он говорил о себе в третьем лице. Потом вдруг спросил: – „Очень мы надоели вам? Может быть, вам действительно нужно ехать за границу?“»

Ответ Булгакова известен: русский писатель должен жить и работать дома.

Сталин согласился, спросил: «Вы где хотите работать? В Художественном театре?»

– Да, я хотел бы, но мне отказали...

– А вы подайте заявление, мне кажется, они согласятся.

И он подал – и снова получил отказ. Зато явился юркий человечек из Театра рабочей молодежи и предложил ему место режиссера. «Ничего не выйдет, меня нигде не берут», – отвечал Булгаков. «Нет, нет, – уверял представитель рабочей молодежи. – Теперь всё будет иначе».

И снова он подал, но на этот раз был принят. Началась недолгая работа в ТРАМе.

...Тот год, лихой и бурный, был отмечен двумя событиями в его жизни: он снова стал встречаться с Леной, тайным другом, и начал писать роман о своей писательской судьбе.

К. С. Станиславскому

18. III. 31 г.

Дорогой и многоуважаемый Константин Сергеевич!
Я ушел из ТРАМа, так как никак не могу справиться с трамбовской работой.

Я обращаюсь к Вам с просьбой включить меня, помимо режиссерства, также и в актеры Художественного театра...

Преданный

М. Булгаков

Одобряю, согласен. Говорил по этому поводу с Александром Сергеевичем Бубновым*. Он ничего не имеет против.

К. Станиславский

В судьбе Булгакова наступил перелом. Ему дали работу, разрешили ставить чужие пьесы, а 16 января нового, 1932-го года раздался дома у него звонок, говорили из Театра: срочно возобновляются «Дни Турбиных»! Сообщение его раздавило. «Мне стало физически нехорошо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце!» Когда он пришел в себя, к нему вернулся галльский юмор:

– Знаете, – сказал он другу, – нам дарят штаны, когда у нас уже нет зада.

В Театре возобновление пьесы приняли с восторгом. Снова на сцене зазвучали голоса Алексея и Николки Турбиных.

Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг, как в шахте, тьма и загораются фонари помощников, и кажется, что спектакль идет с вертящей голову быстротой. Только что тоскливо пели петлюровцы, а потом взрыв света и в полутьме вижу, как выбежал Топорков и стоит на деревянной лестнице и дышит, дышит... Наберет воздуху в грудь и никак с ним не расстанется. Стоит тень 18-го года. (Топорков играет Мышлаевского первоклассно.)

Актеры волновались так, что бледнели под гримом, тело их покрывалось потом, а глаза были замученные, настороженные, выпрашивающие.

* Бубнов – нарком просвещения, которому был подчинен Художественный театр.

Когда возбужденные до предела петлюровцы погна́ли Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера, и этим мгновенно привел меня в себя.

В тот же миг Булгаков увидел перед собою женщину, посланца от Станиславского, и понял, зачем она пришла. «Я только глянул на напряженно улыбающийся рот и уже знал – будут просить не выходить». Гонец сказал, что Константин Сергеевич спрашивает, где Булгаков и как он чувствует себя. Булгаков ответил:

– Чувствую себя хорошо, на вызовы не выйду.

«О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это мудрое решение».

Занавес пришлось поднять двадцать раз, но автор, как обещал, остался за кулисами. Потом актеры и друзья добивались – почему не вышел? Что за демонстрация? Он растерялся. «Выйдешь – демонстрация, не выйдешь – тоже демонстрация. Не знаю, как быть».

И все-таки он был чертовски рад, когда по дороге в Театр видел, как снова по всему проезду МХАТа, от Дмитровки до Тверской, стояли люди, бормоча: «Нет ли лишнего билетика?»

«Для автора пьесы это значит, что ему, автору, возвращена часть его жизни».

О чуде этом было много разных толков, и бедный драматург с утра до вечера сидел у телефона. Москва хотела знать, что всё это значит? «Нашли источник! – удивлялся автор. – Правительство СССР отдало замечательное распоряжение: пьесу „Дни Турбиных“ возобновить...» Больше он ничего не знал и в рассмотрение причин входить не собирался. Для него довольно было факта. Но мне-то, хоть и с опозданием, очень хотелось выяснить, дознаться: как же всё это случилось?

В Театре был Енукидзе, родственник Сталина и секретарь ВЦИКа, высшего органа страны. Шло «Горячее сердце» Островского. Когда пьеса кончилась, секретарь как бы ненароком спросил: «А когда идут „Турбины“»? Ответили, что пьеса давно не идет, снята. Енукидзе это, конечно, знал, однако громко сказал: «А какой дурак снял? Немедленно возобновите».

Даже в гардеробной понимали, что Енукидзе расхрабрился неспроста. Но Станиславский медлил, словно ждал чего-то. И верно, вскоре Сталин был на пьесе Киришона «Хлеб», и то ли хлеб этот показался ему несладок, то ли запали

в его память монологи Алексея Турбина, только уходя, он вдруг повернулся: «А почему вы перестали показывать эту вещицу... об офицерах?» Вот тут Станиславский и прозрел. Уже и декорации к пьесе были сожжены, но во мгновение ока всё восстановили, и снова зазвучал на круге голос Алексея Турбина.

В сущности, генеральный секретарь зря спрашивал, почему не идут «Дни Турбиных», ведь еще года полтора назад, в марте 1930 года, Булгаков сообщал в письме правительству, что все его пьесы запрещены и ни одной строки не печатают нигде. Но лучше поздно, чем никогда.

Говорят, Сталин питал к Булгакову слабость, чтил за талант и открытый нрав. Возможно, это так. Но не любовь к Булгакову была причиной возобновления спектакля. В двадцать пятом году повесился Сергей Есенин, через год покончил с собой поэт Андрей Соболев, потом уехал в Париж, чтобы умереть там от инфаркта, замученный Евгений Замятин. В апреле 1930 года, когда письмо Булгакова было уже в руках Сталина, застрелился Владимир Маяковский. Нехорошо, совсем плохо было бы, если б в том же году наложил на себя руки автор «Дней Турбиных».

...Иногда я думаю, как же ненавидел он медицину, если готов был голодать, покончить с собою, только б не вернуться в больницу, не стать снова к операционному столу. А ведь был он хороший земский доктор с недолгой, но емкой практикой на Смоленщине в глухом селе... «Я – врач, – писал он о себе когда-то. – Я врач, прямо со студенческой скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции».

Впрочем, может, я неправ. Ермолинский вспоминал:

– Ему доставляло удовольствие прийти ко мне, когда я заболел. Он появлялся с фельдшерским чемоданчиком, ставил мне термометр, выстукивал меня, прослушивал, проверял пульс, заставлял высовывать язык и говорить «а». Затем он извлекал из чемоданчика банки, пузырек со спиртом, спиртовку. Он ставил банки – не скажу, чтобы искусно, иногда обжигал меня. «Ну-ну, – говорил он примирительно, – извини, но зато крепко берут, смотри как!»

Булгаков писал роман о Понтии Пилате, когда он встретил женщину, которую, ему казалось, он любил давно, всю жизнь. «И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною

женой...» Никто не знал об этой связи, кроме его соседей в ветхом особняке на Пироговской улице в Москве. Но и соседи не знали, кто она. Стук калитки, тень, мелькнувшая перед окном, – и вот они вдвоем в его подвале... Кто там говорит, что нет на свете счастья, покажите мне этого страдальца, я отведу его в тот дом, спущусь с ним в ту сырую яму, где провели они свой первый май. «Она приходила ко мне каждый день...» И каждый день он ждал ее с утра. Мир его был заполнен этой женщиной и романом, который она уже знала наизусть. Одна лишь тайна омрачала их любовь: женщина та была женою другого человека. Но о нем они старались не говорить, ту связь она была не в силах разорвать. Косые ливни отшумели над Москвой, сирень цвела и отцветала, а к соседям всё доносился смех, счастливый смех из темного подвала.

Однако жизнь брала свое. Булгаков блаженствовал; казалось, всё было у него, любовь, цветы и кров, хоть прохудившаяся, а все же крыша над головой. Но за нее полагалась плата. Денег, денег – вот чего ему вечно не хватало. Главрежи московских театров были с ним восхитительно любезны, справлялись о здоровье, планах, но договор, аванс... О, нет, с этим они не торопились. Пьесы Булгакова при всем их блеске имели один серьезный недостаток: их не разрешали ставить.

«Я вечно под угрозой запрещения», – писал он Станиславскому, возвращая МХАТу тысячу рублей за убитый «Бег». Запреты ввели его в постоянный кризис. Стараясь выбраться, он стал искать театры в Ленинграде, писал пьесы по заказу, предлагал инсценировки и брал авансы, где только мог – под планы неготовых пьес, в счет будущих гонораров со спектаклей, за право первой постановки. Только бы выжить, вырваться из когтей нужды.

Но и тут он оставался все тот же Михаил Булгаков. Красный театр в Ленинграде предложил ему написать пьесу о грядущей войне. При этом театр предоставил драматургу полную свободу в разработке темы. Война есть война, никуда ему не деться. Так полагал, наверно, директор театра, подписывая договор. Представляю его мину, когда Булгаков сообщил название пьесы – «Адам и Ева». В ней он, как всегда, вел разговор о том, чем наполнилась тогда его душа: о тайном друге, которого давно не видел, о трудностях своей любви. Драму он кон-

чил быстро и, торопясь в Ленинград, жалел, что пьеса не пошла в Художественный театр.

С любимым театром сложились у него в ту пору сложные отношения. МХАТ был скуп и осторожен, давал авансы только после чтения пьесы, да и то, если был уверен, что пройдет. В договорах театра всегда стоял один ужасный для драматурга пункт: в случае запрета он, драматург, обязан был вернуть театру все полученные суммы. Мог ли Булгаков позволить себе такую роскошь?

Нет, не отдаст он свою драму МХАТу. «Совершенно железная необходимость, – писал он Станиславскому, – заставила меня предоставить эту пьесу театру имени Вахтангова в Москве, который срочно заключил со мною договор, не зная ни одной буквы из пьесы». Насчет «буквы» – это он уж прямо метил в прижимистых директоров Художественного театра. Который год вытягивают они из его пустых карманов аванс за тот загубленный спектакль. Впрочем, что ж, он зла не помнит, после запрета «Бега» он будет бесконечно рад представить МХАТу инсценировку романа «Война и мир». Вещь прочная, хотите? Если театр согласен, Булгаков просит немедля заключить с ним договор. Правда, миль пардон, он, кажется, уже отдал право первой постановки Большому драматическому театру в Ленинграде. Но это не беда. Согласны? Так где ж контракт?

Стиль его стал краток, деловит и вежлив, он все еще пытался сохранить старую дружбу с Художественным театром, но и себя не давал в обиду. «Повторяю: железная необходимость теперь руководит моими договорами». Должно быть, сильно удивлялись в театрах, откуда у Булгакова такой напор? Не скрою, деньги нужны были ему, чтобы купить квартиру в писательском кооперативе, приют для себя и будущей жены.

В те дни Булгаков принимал серьезные решения, подводил итог. «Я всё проверяю прошедшую жизнь и вспоминаю, кто же был моим другом. Их так мало...»

Друг его, тайный, милый друг жил неподалеку и занимал все его мысли. «Писать ни о чем не могу, пока не развяжу свой душевный узел...»

В середине тридцатого года роман Булгакова с Еленой Шиловской был в разгаре, похоже, теперь они уже не старались скрыть свою любовь. Из Крыма он слал ей телеграммы прямо на дом, в Большой Ржевский, звал к себе. «Полагаю

найдете место в одном из пансионатов протяжении Мисхор – Ялта. Телеграфируйте Мисхор Пансионат Магнолия Булгаков». Ответ задержался, и Булгаков, не считаясь с этикетом, телеграфирует жене Любаше: «Почему Люсетты нет писем наверно больна». Нет, слава Богу, всё в порядке, она ответила:

*Крым, Мисхор, Пансионат Магнолия
Булгакову*

Здравствуйте друг мой Мишенька очень вас вспоминаю и очень вы милы моему сердцу поправляйтесь отдохайте милый Мишенька ужасно рад вашему скорому возвращению умоляю не томите

Пузановский

Все же избегала она огласки, подписывала телеграммы Мадлена Трусикова, Ненадежная.

Но так уж всегда бывает, о любви Булгакова и Елены Сергеевны узнал муж ее, артиллерийский генерал Евгений Шиловский. Сцен не было, генерал был светский человек, к тому же он был молод, статен и цену себе знал. «Он просил меня больше не встречаться с Михаилом Афанасьевичем, – рассказывала Елена Сергеевна. – И я дала слово, у нас было двое сыновей, младшему, Сереже, шел седьмой год...»

Прошли осень и зима, и наступил новый, 1932-й год, Елена Сергеевна сдержала слово, Булгакова она больше не видела. И Михаил Афанасьевич не делал попыток увидеть ее. В доме генерала царил покой, сверкали люстры, блестел паркет, и молодая генеральша ежедневно принимала ванну. Впрочем, не буду вас обманывать, Елене Сергеевне было тридцать девять лет.

«Как-то летом, в июле, я вышла из ворот нашего дома в Ржевский переулок, вижу: он стоит. Увидав меня, быстро подошел и: „Лена! Я больше не могу...“» Он взял ее за руку, и она послушно пошла за ним. Они шли быстро вниз по бульварам, кружили по кривым арбатским переулкам, и я не берусь рассказать вам всё, о чем они в тот день перетолковали. Солнце уже западало за дома на Малой Бронной, когда он вывел ее к Патриаршим прудам. Стемнело. Они сели на скамейку. И здесь, не слыша скрежета трамваев, они приняли решение.

«Когда мы с Михаилом Афанасьевичем решили порвать с прошлым – я с мужем, а он с Любовью Евгеньевной Белозер-

ской – он привел меня снова к Патриаршим прудам и, вынув из кармана маузер, бросил его далеко в воду. В эти дни Сталин снял запрет с «Дней Турбиных» и велел принять Булгакова в театр. „Если б не это, – сказал он мне тогда, – я был готов покончить с собой“. Сталин дал Булгакову десять лет жизни...»

В тот же вечер Елена Сергеевна рассказала всё мужу. Но на этот раз Булгаков взял их судьбу в собственные руки. Письмо его к Шиловскому начиналось решительно и просто: «6. IX. 1932. Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с ней. Мы любим друг друга так же, как любили раньше. И мы хотим по...» Здесь обрыв, передо мной был черновик неотправленного письма, возможно, Булгаков никогда его не кончил. Но нет сомнения, с Шиловским он объяснился, и тот отступил. Вскоре Елена Сергеевна переехала с младшим сыном к Булгакову на Пироговку. «Вышла из машины, – рассказывал Булгаков, – в одной руке примус, в другой Сережка. Больше ничего!»

С Шиловским остался старший сын, Евгений, но, разумеется, он страдал. Елена же Сергеевна, наоборот, чувствовала себя вполне прекрасно, узел развязался, все стало на места, и она по-прежнему являлась в генеральскую квартиру, давала указания прислуге, вела хозяйство, принимала ванну и, уходя, целовала генерала в лоб. Спешу заверить, кокеткой, бессердечной львицей Елена Нюренберг, дочь податного инспектора из Риги, не была, я знал эту женщину, и жизнь ее проследил от самого начала. С Шиловским же дело объяснялось совершенно просто: она его не любила никогда. Знакомство их случилось в Минске, когда судьба беглянки занесла ее в прифронтовую полосу. Елена была уже замужем, но муж ее, белый офицер, не подавал вестей. А тут она вдруг встретила лейб-гвардии артиллериста, штабс-капитана, князя – словом, человека своего круга. Собственно, был он уже не лейб-гвардейцем и не князем, а начштабом XVI армии Западного фронта, которой командовал Тухачевский. Но тем лучше! Бывший человек, он приспособился к новому режиму, стал вскоре командармом, и Елена поняла: это спасенье. Не будем ее судить – в те пагубные годы случались и не такие компромиссы.

После гражданской войны Шиловский делал быструю карьеру. Профессор, доктор военных наук, он вел в Академии Генштаба кафедру оперативного искусства, вскоре сам стал

генштабистом, получил в петлицу сразу три ромба, что было равно званию генерал-лейтенанта, но именно тогда, в пору торжества и взлета Елена оставила его. Пришла ее пора.

В душе она, конечно, понимала, какую причинила ему боль. «Он не сделал мне ничего худого». Три года спустя она познакомилась с милой девушкой Марианной, дочерью Алексея Толстого от давно распавшегося брака с московской красавицей Софией Дымщиц. Генерал женился и, говорят, был с нею счастлив.

4 октября 1932 года ЗАГС Фрунзенского района города Москвы зарегистрировал брак Михаила Афанасьевича Булгакова с Еленой Сергеевной Нюрнберг. Супруги взяли фамилию Булгаковы.

Трубил ли Гименей в тот день свою победу, осталось неизвестно. Но нет сомнения, что в квартире номер 4 по Большой Пироговской 35-А не умолкала радость. Беда лишь заключалась в том, что некуда было девать Любашу. И пришлось им жить втроем, не считая мальчика Сережи, пока не отыскивали подходящее жилье для Белозерской.

«Елене от Михаила»

7. IX. 1932

– Это вместо квартиры? – спросила Елена. – Спасибо, – добавила она.

– Ничему на свете не завидовал Михаил Афанасьевич – квартира хорошей. Это был какой-то пунтик у него.

Бедный Мастер! Ума не приложу, как выжил он, целый год лавируя меж двух ненавидевших друг друга женщин в крохотной квартире, которую он называл сырою ямой. О, эта теснота московских коммуналок, корыта на стенах, велосипеды в ваннах и неизменный запах жареных котлет в туманном коридоре. Одиннадцатый год он жил в Москве, был автором романа, нашумевших пьес и всё снимал конурки, заключал какие-то контракты. «Его не интересовали никакие богатства, но квартира... тут он замирал...» Любовь Евгеньевну удалось отселить лишь 23 сентября следующего года. «Вечером у нас Любаша, которая сегодня переехала в отделанную для нее комнату рядом с нами», – отметила Елена Сергеевна кратко.

Жизнь вошла в ровную колею, и в таком же ровном тоне он сообщал приятелю своему Евгению Замятину в Париж:

«Итак, я развелся с Любовью Евгеньевной и женат на Елене Сергеевне Шиловской. Прошу ее любить и жаловать, как люблю и жалую я...» Но брату Николаю он писал иное: «Сообщаю тебе, что в моей личной жизни произошла громадная и важная перемена. Я развелся с Любой и женился на Елене Сергеевне Шиловской». Тут весь Булгаков: никогда не открываться до конца, даже перед близкими друзьями.

«Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной последний полет. 21 мая 1933 года».
(Надпись на книге)

Итак, в квартире на Пироговке воцарились мир и тишина. Наконец Булгаков мог работать. Света ему не хватало, окна выходили низко на тротуар – это нисколько не заботило его. За зиму, переболевши гриппом, он кончил пьесу о своем любимом Жане-Батисте Мольере и залпом сочинил о нем отличнейшую повесть.

Писал он в толстых тетрадах, почти без помарок, и работать любил, закрыв наглухо шторы, в полной тишине. Порою он зажигал свечи в канделябрах, и тогда в его полуподвале поселялся дух Мольера, царил Париж, семнадцатый век. Работал он порывисто, запойно, потом впадал в протрацию, лежал пластом. О повести он сообщал брату в Париж: «Изнаурила она меня чрезвычайно и выпила из меня все соки».

– Книгу о Мольере он написал в несколько недель, – говорила Елена Сергеевна. – Ходил в библиотеку, делал выписки – фактура, век, детали – потом всё в сторону и принимался диктовать мне своего «Господина де Мольера».

Мольером он был одержим. За несколько лет написал о нем пьесу, повесть, перевел «Скупого», сочинил спектакль о «Полоумном Журдене» по мольеровским мотивам. «Дорогой Мольер Афанасьевич», – обращался к нему Замятин. Полушутя-полусерьезно Булгаков как-то сказал Елене Сергеевне: «Первый человек, которого я разыщу на том свете, конечно, будет Жан-Батист Мольер».

Но кончена работа, пора им расставаться. Который год живет он в призрачном и сказочном Париже. Прощай, Мольер! Быть может, когда-нибудь увидимся в Париже, а пока прими поклон! Брата Николая, русского эмигранта, он просит: «Если судьба тебя занесет на угол улиц Ришелье и Мольера, вспомни меня! Жану-Батисту Мольеру передай от меня привет!»

Рукопись книги он отнес в редакцию «Жизнь замечательных людей». А. Н. Тихонов-Серебров, зав. редакцией, передал ее Горькому, шефу ЖЗЛ. Тот через несколько дней дал ответ:

– Талантливо, конечно... Но если мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадет.

П. С. Попову

Дорогой Павел!

...Ну-с, у меня начались мольеровские дни. Открылись они рецензией Т[ихонова]. В ней, дорогой Патя, содержится много приятных вещей. Рассказчик мой, который ведет биографию, назван развязным молодым человеком, который верит в колдовство и чертовщину, обладает оккультными способностями, любит альковные истории, пользуется сомнительными источниками и, что хуже всего, склонен к роялизму.

Но суть была не в этом. Редактор сообщил Булгакову, что в книге о загубленном французском драматурге семнадцатого века есть прозрачные намеки на советскую жизнь. Вот эту суть Булгаков быстро понял и, обдумав дело, счел за благо отступить: «Оскалился только по поводу формы рецензии, но не кусал...» Очень сомневаюсь, что умел он драть и кусать.

– Я не писатель, я – актер, – невесело шутил он. – Кроме того люблю покой и тишину.

Булгаков был оскорблен и больше в ЖЗЛ не обращался. Однако если внимательно прочесть его блистательную повесть о жизни господина де Мольера, то в ней без особого труда можно обнаружить поразительные совпадения. Вот, например, история с «Тартюфом». Пьеса эта, одна из лучших мольеровских комедий, осмеявшая ханжу и плута в священном сане, была запрещена по настоянию самого архиепископа Парижа. Запрет был прочен, и сколько Мольер ни бился, как ни просил короля освободить «Тартюфа», ничего не получалось. Пять лет сряду держали пьесу под замком. И вдруг король призвал своего комедианта и сказал: «Я разрешаю». Что сделалось с Мольером! Сердце, сердце... Но не то ли пережил и сам Булгаков, когда Сталин вернул на сцену «Дни Турбиных».

Неисповедимы пути комедиантской жизни. «Кто объяснит мне, почему пьесу, которую нельзя было играть в 1664 и 1667 годах, стало возможным играть в 1669-м?»

Редактор уловил намеки, но в них не было нужды. Весь свой житейский опыт, все переживания вложил Булгаков в биографию гонимого Мольера. И говорил о нем, как мог сказать бы о самом себе: «Наш герой чувствовал себя, как одинокий волк, ощущающий за собою дыхание резвых собак на волчьей садке».

С тех пор рукопись «Мольера» лежала почти тридцать лет и вышла в ЖЗЛ в 1962 году. Редактору попало.

Справедливости ради надо сказать, что книгу эту загубили не без колебаний, в редакции шла долгая борьба. Некий издательский партработник сказал им прямо: «Дураки вы будете, если не напечатаете. Блестящая вещь. Булгаков великолепно чувствует эпоху, эрудиция громадная, а источниками не давит, подает всё тонко».

Право же, он был совсем неглуп, этот безвестный партработник, но мнение Горького возобладало.

Странно вел себя Алексей Максимович в этом споре. Сделав всё, что мог, чтобы «Мольер» был принят МХАТом, дав восхищенный отзыв на булгаковскую пьесу, он в то же время наложил запрет на книгу о Мольере.

* * *

В тридцать втором году у Булгакова были все основания считать себя счастливым человеком. Лена была с ним, судьба его решилась, на сцене МХАТа снова стояла тень восемнадцатого года, петлюровцы гнали Николку Турбина, и мальчик-баритон пел эпиталаму. Чего ему еще?.. В Ленинграде шли репетиции «Мольера». Большой драматический театр на Фонтанке работал так успешно, что Булгаков не сомневался – ленинградцы обгонят МХАТ. Премьеру он ожидал в апреле. И вдруг...

*19. III. 1932 года
Москва*

...Театр в Ленинграде прислал мне сообщение о том, что Худполитсовет отклонил мою пьесу «Мольер». Театр освободил меня от обязательств по договору... Что же это такое?

Прежде всего это такой удар для меня, что описывать его не буду. Тяжело и долго.

На апрельскую премьеру на Фонтанке я поставил всё. Карту убили...

Не привыкать было Михаилу Афанасьевичу к таким сюрпризам, однако этот удар поразил его врасплох. «Мольера» он считал самой благополучной своей пьесой, был у него договор с авансом, пьесу утвердил Главрепертком, шли репетиции в других театрах. И вот кто-то одним ударом разрушил всё, не посчитался даже с визой Главреперткома. «К ужасу моему, виза эта действительно на всех пьесах, кроме моих».

Ужаснулся он неспроста: события в Ленинграде ставили «Мольера» под удар по всему Союзу. Кто же рискнет поставить пьесу, снятую в канун премьеры! Но важнее было узнать, кто погубил спектакль в Ленинграде.

«Приятным долгом считаю заявить, что на сей раз никаких претензий к государственным организациям иметь не могу. Виза – вот она. Государство не снимало пьесы...» Кто же снял? – Театр? «Помилуйте! За что же он 1200 рублей заплатил и гонял члена дирекции в Москву писать со мной договор?»

Булгаков терялся в догадках, звонил в Ленинград, ничего не понимал... Наконец, дознался – и не поверил своим ушам. Сорвал премьеру совершенно неожиданный персонаж! «Убило Мольера частное, неотвественное лицо... Оно явилось в театр и так испугало его, что он выронил пьесу».

Лицо это было, по слухам, известным драматургом, и Булгаков понял, что предстоит тяжелая борьба. Мало ему московских недругов, завистников, зоилов, появился у него еще один опасный враг в Ленинграде. «На Фонтанке, среди бела дня, меня ударили сзади финским ножом при молчаливо стоящей публике».

Но слухи слухами, а требовались факты. Оправясь от удара, он стал искать след ножа. «Наверно, „Вечерняя Красная“ Там, возможно, найдется кровавый след убийства». И правда, вскоре друг прислал ему вырезку из ленинградской «Красной газеты», вечерний выпуск:

КТО ЖЕ ВЫ?

Большой драматический театр принял к постановке пьесы «Мольер» Булгакова и «Завтра» Равича.

Идейно-творческая позиция Булгакова известна по «Дням Турбиных» и «Дьяволиаде». Может быть, в «Моль-

ере» Булгаков сделал шаг в сторону перестройки? Нет, это пьеса о трагической судьбе французского придворного драматурга (1622 – 1673 гг.) Актуально для 1932 г.!.. Зачем тратит силы, время на драму о Мольере, когда к вашим услугам подлинный Мольер? Или Булгаков перерос Мольера и дал новые качества? По-марксистски вскрыл «сплетеня давних времен»?

Ответьте, товарищи из ГБДТ.

Пьеса дезориентирует!

Всеволод Вишневский

Горькое удовольствие взглянуть подколовшему в лицо. Сколько раз испытал его Булгаков! На этот раз личность атаковавшего была ему знакома. Михаил Афанасьевич встречался с ней на репетициях во МХАТе. «Внешне открытое лицо, работает „под братишку“, сейчас курсирует по Москве».

Итак, пьесу «Мольер», готовую к премьере, загубил в Ленинграде частный персонаж. А бедный автор не мог даже крикнуть, защитить свое дитя. С Главреперткомом он еще мог поспорить, а что ты сделаешь с клеветником, пиратом? Удар, один, другой, и автор падает на мостовую.

«Сейчас ко мне наклонились два-три сочувствующих лица. Видят, плывет гражданин в своей крови. Говорят: «Кричи!» Кричать лежа считаю неудобным. Не драматургическое это дело!» И он лежал и думал: не погубил бы этот флибустьер «Дни Турбиных», последнюю его надежду. Вишневский был единственным, кто отмечал в печати возобновление спектакля МХАТом: «Все смотрят пьесу, покачивая головами, – писал он, – и вспоминают рамзинское дело».

Это было опасно: инженер Рамзин, обвиненный во вредительстве и саботаже, был незадолго до этого осужден как «враг народа», и Вишневский неспроста пытался увязать его процесс с мхатовским спектаклем о белых офицерах. «Индивид делает первые робкие шаги к снятию декораций моих со сцены», – определил Булгаков.

Но посмотрите, как они действуют, какие неотразимые приемы! Цензор Блюм сравнил «Дни Турбиных» с правым уклоном в партии большевиков, газеты клянут пьесу за апологию белогвардейцев, а Вишневский, зайдя со спины, бьет драматурга делом Рамзина, который, кстати, был повинен не больше, чем Булгаков.

Ах, эти доморощенные Сальери! «Только в тифозном бреде можно соединить персонажи „Турбиных“ с рамзинским делом», – негодовал Булгаков. Но то был не бред. Слишком хорошо он знал повадки этих индивидов: не мытьем, так катаньем, не талантом, так доносом.

Тревожно билось сердце драматурга. «Чёрт с ним, с флибустьером, но ведь такие плавают везде». Так что же будет с его пьесой о Мольере вне Москвы? Бессилие порою угнетало его больше, чем клевета. «Одно мне хочется сказать: в последний год на поле отечественной драматургии вырос в виде Вишневого такой цветок, которого даже такой ботаник, как я, не видел...» Да, разные мерцали звезды на небосклоне нашего искусства. Слава об армейском драматурге пережила его ходульные творения, и еще долго в Москве рассказывали, как, приступая к чтению пьесы на труппе какого-нибудь театра, Вишевский выкладывал рядом с рукописью свой пистолет*.

И все-таки не всё тут было ясно: откуда в Вишевском эта злость, стремленье уничтожить, сжечь на корню булгаковского «Мольера»?

Все стало на свои места, когда открылся простейший факт: собственная его пьеса лежала в это время в театре на Фонтанке, и он усердно расчищал для нее дорогу. Вполне театральный человек был этот Всеволод Вишевский.

Но в Лету его, в Лету! Не помянул бы я единым словом этого «братишку», если б не оставил он широкий шрам на теле моего героя.

...Я вглядываюсь в лицо Мастера: как он, не пал ли духом после всех этих наскоков, ножевых ударов, жив ли?.. Жив, жив еще, еще он повоюет, но вот уже морщины прорезали его чело, набрякли веки, глаза как у затравленного волка, и эта складка невеселая у губ. Ему ведь только сорок лет, он только начал – и вот уж чудится конец. «Судьба берет меня за горло».

Что ждет его там, впереди, за горизонтом? Лучше не гадать. Бессонница и головная боль совсем замучили его, и думы, ох, эти думы. «Теперь всякую ночь я смотрю не вперед, а назад,

* Действительность превосходила робкую молву. В те дни некто Вендровский, научный сотрудник Института экспериментальной биологии на Воронцовом поле, вызывал в свой кабинет сослуживцев и, положив на стол наган, начинал беседу: «А вы знаете, коллега, как выглядит внутренняя тюрьма НКВД?»

потому что в будущем для себя ничего не вижу». Кругом обложен и, похоже, кроме инсценировок, ему не осталось ничего. «Какой блистательный финал моей литературной работы...»

Устал Михаил Афанасьевич, по всему видно, устал, да и то сказать, даже в этот счастливый год жизнь поднесла ему горькие сюрпризы. Вот и редакция ЖЗЛ вернула рукопись «Мольера» с окончательным отказом... Да и с квартирой у него неладно, очень мешает жить застройщик, грозя выселением, судом. Ленинградский срыв «Мольера» умертвил его надежду вступить этим летом в жилкооператив. А уехать надо, необходимо, иначе он погиб. «В моей яме живет скверная компания: бронхит, ревматизм и черная дамочка – Нейрастения. Их выселить нельзя – дудки! От них нужно уехать самому. Куда? Куда?!»

Булгаков бедствовал, Булгаков тосковал. Отчаяние сменялось апатией, полным безразличием к работе, к Театру, к собственной его судьбе. «Пойдет „Мольер“ во МХАТе – хорошо, не пойдет – не надо». Сколько вложил он в книгу о французе, спешил закончить ее летом, в жару, в Москве, но вот отказ, и снова он прикрывает душу от удара. «Я в полной мере равнодушен к тому, чтобы украсить своей обложкой витрину магазина...» Полноте, дорогой писатель, так ли равнодушен? Ах, милый, милый Михаил Афанасьевич, давно ли так безучастны вы к вашей славе, давно ль приелся вам успех? Я думаю, что в эти дни вы просто не могли иначе. Так всё получалось... «А впрочем, все равно. Все равно. И все равно!»

Я свою писательскую задачу в условиях невероятной трудности старался выполнить, как должно... По ночам я мучительно напрягаю голову, выдумывая средства к спасению. Но ничего не видно. Кому бы, думаю, еще написать заявление?..

Давно уж не был он так пасмурен, тревожен, давно не сидел за свой стол. А пора. «Ох, много у меня работы, много. Но в голове бродит моя Маргарита, Кот и город Ирушалаим». Он сидел на старом потертом диване, среди старых, верных вещей, был шестой час утра, из парка с грохотом выкатывали первые трамваи и, спускаясь вниз по Пироговке, сотрясали его угловое жилье. Светало. В окне появились знакомые приметы – кепка, платок, платок, кепка... Жизнь продолжалась, и ветер шевелил юную листву у кожной клиники напротив его дома.

Елена Сергеевна и Сережа мирно спали, а он сидел и думал: куда они денутся в июле, когда кончится контракт?

Но Бог не без милости, казак не без счастья. В феврале тридцать четвертого года Булгаковы получили жилье в надстройке писательского дома в Нащокинском переулке (который вскоре стал улицей Фурманова). В день переезда у Елены Сергеевны было воспаление легких, озноб, высокая температура, и все-таки он усадил ее в такси.

Квартира, квартира, магическое слово о жилье!

Наконец у них свой дом. Он был ее третьим мужем, она – его третьей женой. И началась у них настоящая семейная жизнь.

За что я тебя уважаю, крошка, это за то, что ты никогда не приходишь в тот час, который сама назначаешь. Это вносит в серую, монотонную жизнь разнообразие.

Беспредельно любящий тебя М.

Будь так добра, закажи непременно порошки от головной боли.

* * *

ДОВЕРЕННОСТЬ

14 марта 1933 года

Настоящим доверяю жене моей Елене Сергеевне Булгаковой производить заключение и подписание договоров с театрами и издательствами на постановки и печатание моих произведений...

* * *

7. VII. 1933

Письмо прошу вернуть

Люс!

Прости меня, за то, что я оскорбил тебя утром. Видишь ли, я считал тебя в наших отношениях девчонкой. И не заметил, как обидел солидную даму.

Прости меня, я все время видел в тебе девочку, но теперь понял – я унижал тебя. Не бойся. Я больше не буду.

А. Турбин

* *
*

Мыся, вчера ночью, пока ты спала, я своими руками
испек этот кулич тебе.

21. V. 34

Гиацинт

* *
*

Этот куриный просовар меня раздражает! Своим
диким голосом. Залей его кофеем.

* *
*

Мыся!

Никогда еще не ел такой прелести. Спасибо тебе за
замечательный ужин.

Твой любящий

В ночь с 3 на 4-е ноября 1936 г.

* *
*

Уважаемая мадам,

Ваш драгоценный отпрыск здоров. Ни одному боль-
ному не удалось бы так ловко изгадить масляной крас-
кой не только подушку на кровати, но даже собственный
зад.

Перестаньте же морить мальчика и выпустите его на
солнце, если температура у него нормальная (я не ме-
рил).

С почтением,

Монтозье

* *
*

Сергей! Я маме ничего не говорил. Спицы не бери в
школу. Драки чтобы не было!

ДяМи

Прятели Булгакова не очень радовались этой перемене в
его жизни, и многие совсем не признавали его новую жену.

Ермолинский пришел к нему настороженный. «Всё сияло чистотой только что устроенной, еще не до конца обжитой квартиры. Из кухни высунулась домработница и тотчас же получила деловое и беспрекословное распоряжение хозяйки... Она держалась непринужденно, но я видел, что она напряжена не меньше, чем я. Со всею искренностью она хотела расположить к себе тех из немногих его друзей, которые сохранились от его прежней жизни». И это, добавлю я, ей блестяще удалось, приятели видели, как сразу изменился Михаил Булгаков. «Словно дела его круто повернулись в лучшую сторону, ушли опасности, угрозы...» На самом деле всё это осталось. Булгаков продолжал коснеть в опале, но у него появился настоящий дом, очаг, где он всегда мог отогреть свою душу. «Дом их, словно назло всем враждебным силам, сиял счастьем. А были, пожалуй, одни лишь долги. Хозяйка была энергична и безудержно легкомысленна». И жизнь не казалась ему больше столь трагичной, револьвер его лежал на дне Патриаршего пруда.

«Против меня был целый мир, и я один, – сказал он Елене Сергеевне. – Теперь мы вместе, и мне ничего не страшно». Кризис личный, последний в его жизни, миновал, и он жил, работал, надеясь на лучшие времена.

В эти годы он написал пьесы «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич», «Пушкин», работал в театре ассистентом режиссера и простым актером и непрестанно возвращался к «Мастеру и Маргарите». Драматург, писатель Михаил Булгаков, вычеркнутый из советской жизни, в русской литературе продолжал существовать.

Впрочем, чего у нас не бывало. В конце того шумного 1932 года, после всех наветов и ударов, Булгаков вдруг получил телеграмму из Ашхабада: «Прошу разрешение постановку Дни Турбиных. Вышлите экземпляр пьесы. Гаврилов». Повертев в руках бумажку, Михаил Афанасьевич задумчиво произнес:

- Пьют, наверно, вторую неделю.
- А может, послать?
- Ты с ума сошла.

Через неделю снова телеграмма. Елена Сергеевна не выдержала:

– Я пошлю ответ – пусть пришлют две тысячи за право постановки. А вдруг...

– Можешь просить хоть двадцать две, они все равно прочитать не сумеют, голубчики.

Пришли две тысячи, и Елена Сергеевна отослала пьесу.

– Ну, ясно, заметут их. Эх, втянула ты меня в историю.

Через несколько месяцев опять телеграмма: режиссер Гаврилов приглашал их на премьеру «Дней Турбиных». Потом приехал сам и рассказал: спектакль шел тринадцать раз, состав хороший, успех, в газете яростная статья, вскоре вызвали его в ответственное место. Шел, говорит, трясся. «У вас, – спрашивают, – идет булгаковская пьеса?» Он задрожал. «Так вот, мы хотим ее посмотреть, нас двенадцать товарищей». Ожил. Тем не менее, пьесу сняли.

* * *

...Временами он глух, терял чувство языка. Повесть свою – от усталости, что ли? – назвал «Яйца профессора Персикова». И не сам, а только когда Коля Гладыревский, старый приятель, заметил, что звучит это не совсем прилично, сменил на «Роковые яйца», опять же не почуяв, как двусмыслен этот новый заголовок.

* * *

Всезнающий Виктор Борисович Шкловский пытался убедить меня, что «Роковые яйца» – вещь не самостоятельная, поскольку тематически связана с «Пищей богов» Франса. Попутно он охаял «12 стульев», обьявив их подражанием «13 Наполеонам» Конан-Дойля. Я сильно усомнился, что такой метод помогает понять истоки литературных замыслов. Этак можно и Лескова с Тургеневым к эпигонам причислить, они ведь даже в названиях не скрывали источников: «Леди Макбет Мценского уезда», «Гамлет Щигровского уезда»... Да разве в этом дело? Я чуть было не спросил Виктора Борисовича, почему он, знаток литературы, не написал ни одной «вечной»

книги, позаимствовав у классика надежный сюжет, да вовремя удержал язык.

Виктор Борисович мудрил неспроста. Любовь Белозерская сказала: «Я только один раз видела, как Михаил Афанасьевич побледнел – это было, когда он прочел в книжке Шкловского: „У ковра, как всегда, Булгаков“». Шкловский метил ударить побольнее, и угодил без промашки – у ковра, значит, клоун, циркач. Булгаков, слышавший много сильных выражений, прочитав, сказал: «Меня никто еще так не оскорблял».

Целый час Виктор Шкловский избегал говорить на заданную тему; истощая мое терпение, он рассказывал об Илье Ильфе, потом о Евгении Петрове. Но когда почувствовал приближение роковой минуты, разом отсек: «Сеанс окончен!» И я ушел, так и не услышав честного признания.

* *
*

У Белозерской коты, много котов. Одного зовут Тире. Это самый любимый кот, и он где-то загулял. «Тире, Тире!» – кричит она в форточку, из которой валит морозный пар, а я смотрю на худые, дрожащие ноги с острыми лодыжками и думаю: «Неужели эту женщину любил Булгаков? Целых семь лет!»

Любовь Белозерская вернулась из эмиграции в Москву в начале 1924 года. И почти сразу встретила свою судьбу. В особняке в Денежном переулке была встреча с писателями, она пошла. Выступал Булгаков, чьи фельетоны она читала еще в Берлине в русской газете «Накануне». Разговорились. «Передо мной стоял человек лет 30-32-х... Черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны... Но лицо в общем привлекательное».

Булгаков был в то время целиком захвачен мыслями о Белой гвардии, думал о гибели дворянства. И вот перед ним среди толпы, в двусветном зале старинного особняка, стояла юная аристократка, отпрыск стариннейшего рода. Он пригляделся. Круглое лицо, нос чуть вздернут – нет, внешность ничуть не выдает ее породу. Вот разве эта белизна, лоб так открыт и светел, а глаза черны и так внимательны, печальны. Он еще не знал истории Любаши, прошедшей с Белой армией

весь скорбный путь. Но что-то влекло его к этой женщине, он сам еще не отдавал себе отчета – что? Расстались они почти равнодушно. Булгаков был еще крепко связан с Таней Лаппа, и жили они вместе уже десять лет, а Белозерская в то время разводилась с мужем и снова замуж не собиралась.

Случай свел их вновь. Любаша встретила его в одном из пречистенских переулков. «Он шел и чему-то улыбался. Я сказала ему о перемене адреса и изменении в моей жизни».

Март был на исходе, солнце пригревало мостовую. Они стали встречаться каждый день.

Любаша была сосредоточенна, умна, умела хорошо одеться, из Берлина она привезла ворох модных платьев и умение водить машину. К тому же, она свободно говорила по-французски и ловко гарцевала на коне. В жокейском клубе на Поварской она была одной из лучших амазонок. Но прежде всего была она молода и впрямь хороша собой. Темные волосы, черные глаза... Ох, чую, не уйти ему от этих глаз. На Тане он женился совсем юным, и была она гораздо старше. Булгаков смолоду нуждался в присмотре, заботе, ласковом вниманьи.

Но что же это будет, будет-то что?

Вот они ходят по Пречистенке, по тихим остоженским переулкам. Май уже в городе, на бульварах сплетенье сумерек и голубой прохлады, а они всё ходят, ходят. Куда-то он ведет ее, о чем-то оживленно говорит. Любаша слушает и медленно шагает рядом. Вот они вышли к Никитским воротам, аптека справа, на углу высокий дом, они свернули влево и пошли наверх по Малой Бронной. «Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах». И впрямь, лучшего места, чем эти пруды, в центре Москвы не сыщешь. Булгаков жил тогда неподалеку, на Большой Садовой, дом № 10. Одна задушевная беседа изменила их судьбу. «Мы решили пожениться».

– Легко сказать жениться, – восклицает юная москвичка. – А где жить?

Исторический вопрос.

Но я-то думаю: а как же Тася? Как быть с Татьяной? Все эти годы они были неразлучны. Тася провела с ним зиму в заброшенной смоленской деревушке, где, юный доктор, он принял тысячи больных. Там она свалилась с воспалением легких, и он ходил от дома к дому, от избы к избе, выпрашивая для нее полфунта масла, да так и не допросился... И этот морфий, целый год сжигавший его душу. Доктор, он сам выписывал

рецепты на чужие имена и гонял Татьяну по аптекам. Она спасла его тогда, силой отнимала шприц, обманув, вводила дистиллированную воду. Однажды он целился в нее из револьвера, швырнул в нее горящий примус. Как он благодарил ее потом! Была она и нянька, и прислуга. Когда он делал ампутацию ноги, она эту ногу держала... Татьяна прошла с ним в Киеве через петлюровщину и гайдамаков, мытарилась в голодных странствиях по югу – Владикавказ, Тифлис, Батум, где только они не побывали в поисках крова и пропитанья. Булгаков без нее ни шагу. Сначала кинется в пространство сам и, осев, тут же зовет к себе Татьяну. «Ну и судьба. Ну, и судьба!» – писал он в двадцать первом году. Надежда Мандельштам встретила его тогда с мешком за плечами на батумской баракхолке. Булгаков продавал там керосинку.

Отсюда он собирался с Тасей убежать в Париж, к братьям, да свалился с тифом. Едва выходила его Татьяна, но бежать уж было поздно.

А здесь, в Москве, как мыкались они, скитались по общежитиям, конуркам, хлеб черный стоил пять тысяч фунт, белый – четырнадцать тысяч, счет шел на миллионы, а у него ни денег, ни работы. В ветхом драповом пальтишке, боком вперед, чтобы меньше продувало, он бегал в распавшихся пимах в поисках любого места. «Таськина помощь для меня не поддается учету, она спасает мне массу энергии и сил, кормя меня и оставляя мне лишь то, что уж сама не может делать: колку дров по вечерам и таскание картошки по утрам». А работы всё нет и нет. «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем». Как выручала его Таня, каждый день таская на Смоленский рынок остатки своего добра: «А вот кому хороших занавесок...» Я, как впервые, слежу за ходом этой драмы: неужели он ее оставит? Одну во всей Москве?! Да ведь на ней и туфли целой нет!

И все же он ушел, любя и помня всё, оставил Тасю. Тут загадки нет, жена его была проста, как говорят, некомильфотна, и для нее не находилось места в его новых планах. Булгаков шел уверенно наверх, писал роман, входил в московскую элиту, и с Любашей, ему казалось, будет легче появляться, принимать людей, вести борьбу за место в жизни. «В числе погибших быть не желаю!»

Жестоко это? Не берусь сказать, жизнь всегда была к нему сурова, и, зная ее всю, до гроба в Фурмановском переулке

ке, я вижу, как он бился, какую цену он платил за каждую строку, за шаг к успеху. Забудем это, не нам его судить.

Итак, Булгаков женился на Любаше Белозерской. Любил ли он ее? Что за вопрос! Раз женился, значит любил... Всё это так, семь лет с весов не сбросишь. Но есть весы другие, не календарь, не годы, а сама любовь. Я слушаю Любовь Евгеньевну с волнением: скажет, проговорится, выдаст себя чем-нибудь?.. Нет, нет, всё шло молодо и гладко, встречи, пикники и вечеринки. «Во всех наших кувырколлегиях Михаил Афанасьевич ни при чем, – чеканит она. – Его увели, поставили перед необходимостью уйти». И я верю, должен верить этой женщине. Роман «Белая гвардия», первую большую книгу, Булгаков посвятил Любаше, повесть «Собачье сердце» – тоже ей, и пьесу о Мольере... Была любовь, что говорить, была. Но вот она вдруг рассказала, как он привез девицу из Ленинграда и держал ее в кабинете... «Это был зигзаг», – улыбается она. Однако с Еленой он таких зигзагов себе не позволял.

Впрочем, это началось позднее, а что было вначале, кого любил он, женившись на Белозерской? Мучает меня один секрет: уйдя к Любаше, Булгаков часто возвращался к Тане, оставался у нее и снова уходил, пока она, измученная, не бросила свою комнатуху на Садовой и не уехала к родным на Волгу. Так почему же он женился на Любаше?

Спрашиваю Елену Андреевну Земскую, племянницу Булгакова: почему? Молчит Земская, не знает или не хочет выдавать семейного секрета. А я всё больше сомневаюсь... «Бывали у них актеры, веселье, шум, – говорит Земская. – Ему работать надо, просит потише, а она в ответ: – Мака, ты же не Достоевский...» Нет, не верю я в эту любовь.

В своих воспоминаниях Белозерская приводит несколько писем, полученных от Булгакова в тридцатом году. «17 июля. Крым. Мисхор. Пансионат „Магнолия“. Дорогая Любинька, устроился хорошо... Жаль, что не было возможности мне взять тебя (совесть грызет, что я один под солнцем)... Целую. Мак». Но погодите, погодите, адрес этот я где-то уже видел, не он ли стоит на телеграмме, посланной в те дни Елене Шиловской... Да, да, Мисхор, пансионат «Магнолия»... Читаю и глазам не верю, ведь вот она передо мной, та телеграмма.

УБЕЖДЕН ВАШЕ ВЕДОМСТВО МОЖЕТ СРОЧНО
ПРИБРЕСТИ МОСКВЕ КУРБЮРО ПУТЕВКУ ЮЖНЫЙ
БЕРЕГ КРЫМА. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЕ
ПРИ ВЕСКОМ ДОКУМЕНТЕ ВЕДОМСТВА ПОЛАГАЮ
НАЙДЕТЕ МЕСТО ОДНОМ ИЗ ПАНСИОНАТОВ ПРОТЯ-
ЖЕНИИ МИСХОР ЯЛТА КАК ЗДОРОВЬЕ ПРИВЕТ
ВАШЕМУ СЕМЕЙСТВУ... БУЛГАКОВ

Что делать, я бы охотно уничтожил, сжег эту окаянную бумажку, но ведь телеграммы тоже не горят!

Да, так это было, тут не убавить, не прибавить. Кого же он все-таки любил, Любашу или Елену? Позвольте мне быть предельно откровенным. Раздвоением души Булгаков не страдал и, мучась, мечась между этими двумя, как тогда с Татьяной, выше всего ценил себя. Литература – другое дело, здесь он был жертвенно тверд и неподкупен, а с женщиной, женой мог быть двоедушен, замкнут, иногда мог обмануть. И обманув, тут же раскаяться, загоревать.

Не раз поганой ложью
Я пачкал уста...

– сорвалось у него с пера в декабре 1930 года, на пороге разрыва с Любой. В тот год у Булгакова было много причин написать эти печальные строки. Но написав, он строки эти поспешил вычеркнуть, смыть.

«Наискрытнейший был человек», – говорит Белозерская об ушедшем муже. Впрочем, не думаю, что это новое увлечение Булгакова было для нее сюрпризом, помнится, он посылал ей телеграмму, спрашивал о здоровье Люсетты. Какой уж тут секрет. Но, как все доверчивые жены, Любаша не подозревала, как искренно и глубоко любил он ту женщину в Ржевском переулке. Любаше виделся очередной зигзаг, и только. На этот раз она ошиблась.

О, хитрости любви, секреты, недомолвки. Любовь Евгеньевна Белозерская свято верила, что муж ее впервые увидел Елену в конце двадцать девятого, а то и в тридцатом году, в тот роковой вечер, когда они были в гостях у приятеля-моск-

вича в Гнездниковском переулке. «За столом сидела хорошо причесанная интересная дама – Елена Сергеевна Нюренберг, по мужу Шиловская». А в это время их роман уже достиг кульминации и, развиваясь по правилам трехактной драмы, шел к счастливейшей развязке. Интересная дама уже стала тайною женою Мастера, и в Гнездниковский они приходили по предварительному уговору, чтобы до времени не разглашать своей любви.

Уж если хотите, я раскрою вам секрет: впервые Булгаков увидал Елену Сергеевну в конце двадцать шестого года на спектакле «Дни Турбиных» в фойе Художественного театра. И остался к ней совершенно равнодушен. Впрочем, и она не загорелась страстью. Автор «Дьяволиады», гротеска на новую Москву, столь поразившего ее за год до этой встречи, показался ей молчалив, рассеян и, похоже, куда-то торопился. Спешила и Елена. Молодая мать, она кормила тогда годовалого Сережу и спектакль смотрела в два приема: один вечер первые два акта, на следующий день – конец.

Так вот, встретились они два с лишним года спустя после того кормления в доме военного человека А. И. Троицкого и тут, в последних числах февраля двадцать девятого года... Нет, и тогда у Троицких они еще не знали, не ведали своей судьбы, лишь пригляделись чуть внимательней друг к другу и разошлись. Не наступила еще их пора.

Так прошла зима, а в мае... «Я шла по Гнездниковскому переулку, в руках у меня были цветы, и чувствую вдруг кто-то долго смотрит на меня... Оглянулась...» И увидела его. Вот тут всё и началось.

Три месяца спустя Елена Сергеевна уехала в Эссентуки, на воды, и Булгаков почти каждый день отправлял ей длинные послания. Смысл их был таков, что перед возвращением домой все эти письма пришлось ей сжечь. Она лечилась, а Булгаков тревожился и тосковал, и временами, садясь за стол, работая над новой вещью, он обращался к ней в эпистолярной форме. Что-то он писал тогда особое, о жизни, о себе. В одном из писем он обронил: «Я приготовил Вам подарок...»

Она вернулась, встретила его, и он протянул ей толстую тетрадь, густо исписанную ровным почерком с резким нажимом. На обложке она прочла: «Письма к тайному другу». То было начало нового романа о всех перипетиях булгаковской

судьбы в Москве. После той разлуки они встречались часто, и ничто уже не могло их остановить*.

Осенью 1929 года они, не обмолвясь, перешли на «ты».

Немые свидетели их сближения – рукописи булгаковских пьес и романов. Устав писать, он часто диктовал жене Любаше готовые страницы, диктуя, правил, снова диктовал... В 1929 году рука Елены Сергеевны твердо вытеснила почерк Белозерской. А в декабре того же года, по просьбе Булгакова, она перевезла на Пироговку свой ундервуд, и вместе они перепечатывали только что законченную пьесу о Мольере. Любовь Евгеньевна продолжала жить в той же квартире, слышала сухую дробь машинки за стеною, паузы, мучительную тишину... С той поры почерк ее навсегда исчез из булгаковских бумаг.

– Нет, я не виню его ни в чем...

– Но ведь он ушел от вас?

– Нет, его увели... Когда я вспоминаю его жалкое, бледное лицо во время нашего расставания, глаза, полные слез... Нет, нет, он здесь ни при чем.

Всё может понять женщина и даже всё простить, но понять, почему оставил ее Булгаков, да еще простить его – этого Любовь Евгеньевна никак не может. Говорит «не виню», а глаза темные, сорок лет не выветрились из них ни обиды, ни злой гордыни.

В Киеве приятель спросил его о Любаше: как разошлись? «Не спрашивай, – отрезал он. – Это мое больное место».

Месяца не прошло после переезда на новую квартиру, Булгаков пишет другу: «Пироговскую я уже забыл. Верный знак, что жилось там неладно».

Пожалуй, лучше всех определила состояние Булгакова в ту пору сестра его Надежда: «Это была для него проблема нравственная. Не любовь».

Татьяну Николаевну Лаппа я не рискнул просить о встрече. Жила она далеко на юге, но не расстояние меня смущало,

* Восемь лет спустя, в начале 1937 года, Булгаков широко использовал эти наброски, работая над автобиографическим романом. «Так вот, – отмечала Елена Сергеевна, – теперь тетрадь извлечена, и М. А. пишет с увлечением эту вещь». Так появились «Записки покойника», переименованные четверть века спустя в «Театральный роман».

уж очень круто обошелся с ней Михаил Афанасьевич, и она, мне говорили, не хотела вспоминать. Ни в дни успеха, ни в годы забвения, ни потом, когда слава и шум снова окутали имя Булгакова, никогда не слышали мы от нее ни слова. Никогда.

* *
*

В чем только не обвиняли Булгакова – и антисоветчик, и белогвардеец, и внутренний эмигрант. Называли его и новобуржуазным отродьем, а из Литературной энциклопедии (1930) я узнал, что Булгаков реакционер и примирился с советской властью «через жестокое поражение своего класса». Наиболее мягкое определение – «политический недотёпа» – дал политически дотёпанный нарком Луначарский.

Самое интересное заключается в том, что автор «Белой гвардии» был разночинец, врач и никакого отношения к привилегированному классу не имел. «Потомственный гражданин» – назвал он себя в мхатовской анкете. Отец его был профессор истории западных религий в Киевской духовной академии, имел чин статского советника, который мог получить и не дворянин, а дед писателя по материнской линии был священником, протоиереем. Вот и вся родословная «белогвардейца».

Но по странной прихоти судьбы все три жены Булгакова – Татьяна Лаппа, Любовь Белозерская и Елена Нюрнберг – происходили из дворян.

Парадоксов в его жизни было много. Столь настрадавшись от цензуры, всяческих ЛИТО и реперткомов, запретивших всё, решительно всё, что он написал, Булгаков начал свою жизнь в Москве с должности секретаря ЛИТО при Главполитпросвете, то есть работал в самом пекле политической цензуры.

...Чекист Бабель, цензор Булгаков, комиссар Фурманов... Сколь необычен путь писателя в эпоху социальных революций.

* *
*

Белозерская вспоминала: «Он приносил из „Гудка“ массу рабкоровских писем в чемоданчике, который мы называли „ще-

нок“, садился и тут же, просмотрев несколько писем, начинал писать фельетон...»

Как удивительны порой писательские судьбы. Если вы прочтете ту изумительную чепуху, которую Булгаков печатал в транспортном листке «Гудок», вы навсегда лишитесь способности понять, как мог всё тот же человек написать «Белую гвардию», «Зойкину квартиру», «Бег».

– Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил, – признавался сам Булгаков в «Письмах к тайному другу».

Впрочем, были там и другие – Ильф, Катаев, Юрий Олеша... Помню, зимний вечер, стою на Пятницкой с одним знакомым, и вдруг он низко, почти в пояс, кому-то кланяется, и тут же из-за спины моей выскакивает и словно летит над землей старик, маленький, почти воздушный, в пальто-крылатке. И друг мой, глядя вслед, восхищенно говорит: Олеша... А я жалею, что не успел взглянуться в это строгое и чем-то недовольное лицо. Я часто вспоминал его потом. Боже, как прав Олеша: ужасен страх писателя перед строкою, перед чистым листом бумаги...

* * *

Были они друзьями, Булгаков звал его Малыш. «Не пейте водки, Юра», – говорил он часто, чаще, чем хотел бы. А Юра разыгрывал его нещадно, посылая после звонка Сталина «вызовы в ЦК» – «Не сердитесь, Мишунчик, Вы хороший юморист... Целую. Ваш Олеша»... Странное дело, удивительное дело, всех вспомнил Олеша в книге «Ни дня без строчки» – Гейне, Мусоргского и Шопена, Лидию Сейфуллину, артиста Мартинсона... Кондитерскую Исаевича! О Булгакове – ни слова! Или, может, опять всё тот же Шкловский, редактировавший рукопись Олеша?.. Не знаю, Олеша уже не было в живых, когда я пришел в Лаврушинский, в его квартиру.

Как трудно далась она ему. Олеша был бездомен, годами жил на постое у чужих. Вдова его, Ольга Густавовна, говорила мне, что в Москве они сменили шестнадцать мест. «Случалось, мы оставались совсем без крова. Однажды Юрий ждал меня на бульваре у старого памятника Гоголю. Весна была в Москве, а я ходила по знакомым в поисках жилья. Прихожу, он спрашивает:

- Ну, что у тебя хорошего?
- Что у меня, ничего...
- А у меня вот деревья расцвели».

Девичья фамилия Ольги Густавовны – Суок. И по дороге к ней я вспоминал куклу-балерину из «Трех толстяков». Балерине было далеко за шестьдесят, и жизнь ее с Олешей была совсем несладкой. «Деньги, все, что он приносил, мы делили пополам, из одной половины я должна была выкроить на жизнь, уплатить долги, а другую отдавала ему – и эта половина мгновенно растекалась». Гулял Олеша на радостях и на печалях. Когда «Лавку метафор» отвергли все журналы, сник совсем. «Если это не берут, то не берут, что же мне писать?» И пил, бродяжил. «Я путник, я люблю дорогу, не люблю квартиру, я не хочу знать, где я умру, не хочу думать, что вот эта шуба на всю жизнь, кровать на всю жизнь».

– Где ты прячешь свои метафоры? – спрашивал Катаев, озираясь в маленькой комнатушке, где стоял Олешин стол.

Виктора Шкловского, успешливого свояка, он не любил. Ольга Густавовна порой пыталась затащить его в ту благополучную семью. – Нет, нет, – отбивался Юрий, – там надо говорить про умное, не хочу. «Мы ходили туда пешком с Лаврушинского до Аэропорта, иногда он убегал с полдороги, и лишь когда я соглашалась зайти в два гастронома, около „Ударника“ и напротив Телеграфа, где было разливное, только тогда он уступал».

Далеко от Лаврушинского, на юго-западе Москвы, нашел я Ивана Семеновича Овчинникова, который заведовал когда-то бытовой «четвертой полосой» в транспортной газете «Гудок». Олеша кормился тут, печатая плохие фельетоны, пока писал «Трех толстяков», а за стеной добывали свой хлеб Булгаков, Славин и Катаев.

Работа начиналась в девять утра, однако Олеше, популярному «Зубилу», разрешено было являться к двенадцати или когда угодно. Приходил он с опозданием и всегда навеселе. «Заметив это, – говорил Овчинников, – мы брали его под руки и ставили на стол, начинался сеанс импровизаций».

Олеше задавали темы, и на любую он тут же отвечал экспромтом. На шум приходили другие гудковцы, и среди них Булгаков, всегда аккуратно одет, в белых отутюженных манжетах, волосы на косой пробор. Сослуживцы в прозодежде

встречают его взрывом смеха – наметилась подходящая мишень.

– Даешь! – кричат они Олеше.

– Хотите на Булгакова? Могу.

И, подойдя к краю стола, он начинает:

Булгаков Миша ждет совета...

Скажу, на сей поднявшись трон:

Приятна белая манжета,

Когда ты сам не бел нутром!

Похоже, Олеша в тот день был слишком навеселе. Булгаков отношения своего к советской власти никогда не скрывал, но тут возмутился:

По части рифмы ты, брат, дока, –

Скажу я шутки сей творцу,

Но роль доносчика Видока

Олеше явно не к лицу.

Поняв, что перехватил, Олеша поспешил исправить промах:

– О Булгакове я уже сказал однажды... Сейчас вспомню...

Твой опус, критик-заушатель,

Лишь злобной тупости пример.

Знай, «Белой гвардии» создатель

Никак не белый офицер!

Так они жили, трудились рядом, один вполголоса, другой вполпьяна.

После выхода «Дьяволиады» Булгаков пришел в «Гудок» к старым друзьям. Вся «четвертая полоса» – Олеша, Катаев, Евгений Петров – навалились на него: зачем написал сатиру на новый строй. Ильф молчал, слушал, потом вдруг воскликнул:

– Да оставьте вы Мишу! Он только недавно с освобождением крестьян примирился, а вы хотите, чтобы он советскую власть признал...

В «Гудке» у Булгакова было много псевдонимов, один из них – Геннадий Петрович Ухов, сокращенно ГеПеУхов (в те дни под псевдонимом ГПУ скрывалось КГБ).

Булгаков шутил, однако ГПУ отнеслось к нему вполне серьезно. С обыском они пришли в двадцать шестом году. Молча листали книги, переворачивали и кололи длинной спи-

цей старые кресла. Искали что-то очень устремленно. Нарушив тишину, Булгаков вдруг сказал: «Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю». Но не до смеху было, следовательно в это время уже листал его Дневник. Под утро он нашел наконец рукопись «Собачьего сердца» и тут же уехал, увозя трофеи, а Булгаков сел писать заявление в писательский союз, требовал вернуть Дневник, просил поддержку. Ответа он не получил и в знак протеста из союза вышел.

Два года спустя Горький вызволил «Собачье сердце» с Лубянки*, и автор с интересом изучал пометки тамошних литературоведов на полях своей повести. Дневник ему не вернули. С тех пор Булгаков никогда не вел записок, ни на бумаге, ни на манжетах. Дневник он поручил вести жене, а сам стал исповедываться в письмах другу своему Павлу Попову, профессору университета, надеясь так обмануть недреманое око. «Для него ужасна и непостижима мысль, что писательский дневник может быть отобран», – отметила Елена Сергеевна 1 сентября 1933 года, начиная летопись их жизни.

Актер Булгаков был настоящий, Божьей милостью актер. В Киеве, во время гастролей МХАТа, он повел артистов в Александровскую гимназию, где происходило действие «Дней Турбиных» и где была уже не гимназия, а какое-то новое учреждение. И здесь, не смущаясь присутствием совслужащих, он сыграл на ступеньках парадной лестницы весь второй акт пьесы. Играл Алексея Турбина, брата его Николку, Мышлаевского, потом показал, как юнкера бежали вниз на Подол.

Елена Сергеевна была с ним на гастролях, он повел ее к Андреевскому спуску, показал издали дом, где жила когда-то семья Булгаковых, но подойти не решился.

– Долго смотрел, потом сказал мне «не могу!» – и увел.

Последний раз Булгаков был в том доме в двадцать первом году, пил сладкий чай, слушал мать и спал на красном бархатном диване. Потом, приезжая в Киев, никогда не заходил, духу не хватало.

Позднее он писал: «Итак, был я на выступе в Купеческом, смотрел на огни на реке, вспоминал свою жизнь. Когда днем я шел в парках, странное чувство поразило меня. Моя земля!

* По просьбе Горького, делом этим занималась его бывшая жена Екатерина Павловна Пешкова (Красный Крест).

Грусть, сладость, тревога. Мне очень бы хотелось еще раз побывать на этой земле».

В Киеве на Владимирской горке он сфотографировался с Еленой Сергеевной: «Мы в зелени. Это зелень моей родины».

Москва Пречистенка
Малый Левшинский 4
Михаилу Булгакову

ПЯТНИЦУ УТРОМ МОЯ КОМЕДИЯ ВЫХОДИТ МАШИНКИ ДНЯМИ ЧИТКА ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАДО ПОВИДАТЬСЯ ЖДУ ОТВЕТА ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

...Вспоминаю людей, говоривших со мной о Булгакове. Старые, больные, они спешили на пороге смерти передать мне память об этом человеке. Павел Антокольский и Сергей Ермолинский, Павел Марков и Марк Прудкин, Виктор Станицын, Алексей Файко, Ольга Олеша, Любовь Белозерская и, конечно, Елена Сергеевна... Сколько вечеров провел я в ее маленькой квартире на Суворовском бульваре и всё слушал, слушал... Один только человек уклонился от встречи – Катаев. А ведь были они друзьями, первую пьесу свою «Расстратчики» не рискнул Валентин Петрович читать актерам МХАТа, просил Булгакова.

РАЗГОВОРЫ 1933 ГОДА

Звонок из «Литературной энциклопедии» в МХАТ. Женский голос: «Мы пишем статью о Булгакове, конечно, неблагоприятную. Но нам интересно знать, перестроился ли он после „Дней Турбинных“?»

Когда Булгакову об этом рассказали, он заметил:

– Жаль, что не подошел курьер, он бы ответил: так точно, перестроился вчера в 11 часов.

Вечером пришла сестра Надежда и сказала, что дальний родственник ее мужа, коммунист, сказал про Булгакова: послать бы его на три месяца на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он переродился.

Булгаков молча выслушал, потом сказал:

– Есть еще способ – кормить селедкой и не давать пить.

Горький пришел в Художественный театр читать новую свою пьесу «Достигаев и другие». Вся труппа в полном сборе ждала его в верхнем фойе и встретила аплодисментами. Актеры встали.

Горький:

– Я прямо оглох от оваций. У меня ухо теперь отзывается только на крик «ура!»

По окончании чтения оваций не было, в фойе повисла загадочная тишина.

Горький:

– Ну, говорите, в чем я виноват?

– Ни в чем не виноваты, – поспешил Немирович-Данченко. – Пьеса прекрасная, мудрая пьеса.

Москвин сказал, что Горький отменно читает и так и надо играть, как он читает.

После пьесы, наверно, в «предбаннике» – так называли в Театре приемную Немировича-Данченко, – Булгаков встретил режиссера Судакова. И тут же его окликнул знаменитый драматург Афиногенов:

– Читал ваш «Бег», мне очень нравится... Но ведь эмигранты не такие...

– Эта пьеса не об эмигрантах. Я эмиграции не знаю... Я искусственно ослеплен.

Пропустив реплику мимо ушей, Афиногенов продолжал свое. Булгаков подвел итог беседы:

– То есть другими словами, переводя наш разговор на европейский язык, вы хотите, чтобы я из Чарноты сделал сукина сына?

– Сутенер он, сутенер!! – вдруг вмешался Судаков.

Но с ним Булгаков уже не спорил.

Оля говорила, что в Театре был разговор о «Беге». Немирович сказал, что он не знает автора упрямее, чем Булгаков: «На все уговоры он будет любезно улыбаться, но ничего не сделает...»

Как много сказано о механизмах памяти, о творчестве и вдохновении – и как мало мы, в сущности, знаем о том, что происходит в голове писателя в тот сладкий миг, когда слова в конце концов ложатся на бумагу. Булгаков был с женою в Ленинграде, ходил по театрам, хлопотал о контрактах и авансах, когда роман о дьяволе вдруг властно захватил его вообра-

жение. Три года уже прошло с той бурной ночи, когда он рвал тетради, швырял их в пламя. И вот опять всё всплыло. «В меня уже вселился бес». В душном номере «Астории» он снова потянулся к листу бумаги. «Зачем? Не знаю. Я тешу сам себя!» Все черновики, наброски остались дома, в Москве. «Как же ты будешь?» – удивилась Елена Сергеевна. – «Я все помню, – отвечал Булгаков. – Они у меня в голове».

Возвратясь домой, он уже не мог остановиться, писал весь август 1933 года. В успех не верил, сдерживал себя – и продолжал работать над романом. «Пусть упадет в Лету! Впрочем, я, наверно, скоро брошу это...»

Нет, шалишь, писатель, раз взявшись за эту книгу, ты уж никогда ее не бросишь. «Я задыхаюсь в моих комнатенках», – писал Булгаков, но не выходил из дома. Из-за жары, гостей и телефона он стал работать ночью и к сентябрю залпом кончил несколько глав. А вечером 8 октября позвал Ахматову и Вересаева послушать, как они звучат. «Анна Андреевна весь вечер молчала». Много позднее, перечитывая эти главы, она скажет: «Гений, он был гений...»

Но что-то с ним случилось, бессонница и головная боль стали в те годы частью его жизни. «М. А. чувствует себя ужасно, страх смерти, одиночества», – отмечала Елена Сергеевна. Четыре дня спустя, в ночь на 12 октября, Булгаков опять бросил часть своего романа в печь. Доктор Дамир нашел у него крайнюю степень переутомления.

И все же он продолжал работать над романом, в ноябре кончил главу «Полет Маргариты», сел за пожар в квартире Берлиоза, потом стал переделывать комедию «Блаженство». В ту пору он еще не был так отрезан, отрешен. Во МХАТе шли репетиции «Мольера», временами вспоминали запрещенный «Бег», приходили и уходили гости, и непрерывно трещал телефон.

Из «Дневника» Елены Сергеевны (1933 год)

12 октября. Утром звонок: арестованы Николай Эрдман и Масс. Говорят, за какие-то сатирические басни. Миша нахмурился.

8 ноября. Было много бессонных ночей. М. А. работал над романом («Полет Маргариты»).

10 ноября. Письмо после большого перерыва от Замятина из Парижа. Его «Блоху» собираются ставить на французском языке.

17 ноября. Вечером на открытии театра Рубена Симона в новом помещении на Большой Дмитровке – «Таланты и поклонники». Свежий, молодой спектакль. Рубен принимал М. А. очаровательно. Пригласил нас на банкет после спектакля, был потом концерт. Среди номеров – Вера Духовская. «Невинное девичье лицо». Перед тем, как запеть, она по записке прочитала об угнетении артистов в прежнее время и о положении их теперь... Чей-то голос среди нас явственно произнес:

– Вот сволочь! Пришибить бы на месте!

Мороз. С трудом уговорили шофера подвезти за большие деньги и папиросы.

25 декабря. Приехал режиссер из Совкино, уговаривал написать фильм, но все время бормотал, горестно вздыхая: «Да... Ведь вы же сатирик... Я помню ваши „Рокковые яйца“... Да-а...» И качал грустно головой.

29 декабря. Сегодня впервые у нас Егоров и Рипси*, а потом и Федя (Михальский). Рипси одна из немногих, кто приветствовал наш брак.

За ужином Егоров с громадным темпераментом стал доказывать, что именно М. А. должен бороться за чистоту театральных принципов и за художественное лицо МХАТа.

– Ведь вы же привыкли голодать, чего вам бояться! – вопил он иступленно.

– Я, конечно, привык голодать, но не особенно люблю это. Так что вы уж сами боритесь.

Порой ему звонили из редакций, просили дать справку о себе или ответить на анкету о Салтыкове-Щедрине. Случалось, предлагали написать сценарий – о чем хотите, только бы было смешно. «Писать не буду, – отвечал Булгаков. – Устал и не уверен, что поставят». Вечерами он читал друзьям свежие главы из «Мастера и Маргариты».

Из «Дневника» 1934 года

23 января. Ну, и ночь была. М. А. нездоровилось. Он, лежа, диктовал мне главу из романа – пожар в Берлиозовой квартире. Диктовка закончилась во втором часу ночи. Я пошла на кухню насчет ужина. Маша стирала. Была злая, сильно рванула таз с керосинки, та полетела со стола

* Административные сотрудники МХАТа.

в угол, где стояли незакрытые бидон и четверть с керосином. Вспыхнул огонь. Я закричала: «Миша!!» Он, как был, в одной рубашке, босой примчался и застал уже кухню в огне. Эта идиотка Маша не хотела выходить из кухни, у нее в подушке были зашиты деньги!..

Я разбудила Сережу, одела его и, выставив в окно, выпрыгнула и взяла его во двор. Потом вернулась домой. М. А., стоя по щиколотки в воде, с обожженными руками и волосами, бросал на огонь всё, что мог: одеяла, подушки, всё высушенное белье. В конце концов он остановил пожар. Но был момент, когда и у него поколебалась уверенность, и он крикнул мне: **вызывай пожарных!**

Пожарные приехали, когда дело было кончено. С ними – милиция. Составили протокол. Пожарные предлагали: **давайте из шланга польем всю квартиру!** Миша, прижимая руку к груди, отказывался.

Легли в 7 утра, а в 10 надо было М. А. идти в театр.

5 февраля. Пропустила запись о падении стратостата, о гибели трех участников полета. Они поднялись на высоту 22 километра. Хоронили их очень торжественно. Сталин нес одну из урн с прахом.

7 февраля. У М. А. репетиции, то «Мольер», то «Пиквик».

13 апреля. М. А. закончил комедию «Блаженство», на которую заключен договор с Сатирой... На днях приходил кинорежиссер Пырьев с предложением делать сценарий по «Мертвым душам». М. А. согласился – будет делать летом... Фишер из Берлина прислал вырезку: «Турбиных» играли где-то под Нью-Йорком.

14 апреля. М. А. правит «Блаженство», диктует мне... Весь город говорит о челюскинцах.

Вчера пришел по делу Загорский (из Киева), внезапно почувствовал себя плохо, остался ночевать. М. А. ушел к Поповым, а мы с Загорским разговаривали до рассвета о М. А.

– Почему М. А. не принял большевизма? Сейчас нельзя стоять в стороне, писать инсценировки.

Жуховицкий (переводчик) истязал М. А., чтобы он написал декларативное заявление, что он принимает большевизм.

Есть все основания полагать, что Михаил Афанасьевич Булгаков отлично знал, что ждет его за рубежом. Любовь Белозерская, вернувшись из Берлина, говорила много об эмигрантской жизни, изредка приходили от Замятиных осторожные послания из Парижа, сам Немирович-Данченко, основатель МХАТа, мировая знаменитость, вернулся домой после неудачной попытки закрепиться в Голливуде.

Всё говорило против. Но Булгаков таил упорную надежду вырваться, уехать. Не верил он в долговечность сталинских щедрот, и, хоть шли во МХАТе «Турбины» и продолжались репетиции «Мольера», он не оставлял попыток выехать за рубеж. Важное слово сказала мне Елена Сергеевна: «Михаил Афанасьевич никак не мог смириться со своим арестантским положением». Весь Театр, самые что ни на есть второстепенные актеры побывали за границей, а он, Булгаков, на родине – в плену.

– Имею я право видеть свет? – спрашивал он жену и, получив утвердительный ответ, сядил писать очередную просьбу – Горькому, Енукидзе, самому вождю...

В конце марта тридцать четвертого года Сталин – в который раз – смотрел «Дни Турбиных» и в антракте спросил, между прочим, о Булгакове: работает ли в театре? Это Михаила Афанасьевича всегда приободряло. Спустя три недели Булгаковы подали просьбу выдать им заграничные паспорта на два месяца в Париж.

Ольга, читая заявление, раздраженно говорила:

– С какой стати Маке должны дать паспорт? Дают таким писателям, которые заведомо напишут книгу, нужную для Союза. А разве Мака показал чем-нибудь после звонка Сталина, что он изменил свои взгляды?

Ох, недаром, недаром она так говорила...

Дел за границей в это время у него не было ровно никаких, поддержать его мог только брат Николай, да и то недолго, но он настойчиво просил отпустить и для надежности опять обратился к Горькому.

«Собственно говоря, – писал Булгаков, – для моей поездки нужен был бы несколько больший срок, но я не прошу о нем, так как мне необходимо быть осенью в

МХАТ, чтобы не срывать режиссерской работы в тех пьесах, где я занят (в частности, „Мольер“).

И, чтобы ни в чем его не заподозрили, добавил:

«Я в такой мере переутомлен, что боюсь путешествовать один, почему и прошу о разрешении моей жене сопровождать меня».

Заявление он подал и с плеч гора, работать надо. В ту весну Булгаков кончил комедию «Блаженство» и читал ее актерам в театре Сатиры. Пырьев ждал его сценарий по «Мертвым душам», и он старался, не поранив, уложить пьесу в трехчасовой фильм. Потом звонок – театр Сатиры вдруг узрел в «Блаженстве» зачаток новой комедии с участием грозного царя Ивана, прибывшего к красную Москву, – над этим стоило подумать. И «Мольер» не давал ему покоя, ни одной репетиции не пропустил Булгаков. Так шло время, он работал, а события, между тем, развивались в следующем порядке.

25 апреля. Сегодня М. А. узнал, что Енукидзе наложил резолюцию на заявлении: „Направить в ЦК“.

Прекрасно! Всё идет как надо. Терпение, терпение, и мы пробьем стену. А пока – к столу. Снова приезжал Пырьев, идут репетиции «Мольера», очень огорчает Немирович: то придет, то не придет.

Устал Булгаков от этих загадочных маневров, от всей театральной мишуры. «И Немирович, и „Мольер“ – всё мне осточертело! Хочу одного, чтобы сезон закрылся». Сезон, и правда, шел к концу, но предстояло кое-что доделать.

15 мая Елена Сергеевна провожала мужа на просмотр «Мольера» – «он плохо себя чувствовал, тяжело волновался». Немирович не пришел, но домой Булгаков вернулся в счастливом возбуждении: два акта, половина пьесы, приняты без оговорок. Весь следующий день он пролежал в постели без движения. И вдруг 17 мая зазвонил у Булгаковых телефон:

– Михаил Афанасьевич? – спросил приятный баритон. – Вы подавали заявление о заграничном паспорте? Придите в иностранный отдел Исполкома, заполните анкеты – вы и ваша жена. Не забудьте фотографий!

Сомнений не было, стена качнулась, они увидят Сену и Париж! Оставались лишь мелкие формальности, детали, но не обошлось и без тревог. Заграничный паспорт, кроме длитель-

ных хлопот, стоит еще денег. Однако нужной суммы, тех двухсот рублей, что следовало уплатить за пропуск на свободу, в доме Булгакова, конечно, не нашлось. Пришлось взять займы у воспитательницы Сережи. «Лолли смоталась на такси домой, привезла деньги, на этой же машине мы – на Садово-Самотечную».

Вот и Исполком. Навстречу им с улыбкой встал из-за стола представительный мужчина, а на столе – о, чудо! – лежали две красные книжечки. Да, да, тем самые, с серпом и молотом на тоненькой обложке. Елена Сергеевна уже потянулась к сумочке, но чиновник вежливо ее остановил: паспорта дадут бесплатно. «Они выдаются по особому распоряжению, – сказал он с явным уважением. – Прошу заполнить эти анкеты внизу». Булгаков молча поклонился. «И мы понеслись вниз».

Столько лет он ждал и, наконец, свершилось, радость сменилась нервным возбуждением; сидя за анкетой, он шутил, смеялся и смешил жену. Они так увлеклись, что не заметили, как из соседней двери вышел сперва мужчина, потом дама – и подсели к ним за стол. Эти двое тоже что-то заполняли.

Когда Булгаковы поднялись наверх, сдали анкеты, чиновник паспортов не дал. «Приходите завтра». Но завтра было 18-е число, выходной, тогда работали на шестидневке. «Ну, что же, значит, послезавтра».

Домой они шли пешком по Трубному бульвару. В Москве был жаркий день, и солнце, им казалось, светило слишком ярко. «Михаил Афанасьевич смеялся, прижимал к себе мою руку и ликовал: – Значит, я не узник! Значит, увижу свет... Это – вечная ночная тема: я арестант, меня искусственно ослепили». Он и впрямь не верил, всё повторял: «Неужели не арестант?» Вдруг его кольнуло беспокойство:

– Слушай, а не эти ли типы подвели? Может быть, их подослали... А там решили, что мы радуемся, что уедем и не вернемся?

Нет, нет, отбросим эту мысль, не будем думать ни о чем худом. «Давай лучше мечтать, как мы поедем в Париж!» Дома он в тот же вечер продиктовал ей первую главу из путевых заметок.

19 мая. Ответ переложили на завтра.

23 мая. Ответ переложили на послезавтра.

25 мая. Опять нет паспортов. М. А. чувствует себя отвратительно.

1 июня. Секретарша Енукидзе говорила, что она точно знает, что мы получили паспорта...

*Получили паспорта и уехали Пильняк с женой.
Все дела из рук валяются.*

А жизнь входила в наезженную колею и налагала новые заботы. Вот забежал взволнованный Тренев, собрат по цеху драматургов, советовал подать скорей анкету во вновь созданный писательский союз, говорил, что многим отказали. Зашла Ахматова, приехавшая хлопотать за сосланного Мандельштама... Да, был сосед – и нету, бедствует где-то на краю земли. Нет, не так уж это плохо, если разобраться, пусть не в Париже он, но всё же дома, на своем диване. Ночами он диктовал роман.

*3 июня. Звонила насчет паспортов. Никакого толку.
На улице холодно, мокро, ветер.*

В мечтах своих он уже давно гулял по брусчатке старого Парижа. Оставался лишь последний шаг...

5 июня. Нашу фамилию поместили в список мхатовский на получение паспортов... Заказали М. А. новый костюм. Солнечный день.

Через два дня, 7 июня, их пригласили в Театр на раздачу заграничных виз. Работник МХАТа вернулся из Исполкома с целой грудой красных книжек, отметила Елена Сергеевна. «Раздал их всем, а нам, последним, – белые бумажки».

То был отказ. Все-таки он арестант.

– Мы вышли, – повествует далее Елена Сергеевна. – На улице М. А. стало плохо. Я с трудом довела его до аптеки. Ему дали капли, уложили на кушетку. Я вышла на улицу – нет ли такси. Не было, и только рядом с аптекой стояла машина, а около нее Безыменский. Ни за что!

Пошла обратно и вызвала такси по телефону.

Через четыре дня Булгаков обратился к Сталину с письмом. «Не существует ли в органах, контролирующих заграничные поездки, предположение, что я останусь за границей навсегда?» Вопрос был прям и откровенен. Однако вождь ответа не прислал. Рана понемногу затянулась, но рубец остался. «У М. А. опять страх смерти, одиночества»... Через неделю они уехали в Ленинград, подальше от столицы.

Через год Булгаков снова подал анкету на заграничный паспорт, но чем упорней он настаивал и добивался, тем тверже и безнадежнее звучал отказ. Тридцать лет спустя Елена Сергеевна совершит это путешествие на Сену, но одна.

А пока больной, задерганный Булгаков уехал отдыхать на Клязьму. «Ну, что же, это тоже река», – утешался он на подмосковной даче. И лишь временами у него срывалось:

– Париж! Памятник Мольеру... Здравствуйте, господин Мольер, я о вас и книгу и пьесу сочинил... Рим! Здравствуйте, Николай Васильевич, не сердитесь, я ваши «Мертвые души» в пьесу превратил...

То был конец. Больше Булгаков не пытался уехать из страны, где погибли все его прошлые и будущие книги и где – он это твердо знал – был обречен он сам.

П. С. Попову

Совсем недавно один близкий мне человек утешил меня предсказанием, что когда я вскоре буду умирать и позову, то никто не придет ко мне, кроме Черного Монаха. Представьте, какое совпадение. Еще до этого предсказания засел у меня в голове этот рассказ. И страшно-вато как-то все-таки, если уж никто не придет...

В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. Не будь их, не было бы разговора о Монахе, и самое солнце светило бы мне по-иному, и сочинял бы я, не шевеля беззвучно губами на рассвете в постели, а как следует быть, за письменным столом.

Павел Сергеевич Попов, конечно, знал, о чем печалится его приятель. Тот разговор со Сталиным не давал Булгакову покоя. Никак не мог он себе простить, что растерялся, ответил, что не хочет уезжать. Такая редкая удача, а он... «Проклинаю я только два припадка неожиданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти».

Сталин захватил его врасплох. Повесив трубку, он спросил жену Любашу, слышавшую весь их разговор: «Какое у тебя чувство?.. Не было ли это предложение провокацией?» Сам он в тот миг не сомневался, что Сталин умышленно навел его на откровенный разговор. И отшатнулся, оробел.

«Оправдание у меня есть: эта робость была случайна – плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы». И эта усталость, испуг от внезапного вопроса сыграли в его судьбе решающую роль. «Ничего уж не вернешь, – сокрушался пленный автор. – Оправдание есть, но утешения нет».

Нет, не Павлу Попову, профессору университета, отправлял он эти письма, а вам, читатель, мне – каждому из нас, далеких его потомков. ... Я думаю, стараюсь выярчить весь ход его душевной жизни: какие же ошибки совершил Булгаков, в чем каялся, о ком жалел?.. Тогда, в тридцатом, споря с Шиловским о тайном своем друге? Да, он сплеховал тогда, не выдержав напора, сдержанного гнева мужа, и долго мучался потом, казнил себя, считая, что навек утратил Лену. Но этот промах он исправил. А еще? С Татьяной как же? Где-то на дне его души она жила все эти годы, я не сомневаюсь, говорить о ней он не любил, но забыть... Нет, такое не забывают, даже если очень хочется забыть.

Вот три ошибки, остальных не знаю, не могу судить.

Но не все было так грустно. В Ленинград Булгаков ездил, поскольку там был на гастролях Художественный театр. И был его, Булгакова, триумф.

20 июня 1934 года «Дни Турбиных» шли в пятисотый раз. В антракте, при закрытом занавесе, режиссер Сахновский произнес короткий спич, актеры аплодировали беззвучно, чтобы не доносилось в зрительный зал, и Булгаков был среди них. Добрые слова, тепло «турбинцев» отогрели его душу. Дома он застал телеграмму: «ПРИВЕТСТВУЮ ПО СЛУЧАЮ ПЯТИСОТРАЗОВОГО ЮБИЛЕЯ ВАШЕГО ДЕТИЩА. И. ПАВЛОВ». Иван Петрович не знал, что Булгаков был тоже в Ленинграде.

Театр прислал ему благосклонное письмо: «„Дни Турбиных“ стали для нас новой „Чайкой“... Вы наш... Вы уже давно знаете и от Константина Сергеевича, и от Владимира Ивановича, что они оба считают Вас своим... Позвольте Вас обнять...» «Свой» сидел в глубоком кресле и, перечитывая длинное послание, вдруг вспомнил: Немирович прислал поздравление всем «турбинцам» и ни звуком не обмолвился об авторе пьесы. «Оригинально, оригинально, клянусь пятисотым спектаклем!»

Но пьеса шла, и он был счастлив. «Потому что на этой пьесе, как на нити, подвешена теперь вся моя жизнь».

Немирович честно признавал: «Не могу без слез смотреть сцену выноса Николки», – и уходил из зала, а Булгаков сидел в темноте партера, вспоминая мать, светлую королеву, братьев... «Мне неизвестно, знает ли покойная, что младший стал солистом-балалаечником во Франции, средний – ученым бактериологом всё в той же Франции, а старший никем стать не пожелал». Мать мечтала видеть своих сыновей инженерами путей сообщения, а вышло всё иначе. «И временами, когда в горьких снах я вижу абажур, клавиши, Фауста и ее (а вижу я ее во сне в последние ночи вот уже третий раз. Зачем она меня тревожит?), мне хочется сказать – поедемте со мною в Художественный театр. Покажу вам пьесу. И это всё, что могу предъявить. Мир, мама?»

* *
* *

Николка, средний брат Булгакова, уплыл с Добровольческой армией через Черное море в Турцию.

– В Константинополе, – рассказывала Елена Сергеевна, – он поднялся на пароходе в каюту командира дивизии и сказал: «Не верю больше в Белое движение. Хочу учиться, прошу сплывать меня на берег». Генерал ответил: «Как ваш командир, я должен отдать вас под суд и расстрелять. Но как отец, я понимаю вас». И отпустил.

В Югославии Николай Булгаков стал врачом, изучал бактерии в Загребском университете. Потом перебрался в Париж к профессору Д'Эреллю, первооткрывателю бактериофага, вируса-разрушителя бактерий. «Будь блестящ в своих исследованиях», – писал Михаил Афанасьевич брату. Не знаю, последовал ли Николай этому совету, но шеф был им доволен и порою посылал вместо себя в другие страны. В Мексике Николай читал лекции по-испански, создал бактериологический институт – словом, научная карьера ему светила. Но, грешный человек, возвратясь в Париж, он увлекся коммерцией, ушел из института и, вложив все деньги в производство фагов, прогорел. Обратившись в институт его не взяли, жил небогато, врачевал, был регентом в церковном хоре и вел дела старшего брата в парижских театрах, ставивших «Дни Турбиных» и «Зойкину квартиру». Пережив войну и оккупацию страны, он умер в 1966 году в одной из парижских богаделен.

10 июля 1934 г.
Ленинград

..С «Блаженством» здесь произошел случай, выпадающий за грани реального.

Номер «Астории». Я читаю. Директор театра, он же постановщик, слушает, выражает полное и, по-видимому, неподдельное восхищение, собирается ставить, сулит деньги и говорит, что через 40 минут придет ужинать со мной. Приходит через 40 минут, ужинает, о пьесе не говорит ни одного слова и затем проваливается сквозь землю, и более его нет!

Есть предположение, что он ушел в четвертое измерение.

Из «Дневника» Елены Сергеевны (1934 год)

15 августа. Звонок – Украинфильм предлагает делать «Ревизора» для кино.

Слышу ответ М. А.:

– Да... да... это меня интересует... да, я с удовольствием возьмусь...

Это было так непохоже на обычные ответы М. А., поразило меня.

25 августа. М. А. все еще боится ходить один. Проводила его до Театра, потом зашла за ним.

6 сентября. По телефону – предлагают М. А. делать для кино «Обломова». М. А. отвечал вяло.

20 сентября. Днем долго гуляли с Марианной Толстой. Она мне рассказывала все свои беды, про свою несчастную любовь к Е. А. [Шиловскому]. Просила советов.

Вечером М. А. писал роман.

19 ноября. После гипноза у М. А. начинают исчезать припадки страха. Настроение ровное и хорошая работоспособность. Если бы он мог еще ходить по улице один. Полгода он не ходил...

29 ноября 1934 г. Вчера на «Турбиных» были генеральный секретарь, Киров и Жданов. Это мне в театре сказали. Яншин говорил, что играли хорошо и что генеральный секретарь аплодировал много после спектакля...

Позвольте! Ведь это же произошло ровно за два дня до выстрела в Смольном! Выходит, генеральный секретарь сидел рядом с Миронычем в правительственной ложе, улыбался, аплодировал, гладил усы, а подосланный им убийца уже хранил в портфеле пистолет. Очень интересное свидетельство оставила Елена Сергеевна. Таких актеров даже в МХАТе не видали.

8 декабря. Кнорре зашел в Филиал МХАТа, вызвал М. А. и очень тонко, очень обходительно предложил тему – «прекрасную» – перевоспитание бандитов в трудовых коммунах ОГПУ. Так вот, не хочет ли М. А. вместе с ним работать? М. А. не менее обходительно отказался.*

РАЗГОВОРЫ 1934 ГОДА

– Не то вы делаете, Михаил Афанасьевич, не то! Вам бы надо с бригадой на какой-нибудь завод или на Беломорканал. Взяли бы с собой таких молодцов, которые все равно писать не могут, зато они бы ваши чемоданы носили.

– Я не то что на Беломорканал – в Малаховку не поеду. Так устал.

* *
*

– Вы поедете за границу... Только без Елены Сергеевны!
– Вот крест (тут он истово перекрестился), что без Елены Сергеевны не поеду! Даже если мне паспорт в руки вложат.

– Но почему?

– Привык по заграницам с Еленой Сергеевной ездить. А кроме того, принципиально не хочу оставлять заложников за себя.

– Вы несовременный человек, Михаил Афанасьевич.
(М. А. ни разу в жизни не был за границей.)

* *
*

Булгаков – сцена за сценой – намечает пьесу, что – в какой театр:

* Федор Кнорре – драматург, устраивавший Булгакова в Театр рабочей молодежи.

– С моей фамилией никуда не возьмут. Даже если и выйдет хорошо.

* *
*

Леонид Миронович Леонидов, ведущий актер Художественного театра, говорил Булгакову:

– Искусство должно быть радостно и результат его радостный, как результат родов. А у нас, как правило, ребенок идет задницей, его впихивают обратно, начинают переделывать, поправлять, и ребенок рождается худосочным.

* *
*

11 мая 1934 г. Вечером у нас Пырьев и Вайсфельд по поводу «Мертвых душ». М. А. написал экспозицию.

Пырьев:

– Вы бы, Михаил Афанасьевич, поехали бы на завод, посмотрели бы...

(Дался им этот завод!)

М. А.:

– Шумно очень на заводе, а я устал, болен. Вы меня отправьте лучше в Ниццу.

* *
*

Станиславский вернулся из Парижа, приехал в Театр. Речь Константина Сергеевича в нижнем фойе. Сначала о том, что за границей плохо, а у нас хорошо. Что там все мертвы и угнетены, а у нас чувствуется живая жизнь.

– Встретишь француженку и неизвестно, где ее шик?..

Потом – педагогическая часть речи. О том, что нужно работать, потому что Художественный театр высоко расценивается за границей. В заключение – заставил всех поднять руки в знак клятвы, что будут хорошо работать. Когда кончил, пошел к выходу, увидел М. А. – поцеловались. К. С. обнял М. А. за плечо, и так пошли.

– Что вы сейчас пишете?

– Ничего, Константин Сергеевич, устал.

– Вам нужно писать... Вот тема, например: некогда всё исполнить и быть порядочным человеком.

Потом вдруг испугался:

– Впрочем, вы не туда это повернете.

– Вот... все бояться меня.

– Нет, я не боюсь. Я бы и сам не туда повернул.

18 сентября. Сегодня утром М. А. звонил Станиславскому:

– Вы, кажется, нездоровы, Константин Сергеевич?

– Я нездоров, но не для вас.

Говорили о декорациях к «Мольеру».

«Разговоры К. С'а [Станиславского] поразительны по неискренности. Три часа он говорил Бог знает что Жене Калужскому, и когда тот спросил напрямик: „Вы хотите отставить меня от заведывания труппой?“, старик ответил:

– Теперь такое время, что заведовать труппой должен нахал.

Немировича Станиславский устраниет и, по-видимому, устранил».

* * *

*

– Константин Сергеевич, почему вы отказались от «Мольера»?

– Я и не думал, (шепотом) только на большой сцене и с хорошим составом.

* * *

*

Павел Марков, зав. литчастью МХАТа, передал Станиславскому слова Немировича-Данченко, что Чехова нельзя восстанавливать в таком виде, как он шел двадцать лет назад, надо по-новому.

Станиславский:

– Это что же? С наклеенными носами?

– Нет, так, как должен и может играть МХАТ, в новых формах...

– Подлизывается!.. Молодящийся старик!

Афиногенов, драматург, встретил Булгакова в Театре:
– Михаил Афанасьевич, почему вы на писательском съезде не бываете?
– Я толпы боюсь.

7 сентября. Съезд писателей закончился несколько дней назад банкетом в Колонном зале. Рассказывают, что было очень пьяно. Какой-то нарезавшийся поэт ударил Таирова, обругав его предварительно «эстетом»...

«БЕГ»

(Из «Дневника» 1934 года)

8 сентября. По дороге в Театр встреча с Судаковым. – «Вы знаете, М. А., положение с „Бегом“ очень и очень неплохое. Говорят – ставьте. Очень одобряют и Иосиф Виссарионович и Авель Софонович (Енукидзе). Вот только бы Бубнов не стал мешать...»

17 сентября. Илья – настоящий бандит. Все его разговоры о «Беге» – пустые враки. Сейчас в руках у него, оказывается, последняя пьеса Афиногенова «Портрет».

8 ноября. Звонок телефонный – Оля*. В конце разговора: – Да, кстати, я уже несколько дней собираюсь тебе сказать. Ты знаешь, кажется, «Бег» разрешили. На днях звонили Владимиру Ивановичу из ЦК, спрашивали его мнение об этой пьесе. Ну, он, конечно, расхвалил, сказал, что замечательная вещь. Ему ответили: «Мы учтем ваше мнение»... Судаков говорил, надо распределять роли...

21 ноября. День именин М. А... Звонок Оли – поздравление и сообщение: «Бег» не разрешили. М. А. принял это с полнейшим спокойствием.

Пьесу «Бег», восемь снов, рассказавших о конце белого движения, Булгаков так никогда и не увидел на сцене МХАТа.

* Оля – Ольга Сергеевна Бокшанская, сестра Елены Сергеевны, секретарь Немировича-Данченко.

Несколько раз Театр возвращался к ней и снова отступал – слишком много было в этой пьесе горькой правды. «Если б „Бег“ пошел, – сказал мне Павел Марков, – судьба Булгакова сложилась бы совсем иначе». Но он не шел, не мог пойти этот спектакль. «„Бег“ есть явление контрреволюционное», – отрезал Сталин. И тут уж никто не мог помочь Театру.

Слова эти стали известны много лет позднее. А тогда Булгаков мог лишь гадать, кто загубил его пьесу, да винить во всем Художественный театр. Даже в конце жизни он не ведал полной правды, воскликнул: «Действительно хотел поставить „Бег“ писатель Максим Горький. А не Театр!»

3 ноября 1934 г. Сегодня я была на генеральной «Пиквика». Должны были быть оба старика, но у Станиславского поднялась температура, тогда и Немирович не пришел.

Публика принимала реплики М. А. (он судью играет) смехом. Качалов, Кторов, Попова и другие мне говорили, что он играет как профессиональный актер... Костюм – красная мантия.

В антракте он мне рассказывал, что ужасно переволокся – упала табуретка, которую он, усаживаясь, смахнул своей мантией. Ему пришлось начать сцену, вися на локтях на кафедре. Потом ему поднесли табуретку.

8 ноября. Вечером М. А. диктовал мне роман – сцену в кабаре.

* *
*

Станиславский смотрел «Пиквикский клуб», Станицын называл ему актеров, занятых в спектакле. Когда появился судья, К. С. спросил:

– А это кто?

– Булгаков.

– Ага...– (Вдруг внезапный поворот к Станицыну.) – Какой Булгаков?

– Михаил Афанасьевич. Драматург.

– Автор?

– Да, автор. Очень просился поработать.

«Старик мгновенно сузил глаза, захихикал и стал смотреть на М. А.»

Бывало и смешно, и грустно. Режиссер Илья Судаков укорял актеров, что они раньше времени съедают закуску, которую подают на балу у губернатора в «Мертвых душах».

– Если бы это восемнадцатый год был, тогда...

«Тут попросила слово выжившая из ума Халютина и произнесла следующее:

– Да как же им не есть, если они голодные?

– Никаких голодных сейчас нет. Но если даже актеры и голодны, то нельзя же реквизит есть!»

Если не сам Булгаков, то имя его все-таки прорвалось за кордон. Пьеса и роман о белой гвардии принесли ему успех в Париже, Праге, старой Риге – и не только среди русских эмигрантов.

В сентябре тридцать третьего года в Москве был Эррио, министр иностранных дел Франции, и Булгаков получил из МХАТа срочный вызов на спектакль «Дни Турбиных», который шел по просьбе гостя. После первого же акта Эррио стал спрашивать об авторе, просил познакомиться. Булгакова нашли с трудом. Немирович подвел его к министру и негромко, но так, чтобы все слышали, сказал: «А вот и автор». Шум, аплодисменты, комплименты, выскакивает переводчик, но Булгаков говорит по-французски сам. В конце беседы Эррио задает ему вопрос: «Были вы когда-нибудь за границей?» – *Jamais*. Министр крайне удивлен: «*Mais pourquoi?!*» Булгаков объясняет: нужно приглашение, а также разрешение советского правительства. – «Так я вас приглашаю!» Звонки. «*Augevoig!*»

Время делало свою работу, и опальный автор проникал всё дальше за рубеж. Месяц спустя пришло письмо из Рима: «Мольер» переведен на итальянский. Затем нью-йоркский театр Гилд просил прислать любую пьесу. Брат Николай обещал выслать французский перевод «Зойкиной квартиры», которую в Париже ставил театр *Vieux Colomhier*. «Если бы я был в Париже, – отвечал Булгаков, – я показал бы сам все мизансцены, я дал бы полное не только авторское, но и режиссерское толкование, и можешь быть уверен, что пьеса бы выиграла от этого. Но, увы! – судьба моя сложна».

В те годы мхатовская сцена была единственной площадкой, где государство разрешало ставить одну, только одну его пьесу. Зато сюда, на «Турбиных», стремились все, кто попадал тогда в Москву.

19 ноября 1933 г. Американский посол Буллит был на «Турбиных» и в книге театра написал: прекрасная пьеса, прекрасное исполнение.

6 сентября 1934 г. На спектакле «Турбиных». В антракте Буллит подошел к нам и сказал, что смотрит пьесу пятый раз и теперь редко заглядывает в английский экземпляр... Выяснилось, что в театре сидят еще одни «турбинцы» – из Праги. Познакомились с М. А., сказали, что по плану фестиваля они должны были пойти на «Интервенцию» Славина, но, узнав о «Турбиных», пришли в МХАТ.

Америка еще не знала Булгакова, но день за днем он приближался к берегам Гудзона.

9 февраля 1934 г. М. А. подписал договор на «Белую гвардию» на английском языке, за границей.

13 апреля. «Турбиных» играли в Нью-Йорке. Мадам Юрок в роли Елены великолепна.

1 мая. В Америке переведена «Белая гвардия».

4 мая. Вчера Жуховицкий привез американскую афишу «Турбиных».

11 мая. На адрес МХАТа письмо из США: Иельская университетская драматическая группа запрашивает оригинал «Турбиных».

В октябре тридцать четвертого года у Булгакова окончательно созрела мысль писать пьесу о Пушкине, и он пришел к Вересаеву с предложением работать вместе. Викентий Викентьевич, знаток биографии поэта, пусть подбирает материал, а он, Булгаков, будет сочинять. «Старик был очень тронут, несколько раз пробежался по своему уютному кабинету, потом обнял М. А.»

Зашел разговор о гибели поэта. «В. В. зажегся, начал говорить о Пушкине, о двойственности его, о том, что Наталья Николаевна была вовсе не пустышка, а несчастная женщина».

Вересаев был ошеломлен, узнав, что пьесу о Пушкине задумал Булгаков без Пушкина, но, поразмыслив, согласился.

В апреле следующего года «Пушкин» был вчерне закончен. И сразу же за пьесу эту в мертвой хватке сцепились два столичных театра – вахтанговцы и МХАТ. Булгаков оказался между ними. Дома у него появлялись то Симонов Рубен с Захавой, то Марков с Виленкиным. С вахтанговцами он был связан словом, а МХАТ претендовал на первенство по праву старой дружбы. Режиссер Судаков, тот самый, что ставил «Дни Турбиных», любимую булгаковскую вещь, не унимался: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Я очень прошу Вас прислать мне Вашу пьесу. Я очень прошу Вас сделать так, чтобы я получил возможность работать в МХАТе Вашу пьесу... Я очень прошу Вас пока никому...»

Автор чувствовал себя не совсем уютно. К тому же он понимал, что силы этих театров далеко неравны; вахтанговский актер Русланов, которому предстояло играть царя Николая, был в панике, когда узнал, что в МХАТе на эту роль назначен сам Качалов. И все-таки Булгаков сдержал слово, при закрытых дверях читал он «Пушкина» труппе вахтанговского театра. А в это время «мхатчики» старались превзойти себя и прилагали все усилия, чтобы раздобыть рукопись пьесы.

Помог им случай. В Театре был Акулов, секретарь ВЦИКа, один из тех, от кого зависела судьба булгаковских спектаклей. Артист Качалов спросил его:

- Что вам больше всего нравится у нас?
- «Дни Турбиных», – ответил вельможа.

О разговоре этом был осведомлен Булгаков. А немного погодя позвонил ему взволнованный Судаков и просил срочно прислать пьесу в Театр: «Акулов просит!» В запечатанном конверте «Пушкин» был отправлен в МХАТ. Далее события развивались в нарастающем темпе.

В Вахтанговском драматические переживания: режиссер Илья Судаков распределяет в МХАТе роли в «Пушкине».

Немирович сказал о пьесе: «Она написана большим мастером».

Вахтанговцы прислали в МХАТ письмо с протестом против постановки «Пушкина». Оля сказала, что Илья плевать хотел на их письмо.

И наконец Оля, эта вездесущая секретарша, призналась: «мхатчики» распечатали пакет, посланный Акулову, и списали пьесу...

В середине декабря тридцать четвертого года Булгаков решил закончить этот спор, он явился в кабинет Ванеевой, директора Вахтанговского театра, и подписал договор на пьесу «Пушкин». Из МХАТа тут же позвонила Ольга: Судаков так разволновался, что заявил: «Расторгаю все договоры с вахтанговцами».

Но что Судаков! В деле этом была замешана фигура покрупнее. Подписывая договор, Булгаков уже знал, что театр Вахтангова совсем недавно заключил контракт на пьесу о Пушкине с другой персоной. И персона эта – Алексей Толстой.

Очень неприятное создалось положение. Знал Булгаков, что Марианна, дочь Толстого, только что вышла замуж за Шиловского и бывший граф стал тестем бывшего мужа Елены Сергеевны. Совсем запутавшись во всех этих делах, Булгаков говорил актерам, как ему тяжело подписывать договор. Но вахтанговцы не унимались, твердили, что Толстой все равно не напишет хорошей пьесы. Граф, надо полагать, был на этот счет другого мнения, но оспаривать не стал.

Прошло три дня, к Булгакову явилась гостья из Ленинграда – Дина Радлова, жена художника, близкого Толстому, и с порога начала разговор о пьесе.

Откуда она уже узнала о «Пушкине»? – насторожилась Елена Сергеевна.

Радлова усиленно отговаривала писать с Вересаевым. А с кем же?

– Вот, если ты, Мака, объединишься с Толстым, вот была бы сила!

– Не понимаю, какая сила? На чем же мы можем объединиться с Толстым, под ручку по Тверской гулять? – отшучивался Михаил Афанасьевич.

– Нет, – напирала Дина. – Ведь ты же лучший драматург, а Толстой, можно сказать, лучший писатель...

Но Булгаков был тверд, и, потеряв надежду, Дина напрямик спросила: «Расскажи содержание пьесы». Тут Булгаков больше не сомневался, чьи интересы она представляет. «М. А. отказал», – строго заметила Елена Сергеевна. И Дина укатила в Ленинград. Когда Толстой занял место Горького на вершине советской литературы, он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь лучшему драматургу.

В те дни Булгаков часто читал «Пушкина» гостям, и слух об этой пьесе без главного героя, ширясь по Москве, дошел, наконец, до композиторов и кинорежиссеров. Вот появился на его квартире Сергей Прокофьев, слушал внимательно, потом попросил ввести в спектакль Глинку и, взяв на прощанье пьесу, удалился. Следом за ним Булгакова навестил Дмитрий Шостакович, выслушав пьесу, вежливо благодарил, сыграл два вальса, тоже унес экземпляр на память. Приезжали режиссеры из Киева, Смоленска, Ленинграда, звонили из Большого театра. Булгаков охотно раздавал экземпляры пьесы, но мысли его были уже заняты другим.

В МХАТе после долгих лет застоя возобновились репетиции «Мольера», а Театр Сатиры готовил его комедию «Иван Васильевич». С этими двумя забот ему хватало. Цензор Млечин из Главреперткома читал комедию вдоль и поперек, всё искал в ней вредную идею. Не найдя, расстроился от мысли, что в ней никакой идеи нет. Сказал: «Вот если бы такую комедию написал, скажем, Афиногенов, мы бы подняли ее на щит. Но Булгаков!..» Тут он значительно поднял палец вверх и застыл. Немного позже Булгакову позвонили из Театра Сатиры: пять человек в Реперткоме читали «Ивана Васильевича», всё искали, нет ли чего подозрительного. Не найдя, спросили:

– А нельзя ли, чтобы Иван Грозный сказал, что теперь лучше, чем тогда?

К концу тридцать четвертого года Булгаков был загружен выше головы. «М. А. подписал договор... М. А. говорил с вахтанговцами... М. А. доделывает „Ивана Васильевича“...» Елена Сергеевна едва успевала отмечать все его дела. «М. А. боится, что не справится: „Ревизор“, „Иван Васильевич“ и надвигается „Пушкин“». А там звонили из Тифлиса: «Приезжайте, есть работа для кино». Пырьев снова требует поправок. О, Боже, какое мученье это кино! Ильф и Петров приходили советоваться об их пьесе, – и «Мольер», Станиславский, Немирович, Вильямс и Ульянов, эскизы всех костюмов, декораций – всё шло через него. Кто же в Москве лучше Булгакова знал Францию Мольера?

Вдруг звонят из Театра, просят срочно внести небольшие изменения в пьесу «Бег». Давно он ждал этого звонка и с радостью садится за работу. «Поскольку изменения эти вполне совпадают с моим черновиком и ни на йоту не нарушают писа-

тельской совести, я их сделал». А тут новые заботы. «Пойдет ли „Зойкина“ в Париже? Где? Когда?» Брат Николай сообщает о посягательствах зарубежных издателей на булгаковский роман и пьесы. Но как ты остановишь их отсюда, из Нащокинского переулка? «Обуздай ты, пожалуйста, всех, кто тянет руку к гонорару незаконно!»

И вот среди этой кутерьмы, звонков, гостей и телефонных разговоров он улучал минуту, ночь-другую для «Мастера и Маргариты». «Его неотступно тянет к роману», – отмечает верная жена. Но над ним всегда какие-то дела. Впрочем, нет худа без добра. Эта занятость, постоянная работа мысли были в ту пору, пожалуй, единственной защитой от сыпавшихся на него ударов.

29 ноября 1934 г. В газетах важнейшее сообщение – отмена хлебных карточек, хлеб будет продаваться свободно.

30 ноября. Днем М. А. диктовал наброски для варианта «Ивана Васильевича» (измененное «Блаженство»). Позвонил В. Ермилов, редактор «Красной Нови», предложил М. А. напечатать что-нибудь в его журнале. М. А. сказал о пьесе «Мольер».

– Чудесно!

О фрагменте из биографии Мольера.

– Тоже чудесно!

Условились, что Ермилов позвонит еще раз.

Белый декабрь упал на город, на улицах запахло хвоей, Рождеством и снегом.

9 декабря. Днем к Вересаеву, отнесли ему с великой радостью последнюю тысячу долга.

15 декабря. Русланов не позвонил. Неужели опять начинаются эти таинственные исчезновения людей?

24 декабря. Сначала мы с М. А. убрали елку и разложили под ней подарки. Потом потушили электричество, зажгли свечи на елке, М. А. заиграл на рояле марш – и ребята влетели в комнату. Потом – спектакль. М. А. написал две сцены по «Мертвым душам», одна у Собакевича, другая у Сергея Шиловского. Чичикова играла я, а Собакевича и Сережу – М. А... Гримировал меня М. А. пробкой, губной помадой и пудрой. Сцена – в кабинете М. А.

Для роли Сергея он надел трусы, сверху сергеево пальто, которое ему едва до пояса доходило, и матроску на голову. Намазал себе рот помадой.

Успех. Потом ужин рождественский, пельмени и масса сладостей.

28 декабря. М. А. перегружен мыслями, мучительными.

30 декабря. Вахтанговцы зовут к ним встречать Новый год. Но мы не хотим – будем дома.

Спускают воду из труб. Батареи холодные. Сегодня на улице мороз больше 20 градусов. Боюсь, будем мерзнуть.

Наконец все вздохнули с облегчением, на календаре: 31 декабря. Кончается год. «Господи, только бы и дальше было так!..» Ах, милая Елена Сергеевна, Лена, Лю, она и не думает, не подозревает, что уже отмечены все сроки, что печать наложена на его уста. Звонки, запросы... Да что в них толку? В том-то и ужас всей его жизни, всей булгаковской судьбы, что он работал, не щадя себя, больной, измученный просиживал ночами, но ничего не шло – ни в театрах, ни в кино. Пятнадцать лет горбил он спину над листом бумаги и всё – на холостом шкиву.

Цену на хлеб повысили вдвое... За окном во дворе играют на гармошке, поют дикими голосами.

5 февраля 1934 г. Третьего дня были в МХАТе на генеральной репетиции пьесы Горького «Булычев». Леонидов играет самого себя. Изредка кричит пустым криком... Спектакль бесцветный.

11 февраля. Вчера в МХАТе была премьера «Булычева». Оля сегодня по телефону:

– На спектакле были члены правительства, был Сталин. Огромный успех!

Резолюция секретаря ВЦИКа Енукидзе на пьесе «Портрет»: «Такой автор, как Афиногенов, мог бы приличнее написать. Ставить не советую».

Актеры после показа «Чудесного сплава» Киришона ворчали, что пьеса низкопробная, что хвалит ее один Немирович, и никто не хочет играть в ней.

Оля за ужином говорила:

– Владимир Иванович так страдает от атмосферы в театре, от мысли, что МХАТ стал теперь самым старым и косным театром.

Невозможно установить теперь день и час, когда начался распад Художественного театра. С некоторых пор режиссеры МХАТа не боялись плохих пьес, но бледнели от страха прогневить начальство. На спектакле горьковских «Врагов» в Малом театре некто в правительственной ложе обронил: «Хорошо бы поставить эту пьесу в Художественном театре». И Театр немедленно приступил к репетиции «Врагов». Станиславский, вернувшись из Парижа, сделал попытку снять этот спектакль, он еще помнил пустой партер на «Егоре Булычеве», но нет, не вышло, пришлось поставить. И следом ему велели ставить «Любовь Яровую», творение К. Тренева, шли бесцветные комедии Киршона. Лучшие силы свои Театр тратил на спасение безнадежных пьес.

Это стало законом: чем хуже пьеса, тем больше было занято в ней талантливых актеров. Режиссер Мордвинов, ставивший «Хлеб» Киршона, заявил: «У меня такая скверная вещь, что мне нужны очень хорошие актеры. Иначе не могу выпускать...»

– У меня все тело чешется от скуки, – говорил Булгаков на горьковских спектаклях МХАТа и уходил в первом же антракте.

А «Бег» томился без движенья, дважды меняли состав исполнителей в «Мольере». Афиногенов поучал Булгакова, как нынче надо писать пьесы, как исправить «Бег», чтобы спектакль зазвучал политически надежно, а режиссер Судачков, сидевший рядом, твердил: «Вы слушайте, слушайте его! Он – партийный!!»

Март 1935 г. М. А. пригласили в партком. Ячейка устраивает обсуждение «Мольера». Доложили К. С. мнение парторганизации: пьесе грозит опасность превратиться в личную драму Мольера.

Страх сковал театр. Станиславский пугал Булгакова на репетициях «Мольера»: «А что если французский посол возьмет да и уйдет со второго акта?» Гений на сцене, он был опутан околичностями театральной жизни, терялся, не зная,

откуда ждать очередной удар. «А что скажет Америка?» – вдруг восклицал он на обсуждении боевитой пьесы. Немного погодя, рассказывал мне Марков, ему предлагали другую повесть. «А что скажет Сталин?!»

Время налагает свои черты на всех, в этом смысле и актеры и режиссеры Художественного театра не были исключением. «Какой актер Тарханов! – восхищалась Елена Сергеевна на спектакле „В людях“. – Выдумал трюк, в рубашке до пят делает реверансы оскорбительные молодому Пешкову». Тарханов, актер поистине великий, в те дни писал в многотиражке МХАТа: «У нас во главе должен быть такой человек, который повел бы весь коллектив по большевистской линии... Мы должны брать пример с Лазаря Моисеевича Кагановича». И никто не рассмеялся, не спросил: зачем Художественному театру Каганович, зачем Киришон? Награды, звания народных шли исправно, то была плата за послушание и страх. Расплата пришла потом.

Но пока жил Станиславский, жил Немирович, пока здравствовали «старики», Булгаков верил в Театр, как в собственный свой дом.

И вот случилось так, что дом этот стал для него местом службы, куда он должен был являться каждый день, работать, проявлять свои таланты и выполнять чужие указания. Ох, как не просто это было!

...Из писателей предпочитаю Гоголя; с моей точки зрения, никто не может с ним сравниться.

Булгакову было девять лет, когда он впервые прочел «Мертвые души». Ему было за сорок, когда он попал из-за «Мертвых душ» в беду. Любимый его Театр вдруг захотел сыграть поэму. Булгаков же, знавший ее почти наизусть, был уверен: «„Мертвые души“ инсценировать нельзя. Примите это за аксиому». Существовало больше сотни самых невероятных переделок – и ни одну нельзя было играть. Этот Гоголь был непередаваем.

И вот, представьте, Булгаков взялся за безнадежную работу, стал инсценировать поэму. Впрочем, он не брался, он давно уже ни за что не брался; только что принятый в труппу Театра, он был назначен ассистентом режиссера этого спектакля и, заглянув на репетиции в тетрадку, сразу понял: пьесы

нет. «Одного взгляда моего достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах». Вот такая это была инсценировка. Словом, на пороге Театра он попал в несуществующую пьесу. И пришлось ему эту пьесу сочинять самому.

– Вот так дебют, вот так дебют, – волновался Михаил Булгаков. – Чёрт знает, что на сцене происходит!

Но остроносый классик влек его с неудержимой силой. «Гоголь – это Гоголь, будьте благонадежны», – подбадривал себя Булгаков. И, положив перед собой поэму, он приступил к работе.

Я просто не рискую передать вам те слова, которые режиссер Сахновский тихо произнес, когда Булгаков прочитал ему первую фразу из своей инсценировки. Действие пьесы начиналось в Риме, классик, он же Главный, стоял за конторкой с гусиным пером в руке и, не слыша шума за дверями гостиничного номера, писал поэму о России... Но ведь не было такого, ничего похожего в поэме нет!

Ну, и что же, ведь речь идет о сцене, театре, – улыбался Михаил Булгаков, неотразимая доброта светилась в глубине его серовато-голубых глаз. «Раз он видел ее из „прекрасного далека“, и мы так увидим»... Занавес надвигался, закрывая согнутую спину Главного. Но он тут же выходил на просцениум и, положив шинель и шляпу около мраморной итальянской вазы, садился и негромко, как усталый путник, начинал говорить. Гоголь размышлял о своей отчизне...

Булгаков поднял глаза и с любопытством уставился на режисера.

Молчал Сахновский, не зная, что ответить этому упрямцу. А про себя, наверно, думал: отличная находка, да кто же ее пропустит?

И Рим булгаковский был до тла разгромлен режиссером. Что ж, без Рима, так без Рима. Пришлось ему уступить пролог. Но дальше он стоял, как крепость. Резать! И только резать! Драть поэму в клочья. «И я разнес ее всю по камням». Павел Иванович Чичиков, герой поэмы, появлялся в первой же картине. Распивая чай в трактире, он болтает с чиновником, секретарем Опекунского совета, и тот ненароком подает ему преступную мыслишку купить у помещиков подешевле давно умерших крепостных и заложить покойников в совете за большие деньги. (У Гоголя об этом речь в одиннадцатой главе.) Поехал Чичиков за мертвыми душами и опять

совсем не по поэме. И все помещики, встречая нашего героя, говорят что-то не то, сплошь и рядом драматург вложил им в уста чужие речи. Ноздрев вдруг с шумом появляется на сцене и тут же, крича и бегая вокруг оторопевшего героя, начинает расхваливать свой товар, набивать цену мертвецам. А за Ноздревым, задевая ногою ногу, тенью следует икающий помещик, которого он представляет поочередно каждому гостю: «Знакомьтесь, зять мой Мижуев». И зять опять застенчиво икает.

Бедный Гоголь! Булгаков ворвался, ворошил его поэму так и сяк. Однако смысл всех этих действий был ему предельно ясен: «Для того, чтобы что-то играть, надо это что-то написать». И Чичиков все ехал, ехал... В конце концов, мы знаем, он попался, и в последней картине Булгаков посадил его в тюрьму. Но тут же отпустил на волю: полицмейстер и жандармский полковник гонят Чичикова в шею, предварительно ограбив его дочиста. Он уезжает. «Покатили, Павел Иванович!» – кричит ямщик за кулисой, и занавес с чайкой медленно, с двух сторон надвигается на сцену...

Что было с Немировичем, когда он прочитал!.. Владимир Иванович был в ужасе и ярости. Был великий бой, но все-таки пьеса в этом виде пошла в работу.

И работа продолжалась около двух лет. Но спектакль всё не выпускали: то Станиславский захворает, то Немирович за границей. Репетиции шли из рук вон плохо, и автор инсценировки полагал, что пьесу ждет на Большой сцене большой провал. На этот раз он ошибался: выздоровел Станиславский, и Немирович в конце концов вернулся, не найдя занятия за границей. Все вошло в свою колею. И побывав на репетициях, Булгаков убедился: пока эти двое в Театре, за Гоголя он может быть спокоен.

Дорогой Константин Сергеевич!

Я на другой же день после репетиции вечеринки в «Мертвых душах» хотел написать это письмо, но, во-первых, стеснялся, а во-вторых, не был связан с театром (простужен).

Цель этого неделового письма – выразить Вам то восхищение, под влиянием которого я нахожусь все эти дни. В течение трех часов Вы на моих глазах ту узловую

сцену, которая замерла и не шла, превратили в живую. Существует театральное волшебство!

Во мне оно возбуждает лучшие надежды и поднимает меня, когда падает мой дух...

Я не беспокоюсь относительно Гоголя, когда Вы на репетиции. Он придет через Вас. Он придет в первых картинах представления в смехе, а в последней уйдет подернутый пеплом больших раздумий. Он придет.

Ваш М. Булгаков

Сегодня по дороге из Театра домой М. А. рассказывал (со слов Топоркова), как Станиславский показывал Петтеру Плюшкина. Что будто бы Плюшкин так подозрителен, так недоверчив к людям, что даже им в лицо не смотрит, а только на ноги посмотрит – и довольно. И когда Чичиков ему что-то приятное говорит, он и не слушает даже, отвернулся, скучно ему. А когда Плюшкин рассказывает Чичикову про капитана Копейкина, то делает рукой жест, как будто ноги держит (мысль: капитан, хотя и соболезнает, а готов зарезать за копейку).

Со Станиславским дело двинулось быстрее, и пока он развязывал узлы на сцене, толковал актерам роли, Булгаков целиком отдался пьесе. В сотый раз углублялся он в поэму, стараясь одолеть, вытолкнуть ее героев на подмостки, дать им слова, движенье, жизнь. Спротивлялся Гоголь, не шел в ремарки. Тогда Булгаков снова вытащил его на сцену, дал ему роль Первого, чтеца: говорите, Николай Васильевич, ведите действие, своих героев! Но нет, не соглашался классик говорить с подмостков.

Измучался Булгаков с этой пьесой. Гоголь стал в эти дни его навязчивой идеей, ночным кошмаром. Возвращаясь затемно домой, в Нащокинский переулок, он часто останавливался у сгорбленной фигуры на бульваре, смотрел в ее окаменелое лицо, потом обходил высокий постамент и долго, словно ждал ответа, разглядывал фигурки гоголевских персонажей. Молчал чугунный идол, на все вопросы Булгаков должен был ответить сам.

И вот среди этих тревог, метаний он вдруг обнаружил, что стоит на краю финансового краха. Все его средства к жизни оказались на исходе. Кого просить, куда бежать? Конечно, в

Театр, там ему помогут! И Булгаков спешит в дирекцию с письмом: одолжите тысячу рублей в счет будущих спектаклей! «Я выкраиваю время – между репетициями „Мертвых душ“ и вечерней работой в ТРАМе – для того, чтобы сочинить роль Первого (Чтеца), и каждый день и каждую минуту я вынужден отрываться от нее, чтобы ходить по городу в поисках денег. Считаю долгом сообщить дирекции, что я выбился из сил».

Не знаю, говорить – не говорить?.. Надо сказать. Театр отказал Булгакову в этой тыще. «О, укрой меня своей чугунной шинелью, учитель!»

Немирович смотрел «Мертвые души», хвалил спектакль:

- Вполне мхатовский. Вот, разве, чтеца недостает.*
- Да я уже три варианта давал с чтецом!*
- Да, да... впрочем, все равно, хороший спектакль.*

С Театром, таким дорогим и близким, отношения были непростые. Вот странный документ.

Киевская РАДА
Секретаріят
26/III 1935
Київ, Воровского

В Московский
Художественный
Академический театр

Инспектор по избирательным делам при Киевском Горсовете извещает, что по картотеке учета лишенцев гр. Булгаков Михаил Афанасьевич на 1930/34 г. не значится.

Инспектор по избирательным делам

(подпись)

Зачем понадобилась Театру эта справка, что они там заподозрили – ума не приложу, ведь Булгаков уже пятнадцать лет как жил в Москве. Впрочем, до чего ж я недогадлив! Лишись Михаил Афанасьевич избирательных прав, пришлось бы ему тут же со всей семьей уехать из Москвы на 101-й километр. Видно, кто-то в Академическом театре был очень увлечен этой идеей. Булгаков чувствовал, какие наступают времена, и справку эту посчитал совсем не лишней.

18 февраля 1935 г. Вечером были у Вересаевых. Там были пушкинисты – Цявловский с женой, Чулков, Неведомский, Верховский. Кроме того, Тренев и Русланов.

Я, по желанию Викентия Викентьевича, сделала небольшой доклад по поводу моего толкования некоторых записей Жуковского о последних днях Пушкина.

За ужином Вересаев, шутя, посвятил меня в «пушкинисты» (как в рыцарей посвящали).

26 марта. Сегодня звонил Жуховицкий и рассказывал, что в одном американском журнале Вельс написал статью о советском театре. Там он пишет, что, во-первых, появилась советская комедия, вернее, фарс, во-вторых, ставят классиков, и в-третьих, есть Михаил Булгаков. Если бы таких драматургов было несколько, можно было бы сказать, что существует советская драма.

29 марта. Пронзительный ветер и солнце. Весна чувствуется. В «Известиях» портрет лорда Идена – хранителя печати. Молод и красив. М. А. безумно смешно показывает, что это такое – «хранитель печати», как он ее прячет в карман, потом оглядывается по сторонам, вынимает, торопливо прилепывает и тут же прячет.

Проводила М. А. в театр, посидела напротив в Артистическом кафе, пока он получал жалованье, потом проводила его к Станиславскому.

Во время нашего отсутствия принесли конверт из Американского посольства. Приглашает нас посол, приписка внизу золотообрезного картона – фрак или черный пиджак.

Надо будет заказать М. А. черный костюм. Какой уж фрак.

А за окном был уже апрель. То косо полетит снежок, то нет его, и солнце на обеденном столе. Что принесет ему весна?

«Слышу, слышу голос в себе – ничего!»

7 апреля 1935 г. Звонила в «Красную Новь», наткнулась прямо на редактора, который сказал, что 10-го или 12-го будет решен вопрос о печатании Булгакова.

– Запомни: больше никогда в жизни ты его не услышишь и не увидишь.

25 апреля. Из «Красной Нови» без единого слова возвратили рукопись «Мольера».

13 мая. Шведское О-во «Радио-гиенст» обратилось в полпредство СССР, чтобы выхлопотали для него у Булгакова разрешение передать по радио в шведском переводе «Дни Турбиных». М. А. согласился.

16 мая. День рождения М. А. Мы с утра положили на стол подарки: джин голландский, Ерофеич, коробки «Казбека», ноты – Вагнера «Зигфрид» и «Гибель богов», книгу Лесажа. Сергей все волновался, что мало, приложил еще «придавку», как он называет пресс-папье, и стал с нетерпением ждать выхода М. А. из спальни. Ек. Ив. спекла крендель, мы зажгли свечки, Оля заиграла на рояле марш, и М. А. торжественно вышел в столовую.

24 мая. Были на премьере «Аристократов» Погодина. Пьеса – гимн ГПУ.

В театре были – Каганович (в ложе с левой стороны), Ягода (в ложе с правой стороны), Фирин (нач. Беломорканала), много военных, ГПУ, Афиногенов, Киршон, Погодин.

28 мая. Приятный день. По займу выиграли 600 р.

2 октября. Радостный вечер. М. А. читал «Ивана Васильевича» с бешеным успехом у нас на квартире. Хохотали все до того, что даже наши девушки в кухне жалели, что не понимают по-русски. – «Der Herr hat wahrscheinlich etwas sehr schönes geschrieben, daß alle lachen so viel!»

9 октября. Сегодня у нас Сергей Прокофьев с женой. Разговор об опере «Пушкин».

18 октября. Звонили из американского посольства: мистер Буллит просит миссис и мистера Булгаковых к 5 часам, будет кино, буфет, дипломатический корпус... После картины Буллит подошел и долго разговаривал сначала о «Турбиных», которые ему страшно нравятся, потом – когда пойдет «Мольер»?.. Когда выходили, швейцар спрашивает: «Ваша машина?» М. А. сурово ответил: «У меня нет машины». И мы ушли пешком, как миллионеры, которым машина уже осточертела.

29 октября. Ночью звонок: «Ивана Васильевича» разрешили с небольшими поправками.

1 ноября. М. А. читал «Ивана Васильевича» труппе Сатиры. Громадный успех.

29 ноября. М. А. был на приеме у американского атташе.

9 декабря. «Чтение «Пушкина». У нас Книппер-Чехова, Горчаков, Мелик-Пашаев, Кторов, Попова, Станицын, Вильямсы...

Тридцать пятый год Булгаков кончал, диктуя перевод «Скупого» для академического издания. В городе стояло преддверье Октября, пробовали иллюминацию на Центральном телеграфе, на площадях строили деревянные помосты и развешивали знакомые портреты. Булгаков впервые в жизни пошел на демонстрацию и, возвратясь, рассказывал Елене Сергеевне, что видел Сталина, в серой шинели и фуражке. Событию этому предшествовал приезд Ахматовой из Ленинграда. «Ужасное лицо. Анна Андреевна в явном расстройстве, у нее в одну ночь арестовали сына [Гумилева] и мужа Н. Н. Пунина. Приехала подавать письмо Иосифу Виссарионовичу». На следующий день Елена Сергеевна помогла ей отвезти прошение.

Почувствовал Булгаков нарастание угрозы или пошел на площадь, как многие, из любопытства, мы не знаем. Но приезд Ахматовой, полубезумной, бормотавшей что-то бессвязно про себя, вызвал у него очередной припадок страха. Он знал: не только судьба его пьес – сама жизнь его в руках человека в серой шинели. Телеграмма от Пунина и Гумилева пришла позднее, их освободили.

РАЗГОВОРЫ 1935 ГОДА

– Вы должны высказаться, Михаил Афанасьевич... Должны показать свое отношение к современности...

– Сыграем вничью. Высказываться не буду. Пусть меня оставят в покое.

* * *

В квартире над Булгаковым жил драматург Тренев. 8 апреля справляли именины его жены. «Стол с горшком цветов

посредине, покрытый холодными закусками и бутылками. Хозяйка рассаживала гостей... Тьма народа, был Вересаев. Пастернак с особенным каким-то придыханием читал свои переводные стихи с грузинского. После первого тоста за хозяйку Пастернак объявил:

– Я хочу выпить за Булгакова!

Хозяйка: Нет, нет! Сейчас мы выпьем за Викентия Викентьевича, а потом...

– Нет, я хочу за Булгакова. Вересаев, конечно, очень большой человек, но он законное явление, а Булгаков – незаконное.

В верхнем фойе театра Немирович беседовал с драматургами и критиками. Сидели тут два Всеволода – Вишневский и Иванов, Алексей Файко, Пантелеймон Романов... Рядом с Булгаковым опять оказался Афиногенов. Немирович говорил, что критик должен быть внутри театра, жить его жизнью... Булгаков негромко заметил:

– Бачелиса в театре быть не должно. А кстати, он тут?

Оказалось, сидит рядом с Афиногеновым.

После чаепития выступил Вишневский и сразу заявил, что Булгаков плохо сделал инсценировку «Мертвых душ».

ИЗ ОЛИНЫХ РАССКАЗОВ

У Константина Сергеевича Станиславского и Немировича созрела мысль исключить Филиал из Художественного театра, помещение взять под оперный театр, а часть труппы уволить и изгнать в крайний театр, причем Владимир Иванович сказал:

– У Симонова монастыря воздух даже лучше...

Но старики никак не могут встретиться, чтобы обсудить этот проект.

К. С. позвонил Оле:

– Пусть Владимир Иванович позвонит мне.

Оля – Вл. Ив-чу. Тот:

– Я не хочу говорить с ним по телефону. Он меня измучает. Я лучше к нему заеду... Тринадцатого хотя бы.

Оля – К. С-чу. К. С.:

– Я не могу принять его тринадцатого, раз что у меня это

выходной день. Мне доктор не позволяет даже по телефону говорить.

Вл. Ив-ч – Оле:

– Я могу прийти шестнадцатого...

Оля – К. С-чу. К. С.:

– Жена моя, Маруся, больна, она должна разгуливать по комнатам, я не могу ее выгнать.

Вл. Ив-ч – Оле:

– Я приду только на 15 минут.

К. С. – Оле:

– Ну, хорошо. Я выгоню Марусю, пусть приезжает.

Вл. Ив-ч – Оле:

– Я к нему не пойду, я его не хочу видеть. Я ему письмо напишу.

Через два часа Вл. Ив-ч звонит:

– Я письма не буду писать, а то он скажет, что я жулик и ни одному слову верить все равно не будет. Позвоните ему и скажите, что я шестнадцатого занят.

(Объясняется это тем, что старики – Леонидов, Качалов, Москвин – возмутились и заявили протест против такого отношения к актерам. И Владимир Иванович сдал все свои позиции.)

* *
*

Вчера Оля сказала, что назначено чтение новой пьесы Афиногенова, о которой Немирович сказал: «Очаровательный эскиз». Кроме того, Оля говорила: – Надо же по-человечески пожалеть Афиногенова: «Ложь» не вышла, «Портрет» не вышел, а он с чисто большевистской энергией все пишет и пишет...

* *
*

Шла репетиция «Царской невесты» в оперном театре Станиславского. Один молодой певец страшно боялся Константина Сергеевича и все старался держаться подальше в глубине сцены.

Станиславский:

– Это кто там за печкой прячется? Как ваша фамилия?

–

– Вы кого играете?

–

От испуга актер онемел.

– Вы должны так держаться на сцене, как будто вы главную роль играете. Вы оперу знаете?

– Знаю... Константин Сергеевич...

– Продиржируйте всю! С самого начала!

Певец, в поту, берет палочку и дирижирует. После увертюры, которую он, ко всеобщему удивлению, провел хорошо, Станиславский:

– Убрать его из спектакля!

4 января 1936 года. Звонил Мелик-Пашаев и сказал, что дирекция Большого театра просит М. А. прочесть им «Пушкина», и на чтение они хотели бы привести Шостаковича.

(Окончание – в следующем номере)

ШВАРЦ Анатолий – врач, автор книг о науке и судьбах русских ученых. С 1973 года живет в Соединенных Штатах, работает в области медицины.

«ЧТОБ ЧЕЛОВЕК ДЫШАЛ
И ПЕЛА ПТИЦА...»

САД

Рыба смотрит из пруда
На кусты сирени,
Но мешает ей вода
Видеть их цветенье.

Так и души каждый день
Из своей ограды
Видят в мире только тень,
Только отсвет Сада.

* *
*

Мы друг для друга жизни новой весть,
Свет познания и узнаванья.
И в наших встречах исцеленье есть
И расстояния, и расставанья.
Пусть будут наши вдумчивы желанья –
Слагается о жизни нашей песнь,
Чтоб всякий мог когда-нибудь найти
Уют поэмы на своем пути.

О ДОМАХ

У всех домов имеется фасад
И разные бывают интерьеры.
Есть черный ход, устроен где-то склад
Вещей ненужных людям, скучных, серых.

Бывают здания не без заплат
Иль старые, и требуется вера,
Чтоб поселиться в них, – неровен час,
И дом такой вдруг похоронит вас.

И социолог должен понимать,
Что в каждом обществе, в душе, в народе,
Мы, люди, строим разные дома,
Противные самой людской природе.
Их словно жизнь не строила сама,
А в руки сунула нескладной моде.
И грустно видеть мне хороший дом
На месте пыльном, грязном и пустом.

Нескладен дом иной, как ни гляди, –
То слишком уж роскошно впереди,
То сзади как-то слишком неказисто.
Бывает, дом имеет облик чистый,
Но ты в него без света не вступи,
Запахкаешься, даже у министра.
Мы в жизни часто строим без ума,
И нас все учит, учит жизнь сама.

Конечно, всяк себе противник первый.
Сужденья сердца – горе для ума.
И тут не надо говорить о нервах,
Ведь нервы – это лишь стекло окна
Души твоей... Равенне и таверне
Честь воздается в окнах не одна.
Хоть рассужденья эти, в общем, верны,
Но сердце – смесь таверны и Равенны.

Как хорошо увидеть новый дом
В его удобном замысле простом.
Какое это, право, наслажденье
Замыслить дом, осуществлять в терпении,

Владеть умом, играть воображеньем
И поселиться после в доме том...
Давайте дом такой построим вместе
На самом лучшем и красивом месте.

КРАТКАЯ БАЛЛАДА О КРОВАТИ

Дана кровать на много лет,
Но жизнь ее узка.
Здесь человека легкий след
Уходит в облака.

Стоит кровать у всех дорог,
Как жизни нашей дверь,
И как медлительный порог
Бесчисленных потерь.

Нагроможденье вещей снов
И радостей пустых,
Она бессмысленности ров
И берег высоты.

СОБАКИ ЦАРЬГРАДА

По ночам собаки в міре лают.
Стены спят, и люди видят сны,
И луна, как радость молодая,
Льется на безлюдье с вышины.

Ждет любовь полнощную отраду,
Кормит жизнь горячей грудью мать.
А собаки лают. Им не надо
Много в этом міре понимать.

НА УЛИЦЕ

Крестословицу решает господин.
Он за столиком на улице один,
И, в решение задачи погружен,
Говорит как будто сам с собою он.

А вокруг идет бездумная езда,
Люди пролетают, словно поезда,
И идет за старым веком тот же век —
Крестословицу решает человек.

Всё сидит, решает, ищет он ответ
У того, чего и не было, и нет.

ЕВКАЛИПТЫ

Есть в эвкалиптах жажда тишины
И сокровенное единоборство
С деревьями... Подземного упорства
Следы вокруг и запахи слышны.

Дыханье отнимает эвкалипт
У всех кустов и трав. И он дымитя,
Навар стволов и листьев, жестких мирт,
Чтоб человек дышал и пела птица.

ИЗ ЦИКЛА «ИЕРУСАЛИМСКИЕ ХРОНИКИ»

Я пишу свои истории для женщины, которая ни в коем случае не станет их читать. Она вообще не хочет слышать моего имени: по телефону она говорить отказывается, а конверты, надписанные моей рукой, сразу откладывает в сторону. И поскучать у нее под окнами я даже теоретически не могу: она находится чёрт знает где, в Колокольном переулке. Но у нее и раньше нельзя было томиться под окнами, потому что напротив ее дома жил сионист, бывший администратор Елисеевского гастронома, и стоило там секунду постоять, как у вас сразу же требовали документы. Кажется, она во второй раз вышла замуж, во всяком случае, она выселила с Колокольного своего первого мужа, и по этому поводу мы обменялись с ним двумя вежливыми письмами: никаких спорных вопросов между нами больше не стояло. Получив от него второе письмо, я подумал, что самых близких женщин можно разделить на три группы. Первая – это с которыми есть взаимопонимание и доверие. Это очень редкая группа. Она почти не встречается. Мало того, что такая женщина обязательно должна быть ленинградкой, но ее еще нужно застать в двадцать четыре года – не раньше и не позже, за спиной у нее должен быть какой-нибудь идиотский брак и еще парочка претендентов, которые точно знают, что «только с ним она будет счастлива». Эту категорию женщин я просто не обсуждаю. Там нечего обсуждать. И выбирать обычно приходится между женщинами, с которыми есть взаимопонимание, и женщинами, которым можно доверять.

Простота этой классификации только кажущаяся. Потому что может быть колоссальное взаимопонима-

ние, а на месте доверия стоять прочерк. Это нейтральный вариант. Но на месте прочерка еще может стоять такое активное недоверие, что никаким взаимопониманием его уже не загладить. И моя знакомая с Колокольного переулка относилась именно к этому типу.

Собственно, вся эта история произошла из-за моей привычки спать на полу. А женщины, с которыми есть только взаимопонимание, не любят спать на полу. И им даже удалось выработать во мне что-то вроде стеснения и комплекса, так что я не могу спать на полу, когда вокруг меня ходят посторонние люди.

Я проснулся от стука в дверь. По стуку было похоже, что еще рано и что это пьяный Аркадий Ионович. Он был полутрезв и привел с собой толстого художника из Хайфы, с которым они пили ночь в Неве-Яакове. Но их выгнали из дома, где они пили, потому что художник пугал маму. Тогда они доехали до Иерусалима на поливальной машине и пришли пешком ко мне. Я не люблю, когда ко мне приходят в семь утра опохмеляться, и я сказал с пола, чтоб их духа собачьего рядом с моей дверью в такую рань больше не было, что я лег в три часа и что я понимаю, что у Аркадия Ионовича нет света и живет китаец Хаим, но я не могу по утрам поить чаем всех китайцев на свете. И я не хочу в своем доме никаких незнакомых алкоголиков и не желаю ни с кем знакомиться. Тогда Аркадий Ионович мстительно сказал, чтобы я ему вернул тридцать шекелей, которые я брал третьего дня, и они пойдут пить чай в «Таамон». Мне пришлось встать, подойти к двери и сказать в трусах, чтобы приходили в десять. Если бы я пустил их пить чай, то день скорее всего прошел бы спокойнее.

Аркадий Ионович живет от меня за углом. У него на первом этаже из тюрьмы вернулся хозяин, и из-за этого нет воды. А газовые баллоны Шнайдер еще в прошлом году продал арабам.

Я пошел в банк, но по дороге я вспомнил, что ничего Аркадию Ионовичу отдать не смогу, потому что

сегодня двадцать восьмое и февраль. Это последний день платить машканту, и лишних денег никаких нет, даже минус. Возвращаться мне не хотелось, но я подумал, что они уже не придут, и вернулся. Но не тут-то было: они уже ждали под дверью. И оба еще немного вмазали.

В этот момент я совершил ошибку. Мне нужно было по-честному сказать, что нет ни одной копейки в кармане и отдать деньги я не могу, а я застеснялся. И начал объяснять Аркадию Ионовичу, что в таком пьяном виде ему лучше долг не забирать, потому что все пропьет. Аркадий Ионович ничего не ответил, но пожал плечами и немного от меня отстранился.

И из-за его спины вылез этот толстый монстр в черном. Он взял меня за шею и начал руками душить. Это, наверное, оттого, что я не пустил их утром, или у него были свои понятия о справедливости, и он был недоволен, что не отдают тридцать шекелей. Меня никогда раньше не душили, но ничего особенного.

Он меня подушил и сказал, что если я хочу жить, чтоб сразу отдал все деньги. А потом отпустил мою шею и ударил кулаком в нос. И у меня потекла кровь. Аркадий Ионович сказал художнику, что «не надо», а я начал бить его ногами и три раза попал в печень и два раза очень сильно по яйцам. У него в руках была бутылка коньяка за четыре двадцать с отбитым горлышком, и мне ничего больше не пришло в голову делать, потому что непонятно было, что он еще выкинет. Я бил его со всей силой, но он никак не реагировал и смотрел на меня с удивлением. Я видел такое раньше только в кино. У него был очень толстый живот, и нога там увязала. Я к нему не испытывал никакой злости, но было противно, что из носа идет кровь. Когда я кончил бить, он еще подождал секунду. Потом швырнул в меня бутылкой, но промахнулся.

«Ты знаешь, сука, что я с тобой сделаю? – спросил он. – Попишу! Распрыгался, шмок! Я же сто двадцать

килограммов вешу. Я же, блядь, с Арбата!» С этими словами он пошел животом вперед и прижал меня к лестнице.

Но как-то мы все-таки расцепились, потому что за его спиной стала орать старуха-соседка, жена кукурузника с Агриппаса. И они ушли. Толстый обозвал старуху пиздой и шармутом, но она успела от него запереяться. Он только подергал дверь так, что ее маленький одноэтажный дом заходил ходуном.

Пора было Аркадию Ионовичу тоже отказать от дома, но у меня не получалось. Когда у него проходил запой, он оставался моим единственным нормальным собеседником. Но у него все время кто-то жил. Сначала жил нищий Жора, который собирал баночки от кефира, потом Борис Федорович со Шнайдером и продали обстановку арабам. Еще жил венгерский монах. Он напивался и кричал по-русски «буду тебе стрелить по морде». Аркадий Ионович где-то находил их перед зимой, а потом переезжал ко мне, и мы совещались, что теперь делать. А сейчас уже третью неделю у него жил Шнайдер, которого выпустили из тюрьмы «Джамала» за то, что он украл в хасидской иешиве портфель с долларами. Подумали на него, потому что он приходил в этот день просить на водку. Он там раньше учился, но Шиф его выгнал за то, что он продал арабам холодильник. У него была страсть все продавать арабам.

Аркадий Ионович встретил Шнайдера во время прошлого запоя на базаре. И они пошли в бухарский садик, чтобы выпить за освобождение. Хоть это было совершенно неудачное время освободиться: никакого жилья у него не было, и больше одной-двух иерусалимских зим на улице ему было уже не выдержать. По утрам он очень опухал, и у него стали болеть колени. Спать в трущобах действительно было холодно.

После тюрьмы ему полагались какие-то льготы, но нужно было много ходить по социальным отделам, стоять в очередях. А он пил каждый день, кроме тех дней,

когда сидел в тюрьме, и у него не хватало терпения. На работу без постоянного жилья ему было никуда не устроиться. Да и смысла особенного не было: он выходил по утрам на Яффо и за полчаса мог насобирать шекелей двадцать. Он говорил, что он бывший офицер Советской Армии, только что освобожден из тюрьмы и ему нужно два шекеля на водку. Но чтобы дали адрес – он потом занесет. Ему все говорили, что не нужно заносить. Может быть, из двадцати – человека три только не давали. И работать за полтора шекеля в час сторожем он не мог настроиться.

Когда они выпили за освобождение, Аркадий Ионович вежливо спросил: «Ты где жить устроился?» А Шнайдер ему ответил: «У тебя». Но безо всякой издевки, не как Коровьев. Просто Аркадий Ионович несколько суток пил и домой не возвращался, а квартира у него стояла открытая. Там все равно нечего было брать после того, как все продали старьевщикам. Я один раз приладил ему замок на бронзовой цепи и еще купил старую настольную лампу, когда он месяц не пил, пока делал хронологическую таблицу по второму тому истории Карамзина и дошел до сыновей Всеволода Большое Гнездо. Таблица получилась очень хорошей, не только с прямыми ветками, но и со всеми племянниками, и с половцами, но он ее забыл в автобусе, когда ездил поступать на курсы гостиничных работников, и на цепь больше не закрывали.

На этот раз Шнайдер вел себя очень хорошо, и его не за что было прогнать. Он даже украл Аркадию Ионовичу настоящую кожаную куртку с целой подкладкой и устроился на работу сторожем. Утром он шел на «прострел», потом покупал в Машбире хорошие продукты, колбасу, зельц, бирмингемский шоколад или курицу и две бутылки водки. И его увозили на работу. У них была большая нехватка сторожей, а Шнайдер после тюрьмы очень поправился, и у него была бородка клинышком, а арабов на этот объект брать было нельзя. Из-за ка-

кой-то лаборатории, которую арабам сторожить не доверяли.

А пока я вымел осколки стекла с лестницы и смыл коньяк двумя ведрами воды. Все равно остался очень сильный коньячный дух, так что меня стало от него мутить. Я открыл двери и окна настежь проветриться. И стал застирывать рубашку от крови индийским стиральным порошком «амбрелла», который мне отдала моя ученица перед отъездом в Америку. Она привезла в Израиль очень много этого порошка и за семь лет не смогла его истратить. И еще мне отдала около двадцати пачек. А в Америку она решила его уже не брать.

Когда я застирал рубашку и пошел ее вешать, они опять стояли в дверях. Я оглянулся: что было под руками. Теперь этого толстого придется убивать, за что — непонятно, а другого выхода не было. У меня и так весь день был неприятный осадок, что я его так сильно колотил по яйцам, а он не падал. Но они стояли перед дверью оба очень растроганные и смущенные. Толстого художника, оказалось, звали Женей. Он действительно оказался с Арбата. Очень там крепкие ребята, на Арбате, я это раньше недооценивал. Женя сказал: «Слушай, мы, кажется, дрались, и ты меня так больно бил по яйцам. Нехорошо как».

И мы с ним безо всяких задних мыслей расцеловались, и я обещал через десять минут прийти к ним выпить. Но через десять минут у меня не получилось.

Я вообще не очень собирался туда идти и тянул время. Часа через два за мной пришел Аркадий Ионович снова приглашать, сказал, что ребята обижаются. И чтоб я принес кастрюлю с горячей водой для чая. Но когда Аркадий Ионович шел от меня обратно, то с работы возвратился кукурузник с Агриппаса, довольно крепкий курд лет шестидесяти, и уже его подстерегал. Он торгует на углу Агриппаса и Кинг Джордж горячей кукурузой и каштанами и возит каждый день, кроме шабата, туда и обратно тяжелую железную тележку, в

которой он все это варит. Я два раза помогал ему толкать тележку домой, и она довольно увесистая. Если ее возить два раза в день, то в шестьдесят лет еще чувствуешь себя мужчиной. Кукурузник встретил Аркадия Ионовича палкой с гвоздем и стал бить его за жену по голове. Аркадий Ионович сначала только защищался, но кукурузник вошел в раж и пробил гвоздем насквозь ворованную кожаную куртку, которой Аркадий Ионович очень гордился. Тогда Аркадий Ионович тоже дал ему два раза по морде, так что кукурузник упал и побежал вызывать полицию.

У Аркадия Ионовича, когда я пришел, выпивала целая компания. Был Шнайдер и еще кто-то спал. Толстым художником Женей мы обменялись рукопожатиями и он меня еще немножко помял.

А я стал, чтоб не молчать, противно советовать, что делать, если ты спокойно приходишь в собственный дом и вдруг через три минуты получаешь по морде. Нужно на это отвечать или нет. Почему-то меня потянуло на психологические вопросы. Толстый со Шнайдером задумались. Аркадий Ионович был уже очень сильно пьян и все время смеялся.

«Слушай, студент, – сказал Шнайдер, – тебе не нужен микроскоп? Новый?»

Я редко ходил к ним на квартиру, чтобы Шнайдера не приваживать, но я знал, что вчера Шнайдер утащил из лаборатории, которую он сторожил, очень хороший цейсовский микроскоп и дипломатку с линзами. Кожаную куртку, в которой Аркадия встретил кукурузник, он тоже утащил с работы, но раньше. Было довольно странно, что еще никто не хватился. Я представлял себе, что чёрт с ней с курткой, но приходит кто-то утром на работу работать на электронном микроскопе, а его нет, его украл сторож. И человек, конечно, должен хватиться. Аркадий Ионович уже предлагал мне купить его у Шнайдера за двадцать пять шекелей, но у меня не было денег, и я решил с ворованным не связываться. Но мне

тоже всегда хотелось иметь микроскоп, и я понимал, почему Шнайдер его украл, потому что в деньгах у него никакой нужды не было. Мне налили бренди, и я с ними два раза выпил и поел маслин. Про микроскоп я ничего ответить не успел – как раз в этот момент в комнату вошли один за другим четверо полицейских. Один был в штатском. «Который Шнайдер?» – спросил в штатском. «Ну я», – сказал Шнайдер, не обращая на них особенного внимания. Он в этот момент открывал пачку апельсиновых вафель. Это одни из самых лучших вафель в Израиле. Если вы когда-нибудь были в Ленинграде в конце пятидесятых годов, то вы должны помнить, что на Финляндском вокзале продавались треугольные вафли с невероятно похожим вкусом. Они назывались «школьные». Я еще раньше замечал, что у Шнайдера очень тонкий вкус на продукты. Если он что-нибудь покупал, то это был действительно первый сорт.

«Вы арестованы, – сказал в штатском. – Где электронный микроскоп?»

Если бы не спящий китаец Хаим, то мы были очень похожи на сцену в экранизации «Трех мушкетеров», которую я недавно посмотрел по иорданскому каналу: граф Рошфор приходит с тремя полицейскими, а Портос, тоже килограммов под сто двадцать, бьет его скамейкой, а потом д'Артаньян с графом Рошфором сражаются на льду и ругаются по-арабски. Я вообще раньше не помнил такой сцены у Дюма, но там точно не было никаких китайцев.

«Какой микроскоп, – сказал пьяно Шнайдер, – я не знаю, какой микроскоп! Пузо, скажи им!» – добавил он Портосу.

«Обыщите этих людей и весь дом!» – сказал в штатском.

Собственно, обыскивать у Аркадия Ионовича были только кровати, два метра кухни и шкаф.

«Вы в шкафу посмотрите! – нагло сказало „Пузо“. – Нету у него никаких микроскопов».

Полицейский открыл шкаф и вытащил оттуда несколько скомканных детских курточек. Одну я узнал: несколько дней назад она пропала у соседки с веревки.

«Скажи, Шнайдер, где электронный микроскоп? – снова сказал в штатском. – Хевре, забирайте его».

Тогда Шнайдер сказал, что он не может ехать с полицейскими, что ему надо на работу сторожить. Но в штатском ему ответил, чтобы он не беспокоился, что уже ничего сторожить не надо. Было слышно, как они на него орут на лестнице и толкают в машину. Аркадий Ионович и Портос вышли на лестницу, чтобы посмотреть, как Шнайдера увозят, но домой после этого они уже не возвращались: во двор навстречу полицейскому фургону со Шнайдером въехал еще один полицейский фургон, который вызвал кукурузник с Агриппаса. Портос сразу исчез. Он не стал дожидаться, пока машины обменяются приветствиями, спустился по лестнице и исчез.

А Аркадия Ионовича и кукурузника с Агриппаса повезли на Русское подворье разбираться. Кукурузник очень не хотел ехать, а Аркадий Ионович не хотел ехать без кукурузника, и их обоих тоже затащили в машину силой.

Я допил бренди из чашки и съел еще несколько маслин. В комнате было темновато. Лежало несколько шабатных свечек, на которых Шнайдер пек яйца, если ему хотелось поесть горячего. За диваном, на котором все еще спал китаец, были сложены пустые бутылки с праздничными золотыми наклейками. Еще в комнате был одностворчатый шкаф «Шалом» и две железные сохнутувские кровати, еще очень хорошие. Детские вещи из шкафа полицейский бросил на пол, а сам шкаф «Шалом» стоял нараспашку, и я старался на него даже не смотреть: посреди всего мушкетерского хлама, в центре шкафа, на ворованных с веревок синтетических кофточках задумчиво стоял огромный западногерманский микроскоп с длинным беленьким тубусом. Полицейские

его тоже видели. Его нельзя было не увидеть. Видимо, полицейские не знали точно, чего они ищут, или им еще не приходилось в своей практике сталкиваться с кражами микроскопов.

Я машинально ел маслины и думал, что с микроскопом нужно что-то делать. Если в полицейском управлении в конце концов разберутся, как выглядит микроскоп, то, мало того, что Шнайдер снова получит свои полтора года, с которых ему скостят треть за примерное поведение, но еще и Аркадий Ионович, который точно обещал, что бросит пить и станет администратором гостиницы, получит какой-нибудь условный срок, и все из-за того, что я тут сижу, ем их ворованные маслины и не могу принять мужского решения.

Я осторожно завернул микроскоп в два махровых полотенца и выглянул из квартиры на улицу. Около синагоги все еще стояла большая толпа возбужденных курдов, которым жена кукурузника что-то громко рассказывала. Я свернул в другую сторону и пошел переулочками кружным путем до дома. Я крался по самой стеночке, и меня, кажется, никто не заметил. Я решил спрятать его в диван, где у меня лежало ватное одеяло, которое уже наполовину сожрали мыши. Мне их было не переловить, потому что я не люблю кошек, а в мышеловку попадались только самые активные, а те, которые не попадались, очень быстро рожали новых, и они снова начинали грызть это одеяло.

Но когда я стал распеленывать микроскоп, я вдруг со всей хрустальной ясностью понял, что я ошибся и забирать его не следовало. Полицейские его точно видели. Теперь, если они увидят его фотографию, то они его вспомнят. У Аркадия Ионовича есть стопроцентное алиби: он никак не мог перепрятать микроскоп, сидя у них в полиции. И взять его мог только я или спящий китаец, которого они даже не заметили среди бутылок. Надо было нести его обратно.

Я снова завернул микроскоп в полотенца и понес его обратно, но внести его в квартиру Аркадия Ионовича было уже нельзя: еще внизу я услышал, что в его квартире кто-то громко разговаривает на иврите. Поздно.

Оставалось его зарыть. Вокруг было полно таких домов, в которых можно зарыть. Эти дома скупает городское управление: заброшенные или после пожаров, в которых иногда ночевал Шнайдер, когда у Аркадия Ионовича были приличные гости. Шнайдер хранил там матрац, который собственно и был его единственным достоянием, и я ему даже завидовал – сам я обязательно начинаю обрастать вещами, которые жалко выбросить. Еще у него было много заграничных паспортов на разные фамилии, которые он прятал в разные щели, я сам видел паспорт на имя Ван-Дейка, но ими совершенно нельзя было пользоваться, потому что когда Шнайдер предъявлял паспорт и кредитную карточку в любом, даже в арабском магазине, всем сразу же становилось понятно, что это не Ван-Дейк. Сам он очень быстро забывал, где у него хранятся паспорта, я вообще не видел в своей жизни второго такого человека, у которого настолько бы отсутствовала память. Я несколько не сомневался, что он уже начисто забыл, куда он спрятал этот микроскоп.

И вот в таком заброшенном дворе микроскоп можно было спрятать и забросать мусором.

Надо было мне утром их впустить. Попили бы чаю, походили бы у меня над головой сапогами, и ничего бы, не умер. И, может быть, толстый не гонял бы жену кукурузника, если бы я не бил его так по яйцам. У него на это могла быть реакция. Так мне и надо сидеть тут и копать, как Раскольников, в этом мусоре! Еще я ругал себя за то, что не заступился сейчас за Аркадия Ионовича и дал его увезти живым в тюрьму. Я уговаривал себя, что у него только начался запой и там в тюрьме он протрезвеет, но на самом деле главной причиной было,

что я страшно тщеславен, и мне не хотелось, чтобы сразу все эти соседские курды увидели, что я якшаюсь с деклассированными элементами.

Но скоро выяснилось, что я слишком драматизировал события: когда я вернулся домой, у меня на диване сидел довольный Аркадий Ионович и прямо светился от счастья. «Не будьте таким идиотом, – сказал он, когда услышал, что я спрятал микроскоп. – Теперь, когда эти балбесы меня отпустили, подозрения снова падают на меня! Кто вас вообще просил вмешиваться? Срочно отойдите от него обратно и отнесите ко мне. Никто там не разговаривает. Я только что оттуда. Это Шлема Рубинфайн вернулся из сумасшедшего дома на выходные».

У нас такой район, что половина соседей откуда-нибудь вернулась.

– Слушайте, а может быть, микроскоп Шафрану отнести, – спросил я.

– Он – астроном. Зачем ему микроскоп? Смотреть на звезды?

– Шуре еще можно отнести. Они очень приличные люди. Работают в патентном бюро.

– Не надо никому ничего носить. Мы уже Шуре на работу носили продавать кота. Отнесите его на место и постарайтесь не разбудить китайца. Не нужно нам лишних свидетелей. Я узнал, что на Шнайдера поступило три заявления с точным перечнем всего, что он украл. Пусть его посадят, что вам за дело? Отдохнет от питья, а я хоть пол смогу помыть в квартире. Несите, несите. И закройте его какой-нибудь тряпочкой, чтобы его кто-нибудь по ошибке не украл. Я вернусь дней через пять, когда тут все уляжется. У вас действительно нет денег? Ладно, ладно, не кричите на меня.

Аркадий Ионович ушел, а я в третий раз полез через забор откапывать микроскоп из мусора. Я был голодный, трезвый и злой.

Я нормальный человек. Я ничего такого никому не сделал. Я из Одессы. Сидел по восемьдесят четвертой

статье, часть вторая – хищение социалистической собственности. Слыхали про «Черноморскую дорогу»? С одной стороны сидят, с другой лежат! Я техникум кончил – вы не думайте, что я так всегда по срачникам на матрасе спал. Я бывший офицер Советской Армии, только что в чине капитана освобожден из Беер-Шевской тюрьмы! Не могли бы вы мне одолжить два шекеля на водку? Мне нужно выпить за освобождение. Дайте мне свой адрес, я завтра занесу.

Слушайте, вам не нужен за двадцать пять шекелей хороший электронный микроскоп?

ФЕДОТОВ Михаил Васильевич – родился в 1945 году в Ленинграде. В прошлом врач-онколог. В Союзе не печатался.

«ОБНЯВ ПЕГАСА ТЕПЛОГО ЗА ШЕЮ...»

ПЛУТОН И ПРОЗЕРПИНА

У батареи в коридоре
Беспечно спит мой глупый кот.
Не знает он, какое горе,
Какое бедствие грядёт.

Я церемониться не стану.
Программа действия проста:
Беру в охапку и к дивану
Влеку нагретого кота.

Он бьется, выгибая спину,
Он издает протяжный стон,
Напоминая Прозерпину,
Которую несет Плутон.

...Лежит. Мурлыкает. У бока
Я ощущаю теплый бок.
И я уже не одинока,
И он уже не одинок.

1974

ОДА БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ

Всю ночь болело очень горло
И я надеждою жила.
Свобода медленно простерла
Ко мне роскошные крыла.

Стихи получены из России и публикуются без ведома и согласия автора.

Когда бы не температура,
Ломота в теле, кашель, чих,
Не знала б ты, литература,
Не знала б ты стихов моих.

Тоска на время отступает,
И даль приветливо чиста,
Пока ладони мне ласкает
Тепло больничного листа.

Бумажка пасмурного цвета,
Преображающая свет,
Больничный лист, мечта поэта,
Казенный штампик, трафарет.

Прекрасен мир, как день получки,
Исчез бездушный счет часам,
И носик шариковой ручки
Уже к бумаге рвется сам.

Они безумно рады встрече,
Они целуются взахлеб.
Писать я буду целый вечер
Сквозь кашель, слабость и озноб.

Древнеегипетский папирус
Не больше для меня в цене,
Чем подтверждающая вирус
Бумажка, выданная мне.

1978

* *
*

Воспеваю тарелку, траву
Или вирусный грипп.
И в лесу никогда не сорву
Замечательный гриб:

Пожалею грибную красу.
В звоне летнего дня
Я лягушку в ладони несу –
Не боится меня.

И когда я улягусь в гробу,
То из чащи лесной
Прибегут муравьи и грибы
Попрощаться со мной.

Все воспетые мной приползут,
И печальный микроб
Незаметно уронит слезу,
Залезая на гроб.

Станет горько бездомным котам
И столовским котам,
Неизвестным местам и мечтам,
Незаметным цветам.

Прилетит, приклебится ко мне
Мной покинутый дым.
Кто еще в городской стороне
Залюбуется им?

Кто подумает: «Дым – это хвост
Неземного кота»?
Дым – обычен, обыден и прост,
А скучна простота.

Никому я не мать, не жена,
Не штурвал кораблю,
Но кому-то я все же нужна
И кого-то люблю.

1973

ПРОЩАНИЕ С СОБОЮ

Пишу стихи. Не то. Опять не то.
Не звезды – лампа. Не душа, а тело.
Я думала: во вред пошло *лито*,
Но поняла, что просто потолстела.

Я становлюсь солидной. Что ни год –
Уверенней, спокойнее походка.
Мне ощущение силы придает
Рождение второго подбородка.

Придя с работы, в зеркало гляжусь
И вижу, как полнею и умнею.
И радуюсь, и сравнивать стыжусь
Себя с собою бывшей. С тою. С нею.

Как много было в жизни чепухи!
И вот я разучаюсь понемногу
Читать стихи, придумывать стихи...
И слава Богу. Ну их! Слава Богу!

Ни смеха, ни движенья невопад,
Ни пошлых слез над кошкою бездомной,
Ни денежных долгов, ни лишних трат –
Я стала так похвально экономной.

Я честно полюбила Ленинград.
Как хороши – решетки, Медный Всадник

И на Дворцовой площади парад,
И стриженный под бобрик палисадник!

Мне стало то же нравиться, что всем.
Теперь Фонтанку отличу от Мойки.
И не ищу уж стихотворных тем,
Романтики – в быту посудомойки.

Я молодость растратила свою,
Сгубила жизнь свою ни за копейку.
Еще не поздно, я создам семью –
Полезнейшую обществу ячейку.

Пусть будет *он* на прежних не похож.
Пусть будет всё толково и спокойно.
А если не получится – ну что ж,
Увяну одиноко и достойно.

Ах, что б ему побольше получать!
О, прочь *мечты!* Я больше не мечтаю;
Как семечки – ведь стоит лишь начать,
Не оторваться, нет конца и краю.

Как семечки? Сравненье? Тоже прочь!
Довольно мне метафор и сравнений!
Довольно слов *как будто, как, точь-в-точь*
И прочих нерешенных уравнений...

Лечусь. Таблетки ем. Таблетки те
Больным дают покой. Но отчего-то
Больных располагают к полноте.
К тому ж еще – сидячая работа.

Моя работа новая! Сижу.
Порой замру, люблюсь на порядок.
Мой стол! Сюда я папку положу,
А этот угол будет для тетрадок.

Вот картотека. Я склоняюсь к ней.
Вот ФРГ, Япония и Штаты,
Вот карандаш, и ножницы, и клей,
Тут рефераты, это – дубликаты...

Болят спина? Привыкну. Кто-то мной
Вдруг занялся: умнею и умнею.
Где б ни была, – как Золушка, домой
До полночи. До десяти, вернее.

Нет, не читать. Отнюдь. Я спать спешу
Я поняла: режим святое дело.
Я больше никого не насмешу.
Пора – остепенилась, потолстела.

...Босая, в безутешной тишине,
В конюшне той, что я назвать не смею,
Обняв Пегаса теплого за шею,
Я горько плакала, и страшно было мне.

1975

* *
*

Вижу, вижу, чувствую прутья,
Но уже не могу свернуть я,
И нигде не найду ответа:
Что толкает меня на это?

Чтобы – белкою в колесе?
Чтобы быть, наконец, как все?

Что же лезу я в эту клетку?
И какому бесу в угоду?
Полюблю ли мужа и детку
Больше, чем стихи и свободу?

И сменив пеленки сыночку,
И таща набитые сетки,
Вспомню ночьку – да в одиночку,
Авторучку да эту строчку,
Буду биться о прутья клетки...

1981

* *
 *

Мы возле счастья где-то близко кружим,
Но на него никак не набредем.
Я знаю, быть моим несладко мужем,
Но что же делать? – назвался груздём.

Уж очень тесен наш с тобою кузов,
Однако по пословице живи.
А мы еще заводим карапузов,
Чтоб, так сказать, узреть плоды любви.

Был мир когда-то солнечной полянкой,
Была такая в мире благодать!
Но груздь пленился хрупкою поганкой
И взял ее с собою – погибать.

1983

ВРАЩЕНИЕ

Все делать быстро, быстро, быстро,
Скорей, скорей, скорей, скорей,
Сверкать по дому, словно искра,
Среди кастрюль, детей, зверей.

Как будто в книге без абзацев,
Я потеряла смысл и связь.
Не за двумя – за сотней зайцев
Одновременно погналась.

Несправедливость и обида:
Ничем богов не рассердив,
Всегда верчусь, как Данаида,
Иль даже хуже – как Сизиф.

Вокруг меня – мои планеты
Живут лишь мне благодаря.
Моей энергией согреты
Материки, леса, моря.

И мысль, которая ужасна,
Меня пронзит в расплаве дня:
Ведь я остыну, я погасну,
Что будет с ними без меня?

1984

ДОЖДЬ

Холодный день. Холодный мокрый день.
Блестит асфальта зябнущая кожа.
И мокрая холодная сирень
На розовую нищенку похожа.

Торчит из многочисленных прорех
Сирени соблазнительное тело.
Сквозь дождь и холод слышен свежий смех
Ей хорошо. Ей жить не надоело.

1980

ОТРАЖЕНИЕ

Я в зеркальном стекле отражаюсь –
Темный призрак с тоскою во взоре.
Отлежусь, отлечусь, от-рожаюсь –
Буду жить в совершенном мажоре!

Мы получим квартиру с балконом,
Ах, как будет прелестно в квартире!
Со своим ненаглядным законным
Заживу я в согласьи и мире.

Я детей дорогих раскидаю
По яслям, по садам и по школам,
И пройдуся по домашнему раю
С новым венником, с сердцем веселым.

И, согласно возросшим зарплатам
Обзаведшись заветною дачей,
Побежим к ручейкам и опятам
Под ликующий голос собачий.

Как я много люблю и желаю!
Сластолюбка, гурманка, обжора,
Неспокойна к мурчанью и лаю,
Доживу ль до сплошного мажора?

Все меняется – страны и реки,
Но незыблемый образ зеркальный
Так печален – как будто навеки,
И прочней, чем рисунок на скальном.

1983

ЭЗРОХИ Зоя Евсеевна – родилась в Ленинграде, получила среднее техническое образование (окончила ленинградский химико-технологический техникум). Работала посудомойкой, лаборанткой, а

затем инженером в одном из проектных институтов Ленинграда; в настоящее время, после тяжелой онкологической операции, инвалид. Стихи пишет с четырехлетнего возраста. В СССР публиковалась в журналах «Юность» и «Нева», в «Литературной газете», в сборнике «Молодые поэты Ленинграда» (1970-е), в 1978 году участвовала в конференциях молодых писателей Северо-Запада (Ленинград), а в 1979 – во всесоюзной конференции молодых писателей, – однако известна в основном по самиздату, в частности, по сборнику «Острова» (1982), представляющему собой антологию ленинградской неподцензурной поэзии за тридцатилетие бронзового века (1950 – 1980).

Г е о р г и й И в а н о в

Несобранное

*Под редакцией и с комментариями
Вадима Крейда*

Antiquary, 1987

Первое комментированное издание неизвестных
стихотворений Георгия Иванова

Заказы посылать по адресу:
Emanuel Sztejn
594 Chestnut Ridge Road,
Orange, CT 06477 USA

УЛЫБКА

С Юрой мы подружились в драке. Возникшей из-за пустяка. Что часто бывало в нашем писательском клубе, никогда не отличавшемся респектабельностью, как пресловутый ковбойский салун, только американского не хватало размаху. Юра честь своих дам защищал. Ему показалось, что кто-то дам его оскорбляет. А их при всем желании – не оскорбить. Исторические бляды, они очень смутно ее себе представляли. Но Юра был из другого века и старомодно считал, что даже при отсутствии чести как таковой их тем более следует защищать, несчастных. Сбросив свои ледяные латы, он смело бросился в бой. Рыцари, как и мамонты, в нашей северной стране еще сохранились. Не исключено, что на Колыме когда-нибудь их откроют музей.

Конечно, легендарные люди не дерутся друг с другом. Но кто из нас тогда эту истину знал? В клубе всегда пребывало достаточно дряни – каждой твари по паре. И Юра – как бы ни был огромен – мог вполне затеряться в них.

Силы были явно неравны. Не исключено, что Юре бы очень попало. Но всегда найдутся добрые люди и под руку объяснят, что к чему и кто есть кто в нашем вечно грызущемся мире, подозрительном и глухом.

Вскоре мы уже пили вместе – громко, торжественно, дружески, братски и с белой салфеткой у рта. Юра при этом размахивал ею, как флагом. Но это не значило, что он был капитулянт.

Позже ему припомнили эту нашу оплошность и предложили общественным свидетелем быть, хотя общественным обвинителем на наших судах быть куда эффективней. Что-то явно серьезное против меня затевалось. Надо заметить – не гладко шла моя жизнь, и о

творчестве моем зачастую в судах судили. Они по сути и были союза писателей филиал. Обсуждение-линч началось обычно на главной сцене и редко когда не кончалось в суде. Так и на этот раз, вероятно, случилось. Скорей всего очень бурно прошло обсуждение моих стихов. Вот когда настоящая возникла драка, которую и милиция едва разняла (между прочим, ей тоже досталось, едва она слезла со своих лошадей – конная, она тогда в моду входила) – не бедный хрустальный буфет ресторана был полностью уничтожен, аппетит у кого-то испорчен, и председательствующий Ошанин побит. Был он очень плохим поэтом, и совесть не думала мучить меня. Это он затеял показательное обсуждение, полагая, что все беды в нашей стране идут от таких, как я (стихи мои уже начинали быть популярными). Ну, что ж, я был от души доволен – общественная акция получилась. Я увидел – есть читатели у меня, к тому же реагирующие живо.

И вот в качестве общественного свидетеля-жертвы его и призвали на суд. Но Юра, к чести его, сам на них ополчился: «А любопытно мне знать – что же вы, сволочи, меня раньше не защищали, когда я всю жизнь по вашим доносам горбил?»... И союз писателей поспешил замять это дело. В отличие от других каторжан, он не был напуган. Я же, в отличие от него, еще не сидел и только и делал, что лез на рожон, с удовольствием и обстоятельно ломая себе карьеру, едва ли понимая, что могу кончить тем, с чего Юра начал, а именно – основательно сесть. Но времена уже были, хотя и немного, но все же другие. И в этом мне чуть побольше, чем Юре, везло. Великий наш дал уже дуба, подагрические откинув копыта. А власть его была без него самого, что было для нее трагически непривычно. К тому ж ей казалось, что возмездье непонятно откуда грядет. И было ей, как на гвоздях, неуютно. зуб на зуб не попадал, вернее, зубец на зубец гигантской ее шестеренки. Без новой крови явно скрипела дыба. И кто-то уже думал,

что больше ей смазки не будет, полагая, что народ – не донор, достаточно пить его кровь. Сколько можно? И так далее радостно думал, видя, что самое время по огромной кровососалке хлопнуть и остальных старперов за их сосущие хобота схватить. Но растревоженный улей погудел-погудел и привычно заткнулся, как всегда полагая, что недостаточно еще пострадал, горькую участь, как всегда, запивая горькой. И новой издевкой обернулся в нашей стране декабризм.

Декабристы, им не везет в России. Первых сослали, повесив его главарей. Вторых – стали брить наголо и сажать пока ненадолго (десять-пятнадцать суток – не десять-пятнадцать лет), но это была прелюдия к более долгим и привычным срокам, по крайней мере в России понятным. Колыма переезжала на новое место, и требовалось время на переустройство ее. Быстро со страху они свой страх побороли. Пестелей здесь не растят.

Тюремных дворов сенатская площадь – там бывал весь советский народ. Однажды и Юру наголо побрили. Но это чуть позже, а пока он без сучка и задоринки в свою новую жизнь входил.

Был он человеком открытым (это не мешало ему быть себе на уме), порывистым и горячим.

– Юра, ты кто?

– Я – цыган.

– Только не из кочевого табора, – говорю.

– Это почему же не кочевого? – останавливается он удивленный.

– А потому что всю жизнь просидел. И на одном и том же месте. Ты – местечковый цыган.

– Ты хочешь сказать – с обязательной чертой оседлости, как цыган пархатый? – улыбается он.

– И еще с обязательным минусом ста городов, – добавляю, – ста наших и сколько-то там тысяч настоящих, вечных и заграничных, куда тебе тем более никогда не попасть, что тоже в твоей жизни минус. Добавим сюда еще минус всех холодов, на которых ты

всегда находился... Заметь – ни одного плюса в этой сучьей стране – сплошные минусы!

– А «плюс электрификация всей страны», которая меня великодушно амнистировала и не посмертно, как ей того от души хотелось...

– Чуть не посмертно, – поправляю я классика.

– Да нет, я еще ничего. Даже более того – в допосадочной форме. Не окончательно, но разморожен. Север, он меня сохранил, а в некотором смысле и приумножил даже. Не забудь – я был среди лучших российских умов, хотя попадались и не российские тоже. А быть среди них – о, какие это жизни университеты! Все самое лучшее не бережно, но аккуратно везли туда. Все самое ценное беспорядочно свалили в кучу. Навозная, в ней не надо было искать драгоценное зерно – она сама состояла из этих зерен. Столько бескорыстных и честных, выдающихся и достойных, всемирно признанных корифеев. Столько гениев сразу и в одном месте. Что и говорить – неслыханно Сталину повезло. Другое дело, самим гениям это вышло боком. Узколобый не мог переварить такую радость, такой на свою голову урожай. Ренессансы, они могут, видимо, только в древности подниматься, но никак не в наш остервенелый век, сиднем сидящий и не думающий никуда улетать. Скажем, к Богу поближе. А тут какой-то чудаки берет и придумывает биологическую защиту от космической радиации. Или астроном, сидя в своей одиночке, выдвигает абсолютно умопомрачительную гипотезу сотворения мира. Пальцем в небо, а ведь в самую точку попал. Видимо, только в карцере и приходит космическое озарение. Ему присуждают медаль, усыпанную бриллиантами, а ему бы на ноги чоботы потеплей. Где-то ахает мир, восхищенный гениальным открытием, и его теплота остается с ним, как, впрочем, и медаль с бриллиантами. Сытый, свободный и уже хотя бы потому счастливый, я представляю, сколько в нем теплоты настоящей. Ему хватает калорий для необходимейшей нам теплоты. Голод, холод, а мо-

гучая мысль моих товарищей раздвигает тесные стены и летит себе на простор, полагая, что благо людям приносит. И крещенские морозы и прочие лютости ей нипочем. Жар-Птица, она на поверку еще и Феникс. 11 слоев папиросной тонкой бумаги, а скальпель хирурга режет 10 – точь-в-точь толщина человеческой кожи. Блатари плачут от восхищения – нам бы руки его, щипачам-карманникам, чей тоже не худший класс, и место у печки освобождают: «На, волшебник, пожуй!»... Чечетку сбачать это по части артистов (здесь они не умрут), а вот «романы тискать» – это уже про нас, прозаиков, толковище. Шутки – шутками, а так и создавалась настоящая, без всяких там меркантильностей, литература. Там шедевры висят в табачном дыму. И легенды новые губы ищут. И еще, что у нас там втихую поет народ? Да те самые песни, что мы там слагали. Крик, вонь, хрип, поножовщина и цынга, что тебе вохровец, выбивающая зубы... А сидит мыслитель – сократушка наш лагерный, и бесплатно мыслит. Интересно, и чем же он свою голову воспалил? «Отец Флоренский» – это что-нибудь тебе говорит? Распятые здесь не ропщут. Они знали, на что шли. Тридцать сребреников или тридцать гвоздей в твои мощи – на выбор (тут, брат, третьего не предпочтешь?). Вот и получается – у каждого свой крест, можно сказать, нательный. Поэт великий... Ну, этого ты, тоже не слабый, знаешь – вон он медленно умирает в своих стихах. Бескрайние пространства и неволя – как-то не вяжется. Масштабы земли и масштабы людей не от мира сего. Здесь они смыты, затеряны и несопоставимы. Потом громадно и громко засветятся их имена, они имеют обыкновение только посмертно светиться. Да Бог ты мой, посмотришь – эпохи на нарах сидят – бледные, только из карцера, доходяги. Вот уж истинно сливки собрали, чтобы масло для своих убойных затворов сбивать. Вот кого перво-наперво в здешний народ кидали – в грязь и в сволочь, в мерзость и в срам. И только потом уже в снег. Несказанно белый, до него

еще падать и падать. Колючий, как проволока, – это под самый конец. Дар Божий, удивительный и непостижимый, здесь он на погибель свою заключен. Иногда мне казалось, что и сам Всемогущий здесь пребывает, бесильно руки раскинув, с нами сидит. Мир уже сотворен, и его не скомкаешь, как черновик неудачный. Бог с нами – с не самыми худшими Его детьми. Бог был с нами, не спеша идущими на свою скорую смерть. Мы были не самое счастливое, но все же удачное Его творенье. Пророки, мыслители, ученые и поэты еле в теле, а с такой мускулатурой ума и с таким размахом души бессмертной, что ныне я думаю – и зачем я освобожден? Что мне тут делать среди пощаженных, серых и жалких? В мои времена доносчики были шустры, но и те присмирели, как я погляжу. Почетные пенсионеры. Это для нас там остановилось время. Здесь же оно крутилось волчком. Сколько ни спасай свою шкуру – стареет. Вот и сравни – этих и тех. Великаны, которых уж нет. А иные еще не народились. Да и будут ли они такими, как те? – пламенно он говорит (потому что «горячо» – это не то слово), и глаза его черным огнем горят. Посади его в снег, и вечномерзлотный под ним растает. Правда, очень долго надо сидеть – лет двадцать пять, не меньше.

– Но согласись, тебя не до конца отпустили.

– До конца здесь только на тот свет отпускают, – знает он, что говорит, – особенно из одиночных камер, где тебе подумать дают, как бы подчеркивая, что ты один такой в этом мире. Вот они, наши профессорские кабинеты! Представь себе, они неплохо себя зарекомендовали, хотя и врагу не пожелаешь подарок такой... Нет, ты посмотри – я в своей камере и не заперт! – бегает он по своей ловушке, чья дверь всегда приоткрыта, а с внешней стороны ее наспех написано: «Не стучать!» – надо же, в одиночке, а без замка и засова, а также кормушки и вечно зырящего волчка...

– Комнате! – говорю, – здесь это комнатой называют. Уважили, нечего сказать, привыкшего к персональ-

ным клеткам в общей халупе вдруг поселить. В этом нагромождении всех рас и народов с одной уборной на всех. Квартирант изоляторов персональных, почему бы тебе не потребовать что-нибудь попримочней, по крайней мере, хоть с отдельной «парашей»? Государственный преступник, да знаешь ли ты, как настоящие государственные преступники живут!..

– Как? – заинтересованно спрашивает Юра.

И тем не менее он, как ребенок, радовался своей свободе, вернее, жалкому подобью ее. Чуть-чуть раздались вширь его тесные стены – и он уже рад. Истый невольник, он знал ей цену. Да каждый бы, наверно, спятил, окажись за колючей проволокой вообще – не внутренней запреткой, а внешней. Девять кругов огорожено этого ада. И дальше уже вспаханная полоса границ, непотревоженных, потому и священных. Нет, не помышлял он тогда за границу. Лет через двадцать он посоветует это сделать мне («Еще на одно изгнание меня, дорогой, не хватит...»). Лет через двадцать он немного устанет, отбивший ледниковый период российский от звонка до звонка. За это перед ним извинились (как в трамвае за отдавленную ногу) и как с плеч царских шубу – комнату дали. Узкая, как гроб, она едва вмещала его с многочисленными друзьями, которые по сути не видели его всю свою жизнь. Девицами, годами ждущими приглашения и всегда приходящими без него. Многочисленными сотоварищами по былой неволе. Однажды к нему непомерных размеров китаец пришел и продемонстрировал зияющую пустоту своей отбитой мошонки. Видимо, тогда-то и увидел Юра, как комната его преступно мала. И, конечно же, наших коллег бессчетных – братьев-писателей (не всегда писателей и тем более – братьев).

Ископаемый, он был тогда еще крепок. Если судить по его всеядности в любовных делах. Неразборчивости в друзьях. Неприхотливости в быте, всегда спартанском. И вообще по всему его облику, круто стоящему

на ногах. Давненько Москва таких не видала. Да и не слышала – тоже. Златоуст – эрудиции его не было дна. Он мог говорить напролет часами. Не обращая внимания на раскрытые в удивлении рты. Превосходно зная и сам, какой он экземпляр уникальный когда-то крупного человека, бесповоротно ушедшего в глубину ледяных полей (вот оно, преимущество бескрайней России). Казалось, что он сам себя приветствует стоя. Все в нем было приподнято и торчком. Волосы его никогда не ложились – стояли. Будто над головой его бессонной еще одна поднималась, непонятно зачем, если он и так достаточно заметный мужчина. Но потом я понял, что две головы ему не помешают – нос у него на две головы рассчитан. И вообще он очень большой человек – друг мой Юра, чья национальность так и осталась для меня загадкой. И еще невдомек мне было – когда же он, непоседливый, свои шедевры писал? Ведь ни там, ни здесь не давали ему работать. Скорее всего он полагался на память. На ее хорошо заточенный карандаш (обычный у него всегда отнимали). Сказалось уметь писать без бумаги. В шуме и гаме, духоте и толкучке, где свежий воздух – лютый мороз. Его никогда не тянуло на свежий воздух. Всегда он скопища предпочитал («Когда же ты пишешь, старик?» – «А всегда, только пишу незаметно».) Вспомнила. Не подвела. Он не боялся, что на старуху будет проруха. Вот кому следовало бы написать свой «Гулаг». По крайней мере, это был бы не опыт, а настоящая литература. С высоты ее побольше, чем из клетки, увидишь и что немаловажно – скажешь. Неостановимый в гульбе и застолье, в спорах ненужных ночь напролет, он все же иногда и за письменный стол садился и застольничал всласть. И тогда обезьяна, наконец-то, приходила за своим черепом. Он был у него на самом краю стола в виде лепестков, исписанных густо (и как он только их не терял!), и появлялся «Хранитель древностей» его знаменитый, где эпитафией была моя «Черепашка», но цензоры сняли, «Лавка древностей»,

куда он снова поставил ее, но тщетно – сняли опять, на сей раз вместе с «Лавкой», и подступы к «Петухам фаюмским», норовящим быть его остальных книг похлеще.

Однажды ему принесли его чудом спасенную повесть «Мышь», изъятую еще в лагере. На обложке ее самодельного переплета от кружки тюремной остался след. Еще об нее окурки тушили. Да чёрт с ней, с обложкой, – повесть жива. Как девушка в казарме насильников, сохранилась. Такие подарки может делать только судьба. Она – не конвой, она иногда шутит. Более того – она умеет шутить.

«Что толку освобожден, – посетовал он однажды, – произведения мои еще сидят...» Но я не помню, чтобы он по-настоящему грустил когда-либо. Шут, он развлекал в себе короля.

– Э, давай-ка мы чифирнем! – и несколько пачек чая вскипали в какой-то странной посуде. И только потом мы из общества в общество направлялись. Здесь человек не бывает один. Калейдоскопы лиц. Один паноптикум другим сменялся. Учитывая, что соседи Юры были все на одно лицо – следующий, как правило, был куда колоритней. Отставные чины, они вечно у его приоткрытых дверей стояли, не успевая вовремя отскочить. Выходя, я каждый раз, не без удовольствия, чей-то нос любопытный бил дверью, на которой было ясно написано – «не стучать!» Комната и так, как двор, проходная – кому не лень, всяк заходит в нее. И каждого Юра одаривает гостеприимством. И что тут вынюхивать? На что доносить? Да и что вы поймете, прилепившись ушами? Шекспировед и доктор по раннему христианству, писатель милостью Божьей, да разве ж он вам по зубам?

Голые стены. И на них размашистые автографы и экспромты. Чьи-то потуги на оригинальность, а то и она сама. Все здесь хотели себя увековечить. Писали и мазали, и прочим способом на стену лезли, да не расстрель-

ная – на ней все дозволялось. Рисунки, эстампы средней руки, Юрин портрет, сработанный явно без заботы о сходстве, складень (в данном случае, как образец старины) и фотография времен войны последней, вернее, не фотография это, а вырезка из журнала, репродукция ее. Юра почему-то держал ее застекленной. Сюжет ее трагически прост: виселица и под ней подросток. Ему на шею накидывают петлю. Вокруг улыбаются немцы в форме Вермахта. Немцы – понятно, но чему улыбается он? У мальчишки связаны руки, но губы его свободны – улыбка его без оков. Едва заметная – ручеек, не больше. Но поток ее уже начинает греметь полноводной рекой. Наверно, в следующем кадре она будет полной (немцы обычно снимали казнь до конца). Но и сейчас не была она жалкой. Напротив, перекрывала гадливую – палача. Нет, это была улыбка не обреченного человека. Обезоруживающая, но она его не спасет. Тонкая шея цыплячья мальчишки чуть вспухла – палач на совесть затягивает петлю. Топорщится шея – жизнь явно попала в ловушку, еще миг назад всей кровью своей кричащая, что он счастлив без меры. Но вот она, мера – петля, и счастье из-под петли вылезает. Вот когда его много, что только смертью и можно измерить. Не удивительно – оно было с запасом на целую жизнь. Именно целую, вот почему жизнелюбивое выпирало улыбкой (а чем же еще ему выпирать?) – непростительное во все времена. Одно удовольствие такого повесить. Уж очень велик соблазн. Вероятней всего, мальчишка и умер с улыбкой, что сама по себе уже сфинкс, как бы говорящий, что человек куда потруднее загадка. Особенно когда он улыбается на собственных похоронах. Особенно когда его живьем хоронят, деловито накидывая на шею петлю и не менее деловито ее на ней закрепляя. Нет, не затянулась его короткая жизнь. Это петлю на нем затянули (немцы любили такие картинки домой посылать).

– Юра, откуда у тебя это?

– Да тут один подарил. Он считает, что это он на этом историческом фото, воспроизведенном всеми журналами мира, включая и наш «Огонек». Неизвестная жертва очень известной войны. Там сбоку надпись. Если хочешь – прочти.

«Тезке от тезки, жертве от жертвы – хрен им всем вгрызло – мы живы, старик!» И подпись: «Юный герой». Как будто смерть на войне – геройство.

– Нет, ты до конца прочитай, – советует Юра.

И действительно дальше еще приписка-вопрос: «А как в тебе убивали мальчишку? Небось, не помнишь, как в тебе мальчишка погиб».

– Ну, и как – ничего экспонат? – спрашивает Юра.

– В каждом из нас убивали мальчишку, правда, не так очевидно, – говорю я ему.

– И тем не менее в нем он конкретно убит, – насколько не сомневается он.

– Юра, посмотри на палача, ведь он по виду совсем не новичок – умелец. Что-то не верится, чтобы он недовесил его...

– Но факт остается фактом – мальчишка повешен, но сам он остался жив. Он не врет, что в нем действительно убили мальчишку – он же, сукин сын, партизан. А немцы с такими никогда не шутили.

– Старик, такая улыбка бывает действительно перед смертью, – пытаюсь я его убедить. Но Юра настаивает на своем:

– Я даже думаю, что это предчувствие сквозит улыбкой: «Плевал я на вас, все равно буду жить!» Или он что-то приятное вспоминает, но тоже уверен, что его спасут... Мстители, у них круговая порука...

– Да нечего ему еще вспоминать! – возражаю я Юре, – здесь он только-только начинает жить...

– Ты хочешь сказать – кончает?

– Нет, именно начинает. Только перед смертью человек по-настоящему и начинает чувствовать при-

ливы жизни. Вот когда он ощущает, что он жив без предела, и, даже видя смерть, он не верит, что это его предел. Секунда – и наступает нескончаемое затмение именно в самый что ни на есть осознанный момент жизни. И лицо его освещает улыбка, еще не успевшая стать недоумением. И тем более оскалом – антиподом своим. Что он еще может противопоставить смерти, как не ее? Мужество? А разве она – трусость? Смерть и как ни в чем не бывало улыбка. Нелепая перед смертью. Другой бы ее руками схватил, но у него связаны руки, и выбил бы зубы у этой своей улыбки. Вырвал бы губы, лезущие в нее, как он в петлю, думая, что кто-то над ним смеется. Громко ли, тихо. Земно, иль небесно. С издевкой, иль без. Но с аппетитом хохочет. Но отрешенная, она живет сама по себе. Он еле сдерживает ее. Лично я бы на его месте так сделал...

– Почему? – спрашивает Юра.

– Он не хочет до конца улыбаться, – предполагаю я.

– Почему не хочет? – интересуется он.

– До конца улыбается только смерть. А, впрочем, он едва ли все это отчетливо понимает. Он не слышит еще, как над ним смеется судьба. Но если он жив, как ты утверждаешь, – худо ему. Его мучает память. Даже не мучает – улыбается вечно, как смертный – он улыбается нам. Мальчишка-память, она присутствовала на его казни. Она останется после него. Она еще на могилу его придет в виде этой фотографии знаменитой. Взрослая, ее ему выроют скоро...

– Я думаю, его больше мучает похмелье, – говорит Юра, – ты идеализируешь этого пацана. Сейчас ему едва ли стукнул полтинник, а выглядит так, будто их уже два. Единственно, когда его подмывает плакать, это когда ему говорят, что у него такая располагающая, такая открытая, такая мужественная, такая загадочная, такая жизнелюбивая, такая обезоруживающая, такая всепроникающая и чёрт знает какая еще улыбка, чуть ли не

спасающая на расстрелах, повешеньях, кастрациях и прочих обрезаниях и несчастным девушкам дающая шанс. Он же очень теперь знаменит из-за своей недорезанной (петлей) улыбки. И еще он не знает – во имя чего он остался жив? Почему ему такая поблажка? Кто он таков, что Провидение на нем свой взгляд остановило? Поначалу он даже думал, что он не от мира сего. Но потом его, видимо, ткнули как следует личиком в наши родные навозы (обычно так здесь оригиналов учат) – посадили на место. И вот тут-то он, вероятней всего, и взвыл...

– Вы что же, вместе сидели?

– Нет, он сидел по другой статье – сотрудничество с немцами (коллаборантство с изменой родине вкуче) – так здесь поняли его выживание. Опознали. На фото действительно он. Немудрено – это очень знаменитое фото. По-моему, оно так и называется: «Улыбка». Весь мир обошло. Пока он сидел на одном месте – фото его будущей смерти весь мир повидало. Это он на нем перед смертью скорой, а оно еще сколько-то там веков проживет, материализованное в память. Или еще чего доброго – в Вечный Огонь. У нас жуть как героев любят.

– Да, на фотографии этой он еще долго протянет, – соглашаюсь я, – но как же он повзрослел? Я понимаю – на войне очень быстро взрослеют мальчишки.

– Особенно, когда их вешают, – дополняет Юра, – он говорит, что у него все не как у людей. Станный тип. Ты скоро его сам увидишь. Вот попьем чифирку и в бар на Колхозной пойдем. Там главное место его приписки. Там ты живьем его знаменитую улыбку увидишь. Каждый раз, когда он улыбается, а улыбается он всегда (петля что-то там у него повредила) – он видит себя пацаном вихрастым. Он считает, что именно тогда и пересеклась его жизнь на две неравные свои половины. Детство и отрочество он помнит, а вот что было потом – смутно. Он считает, что только мальчишкой он и был по-настоящему счастлив и все самое лучшее у него за

петлей осталось. Да он и живет как мальчишка – шалит. И заметь – всегда с неизменной улыбкой. Она – второе его лицо. А может быть, даже вторая натура. Он, конечно, пытается избавиться от нее (что-то там ему, кажется, подрезали), но улыбается, даже когда кричит. А если плачет, то улыбается тоже. Пьет – улыбается. Ест с улыбкой. Любит, наверное, тоже с ней. И тут она единственно кстати. С нею спит. И с нею в церковь идет. Улыбаясь молится. Пенсию себе вышибает с улыбкой. И с нею же грустные песни поет. Рыло кому-нибудь чистит, всегда улыбаясь. Улыбается на похоронах. Ладно правительственных и пышных, а то ведь друзья умирают – нехорошо. Мать родную и ту хоронил с улыбкой. Короче – человек улыбаясь живет. Ну а смерть он уже с нею встретил. Однажды с улыбкой он уже умирал. Такие, как правило, живут очень долго. Вот подлость с улыбкой обычно принято делать. Но он, по-моему, не подлец. Или пулю в человека всадить с улыбкой. Но он не убийца, наоборот – убивали его.

– И все же как он вместо черепа фигу им показал?

– В смысле не до конца улыбнулся? – спрашивает Юра, – кажется, его спасли партизаны. А может, просто очухался в яме, куда его впопыхах свалили. У нас в лагерях даже расстрелянные в упор выживали. Я имею в виду больных, что прикидывались мертвецами и которых вохровец по инструкции обязан стрелкнуть в бледный лоб (второй обычно держал наготове затычку). Но наш фашист это тебе не немецкий – хрен его проведешь. Яму он тотчас негашеной известью посыпает. И вот представляешь – приведение дымящееся кричит. Иногда просто диву даешься – ну, до чего же наш брат живучий!

И Юра к выходу устремился и метеором на Сре-тенку вылетал, долговязо, но быстро шагая. Голова опущена, сбывчена, будто флагом кровавым у него перед носом махали. Перед носом, что вылитый ледакол, про-рубающий путь каравану. Через несколько минут мы

уже были в баре, где тоталитарный запах карболки все остальные запахи подавлял. Один лишь запах мочи с ним боролся.

Бар пивной на Колхозной, по соседству с которой он жил (когда-нибудь эта площадь будет называться Домбровской), – «До чего же здесь интересный народ!» – наэлектризовывал меня Юра (его возбуждение имело свойство передаваться). И впрямь один к одному необычный его был подбор. Всегда восторженный друг мой, как никто другой, это видел. Он считал, что лики алкашей в самые бессмертные лувры просились. «Репина на них нет!» – огорчался он не на шутку, почему-то считая именно Репина достойным их написать.

– Юра, но ведь это средней руки художник!..

И тогда он с жаром принимался его защищать. Спорил он всегда горячо и долго.

– Нет, ты посмотри, какие выразительные лица! Ну, кто еще в состоянии их схватить? Боже, какие типажи пропадают!..

– И дым отечества здесь более терпок и густ, – в унисон ему замечаю.

Раздвигая его и друг друга, алкаши нам уже место высвобождают. И тогда тяжелая облачность и на наши брови ложилась, соленые сушки трещали в наших руках, как будто это были панцыри рачьи (в полутьме это очень даже легко представить). И кто-то из заначек воблу уже вынимал, разумеется, по случаю нашего с Юрой прихода. Он был здесь – свой.

Нет ничего теснее содружества алкашей. Доброта их меня всегда потрясала. Вместе с солидарностью дрожащих с перепоя рук. И еще их чуткость. И еще их души открытость, даже в зимние времена (летом люди еще толще панцыри носят). Под ногами скрипели скорлупы вобл и яиц. И мне казалось, что это скованность людская скрипела.

– По-моему, здесь климат очень даже душевный, – шепчет Юра и показывает на него. В полутьме нады-

шанной и жутковатой, дымной, смрадной и не пускающей свет, был он чем-то увлеченно занят, то и дело ныряя под стойку, высокую, как в кремлевском дворце трибуна, с той лишь разницей, что нету пива на ней. Под ней шелудивые вились собаки – тоже, как партийная челядь, только и ждущая пожирнее кусок. А, впрочем, собаки не унижались – он с улыбкою их кормил...

Сейчас он покормит собачек. Сосчитает пальцы. И счастливый, что жив остался, – к нам подойдет. И мы, конечно же, нальем ему водки (Юра очень запасливый человек). Многократно увеличенная на лице его будет блуждать улыбка. Я мгновенно ее узнаю. Отзвук молодости, нестареющее тело – ее улыбка, она неистребимо будет жить на его лице. Видно, никогда она его не покинет. Скорее лицо сбежит от улыбки, вместе с последним движением своих лицевых мускулов, как бы делающих ее. И вот тогда и обнажится таинственный ее исток, нестерпимо белея всей лампой голого и еще не остывшего черепа, беззвучно хохочущего без абажура лица.

– Ты не знаешь, чем он приبلудных кормит – они, как сироты, любят его...

– Скорее всего, пивом, – считает Юра, – ведь оно – жидкий хлеб.

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* *
*

Короткий зимний день
закончен. Молодежь из деревень
в лесу на озере проводит свой досуг.
Вот юноши, обняв своих подруг,
катаются по кругу на коньках,
беспечные, они забыли страх
перед лесными волками, а те
каток их окружили в темноте
и из-за елей вымеряют свой успех:
как им напасть внезапней и на всех.

* *
*

Через заснеженный лес
с Черной Речки едет Дантес.
Хрип кобыл, полозья скрипят,
Дантес укутан до пят
в тулуп и поверх него плед;
Впереди уже различим силуэт
моста – на востоке светло;
Над лесом висит НЛО.

* *
*

В мои окна смотрят химеры
с крыши большого собора,
мне нужно принять срочно меры,
иначе с ума я скоро

сойду от их злого взгляда
и с предпоследней зарею
я сам приму облик гада,
настежь окно раскрою,

взмахнув большими крылами,
напугаю гуляющих в сквере
возле собора и к маме,
улечу к маме-химере.

* *
*

Я женщине отдал свои слова
и замолчал.
К заливу на раскачанный причал
Я выбегает каждый день едва

диск рассекает горизонт и рыбаки
из лодок выгружают свой улов,
Я смотрит и молчит – у Я нет слов,
волна и ветер разбиваются в пески.

Судьба с Я разыграла шутку, зла:
У Я нет слов, дабы построить их в состав
та женщина, его слова забрав,
свои ему в обмен не отдала.

* *
 *

Мир железных дорог,
клетчатого полотна,
пассажир доедает пирог
за чтением книги «Война

и Мир», пьет из кружки перно,
курит английский табак,
безразлично смотрит в окно –
все это только так,

для глаз любопытных отвод.
На самом же деле все
мысли его о вперед
вращающемся колесе.

* *
 *

Теперь я забыт
ни писем ни телеграмм
не разнообразят мой быт,
в этом я сам

виновен так как не писал
ответы и вот
теперь для меня настал
не получать письма черед.

Без писем все в жизни не так,
в почтовом ящике пыль
не радуется новый пиджак,
ни в окнах торчащий шпиль

Нотр-Дама, ни девушки, ни кино,
лежу уставясь в плафон
и мысленно вижу одно:
в мой дом идет почтальон.

* *
 *
 *

Плохо быть толстым. Женщина ни одна
вослед не посмотрит ни
на службе, ни в транспорте, ни из окна.
Целые дни

толстый ходит или стоит,
или сидит в кафе,
даже если пострижен и гладко побрит
в ответ ему будет: «Фэ!»

На танцы ему не пойти, на юг
дорога закрыта, когда
толст, неряшлив и близорук,
знакомо лишь чувство стыда.

Увы! Даже в самых лучших гостях
не снять пиджака за чаем.
Повсюду в мире, во всех плоскостях
он, как никто, замечаем

в толпе. И поэтому толстый мишень
для смерти. Она,
зайдя в подворотню, за угол, в тень
намерений злых полна,

ждет и глаз не смыкает,
видит толстого и вослед
тотчас за ним посылает
грудную жабу и диабет

НА ДОКЛАД КОМАНДИРУ 593 ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА

Когда локомотив выскочил из-за составов, вагонов, вагончиков, паровозов, располагавшихся тесно, как на автомобильной стоянке, Гена какое-то мгновение обалдело смотрел на него, словно на крокодила, вдруг объявившегося посреди Невского проспекта. Локомотив приближался, что-то кричал высунувшийся из окна машинист. Гена попытался понять, что он кричит, но крик слышался вовсе не оттуда, хотя машинист и разевал невероятно рот, надсаживаясь. Голос доносился с другой стороны. Гена обернулся на голос и увидел бегущего на него Володьку, Володька тоже открывал пасть почти до ушей и кричал. Гена нагнулся и, зацепив еще и полную горсть сырого гравия, поднял оброненный ремень, и в этот момент его сильно толкнул набежавший Володька. Больше он ничего не почувствовал.

Когда прибежал машинист локомотива, среди смешанных с гравием кусков бушлата и серо-бурого – а теперь красно-серо-бурого – солдатского белья, безногое тело Гены еще жило.

Через несколько минут санитар «скорой помощи» поднял откатившуюся в сторону Генину шапку и с удивлением – он, верно, не служил в армии – обнаружил вытравленную на ней хлоркой фамилию «Андреев». Так же, по сохранившейся в целости другой шапке, догадливый санитар узнал Володькину фамилию – «Смирнов». Шапка оказалась единственной узнаваемой деталью его туалета.

В гарнизонном госпитале в/ч 17038 Гена жил еще почти целые сутки.

Что-то будило Гену за пять минут до подъема – без пяти минут шесть. Ничего не понимая, не чувствуя,

даже не открывая глаз, какими-то безотчетными движениями тела он выбирался из-под одеяла и простыни, служившей пододеяльником, и так же безотчетно сбрасывал ноги с кровати, отталкивался руками от холодного металла и падал вниз. Вероятно, именно в этот миг он просыпался окончательно. Во всяком случае, он каждое утро обнаруживал себя сидящим на корточках на холодном крашеном полу и с этим было связано первое ощущение дня – ноги мерзли и прилипали к полу, он брезгливо переступал, оттопыривая пальцы. И тут, с неизменным постоянством, являлось второе ощущение – запах. Запад был удивительный – он вызывал тошноту и одновременно он пробуждал мозг ото сна, он был густой и обволакивающий, жирный, гнилой, утробный, но он же безотказно приводил в чувство: не оставляя никакой надежды, он тем не менее заставлял шевелиться, двигаться, бежать из холодного кубрика вон.

Гена успевал натянуть брюки, замотать портянки и надеть сапоги, когда раздавался окрик дневального: «Рота! Подъем!» Он заволновался, услышав этот окрик, сбил повязки, кровь сочилась на простыню, и он ощутил липкие влажные портянки на ногах, а большой палец правой ноги касался совсем уже мокрого сапога, и Гена вздрагивал всем телом от каждого такого соприкосновения. Но сделать ничего теперь уже было нельзя. Сержант гнал их на утреннюю opravку.

Конечно, после команды «Разойдись!» Гена не кинулся к строению из двух стен и крыши, называемому туалетом, а, как и большинство, устремился за клуб, но не пристроился у стены клуба – здесь было слишком много народа, – по глубокому снегу он двинулся дальше, к забору, где не было никого. Он пописал в снег, щелкая зубами от холода, и побежал назад, на ходу застегивая ширинку окоченевшими уже пальцами.

«Бегом!» – крикнул сержант, и он побежал, хлюпая ногами в сапогах. Он бежал долго, и постепенно из темноты и метели появлялись деревенские дома, садики с

яблонями, усыпанными зелеными яблоками – он отмечал про себя, где яблони ближе к забору, чтобы, если удастся, вечером потрясти их с ребятами, – вот они уже свернули с растоптанного проселка на траву, сейчас погонит в гору, подумал Гена и тут же услышал тарахтение мопеда, командир роты старший лейтенант Кукушка вырвался вперед на лихом коне, значит, погонит в гору. Кукушка орал, но ни черта не было слышно, и можно было только догадываться, что выкрикивает он нечто ободряющее, вроде: «Живее, бля-на-хуй, живее!» или «Отстающим по два наряда!» Ну и чёрт с тобой, по два, так по два, хоть по десять. Гена бежал на кухню, там можно что-нибудь пожарить, а Вадька Климук жевал – на ходу дожирал серый хлеб с гуталином. Гуталин он, конечно, соскоблил. А хлеб пропитался – черный. Значит, вчера с вечера пристроил где-то в теплом месте. Хуй там Вадька сегодня станет работать. Дурной будет весь день. Мы что ль с Володькой только и будем как стахановцы горбатые? А вот вам! Но тут старшина остановил их взвод и скомандовал – «Правое плечо вперед», а потом – «Прямо» и они двинулись назад к роте, на плац. «За-апевай». И они завопили, у Гены совсем сползла портянка в правом сапоге и он истово открывал рот со всеми:

Ракета межконтинентальная,
Лети в Америку, лети.
Многоступенчатая, дальняя,
Ах, мать твою ити!

Это сочинение прапорщика Дьячука было особенно популярно, если, конечно, не считать «Не плачь, девчонка», но «Не плачь, девчонка» вообще была вне конкуренции.

Они топали мимо гаража, и Сан Саньич Почебыт, маленький кривоногий тракторист, а ныне ефрейтор, самый знатный ебарь в отряде, каждый вечер привозивший для всей шоферской братии девку с птицефабрики

или из Петергофа, стоял у открытых ворот, ухмыляясь, и недвусмысленным жестом – хлопая ладонью по торцу сжатого кулака – оповещал, сейчас будут вставлять.

Они пристроились к своей роте. Старшина прогулялся, заложив руки за спину, туда-сюда, всё в ажуре, и скомандовал – «Смир-на!»

«Третья рота! Что там чешетесь? Мандавошки завелись?» – заорал вдруг старшина визгливым противным голосом. Но это орал не старшина, это, конечно, Батя, командир отряда. На разводе. Нет, нет, конечно, это не старшина орал. Старшина уже докладывал ротному.

Кукушка выслушал его рапорт и, круто повернувшись к строю, уставился на кого-то из первого взвода. Потом он перевел взгляд на другого воина. Это была его обычная манера – смотреть в упор.

«В нашей роте, бля-на-хуй, – начал он, по своему обыкновению задыхаясь с первых же слов, – в нашей роте произошло ЧП. В туалете появилась отвратительная надпись. Вы, ёпа-палка, сами знаете, о чем я говорю. – Кукушка передал охапку тюльпанов старшине, теперь у него освободились руки, он мог свободно жестикулировать и он погрозил роте кулаком. – Какая-то, бля-на-хуй, ёпа-палка написала на стене: «Прапорщик Максимов – педераст лысый»... – Кукушка задохнулся, некоторое время помолчал и добавил с чувством, ставя точку: – Бля-на-хуй!»

Тут вступил старшина. Он скинул шапку, нагнул голову и, словно собираясь забодать кого-то в строю, шагнул вперед.

«Лыс, сударики. Лыс, но не педераст, – произнес он истово, с каким-то юродством. – Лыс, лыс, но не педераст».

Старшину называли интеллигентом, и связываться с ним боялись даже самые отчаянные зэки, которые не боялись Кукушки и не боялись Бати. Он умел, по его слову, выебать и высушить любого ухаря.

«А вы знаете, что такое – педераст? – визжал старшина. – Я же русский, не армянин какой-нибудь».

«Кто это сделал, – на той же ноте подхватил Кукушка, выхватывая у старшины сломанный тюльпан и комкая его, – выйти из строя! Или вся рота будет отвечать. По уставу, бля-на-хуй! Я вам покажу, бля-на-хуй, по уставу!»

Кукушка несколько раз глотнул воздух и заорал снова в пространство:

«Мы знаем, кто это сделал. Это ты! – Вдруг он шагнул к Гене и ткнул его своим коротеньким пальцем. – Это ты!»

Кукушка ткнул его еще раз, и Гена, у которого от страха одеревенели руки и ноги, неожиданно для самого себя завопил:

«Нет! Нет! Это не я! Это не я! Это не я! – Он кричал и плакал, ноги у него подкосились и он упал, нарушив строй. – Не я! Не я! – выкрикивал он сквозь слезы. – Это не я!»

Кукушка некоторое время смотрел на него, а потом совершенно спокойным голосом сказал:

«Ну, не ты, так не ты».

И вдруг скомандовал – «Напра-во. Бегом марш!»

Рота затопала. Гену толкнули, кто-то наступил ему на руку, и, хотя он чувствовал, что не может подняться, стадный рефлекс тянул его, гнал со всеми, он полз, плача, рядом с ротой, а потом, после того, как вся рота пробежала и куда-то пропали и Кукушка, и старшина, он увидел рядом с плацем большую клумбу, и на ней уже цвели тюльпаны, которые ротный обожал и ухаживал за ними почти собственноручно.

Теперь, когда рота исчезла и пыль осела, Гена чувствовал изумляющий запах цветов, вернее, ему казалось, что это запах цветов, а это был запах простой травы, зелени, живых растений. Он смотрел на цветы и полз к ним, а все остальное исчезло из поля зрения. Цветы приблизились. Он лизнул стебелек тюльпана,

тюльпан закачался и уронил лепесток. Лепесток мягко спланировал на землю и накрыл муравья, но муравей еще через секунду появился целый и невредимый и продолжал свой путь, а Гена, вдруг облившись потом от страха, нагнул голову набок и, с силой сжав зубы, перекусил тюльпанный стебель. Было горько и страшно. Он полз к другому цветку. Он перегрыз их все. И когда рядом затопала родная рота, он был в строю, со всеми вместе. Они бежали на развод. Некто почти бестелесный под общий хохот тащил два ведра дерьма из офицерского туалета в солдатский. Любимое наказание старшин для тех, кого засекли в офицерском туалете. Кукушка отдает сержантам последние приказания – что притащить с объектов сегодня: краску, стекла, швабры, плафоны, бля-на-хуй, плафоны в кубриках побиты, Сеньковец, пусть твои без палок швабры берут, выносить легче, палки сделаем, бля-на-хуй, сами. «Третья рота, что чешетесь? Мандавошки завелись?» – орал Батя. Ах, ведь это он уже орал. Повторяется, Батя, старый стал Батя, старенький, чтоб ему сдохнуть, чтоб вам всем сдохнуть, суки, всем, всем, и детей мне ваших не жалко, и жен ваших, думал Гена. Я бы сам вас, я бы сам вас! Он вспомнил, что оставил на тумбочке свой календарик, в котором вычеркивал отслуженные дни. Но сделать уже ничего было нельзя, может, и не будет сегодня старшина лазить по тумбочкам, а будет, опять к Кукушке за нарядом. Автобусов опять мало. Кукушка приходит в ярость, видя такие календари. «По-армянски, – говорит старшина. – По-армянски садись. Ножки раздвинь». Садись, раздвинув ноги, а на краюшек сидения, между ног, другой садится. По четыре. Можно спать. Ага, у нас никого, ни Кукушки, ни старшины, ни кусков. Птицефабрику проехали. Старики уже тянут:

В края далекие нас мама провожала,
Где срок – два года – мы будем отбывать

И на огромном на Кировском заводе
Канавы грязные, глубокие копать.

Гена крепко спал.

Друзей-товарищей уж больше мне не надо,
Друзья-товарищи забыли про меня.
Кирка, лопата – мои родные братья,
А тачка полная – законная жена.

Идешь за тачкою и службу проклинаешь,
А тачка полная покоя не дает.
Ах, значит, мама, судьба моя такая,
Так, значит, молодость в стройбате пропадет.

Придешь с работы грязный и усталый
И ляжешь спать на цементном полу,
А старшина вдруг подойдет и скажет:
«Привстань, солдатик, я бушлатик постелю».

А старшина вдруг подойдет и скажет:
«Привстань, солдатик, я бушлатик постелю».

Гене снились рельсы, вагоны и вагончики, паровозы, почти растаявший снег, солнце. Володька ждет, улыбаясь. Рискованно, конечно, было за водкой бежать в «Экспресс», тут патрулей, что грязи, но больше некуда было бежать. Зато близко – можно успеть, пока нет куска. И патрули у вокзала все самые суки – курсанты. Кусок вернется – все пьяные. Может, он уже пришел. Ни хуя, и ему предложим – за именинника. Я предложу. Что он, бутылки бить станет? Нас-то пятеро. За именинника и куску можно выпить. На шестерых. Три бутылки мало. Ладно, хуй с ним, пусть и кусок выпьет. А маленькую мы с Володькой выпьем вдвоем, отдельно. Должны мы друг друга поздравить с дембелем? Еще пять месяцев. Двадцать лет и пять месяцев, а Володьке

будет – двадцать и семь. Но ведь все равно – двадцать. Двадцать и всё. Хреново только, что сапоги мокрые и портянки сбились совсем. Ужасно противно. Они стоят на плацу, бьют по глазам прожектора, ознобно и ноги заледенели; словно батальон покойников – привидения в белом – в грязном солдатском белье. Яблоками пахнет из-за забора. Только это не развод, нету офицеров и Бати нет – смурные сонные старшины. Какой-то майор мордастый, на свинью похожий, светит фонариком ниже пояса. Луч у фонарика тугой и жесткий, как резиновая дубинка, – больно. Бабка сказала, что ее изнасиловали солдаты. И действительно, оказалось, почти правду сказала бабка. Наш прапор Щуков к ней ходил. Бабкин дед уйдет, а кусок к ней – она ему маленькую и яичницу, а он ей пистон поставит. Перестарался, видно, Щуков. Гене снилось – погорела бабушка-старушка. Спать, разумеется, было невозможно. Долдонит радио. Сколько раз Гена, дневальным, портил его, провода перерезал, выковыривал что-то, мембрану прокалывал – бесполезно. Гена завернулся в простыню, подоткнув под себя края. Заснуть было невозможно. Гена отчетливо видел девушку, идущую по проходу. Она заглядывала в лица спящим воинам, конечно, она искала его. Это была... Ольга, штабная, из бухгалтерии. Он хотел махнуть ей рукой, но руки запутались в простыне, и он коснулся лишь своего напрягшегося горячего тела. Но она сама уже заметила его. Она поманила его, он соскочил вниз и в ту же секунду его горячая плоть вошла в нее. Гена услышал шаги и выглянул из-под простыни. По проходу шла Ольга, штабная. Она заглядывала в лица спящих. Она, конечно, он чувствовал это, искала его. Он приподнялся – она заметила его. Нет, он позвал: «Оля». Она искала его, он не шевелился, только следил за ней пристально, не сводя глаз, и она почувствовала его взгляд. Ловко подтянувшись, она оказалась уже рядом, на его втором этаже. Он тянул ее под простыню, но простыни не было, он лежал в рубахе и без кальсон,

а она рядом в юбке, в кофточке и в белых сапогах и поправляла прическу. Откуда это? Он почувствовал, что еще минута и она будет ему не нужна, и закрыл глаза, чтобы отвлечься и сдержаться. Когда он открыл глаза, ее, конечно, уже не было. Он соскочил с кровати, схватил кальсоны и босиком выбежал в коридор. Дневальный скучал у тумбочки, сонно и равнодушно перелистывая журнал «Работница». Гена пробежал мимо дневального и выскочил на улицу. Он бы умер, наверное, если бы ее не оказалось, но она была тут, она стояла у кукушкинской клумбы и улыбалась ему. Гена запустил было руки ей под блузку, стиснув грудь, но она отстранила его, присела и, не оборачиваясь, легла на клумбу, и Гена плюхнулся рядом. Рука скользила по бедру. Гена завернул юбку и погрузил пальцы в шелковистые волосы, вода указательным пальцем, пока палец не ушел во влажное, липкое, пахучее. Развернувшись, он лизнул языком мягкие волосы, потом раздвинул их и принялся слизывать это липкое, пахучее, влажное, соленую пахучую влагу. Пахло травой и сломанными смятыми тюльпанами. Он попытался вообразить, как она ощущает в себе, в своем теле – не свое, плотное, трущее, горячее, чужое, густое и липкое, смешивающееся с ней, сливающееся с ней, впитывающееся в нее, всасывающееся ей в кровь, и у него закружилась голова. Запахи слились: и запах травы, и тюльпанов, и резкий нутряной запах ее желания, и Гена заснул и проснулся. На КПП никого не было, он был один и, видимо, заснул совсем недавно, потому что на часах было только два. За воротами гудела машина. Гена выскочил открывать и столкнулся с дежурным по отряду, лейтенантом Карпенко, который бежал из штаба. Хорошо – Карпенко нормальный мужик, не будет привязываться, что заснул. Сан Саныч остановил свой автобус у штаба, а сам бодро потопал к гаражу, даже не захлопнув дверцу кабины. Выскочил Максимов и что-то сказал Карпенке, а потом вылезли оба самоходчика – Васильев и Удаль-

цов. Конечно, мудаки, они были в общаге на Партизана Германа. Замполит отряда, майор Петров, ехавший, естественно, в кабине с Сан Санычем, разминал затекшие ноги. Всегда они у него затекали. Хоть бы они у него когда-нибудь совсем затекли. И у всех у них, своеобразно, как молитву, произнес про себя Гена без особой экзальтации. «Старшина, – крикнул замполит, – отдай им сапоги». Тут только Гена заметил, что и Васильев, и Удальцов босые, а Удальцов еще и без шапки. «Держите, ухари», – крикнул старшина и выбросил из автобуса на плац две пары сапог. «А шапку, товарищ майор, – попросил Удальцов. – Голова замерзла». Голова у него была стриженная еще с предыдущего самохода. «Замерзла? – отозвался замполит. – Да тебя, на хуй, совсем заморозить надо было. А шапка твоя у блядей, наверное, осталась. На память». – «На память мы им кое-что другое оставили, товарищ майор», – хихикнул Васильев. «Утром тебе новую выпишу со склада, – сказал старшина. – В новой шапке на губу поедешь». – «А сейчас, товарищ старшина? Я же за ночь в КПЗ околею». – «Не околеешь! Где я тебе новую возьму? С солдата сниму, что ли, и отдам распиздю?» Карпенко прибежал с ключами от КПЗ и привел заспанного ефрейтора из четвертой роты – всю ночь теперь парню дежурить в КПЗ. «Ну, пошли», – сказал старшина, побрякивая ключами. Шлангом прикинуться Удальцов был мастер и даже на губе замостырить, но уж очень явно его пробирало. Видно было. «Пошли, пошли», – повторил старшина. Ему хотелось спать, у него дом за забором. «А шапку, товарищ старшина?» – заныл Удальцов. «А ну, вперед! – рявкнул старшина, уже озлобившись окончательно. – Сказал – утром. Что я у дежурного по КПП, вон, шапку отберу для тебя, что ли?» – «Держи», – сказал Гена, протягивая Удальцову шапку. Удальцов, не взглянув, схватил шапку и молча нахлобучил ее, и старшина повел их с Васильевым в КПЗ. «Ну и дурак, – сказал замполит. – Мерзни теперь до утра». –

«Представляешь, – рассказывал Петров Карпенке, – всё облазили – нету. Потом одна воспитательница нас навела, идите, говорит, в комнату 317. Мы уже там были. Ну, пошли еще. Девки говорят – нету. Туда-сюда, никаких следов. Тут старшина догадался под кровать заглянуть. Сапоги стоят. Ага, ну мы уж обрадовались – нашли. А девки все равно молчат...» Раз этот Удальцов только случайно не убил Гену, он требовал у Гены часы на понос, а Гена послал его. Удальцов просто спьяну промахнулся, и старики их разняли. «Тут уж мы всё общежитие прочесали. И знаешь, где они были? В женском туалете. Стоят босые. Не успели сапоги надеть. Ну, я говорю, старшина, тащи сапоги в автобус. Как миленькие потопали по снежку. Там метров сто пятьдесят, представляешь, где мы в прошлый раз машину ставили? Потопали. Ничего, они нам два дня нервы мотали. Побегают еще по блядям!» – «Чем сосать соленый клитёр, лучше выпить водки литер», – сказал Карпенко сквозь сон. Они бежали с Володькой. Было тепло, бушлат расстегнут, ремень Гена держал в руке, то и дело цепляясь пряжкой за кусты, шаркая ею по гравию. От водки и пива было хорошо. Ему двадцать. Сегодня ему двадцать. Снег растаял совсем. Еще пять месяцев, еще пять месяцев, еще пять месяцев, и все равно будет двадцать. Двадцать и всё! Вон за тем, кажется, составом ребята. Работайте, работайте. Дышите. Где бутылки? «Володька, где бутылки, у тебя? – спросил он обернувшись. Володька отстал. – Володька! Бутылки у тебя? Ребята же нас убьют!» – крикнул он. «Да, – ответил Володька, – у меня». И они побежали. «Справа в колонну по одному в столовую бегом марш!» – скомандовал Кукушка. «Головные уборы снять! Са-а-адись!» – «Стадо, – заорал старшина. – Как звери. Встать! Головные уборы надеть! Выходи строиться!» И опять, снова: «Справа в колонну по одному в столовую бегом марш!» – «Головные уборы снять! Са-а-адись!» – «Встать! Головные уборы надеть! Выходи строиться!» Живот

буквально сводило от голода. «Равняйся! Смир-на! – командовал старшина и наставлял: – Что кидаетесь, как дикие звери. Это армия, а не зоопарк... Справа в колонну по одному в столовую бегом марш!.. Головные уборы снять! Са-а-адись! Встать! Головные уборы надеть! Выходи строиться!»

Через два дня ефрейтор Пивоваров, выпускник Ленинградского Государственного Университета имени Андрея Андреевича Жданова, глядя в черновик, писанный рукою начальника штаба, отстучал одним пальцем следующий текст:

Начальнику СУ-26
Треста 87 «Кировстрой»

Прошу вас для отправки трупов погибших военных строителей на объекте п/ч 706 2 декабря сего года – рядовых Андреева Г. В. и Смирнова В. Я., заказать автомашины через АТК-6 на 7 декабря 1973 года по маршруту пос. Озёрный Ломоносовского района Ленинградской области – Ленинград и пос. Озёрный – Вологда с подачей в 593 ВСО пос. Озёрный к 7-00 утра.

Захоронение будет произведено по месту жительства их родителей. Стоимость перевозки прошу принять на счет СУ-26.

Командир 593 Военно-строительного отряда
Подполковник

(Подзоров)

Второй экземпляр письма он сунул в толстый том с надписью «Переписка с трестом 87 „Кировстрой“».

Потом он достал скрепки, подколол к первому экземпляру черновик и вложил всё это в плотную обширную папку из красного ледерина. В правом верхнем углу этой папки поблескивала металлическая дощечка в форме параллелепипеда с гравировкой: «На доклад командиру 593 Военно-строительного отряда».

Июнь 1977 г. – апрель 1978 г.
г. Ленинград

СТИХИ

Михаил Бараш

ПОЕЗД

1

мятая птица которая смотрится зазубриной
на дощатой спайке верха и низа

2

подсобки склады бараки которые косятся
под шиферной рябью кровель

3

шлак который сутулится отделить щеку от
лужи

4

лужа, в которой нет ничего особенного, кро-
ме притопленного таза с осыпавшейся внутри
эмалью и солнца избуравленного щитнями

5

свалка которая удивляет тем что она
тавтология

6

гаражи из зевов которых выдаются туши оных
моделей из зевов которых выдаются мужчины
наружу ногами

7

грузное животное в комбинезоне и оранжевом
жилете которые указывают на пол животного

8

пятиэтажки окраска которых не поддается
называнию

9

углубленные в грунт столы которые разбивают
в лучину забавляясь лото

10

дворик в котором майор в подтяжках охаживает
ковер; здесь же подперт палкой мигрирующий
на ветру клин стирки

11

пес неопределенной занятости который осваи-
вает столб с призывом на который попутно
ссылается подрагивающей ногой

12

смазкой перепачканная фуфайка в которой краб
обутый в кирзу сходит с насыпи

13

простенок на котором самостийно расположились
письмена о самых острых чаяниях народа немед-
ленных к своему выражению

14

задворковые лавки по которым сидят конклавы
шамкающих пичужек повязанных платками и ко-
сынками, выложa мясо кистей на разведенные
колени; предмет их суда: невниманье родни и
дрязги кисейного быта

15

дети которые разнуздываются под придушающими
нашейными повязками и причиняют жестокости
себе и кошкам

16

помойные контейнеры которые переполнены ко-
пошащимися образами святого духа

17

побирушечный гольф который старуха бутыльщи-
ца изображает клюкой в изглоданной гуще си-
рени; но они все переходят горлом в обры-
вистую звездчатку

18

наборные кольца теплоцентрали которые наре-
зают собою виды из прилегающих окрестностей;
здешний воздух известен как крепкий фиксатор
любого процесса

19

отхожие домики с дверьми на вертушечных щелках которые основываются повсюду тревожа мистическим однообразием проекта

20

покоящаяся на стройплощадке платформа на которой дуговая ферма заставлена оконными клетями

21

дом который выправленный из простого бетона пробуждает гадливость в своем наблюдателе, омраченно слагающем кубы пустоты с шарами порожности

22

наблюдатель который пробуждает гадливость в своем наблюдателе

23

гадливость которая не пробуждается ибо не спит; гадливость это останкинский обелиск на известных экзистенциальных плоскогорьях; гадливость это изнанка бдительности, точнее бдительность это изнанка гадливости

24

жирный портфель подпрыгивающий под шляпой низко спускающейся спереди на скомканную процентовку с воткнутым в бок окурком который

25

который жирный портфель подпрыгивающий под шляпой низко спускающейся спереди на скомканную процентовку с воткнутым в бок окурком

26

дети на корточках готовят мятую птицу которая выглядела зазубриной на дощатой спайке верха и низа; дети на корточках на пепелище помойки

27

дворничиха которая в ситцевом черном халате и ботах на босую ногу

28

непреложная у алкоголички бамбуковая нога которая бахусов тирс повитый плющом варикозности

29

миловидно-моложавое облако профессиональной меланхолии которое расшевеливает милицейское платье на обгуливании вверенного квартала

30

полностью перечисленное выше которое плывет плывет плывет
мимо мимо мимо
ибо

ибо видится через замызганное окно прибывающей электрички как пространная полость обобщенного гигиенического пакета

БАРАШ Михаил Максович – родился в 1958 г. в Москве, в 1982 г. окончил Московскую ветеринарную академию по специальности биофизика. Работал инструктором юннатов, сторожем, дворником, изолировщиком. Принимал активное участие в независимой культурной жизни Москвы. В настоящее время живет в Хельсинки, занимаясь преподаванием родного языка.

* *
*

Леониду Ржевскому

Жизнь любим без прикрас,
И в этой стороне
Моя слеза о Вас
И Ваша обо мне.

И серебристый крест,
И шесть концов звезды,
Но мы из тех же мест,
Мы из одной беды.

Так пусть продлится час,
И жизнь.

И по весне
Моя слеза о Вас
И Ваша обо мне.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСЕНКА

Леониду Ржевскому

Воздух темнеет, и лист
Золотом стал покрываться.
Вот и дожди начались,
Время домой собираться.
Вот и пора подошла,
Горько гудят паровозы,
Как ни печалься душа –
Все-то нам проводы, слезы.

Как ни хранись от потерь,
Ходят за мною прощанья.
С Богом, мой друг, до свиданья,
Как же я буду теперь?

* *
*

«В немецком тесном
городке...»

Леонид Ржевский

В немецком тесном городке
При свете, сумраке, тумане
Разгуливает налегке
Фонарик темными дворами.
Мне снился этот городок –
Глухие башни, злые шпили,
Меня там мучили и били,
А после все легко забыли,
Сказали: «Не было. Молчок.
Все это выдумка твоя,
Вокруг давно светло и тихо,
И только песня соловья...
Здесь сроду не бывало лиха».
Что мне ответить – я жива,
Звенит медовая трава,
И рвы затянуты лугами.
Но в них – не мрак, не тишина,
Выкрикивают имена,
И тянется ребенок к маме.

* *
*

Памяти Леонида Ржевского

Года идут за окном,
И стынут поезда,
И в одиночестве моем
Слетит ко мне звезда.
Вот, кажется, и жизнь ушла
Моя вослед другой,
Как сиротеет вдруг душа
С потерей дорогой.
Но в темноте той – звук; весло,
Какой-то тихий всплеск,
И кто ушел – он слышит все,
Что происходит здесь.

* *
*

Моему отцу

Как я любила это лето,
пар поднимался от земли,
я шла навстречу дню и свету
вдоль серебристой колеи.
И пахло высушенной травой.
Безумный запах бытия
кружил мне голову, и я
в жизнь окуналась с головою.
И покосившейся избы
тепло в далекой деревеньке –
все стало памятью судьбы:
и эти куцые ступеньки,

и запах сена, знойный лес,
вся эта тяга золотая,
земля, блаженством залитая,
вся непридуманная смесь
тоски невнятной, счастья, рая,
ни после, ни потом, ни с краю,
а в этот миг.

Сейчас и здесь.

МЕЛЬНИЦА МОНТЕФИОРЕ

Себе на радость и на горе
Уплыло облако.

За ним
И мельница Монтефиоре
Плывет над городом сквозным.

Спешат летучие ступени.
И мельница склонилась к ним,
В ней прошлого глухие тени,
Твой ветер, Иерусалим.

Как победительница в споре,
Как ласточка с других высот,
Так мельница Монтефиоре
Легко над городом плывет.

КАНАДСКИЕ СТРОКИ

Р. Ивз

I

Страна снегов мне снилась, продолженье
Другой страны снегов, и в этом сне
Испытывал я прежнее волненье,
По девственной шагая белизне.

Я шел и шел, и снег скрипел; в сугробы
Проваливался я порой; метель
Вдруг начиналась, и стихала; тропы
Я отыскать пытался, чтобы цель

Скорей достичь – и близился в пыли
Белесой ночи Берингов пролив.

II

Границ прямоугольность, лист кленовый,
Озера всюду, и в снегу тайга,
И даже если это и не к слову,
Но оба главных местных языка

Как бы не те, что вам нужны для пенья,
Когда изводят еле звуком вас
И черные суровые каменья
В арктической метели этой час

Как будто страждут голоса раскатов –
Таких, что вихри снежные завьют

В невиданный еще буран – здесь трату
Безумную дыханья камни пьют.

III

По голубому насту тени, тени,
И черный человек уже ступени
В хрустальной ледяной горе пред нами
Вытесывает; взор подняв свой, пламя
Горшечника мы видим на вершине:
Там обжиг ждет нас, где дыханье стынет.

IV

Долины, горы, царственность лесов,
Обилье вод; здесь туну-рыбу тащат,
Напрягшись, через борт; зерно везут
На элеватор и рогатый скот
Пасут на ранчах; лес сплавляют; лед
Здесь режут ледаколы; у подножья
Скалистых Гор, куда хватает взгляд,
Стремятся прерии; по назначенью
В большой и малый порт идут суда;
Здесь близок полюс – рядом с ним все воды
Обиты льдами круглый год; здесь нефть
И газ идут по трубам, что не рабским
Трудом сработаны, и много здесь
Бумаги производят (половина
Почти всей прессы мировой на ней
Лжет, правду говорит и полуправду).

V

Решенье формы; цветопись; горшечник
Неглазированный сосуд готовит, глин

Землистость, каменистость, быстротечность –
И я один остался на один

С твоею вазой, где перо что лист
И рукоять что черенок, меня
Узнавшие: я пред собою чист
В наследье глинозема и огня.

Июль 1985
Уоллингфорд-на-Темзе

* *
 *

Ты встанешь у рамы
Листа на траве
И желтую лампу
В зеленой листве

Увидишь – кто это
Играет с тобой
Оттенками цвета,
В транзите земель?

Кто смотрит и слышит,
И прячется вдруг
За дальние крыши,
В невидимый круг,

Что чертится птицей,
Кто в прятки опять
Желает пуститься
С тобою играть?

Ты вскрикнешь: откройся,
На миг покажись

Сквозь это устройство
Твое же, как жизнь

Известное в драме,
Как боль на лице,
Что сухо глазами
Мы видим в конце

Чудесного лета,
Что носит черты
Твои же, по следу
Твоей красоты

Блуждая, мы просим
Тебя, как любви;
Прекрасная осень
Волненьем в крови

Свершается, тайной,
Которой изрыт
Пульс времени – дай нам
Дыханья навзрыд.

4 сент. 1983
Лондон

* *
*

А утром –
Небо розово,
А море на заре,
Как будто
Розы, розы
На зыбком серебре.

18 мая 1986 год
Тель-Авив

* *
*

Нагрели комнату,
В ней, как в теплице,
Воздух сух и вял.

Цветок, что свежестью
Сиял в петлице,
Увял.

В ней много
Чувственных
Подушек, шкур.

И незначительных
Чужих
Гравюр.

В нагретой
Комнате
Сегодня пир.

Преподношу
Себя.
Я – сувенир.

17. 3. 86 г.
Тель-Авив

* *
*

Воды струились и серебрились,
Всё, что свершилось, –
Переменилось.

Горе блуждает
Рябью по броду,
Лодка роняет
Вёсла на воду.

Вода под веслом вздохнет
И успокоится снова,
Ящеркою вильнет
Тончайшей, до звона.

Зеленью медной воды
След заковался,
В этой тиши –
Голос срывался.

Время-водица тихо струится,
Всё, что случилось, –
Не возвратится.

3. 5. 86 г.
Тель-Авив

ЛЕС

С дороги, сквозь листвы миражи,
Соткавшей плед наружный,
Темнеет лес – мрачнее сажу,
Хоть и просвечивают пляжи,
Явив песок жемчужный.

Люблю листвы степенность шума,
Но зелень высится угрюмо.
Листва – потоки малахита –
В мешок старьевщика защита,
И вековая бродит дума.

Деревьев лес своих не знает,
Им счета нет, нет измеренья.
Мох тёмный – мерзость запустенья,
Не человеческих рук творенье,
Там корень странника пинает.

И как люблю твою измену!
Сквозь елок пасмурную стену,
Как чайки, сбившиеся в стаю,
Прорвались – всей толпой на сцену
Березы – без конца и краю!

*8 янв. 87 г.
Бостон*

* *
*

Базар. Наряженный верблюд
И шум толпы, и рев скотины.
В синеющую высь поют
Гортанным плачем муэдзины.

Глухи арыки без воды,
И пахнет сыром и ванилью,
А вдалеке цветут сады,
Завешанные белой пылью.

День разгорается огнем,
Всё стало громче, золотистой.
С корявой яблони дождем
Спадают розовые листья.

9 янв. 87 год
Бостон

ФЕЛЬДМАН Мара Ильинична – родилась в 1950 году в с. Бел-
граде (Одесская обл.), окончила ЛГПИ им. Герцена в 1971 году.
Уехала из России в 1973 году. Сборники стихов: «Я пришла» (1985),
«Лето» (1986).

ИЗ НОВОЙ КНИГИ «ПОХМЕЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ»

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ БЕЗУМЦЕ И СЛОМАННОЙ СОБАКЕ

Весь этот проход моего знакомого по улицам, площадям и скверам, кишевшим, между прочим, явными и тайными представителями карательных органов, которые в такие дни с высунутыми и, соответственно, тщательно спрятанными языками охраняют покой правительства, должен быть, конечно, отнесен к роду чудес, изредка случающихся, что бы там ни говорили отчаявшиеся скептики, в жизни нашего атеистического общества.

Он чуть было не погорел, когда, проходя мимо памятника первопечатнику Ивану Федорову, истерически, но не совсем нелогично вскрикнул: «Сегодня же, господин полиграфист, мы покончим с вашим самиздатом, эрго: с инакомыслием...»

К знакомому моему, услышав эти слова, просто бросился на грудь застрявший в Москве пьяный и изнемогающий от одиночества командировочный. Если бы не Алкаш, облаявший и слегка куснувший провинциала, еще больше из-за этого возненавидевшего отвратительный ему стиль московской жизни, неизвестно, какое продолжение было бы у этого рассказа.

Командировочный провинциал отпрянул враз от моего знакомого, хотя в руке у него, слишком уж пылко обнявшей незнакомого человека, остался каким-то образом кусок воротника.

Окончание. Начало см. в № 52.

Он перепугался последствий, рассматривая тупо кусок этот генеральский, шитый золотом. Затем нырнул в подворотню Центральных, всем моим сердцем любимых бань, откуда, на его счастье, пахнуло вдруг в бездушную пустыню столицы березовым распаренным веничком и образом подлинного удовольствия.

«Подраспустились... подраспустились», – отметил про себя с в высшей степени правительственной озабоченностью мой знакомый, поправил погон, укрепил свалившуюся на плечи фуражку и, оттаскивая то и дело Алкаша от витрин «Детского мира», одолел последний подъем к Лубянской площади.

Движения машин на ней в тот час почти не было. Переходя площадь, он, как бывалый в прошлом альпинист, почувствовал ни с чем не сравнимый азарт предвосхищения рискованного восхождения, вновь предпринимаемого после неудачной попытки. И от того, что в руке у него был ремешок, а позади послушно шел в ногу Алкаш, душу моего знакомого переполняло альпинистское же чувство связки. Поговаривают, что на какое-то время чувство это вытесняет из существа альпиниста все прочие чувства и привязанности. Восходитель, либо скалолаз, почуяв однажды строгий пафос высокогорного товарищества, начинает с тоскою и разочарованием относиться к иным, многочисленным связям, опутывающим почти безвыходной паутиной постылые низины служебной, партийной, общественной и семейной жизни. Недаром альпинисты – все до единого – подходят под категорию особо неблагонадежных лиц и занесены в секретные списки. В них они расположены даже над евреями, татарами, литовцами, таксистами и структуралистами.

Я-то подозреваю, что, кроме всего прочего, правительство бессознательно потрухивает альпинизма, особенно альпинизма массового, потому что оно совсем уже очумело от беспокойства, связанного с заботами об охране Вершины Власти.

Мало ли что взбредет в голову обывателю, любящему восходить черт знает куда и черт знает зачем?.. Сначала пик Ленина, потом пик Сталина, потом возьмутся за альпенштоки и в дружных связках ринутся покорять Мавзолей.

Примерно так рассуждая, правительство делает все, чтобы без особого шума унять вертикальные устремления мужественных одиночек, но сдержанно развивать при этом сравнительно безобидный горизонтальный туризм миллионов обывателей.

Мой знакомый рассказывал мне, еще до того, как «поехал», что консервы «завтрак туриста» необходимо запретить, поскольку ЦРУ запаяло в огромную партию этих консервов листовки НТС, стихи тунейдца Бродского и призывы к народу физика-шпиона Сахарова. Он утверждал с довольно-таки изящной маниакальностью, что 97% отправляющихся «при любой, заметьте, погоде» в странные турпоходы являются скрытыми диссидентами, изучающими в недоступных для звукозаписывающей аппаратуры органах местах подрывную литературу. Неужели вы думаете, – говорил мой знакомый, резко вскидывая подбородок, – что ЦРУ проглядело такую уникальную возможность? Они не дремлют. Поэтому я пишу докладную в ЦК о необходимости выпускать консервы «завтрак туриста» в стеклянных банках, подобно «фаршированному перцу с рисом и овощами». У нас должно быть противоядие на любую идеологическую отраву населения... Они все-таки там... наверху слишком лег-ко-мыс-лен-ны, скажу я вам, а тем временем НЕДРЕМЛЮЩИЕ запаивают диссидентский фарш в непроницаемую посуду. И со словечком «фаршированный» пора, знаете, кончать. Да-с...

Сам-то мой знакомый не раз восходил на несколько памирских пиков. Там, в расщелинах скал и в ледниках, он закладывал докладные записки и различные философские тезисы, адресованные руководящим органам будущей Всемирной коммуны. Допуск ко всем верши-

нам ему наглухо закрыли после того, как второй член его, казалось бы, надмирно-благородной связки доставил куда следует баночку из-под растворимого кофе с этими самыми докладными и тезисами.

Моего знакомого вызывали в горком партии. Там-то он, возможно, и начал «трогаться», поскольку никак не мог уразуметь технических деталей подлого доноса второго члена связки.

Дело в том, удивлялся мой знакомый, что член этот шел впереди, не имея возможности даже видеть, что именно заковыривает в горный массив член сзадиидуший, а уж тем более не имел он физической возможности выковырять из расщелины или ледника законсервированные послания. Моему знакомому был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку. Дело, конечно, было не в содержании посланного в светлое будущее послания. Просто товарищ Гришин грубо кричал, что «партия никому не позволит обращаться к вышестоящему во времени начальству через свою голову. Ни-ко-му!» Мой знакомый заупрямился и бесстрашно одернул партоградначальника, сказав, что преследовать надо «не коммуниста, дерзнувшего мечтать при восхождении, а расплотившихся инакомыслящих, нагло оккупировавших памятники Пушкину и Маяковскому на ваших, то-ва-ри-щи, глазах... Вы видели, какая вражеская отравка продается у подножья Ивана Федорова?.. То-то...»

В дурдом его не отправили, потому что он явно занимал не анти, а суперпроправительственную позицию, до отваживания от которой у отечественной психиатрии тогда еще не доходили руки. Восток неумоимо занимался детантом с обессиленным от долгожданной неги и очередных иллюзий Западом. Гениально лукавая наебка либерального мира, самозабвенно снявшего бронированные трусики перед бровастым провинциальным ебарем с отвисшей челюстью, шла полным ходом, и

правительство могло себе позволить слегка подраспустить инакомыслящую публику.

Но партийная стратегия «детанта» как раз не доходила до моего знакомого. Тут-то он, напомним, и вылез со своей несвоевременной, вызывающей инициативой, шедшей резко вразрез с лукавым изломом генеральной линии правительства во внутренних делах нашей Империи...

Целыми днями мой знакомый после освобождения из дурдома анализировал происшедшее, разумеется, не выходя за рамки «священного положения насчет абсолютной непогрешимости правительства и априорной, хотя и недоказуемой, вины во всем каждого рядового члена партии».

Он пришел к выводу, что потерпел политическое поражение исключительно из-за того, что его практические рекомендации о физическом и гражданском уничтожении инакомыслящих не корректно опередили теоретические обоснования очередной, «горячо всем нам необходимой массовой репрессии».

Философское открытие, внезапно озарившее его мозг во время грязного дворового скандала, сразу же вознесло «пионера логической мысли» на такие высоты духа, что оттуда ему даже Маркс с Лениным, а не то что «неначитанный бюрократишко товарищ Гришин» казались незначительными букашками, а теория и практика встали на свои места.

И вполне возможно, что именно такая вот безумная, надмирная самовознесенность непостижимым образом помогла ему избежать в неслыханно ветхом одеянии осмысленного внимания обывателя и приставучего взгляда ментов, когда спешил он в связке с собакою к Лубянской площади через весь многолюдный центр столичного города... Последний переход от угла «Детского мира» к запекшейся в синих сумерках ярко-красной клумбе... фантастический маневр с отшвыриванием

собаки в сторону перед самым носом взвизгнувшего частного автомобиля ...

Долгое предыдущее отступление от рассказа перед самую его трагикомической развязкой должно пойти только на пользу и рассказчику и читателю.

Пусть знакомый мой безумец! Пусть образ его мыслей и в безумном виде категорически враждебен нашему с вами образу мыслей и нашим взглядам на действительность. Пусть! Но будет ли чиста и глубока наша ненависть к дьявольским утопиям и доктринам, если мы с вами, уберегшие, как нам кажется, разум и сердце от их всегадостных низин, отнесем без сострадания, то есть отнесем с неразумным бессердечием к тем, кто погибельно к ним прилепился и кому разве лишь чудесная сила поможет когда-нибудь выкарабкаться оттуда? И если мы с вами не содрогнемся не только от мучительного жизнеположения таких безумных фанатиков, как мой знакомый, но и от блистательной, на взгляд поверхностный, позиции правительства, которому пора бы уж взвыть от ужаса, омерзения и большей, как это ни странно, чем у нас, несвободы, то не будет ли это значить, что окончательно оскудели в нашей Империи запасы добродушия и что бродим мы все уже сегодня, сами того не замечая, на злорадную потеху Осквернителю Мира, в жестокой тьме и вытравленной враждой пустыне?..

И вот – взгляните на эту картину! Чудом увернувшись от рычащей лавины автомобилей, от подвыпившей шоферни, ошастливленной тем, что не раздавила она генерала МВД со служебной собакой, мой знакомый рухнул в заросли ярко-красных цветов и зарылся в них лицом.

Он зарылся в них лицом, как прежде зарывался в цветы и в травки последней поляны предгорья, отрешаясь с бездумным упоением от всего связанного с будничными измерениями земной жизни. Обойный свиток он прижимал к себе рукою и плакал от счастья, повторяя

запечатленное на нем выдающееся положение. Собака лежала рядом, как бы не совсем еще веря в перемену вонючего асфальта под ногами на никем и ничем до странности не загаженную естественную почву и поглядывая исподлобья на угрюмо возвышавшегося над ними обоими металлического истукана.

В злодейском учреждении, расположенном напротив, загорались, несмотря на Первое мая, служебные окна. Вечно бодрствующие каратели и охранители правительств, очевидно, продолжали совершенствоваться в своих служебных кабинетах планы предупреждения идеологических диверсий во время никому, в общем, не нужных Олимпийских ристалищ.

Наконец мой знакомый деловито встряхнулся, собрался с духом и вдруг закусил губы от ужаса, не найдя рядом с собою рюкзака, куда уложил он перед уходом из дома всякие скалолазные причиндалы. Алкашу тоже передались его тревожные чувства и общее смятение мыслей, и он – исключительно из повиновения зову врожденной предупредительности – начал что-то вынюхивать среди цветов, сам не зная что именно. Затем подпрыгнул, восприняв как-то там по-своему, смысл хозяйского смятения и давая знать моему знакомому, что рюкзак висит себе у него за спиной.

Тот великодушно хохотнул, как бы поясняя, что знал об этом прекрасно, но вот запомнил, как это случается с людьми умственно возбужденными и отрешенными порою даже от самих себя.

Собака вновь улеглась среди красных цветов, дыша глубоко и часто, словно помпа, вбирающая в себя кислород, произведенный растениями, заместо набившейся в легкие, в рот и в нос праздничной алкогольной вонищи. Собака спокойно, но с большим любопытством наблюдала при этом за всеми действиями моего знакомого.

А тот, с замечательной ловкостью и с первой попытки, накинул петлю на шею Дзержинскому. Затянул ее потуже. Надел поверх генеральского золототкан-

ного ремня ремень альпинистский, со всякими скобами, колечками и замками. Во всех движениях его, если взять да и позабыть о смысле и цели этих движений, чувствовалась жесткая, волевая сноровка опытного восходителя, не прощающего ни себе, ни другим каких-либо «типично предгорных оплошностей». Все подготовив для «взлаза», мой знакомый скинул с ноги левый штиблет и прикрепил его каким-то специальным зажимом к нижней части обойного свитка в виде груза, предупреждающего в таких случаях нежелательное и раздражающее нас скручивание бумажного рулончика в исходную трубочку.

Он по-прежнему магическим каким-то образом не попадал в поле зрения обывателя и служебных лиц, которых было видимо-невидимо вокруг. Может, происходило это от того, что заела ничтожная пружинка с контактиком в реле, автоматически включающем наземные прожектора. Обычно они выхватывают из вечернего мрака фигуру ужасного убийцы и борца за прижизненное счастье человечества. Может, кто-то и заметил человека в просто-таки рассыпающейся на нем генеральской форме и с красивой собакой, то и дело застывающей посреди красных цветов в разных скульптурных положениях, но ему, вероятно, и в голову не могло взбрести ничего подозрительного, потому что весьма опасная жизнь внутри Империи постепенно притупила в обывателе политическое и художественное, что уж тут говорить, воображение.

Ежели накидывает кто-то в праздник петлю на шею товарища Дзержинского, значит, так оно и положено. Тем более – генерал накидывает, а собака сигнализирует своевременно, что нам не след приближаться... От голубинового говна и очищают голову Феликс Эдмундыча... пора бы говносмыватели установить у ней на висках, чем по африкам и кубам разбрасываться...

Уверен, что в случайной свидетельской башке мелькали приблизительно такие нетрезвые мыслишки...

Закончив все приготовления, мой знакомый по старой привычке пробормотал заклинание, показавшееся ему в тот момент альпинистским и нормальным: «Человек с человеком не сходится, а гора с горою сойдутся, потому что дурак в горы не пойдет...» Пробормотав, плюнул разок через левое плечо и, обозревая крайне скошенным в этот момент взглядом пару золотых звезд на отцовских погонах, мучительно пытался сообразить: откуда на нем эти погоны... звездочки... синий кантик... кантик..?

«Ах, Кант? Ах, Кант? – вновь хохотнул он. – Вот ты у меня поапперцепствуешь, как мы наловчились трансформировать твою вещь-в-себе в вещичку-для-нас... эрго: мы идем дружной кучкой по краю пропасти...»

Сказав это, он по-собачьи зажал в зубах свиток с чудесным открытием, штиблет затолкал за пазуху, натянул веревку, то есть оранжевый трос, ухватился за него покрепче, уперся одною обувью, а другою разувтой ногою в подножье монумента, постоял так под большим наклоном к земле, собираясь с силами – силы-то у него после «излечения» были далеко уж не те, – и вдруг просто взмыл до самой груди бесчувственной фигуры. Обосновался голым носком ступни на какой-то выступающей детали то ли чугунной, то ли бронзовой шинельки. Передохнул. Помахал рукою Алкашу, вытянувшему вверх морду, словно в предуготовлении к недоуменному вытью. Затем смаху одолел последнюю крутизну, обхватил руками действительно засранную голубем и воробьем, да к тому же мокрую и холодную от сумеречной росы шею, укрепил, вернее втиснул большой палец ноги в пуговичную, как показалось ему, петлю и проклял себя в тот же миг за такую мелкую подстраховку. Большой палец застрял в дырке и никак не вытаскивался, а дергать его стало вдруг очень больно. Дотянуться же до него как-либо и повертеть руками до полного высвобождения не представлялось возможным. Опереться

на что-нибудь хоть как-нибудь тоже было, как говорится, не на что.

Мой знакомый хотел было трагически раскинуть в разные стороны руки, как бы давая понять самому Року, что победа его над ним окончательна и несомненна, но, слава Богу, моментально смекнул, что рук, обвинившихся вокруг громадной шеи, ни в коем случае разнимать не следует – сразу шмякнешься и еще повиснешь башкою вниз на одном каком-то ничтожном ножном отростке, застрявшем в ничтожной выемке, может быть, даже в дырке, допущенной при литье советскими нашими халтурщиками... Э-э-эх...

От бесконечно сардонической усмешки во весь рот, столь любимой всеми почти стебанутыми людьми, его тоже удержала боязнь, что свиток выпадет, как только залыбишься, из зубов и – тогда все будет кончено.

Совершенный же ужас положения был в том, что знакомому моему следовало схватиться вновь за трос и спуститься всего-навсего на три несчастных сантиметра вниз – палец сам собою и выскочил бы при этом из ловушки, – а не выдергивать его кверху, словно пробку, от чего он только нестерпимо больно вывихивался.

Но дело-то все было в том, что большинство безумцев почему-то лишены нормальной способности хоть сколько-нибудь *обратимо* мыслить и действовать даже в примитивных умственных и житейских ситуациях. Дьявольская какая-то сила заставляет их еще больше и хитроумней утверждаться во всем бредово-навязчивом, сардонически же ухмыляясь над нашими попытками сердобольно вернуть их к действительности. Сила эта обезоруживает и их самих, когда вдруг задумывают они совершить самоубийство, и нас, пытающихся всякими разумными доводами удержать несчастных от безумного шага. Иной безумец, остолбенев от ему одному известного видения либо от соблазнительной мысли, от которых нормальный грешник нехотя и с зубовым скрипом, но всенепременно открестился бы, движется и

движется неостановимо, хотя возможностей-то остановиться, думаем мы, тоже остолбенева от ужаса, миллионы вокруг, он все неостановимо движется, и ничто не может его утратить в этом роковом движении – ни казнь, ни гибель под колесами поезда, ни муки пожизненного гниения в дурдоме, ни весьма доказательные картины разверстого ада, ни страдания и вечная пытка укорами совести всех его близких... Он движется, и шаги его и мысли необратимы.

Да что, собственно, говорить об одиноких несчастных безумцах, когда целые сообщества людей ведут себя не менее загадочно и самоубийственно даже в наши, самодовольно гордящиеся своей просвещенностью времена, а от людей, правящих этими сообществами, то есть от политических лидеров и от правительств, вроде нашего правительства, за версту уже несет, уже шибает вам в носопырку необратимостью... необратимостью... необратимостью, которою пропитаны они сами с ног до головы, и мысли их, и бешеная их уверенность в бредово-навязчивом, а главное – самоубийственное движение к немислимой жизнедробилке и бойне.

Они движутся. Они движутся, насильно вогнав нас в жуткие свои стези и сделав нас – хихикнем, господа, сардонически – замудоханной частью этого унижительного движения, не лишенной некоторого здравомыслия, совести, духовного беспокойства и тоски по достоинству и свободе.

Они – несправедливо было бы позабыть об этом – тоже втянуты в это трагикомическое бесповоротное следование черт знает куда не по своей воле, но по добровольно унаследованной инерции, и, однако ж, позвольте спросить, господа, как воскликнул однажды в пустопосудной очереди молодой разжалованный социолог, позвольте вас спросить: сколько нам с вами еще грохотать всеми мослами по горбатой одноколейке пятилеток вслед за пыхтящим, гудящим и смердящим

правительством, без наличия у нас – дай-то Бог, чтобы только не у него, – естественнейшей из возможностей – возможности остановиться, отдохнуть и по сторонам оглядеться, а быть может, и хлебнуть животворного кипяточка реформ, макая в эту душевнейшую из жидкостей несчастный замусоленный сахарок и черствый хлебушек жалких наших и скромных социальных надежд?... Сколько?... Куда ты несешься, правительство?... Кто тебя остановит?... Нет ответа...

Вдруг моему знакомому удалось непонятным для него образом – то есть благодаря мгновенному удачному совмещению разных мелких обстоятельств жизни, а может быть, после тайно заключенной конвенции между живою плотью большого плененного пальца и отверстием в монументе, – неожиданно удалось высвободиться.

Высвободившись, он подтянулся, позабыв про боль в пальце, и, разумеется, не мог видеть, как кровь из него – она просто была из порванного сосуда – вымазала бронзовую шинель железного чекиста.

Высота для бывшего альпиниста была смехотворно небольшой. Он скинул с ноги наземь второй штиблет, чтобы не скользил по металлу плеча, встал во весь рост на это плечо, держась за правое массивное ухо и несколько возвышаясь над засеренным птицами затылком. Он чувствовал еще острее, с тоскливою ущемленностью сердца, не только ничтожество свое и бесчеловечную несоразмерность с мертвым изваянием – чувство, внушенное всем нам с юных лет чтением поэмы А. С. Пушкина, но, не выпуская еще из зубов куса обоев в желтый, синий и красный цветочек, чувствовал он нахождение существенно уменьшившейся в размерах фигуры своей под всесильной защитой любимой громадины.

Громадина же слегка подрагивала от сотрясения автомобилями поверхности земли, подрагивала слегка от подземного движения поездов метро и возносила

моего знакомого над всем центром столичного города. В ней то взывало что-то, то глухо гудованило, то обширно и ровно шумело от проникавших в нее каким-то образом сквозь дырки в металле звучаний внешней городской жизни.

Молча, со сверкающими глазами и так и рвущимися из груди рыданиями – рыданиями духа, вознесшего мысль над животной толпой, – обозревал он удаляющийся вниз проспект. Погрозил свободной рукою «первосамиздатчику» Ивану Федорову и толпившимся под ним даже в праздничные дни книжным червям черного рынка; фамиллярно поприветствовал не видного за углом гостиницы, но уже отшибающего от себя на мостовую нимбы вечерней подсветки Кырлы, как говорим мы, Мырлы; глянул на застывшую все в той же крайне недоуменной позе собаку, и только тогда, абсолютно уверенный в том, что на него в этот вот самый миг направлены взгляды правительства, а также «хамски вытолкнувших его из себя научных кругов, близких к философии истмата», взял он в свободную руку кусок обоев, а уж развернул его подвешенный снизу в виде груза штиблет.

Из высвобожденного рта моего знакомого сами собой вырвались натуральные рыдания, сотрясавшие его грудь и заставившие собаку вопросительно что-то пролаять.

В этот момент все наконец устроилось так, что первый какой-то наблюдательный обыватель случайно заметил взгромоздившегося на Феликса Эдмундыча человека. Всего его в тот же миг высветил из мрачных сумерек свет всех прожекторов. И разом стало видно и лицо этого человека, которое было искажено то ли странным смехом, то ли возвышенным страданием, то ли безумным смешением на лице и того, и другого, как это бывает с лицами клоунов-эксцентриков, и стало также видно, что форма на человеке генеральская – сверкает всякое золотое шитье на мундире, ордена и медали... на брючинах, треснувших на коленках и

ужасно потрепанных снизу, алеют, как положено, лампы... фуражка, над которой взвихрились волосы, похожа скорее на пляжный такой ободок с солнцезащитным козырьком, а не на генеральский высокомерный головной убор, но... «что бы все ж таки означала подобная по-зу-мен-та-ци-я?... что бы означала все ж таки сия пропаганда и агитация в афористическом виде?..»

Первому обывателю, бывшему, как и все почти пристроившиеся к нему другие обыватели, под приличной балдой, почудилось сперва, что фигура эта странная с транспарантом, стоящая босиком на плече всем приевшегося памятника, есть часть репетируемых сегодня олимпийских новаций, может быть даже – костюмированный намек иностранному гостю на то, что очеловечивание наших и без того гуманных органов находится нынче на небывалой высоте...

**ТЫ ИНАКОМЫСЛИШЬ СЛЕДОВАТЕЛЬНО
ТЫ НЕ СУЩЕСТВУЕШЬ СУПЕРДЕКАРТ
ТЫ СЧУСТВУЮЩЕ СЛЕДОВАТЕЛЬНО
ОНЧУГЛАВЛЯЮЩЕ И**

Кое-кому из обывателей, знакомым слегка с историей развития нашего европейского мышления, моментально открылся смысл философской ревизии знаменитого положения и зловещая практическая направленность этой ненормальной ревизии, доведенной каким-то генералом МВД или КГБ до логической, постоянно действующей угрозы в адрес обнаглевшего диссидентства. Стало им также ясно, что преолимпийская постановка на ноги Декарта, как бы стоявшего до сих пор исключительно на голове по недосмотру правительственной философии, – не к добру. Не к добру.

Кое-кто, слегка пришибленный словом СЛЕДОВАТЕЛЬНО, да к тому же в непосредственной близости

от самого страшного в нашей Империи учреждения, должно быть, судя по светящимся окнам, так и кишевшего ко всему готовыми следователями, разумно отступился от соглядатайства и ушел подобру-поздорову подальше от возможной облавы.

Постепенно все окружные тротуары заполнила любопытствующая, гуляющая публика. Количество прибывавших на место происшествия людей намного превышало число людей, разумно его покинувших, – факт одновременно удручающий и обнадеживающий. Удручающий постольку, поскольку законы поведения уличной и прочих толп, выходит дело, остаются неизменными при любой общественной формации. От этого ежечасно опускаются руки даже у самых отъявленных прогрессистов. Обнадеживает же притекание публики на место нервически убывшей потому, что, выходит дело, публика не до конца еще утрачена полувековым, в случае с нашей публикой, террором и до сих пор, несмотря ни на что, то и дело намекает бдительным правительственным силам о наличии у нее грозных остатков инстинкта самостоятельных действий...

«Публика есть сумма обывателей, добровольно находящаяся в определенное время в определенном месте, с осознанной либо неосознанной целью», – думал мой знакомый, обозревая скопление любопытных на всех приплощадных тротуарах. Ему приходилось перебираться с одного плеча Дзержинского на другое и поворачиваться в разные стороны с тем, чтобы всем присутствующим, не вынуждая их самих к суетливым перемещениям, открывалась эпохальная переиначка великого изречения, призванная философски обосновать необходимость физического и гражданского уничтожения инакомыслящих.

Но дольше всего мой знакомый задерживался в том положении, когда стоял он лицом к светящимся в злодейском учреждении окнам.

Чиновники же, бдевшие в тот час в своих кабинетах, привлечены были наконец к окнам глухим шумом толпы, который они никак не могли перепутать с иными какими-нибудь шумами от многолетнего страха перед возможным в любой момент взрывом народной стихии.

То, что увидели вдруг следователи, каратели, шпионы и контрразведчики, давненько ожидавшие от народа – именно от народа, а не от публики – всего что угодно, привело их в совершенное замешательство с дополнительной устрашенностью перед не репрессированным до сих пор призраком НЕПРЕДВИДЕННОСТИ.

Бездонная, при всей ее внешней примитивности и доступности, мысль Декарта была намеренно перевернута моим знакомым с ног на голову – перекантовке такой он выучился у Маркса-Энгельса, – и обыватель вынужден был, повинувшись некоему инстинкту ума и зрения, встать, как говорится, раком, глядя себе между ног, ворочая головой и вычитывая перекантованную эту мысль в позитивном виде:

Я МЫСЛЮ СЛЕДОВАТЕЛЬНО
Я СУЩЕСТВУЮ ДЕКАРТ
Я НЕ СУЩЕСТВУЮ СЛЕДОВАТЕЛЬНО
Я НИКАКОМЫСЛЮ СЛЕДОВАТЕЛЬНО

Начальство, тоже столпившееся у окон учреждения, было ошеломлено видом массового нагибательства и странным выворачиванием людских голов между ног, красных от прилива к ним – как это и должно быть в подобных случаях – потоков крови. Непонятное общее кривляние кем-то неистово облаивалось, и начальство, глянувшее первым делом вниз, перевело взгляд на памятник своему святому Феликсу Эдмундычу. Тут-то оно и увидело нашего безумца в родственной генеральской форме, существенно не изменившейся после

смерти Хозяина, но, как мы знаем, висевшей ключьями на возмутительном демонстранте. Увидело начальство и «открытие» моего знакомого. Прочитало его. Перечитало. Не могло, надо сказать, моментально не оценить полезной правительству и его органам логики, которая, подумалось в те минуты начальству, не только вертится, стерва эдакая, в голове у него самого с семнадцатого года в бессловесной форме, но твердо руководила и руководит всеми его действиями в эпоху вынужденного лавирования в угоду тухлым либералам – партнерам по детанту...

Демонстрант был вне себя от счастья, что замечен кем следует он и его открытие, но тут, словно по команде, разом погас свет во всех окнах учреждения. Он перетрухнул. Псих психом, а стало ему как-то слишком ясно, что близится принятие мер, надвигается на него со стороны судьбы новая страшная и мрачная туча.

Вслед за окнами погасли и прожектора вечерней подсветки. Вся площадь, действительно как перед грозой, погрузилась в темень, особенно густую в столичном городе, так и спирающем камнем зданий небольшие свободные пространства площадей и улиц, – это погасли яркие площадные фонари. На всех дохнуло грозным хладом всесильной, отработанной в совершенстве оперативности, которая, хоть она и устрашает обывателя до замедления дыхания, а порою и до судорожной приостановки мыслительной деятельности, но не гонит его по домам – укрыться побыстрее от нее к чертовой матери, – а наоборот, приковывает магнетически к месту. Происходит это от почти непреодолимой страсти к соглядатайству, более сильной, чем даже страх проверки документов, обыска и задержки для выяснения кое-каких обстоятельств. Мертвая тишина, предшествующая обычно, словно в театре, началу принятия оперативных мер, нарушалась, как пишут в таких случаях очеркисты газет, скулежным воем и жалобным взвизгиванием Алкаша, припугнутого всем происходящим.

И мой знакомый завсхлипывал вдруг от полного одиночества и ужаса перед городской тьмой, завсхлипывал, заплакал, как мальчишечка, затерявшийся вдруг в зарослях леса и оставшийся один на один перед скрытым во тьме ликом всеустрашающей ночи. Собака, нервно воспринявшая его сиротливое состояние, взвыла еще истошней и отчаянней, а он, растроганный там наверху хоть чьей-то сердечной близостью и участием, заплакал совсем уже навзрыд, заплакал плачем, успокаивающим на миг любое смятение безумного мозга и тоскливый страх растерянной души, и, заплакав, прижался всем телом, продрогшим уже от надземных сквозняков, к теплomu, не остывшему после стояния на майском солнышке, железному истукану.

Иногда не может сердце не смутиться того, как бездарно, безвкусно, бездумно и беззаботно использует наше имперское правительство в своих пошлейших «мифологических» целях истинно невинное вещество природы.

Но бывает, однако ж, и так, что врежешь ты по грецкому ореху чугунным черепом какого-нибудь Ленина или бывшего Сталина, раскидаешь скорлупки, и вытащишь со страстью звереныша мозгообразное ядрышко, и сжуешь его зубами; бывает – забьешь в стену одним из многих литых истуканов полезнейший гвоздь, а то и пригрозишь зарвавшемуся буяну осадить его увесистым, скажем, плагиатором Шолоховым промеж, как говорится, рог; бывает, одним словом, что употребишь ты по какому-либо нормальному делу отвратительно праздную вещицу и вдруг поражаешься – спьяну ли, стрезву ли – изначально наивному благородству природного вещества и вообще чудесной невинности матушки-природы. Поражаешься и думаешь – прямым образом причисляя и себя, при сравнительной своей невиноватости, к сонму правительственных пакостников и тупых идолопоклонников, – какие мы все говнюки и, в сущности, совсем еще испорченные дети.

Господи, молишься, прости и рассуди по высшей своей справедливости и вечной своей боли, которую мы столь академически именуем НАШИМ ЧУВСТВОМ ИСТОРИИ, что всем нам сразу правильными быть совершенно невозможно, хотя так хочется, Господи, наконец исправиться – пьем порою лишь от неудержимой тяги к исправлению. К сожалению, кончается это всегда лишь вынужденной поправкой после сдачи посуды... Что же делать?.. Что же делать?.. Так вот и распространяется поголовное пьянство в пространстве одной шестой части света. И поневоле мрачно повторяешь, прозябая в очередях порочного круга жизни, слова мудрого одного существа женского пола насчет того, что *Тьма это и есть одна шестая часть света*. Впрочем, похмельный юморок не спасает, Господи, ото всего забываемого...

Но что же дальше происходило с моим несчастным знакомым? Начальство сразу же, как я уже говорил, как-то там распорядилось, но первой прибыла на место происшествия «скорая помощь». Милиционеры и, частично, люди в помятых синих костюмах успели оттеснить обывателя с мостовой на тротуары, подальше от цветочной клумбы. Врач с ассистентом приблизились к ней и задрали головы вверх. Алкаш притих, потому что, как я теперь понимаю, растерянно анализировал незнакомый ему запах эфира. Медицинские сотрудники на выезде слегка пропитывают этой жидкостью свои халаты, чтобы эфир перешибал спиртыгу, которой разит от них по праздникам невозможно.

- Сымайте его. Жахнется сейчас.
- Вот уж и в таких званиях нажираются.
- Домыслился, как видим. Досуществовался...

Много еще разных мнений и советов произнес тогда обыватель. Врачи вернулись к машине. Толпа, всегда испытывающая неприязнь к ним, поскольку в стране нашей с вызовами «скорой» не все еще обстоит благополучно, упрекающе забазлала. Старший врач счел воз-

возможным объясниться с толпою. Он сказал, что дело находится в компетенции пожарной команды и ветеринарного ведомства. Пояснил, хотя никто его об этом не спрашивал, что человек там наверху скорей всего находится В ПОЕЗДКЕ, и повертел пальцем у виска.

Тем временем распоряжение начальства произвело свое возбуждающее действие. Дежурные сантехники и надзиратели учреждения прошли уже по туннельчику под клумбу и открыли люк, чтобы с близкого расстояния обозреть детали случившегося. Все они тоже были под необходимой праздничной балдой, потому что, кроме всего прочего и положенного в смысле выпивки, подналегали на припасенное, в порядке борьбы с повышением цен, спиртное.

Алкаш бешенно облаял первого же сантехника, высунувшего окосевшую свою рожу из люка и раздвинувшего руками заросли красных сальвий. Тот замахнулся на собаку здоровенным тюремным ключищем, чем встревожил ее еще больше. Вылезти она ему на поверхность не давала и, срывая голос, угрожала откусить нос. Кто-то попробовал действовать решительней и начал вылезать из люка, размахивая перед оскаленной мордой Алкаша брезентовой курткой. Но пес увернулся от нее и столкнул смельчака обеими передними лапами обратно в люк. Оттуда сразу вырвался на поверхность земли скандальный вой и нецензурная ругань сантехников, чему отвечивал смех обывателя.

Вдруг толпу и памятник озарили вспышки ярчайшего света. В учреждении мгновенно зажглась пара окон. Знатокам стало ясно, что контрразведка не дремлет. Менты и люди в синих помятых костюмах, словно по команде, бросились на группку иностранных туристов, вспышками выхватывавших из тьмы фигуру рыцаря революции и разместившегося на ней генерала-манифестанта.

Туристы успели уж подумать, что все происходящее превосходит ихние собственные представления о свобо-

де высказываний и уличных манифестаций, причем в таком... в таком месте, но менты со штатскими вмиг налетели на них и безо всяких объяснений начали отламывать от фотоаппаратов вспышки, а затем выдирать из них же катушки с пленками. Гидам было приказано немедленно увести «щелкающую вшивоту» в гостиницу и бросить до утра на койки, пока она не оказалась на нарах.

Чувствовалось, однако, что с остальными решительными действиями произошла заминка и что вызвана она, по мысли одного бывалого обывателя, консультациями мелких чинов с крупными, которые тоже не могут без санкции сверху дать разрешение на производство выстрела в собаку в таком месте и в такой день. Но тот факт, что органы как-то явно опростоволосились, весьма удовлетворял обывателя. Такое случается не часто. Кто-то поспорил с кем-то насчет того, каким образом органы выйдут из щекотливого положения. Шли разговоры о возможности применения бесшумного оружия или пульек, наштигованных мгновенно действующим снотворным. Так, утверждал знаток, в Кении слонов усыпляют, а просыпаются они уже в зоопарке. Многие говорили, что они – будь они на месте начальства – давно бы уж вызвали вертолет, закрючили генерала вместе с плакатом и по воздуху переправили во внутренний двор учреждения.

Так или иначе, рассуждал обыватель, что-то все же должно произойти, потому что «до утра его там не оставят», а «облаивание пора прекратить... собаки и провинция совсем Москву объели...»

Мой знакомый, видимо, свыкся с темнотою. Чтобы не терять даром времени, он начал произносить вслух ревизованное им положение Декарта. Произносил сначала тихо и робко, как бы только настраивая голос и волю. Попутно дипломатично вносил в структуру фразы некоторые изменения с тем, чтобы стала она призывней, убедительней и проникновенней. Затем,

после недолгой настройки, принялся громко и размеренно повторять:

ЕСЛИ ВЫ ИНАКОМЫСЛИТЕ СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТЕ ЕСЛИ ВЫ ИНАКОМЫСЛИТЕ СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТЕ

Наконец сантехникам, которыми явно уже руководили высшие дежурные и бывшие в учреждении чины из вечно бдящих, удалось отогнать Алкаша в сторону струей воды. Это моментально унизило умного пса. Причем унизило настолько, что он, поджав свой куцый отросток – поджать же его эрдельтерьеру весьма сложно, – жалко отступил в сторону.

Затем пустили воду под максимальным напором вверх – на захлебнувшегося вмиг моего знакомого.

Вида и состояния человека, хамски и внезапно вымоченного в момент наивысшего подъема духа, описывать, я думаю, не стоит, потому что описания такого рода как бы превышают меры нашего соглядатайского отношения ко всему садистически-властному, творимому правительством и органами над любую, даже вполне безумною, личностью. Тут чуем мы всей своей трижды выдубленной шкурою оскорбительную разницу наших – правительственных и обывательских – жизненных положений, чуем с такою болью и с таким отвратным страхом, что инстинктивно предпочитаем отворотиться же от невыносимых для нервишек, а может и для совести нашей, зрелищ.

Так уж всё, к сожалению, сошлось в истории общества, что отвращаемся от всего такого – а порою и от в тысячу раз более унижительного и оскорбительного – вот уж шестьдесят лет с лишком, производя на зажавшегося на свободе туриста жуткое впечатление вконец обездушенных скотов с атрофированным инстинктом сопротивления правительственному насилию и своему многолетнему рабству. Так уж все, к сожалению, сошлось, но как же нам быть, позвольте спросить у за-

жравшегося туриста, ежели правительство давно выкосило под корень бесстрашных и гордых, оставив – вынужденным, конечно, образом, то есть исключительно для приплода, – оставив в сравнительном покое всех нас – частично подкошенных, полностью уstraшенных и тех, кто уже родился в неволе, да к тому же с детства привык жевать лживую листву правительственной прессы? Как нам быть, ответьте, пожалуйста, когда вы, наезжая к нам, словно в тропический зоопарк, и отметив про себя, что живем мы все же, питаемся, одеваемся, воспитываемся и даже желаем насладиться прелестью олимпийского движения, вновь улепетываете на свободу, где не то что пальцем не двинете ради нас, но и лепечете, прости вас Бог, насчет устремления тоталитарного режима к чистоте и порядку в противовес тяге свободного мира к полному бардаку и распаду? Как нам прикажете возродить без просвещенной помощи извне наше гражданское и человеческое достоинство? Может, объявить вдруг, телепатически объединившись, всеимперскую забастовку, но, конечно, объявить ее, подзапасшись предварительно выпивкой и закуской? Может, наоборот, следует нам решиться наконец на всеобщую голодовку с выходом на работу? Тем более, во многих наших городах и провинциях обывателю нетрудно будет перейти от хронической нехватки продуктов питания к стихийно организованной подсыхаловке. Как, скажите, спасти нам самих себя и потомство от очумевших и нисколько не подконтрольных народу наших генералов, когда вы своими руками помогли им довооружиться уже до того, что дальше, кажется, некуда? Как нам вроде вас, от пуза попацифистовать и похаркать на стратегические ракеты, приструнив этим самым военную проказу? Да за один только плевок, за одно лишь махание под носом у генералов протестующей тряпкой поедем мы вскоре на заготовки урана всё для тех же супербомб...

Да пропадите вы пропадом там на своей свободе, думает частенько обыватель, раз ничего действенного и решительно бесстрашного не делаете вы для вызволения нас – людей полностью обезоруженных – из недостойной рабской неволи. И почти ничего не делаете вы для прочищения наших мозгов, отравленных настолько газетным страхом перед вами, что миллионы обывателей представляют из себя стадо облапошенных недоумков, взгляды которых с великолепным искусством отведены от истинного и натурального врага Мира и направлены в окоселом, в резко враждебном виде на трепыхающегося из последних сил Рейгана. Мало того – вы, не все еще, слава Богу, ставите подножки деятелям, пытающимся как-то сдержать нашу обезумевшую и догола почти раздевшую собственный народ военщину... Чем же тогда отличаетесь вы, беспрепятственно пользующиеся разными гражданскими свободами и имеющие ежеминутно доступ к разносторонней объективной информации, от нас, абсолютно лишенных возможности выразить свою волю и соображения свои здравые относительно политики нашего, уверенного в своей полной безнаказанности правительства? Вы ничем, позвольте вам сказать, от нас не отличаетесь, но сказать только это было бы непростительно мало, потому что рубящий ветвь, на которой он благоденствует, неизмеримо омерзительней раба по принуждению, а вина самопатологизированного вашего сознания ни в какое не может идти сравнение с виною насильно изуродованного нашего... Ни в какое... Вот и погромсайте топориком усиженную свою ветвь, вот и повыгрызайте ее и поутончайте со всех сторон, а мы – поскольку мы полвека назад провели уже эту деревообделочную операцию – можем, подобно загулявшим краснодеревщикам, пойти сдавать пустую посуду и похмельно чують дубовую безответственность – штуку безусловно спасительную при нашей-то старинной обреченности...

Мой знакомый, окаченный водой, и не думал возвращаться добровольно вниз. Наоборот – он подстраховался от возможных падений, подтянув повыше нейлоновый трос и подкрутив себя к правому уху Феликса Эдмундыча. Сплошной, непрекращающийся напор воды не давал ему порою дышать, больно, кроме всего прочего, бил в промежности, в лицо, в грудь. От выеденного молью генеральского облачения слетали уже на клумбу ошметки брюк и кителя. Слетела к ногам брендспойтистов и планка с орденами и медалями, а также очень удивившая всех фуражка. Все это сразу проследовало в спецлаборатории злодейского учреждения. За собакой, к счастью для нее, не стали гоняться – она себе поскуливала побежденно в сторонке, – но шуганули мстительно пару разочков тяжелой струею...

...как сообщил он в первом же своем письме из психушки, ужасала его близость «захлеба водой в нескольких метрах над уровнем моря, что оскорбительно для каждого уважающего себя альпиниста»... Но, писал он, именно в тот момент в моем истинно марксистском мозгу возникла грандиозная идея группового костюмированного восхождения на целый ряд мемориальных воздвигнутостей, ошибочно называемых памятниками... Поверь, сосед и товарищ, – мы взберемся... никакие пожарные рукава, никакие водопады и наводнения не помешают нам взобраться на Крупскую и Чернышевского, на Маяковского и Пушкина, на Медного всадника и Гагарина, на Горького и Девушку с веслом. Мы никогда не отдадим на откуп наших мемориальных святынь проклятым Буковским... никогда... никогда... в тот момент я полностью слился с водой и металлом, то есть с телом крупного борца с инакомыслием в наших рядах... Партия не дала мне захлебнуться...

Рассказ мой близится, несмотря на невольные отступления, к развязке.

Но вот что происходило во дворе нашего номенклатурного дома, расположенного на менее значительной, чем описанная одним умершим писателем, набережной. Вот что там происходило еще до того, как подсобные лица приступили к выполнению указаний начальства, остро желавшего узнать, что это за сволочь залезла Первого мая на плечи вечного шефа ихнего учреждения.

Дело в том, что у всех, закладывавших у моего знакомого ценные документы, ордена и даже антисоветские издания, всегда, как известно, ценившиеся на вес золота, появились в умах небезосновательные всякие опасения. Пронесся ведь слух о том, что он вновь «поехал» и, возможно, уже к вечеру второго мая – первого на улицах должно быть как можно меньше спецмашин разных лечебных и карательных ведомств – будет вывезен в дурдом, откуда, в лучшем случае, выпишут его только после окончания Олимпиады.

Кто именно заходил в квартиру моего знакомого, бывшую незапертой, теперь определить невозможно, поскольку с самого начала многоопытная рука направила следствие в замечательный тупик.

Известно лишь, что какие-то люди, очень пьяные, но целеустремленные, не сумев дозвониться моему знакомому, явились к подъезду № 3 и стали расспрашивать сидевшего у подъезда старого большевика Влупинского, не приметил ли он такого-то жильца. Влупинский, которого даже тупой Каганович считал неумным человеком, и сообщил неким лицам, что знакомый мой находится дома, а вот отец его – в прошлом начальник ихнего Воркутлага – выздоровел и вышел на прогулку со сторожевой собакой. Они еще пожали друг другу руки, порадовались тому, что находятся ныне по одну сторону баррикад, и генерал, подарив ему орден «знак почета», двинулся к центру города.

Люди эти, не будь дураками, самовольно проникли в квартиру, после чего она так и осталась открытой для

всех желавших в нее войти. Побывал в ней и Гознак Иваныч, поскольку всполошившийся его сын признался в сделанном закладе. Втайне же от отца он заложил у моего знакомого секретный экземпляр антисталинского доклада Хрущева, выменянный Гознаком Иванычем в либеральные времена за 1 (один) кг черной икры у инструктора райкома партии Кобенко, и бесценную панагию, честно купленную у того же инструктора, руководившего в тридцатые атеистические годы реквизицией церковного имущества.

Одним словом, пользуясь тем, что лифтерша по праздничным дням гуляет себе, как все советские обыватели, в квартире моего знакомого побывало большое количество закладчиков. Следователи, прибывшие на место происшествия, нашли в ней все вверх дном перевернутым и раскиданным. Но тут я несколько забежал вперед. К следователям мы еще вернемся.

В квартиру заходила также тетя Нюся. Маршал приказал ей срочно «вернуть собаку в расположение наших войск». Ни собаки, ни моего знакомого в квартире, естественно, не оказалось. Маршал, хоть и был он на сильном взводе, так огорчился из-за исчезновения собаки, помогавшей ему и тете Нюсе выходить из запоев, что быстро облачился в парадную форму, вызвал личного шофера – таксиста-халтурщика из соседнего дома – и двинулся по маршруту моего знакомого. Маршрут этот прекрасно был всем нам известен: набережная, Волхонка, Манеж, Площадь Свердлова, Лубянка и обратно.

Выглядевший как с иголочки «опель-адмирал» доехал постепенно до погруженной в темноту Лубянской площади. Маршал, славившийся всегда своей полководческой интуицией, почуял, что приехал вовремя. А почуяв, увидел полуголого моего знакомого, привязанного к голове человека, которого маршал терпеть не мог и называл не иначе как «польским мясником».

Вся клумба была уже вытоптана различными специалистами по ликвидации антиправительственных происшествий в публичных местах. Они устанавливали у подножья памятника грузовик с раздвижной лестницей.

Собака же залегла где-то на краю этой огромной клумбы, и о ней позабыли во всем этом переполохе. Но и она вела себя сообразительно, а может быть, настолько уныло, что ей уже было не до лая, бросаний на грудь алкоголиков, вопрошающего воя и так далее.

«Опель-адмирал» подъехал к самой клумбе. Маршал сразу начал звать собаку: «Алкаш!.. А-а-алка-аш!.. Алкашик!..» Затравленный ужасами праздничной действительности, пес тут же бросился на грудь хозяина, вмиг позабыв о недавней влюбленности в забавно неподвижного паралитика. От маршала разило, однако Алкаш не заваливал его наземь, согласно натаске, но лизал в нос, в распухшие от питья губы, визжал, облаивал обидчиков, осмелев и почуяв безнаказанность, и буквально ни разу не взглянул на моего знакомого. Собака, одним словом, вела себя приблизительно так, как ведет себя в подобных случаях неглупая и привязанная к мужу дама, чуть было не застигнутая им на диване в объятиях домового водопроводчика, которого она же и вызвала, несмотря на полную исправность кранов с чистой водой и бачка в сортире...

Появление маршала не могло остаться незамеченным, но учрежденческие сошки не смели обратиться к нему с вопросами. Очень уж внушительно он выглядел. Все золото, серебро и бриллианты маршальской звезды, которую, к слову сказать, тетя Нюся успела вовремя выкупить у моего знакомого, блистали в лучах ручных фонарей, словно на каком-то нездешнем привидении. Мелкие сошки, и так уstraшенные случившимся, просто онемели от этого блеска и вообще от ужасной близости высочайшего чина.

Маршал, привыкший пользоваться производимым впечатлением, гаркнул:

– В чем дело?

– Выясняем, товарищ маршал, – сказал, очевидно, старшой или самый наглый и сообразительный из мелких сошек.

– Меры надо принимать. Выяснять потом будем. Света почему нет?

– Есть указание экстренно притемнять компрометирующие моменты, – доверительно сообщил маршалу старшой и наглый.

– Не притемнять надо, а ракеты пускать и уничтожать эти моменты, – рявкнул маршал. – Момент-ты!

– Указано не стрелять ввиду предстоящего следствия, товарищ маршал.

– Выполняйте, – устало сказал маршал, потому что от слова *следствие* его подташнивало с тридцать седьмого года. В этот момент Алкаш успел-таки вырвать клоч из брючины старшого. Но тот лишь премило и крайне угодливо улыбнулся, как бы давая понять маршалу, что «он к этому привыкши... что возьмешь с шаловливого животного? Дерзим, так сказать, играючи-с...»

На что уж маршал был не тонким по части душевных дел солдафоном, но и его, считавшего восторженность чиновничества вещью органической и полезной, как-то необычно покорила такая вот рабская угодливость, оскорбительная и унижительная для природного достоинства человека. «Все – говно, – подумал он зло и печально, – все – говно... надо было *тогда* повернуть вместе с Власовым или пойти позже на путч... давно снес бы эту Лубянку ко всем хуям собачьим... бассейн и рыть не надо было бы... тут эти бляди чекистские... мясники... вырыли вглубь пару бассейнов... сволочь... а на месте того бассейна храм, понимаешь, Христа-Спасителя восстановим... все олимпийские материалы с ваших поганых деревень для восточногерманской про-

ституции бросим на это дело... там меня и отпуют по-человечески...»

Думал так маршал, возвращаясь к «опелю-адмиралу» и за ошейник удерживая обнаглевшего пса от бросания на мелкую сошку. Наблюдать за снятием с «польского мясника» нашего безумца он не стал, потому что затосковал от тревожной мыслишки насчет того, что вся эта катавасия должна будет иметь какие-то для него последствия... «Небось нащелкали фоток мерзавцы... падаль тыловая...»

Мой знакомый не оказал снимавшим его людям никакого сопротивления. Наоборот – давал им всякие советы по части обращения с тросом, замками и «спуска с вершины травмированного товарища». Он только судорожно вцепился в совершенно вымокший свиток. Чернильные письма на нем полностью размыло водой.

К счастью своему, он был отрешен от происходящего и находился в плену безумных видений и размышлений – находился, как удачно выразился один из соглядатаев, «В ПОЕЗДКЕ»...

Оставим его, потому что вскоре все было кончено. Толпа разошлась. На площади и в здании злодейского учреждения загорелся свет. Менты и типы в помятых костюмах, проклиная свою участь, принялись восстанавливать истоптанную-перетоптанную клумбу...

Маршал же благополучно доехал до дома. Он вышел из «опеля-адмирала» с новой тоскливой мыслью о том, что скоро ему уходить в «небесный запас», а «лайба» эта, взятая им еще в Берлине, все так же будет фукать шестью своими цилиндрами неизвестно под чьей задницей...

Задумавшись, он позабыл о собаке, которая шныряла уже по газонам перед фасадом дома и раздраженно задирала лапу у всех пограничных столбов своей собачьей империйки, захватнически орошенных какой-то пришлой тварью.

Вдруг Алкаш дико и утробно взвыл. Вой вырвался из него безо всякого предварительного настроя, как это бывает со зловредно и частенько воющими псами, генетически близкими к волчьим кругам. Вырвался с таким ужасом черт знает перед чем и почему, что маршал задрожал с головы до ног и в первый миг перетрухнул – не с ним ли уже произошло что-то такое давненько ожидаемое? Такое с ним не раз бывало на войне – ни жив ни мертв – во время внезапных бомбежек, и дело тут, замечу, вовсе не в отсутствии храбрости, а в общей, немыслимой оглушенности... Так вот – вой Алкаша оглушал во всех, кому довелось тогда его услышать, чувство жизни. Обыватель моментально высунулся из окон и высыпал на балконы. Многие же из гулявших в тот час с праздничным и откровенно пьяным видом по улице, и маршал в их числе, проследовали на газон, поближе к воющей собаке, поглядеть: чего это она вдруг взвыла как сирена?

Тут все и увидели, что собака стоит над чьим-то неподвижным телом, одетым в нательное белье давно устаревшего типа. Кое-кто заметил это тело еще раньше, но по благодушной привычке, свойственной подзабалдевшему обывателю, подумал, что ничего тут нет такого уж особенного – нажрался человек вусмерть и выскочил одурело прямо из кровати на чистый воздух... с кем не бывает?... одна живем...

Подошли поближе. Перед маршалом все расступились. Ноги, руки, часть заголившейся спины и затылок лежавшего тела были такими безжизненно белыми, какими бывают проросшие в полной темноте стебельки картофеля. И всем стало ясно – в трезвость всех от этого бросило, – что тело мертво.

А когда его перевернули с живота на спину и распрямили слегка, маршал сказал:

– Эмвэдэшный генерал. Вызвать милицию. Живо, – он снял фуражку и вновь вынужден был оттащить Алкаша за ошейник в сторону. Удивившись людской

тупости, но не вступая в спор с теми, кто допился уж до того, что счел возможным самовольное выпадение многолетнего паралитика из окна, он покандехал по-стариковски домой.

Вскоре приехала милиция. Затем «скорая». Покойника, на белье которого, к удивлению всех присутствовавших, не было ни кровиночки, увезли в морг.

Из-за всего из-за этого большая часть запасенного спиртного немедленно же была выпита теми, кто уже не мог успокоиться и до самой ночи строил в квартирах и во дворе разные невысказанные версии случившегося.

Всё, однако, было покрыто таинственным, весьма подозрительным мраком. Побывавшие в квартире покойного генерала то ли с тем, чтобы срочно забрать заложенные свои партбилеты, ордена и антисоветские сочинения, то ли для прямого безнаказанного грабежа, разумеется, предпочитали помалкивать или намеренно отводить предположительные разговоры в фантастические дали.

Высказывалась, в частности, романтическая мысль насчет свершившейся наконец-то мести тому, кто был, по рассказам освободившихся из Воркутлага большевиков-ленинцев, сущим зверем и лично, бывало, пристреливал у вахты отказников от работы.

Выживший же из ума старый большевик Влупинскис продолжал уверять и следователей и соседей по дому, что генерал двинулся на прогулку с собакой, а из окна выброшен его сын, если он, конечно, не изволил выброситься сам. Влупинскис был также озабочен «безусловно антисоветской, предолимпийской провокацией тех, кто не дремлет и заинтересован в дальнейшем нагнетании...»

После обследования газона и квартиры потерпевшего следователи были приглашены – это не укрылось от внимания толпившихся до дворе обывателей – в квартиру замгенпрокурора СССР по высшей мере. Туда же последовал через каких-то пять минут Гознак Иваныч.

Тут уж нетрудно было возникнуть нашему предположению о корыстных интересах Гознака Иваныча, а быть может, и о его причастности к преступлению, потому что в памяти нашей живо было происшествие с обгаживанием заправка Гознака Иваныча собачьим калом. Ясно было, что не тот он человек, чтобы оставить без движения такое неслыханное хулиганство, имея связи в самых высоких правительственных учреждениях.

Свидетелей преступления не было, кроме тех, как говорится, кто его непосредственно совершил, а стремление Гознака Иваныча получить освободившуюся квартиру для своих близких родственников могло ли само по себе являться серьезной уликой? Не могло. Но больно уж складно все сходилось.

А все так складно сходящееся – всегда есть часть неведомого нам, трагического либо комического сюжета жизни. Мне лично он до сих пор представляется в таком приблизительно виде.

Гознак Иваныч безусловно очумел от всего вместе взятого – от выпивки, непереносимой обиды, приструненной жажды возмездья, запашка собачьего дерьма, который в воображении его не перешибался даже душной вонью одеколona «Портос», и, конечно, навязчивых мыслишек о заветной квартире.

Я сам видел, как он похаживал по газону под окнами моего знакомого, слишком уж вдохновенно поглядывая вверх, а затем медленно опуская бычину голову вниз – как бы в мысленном прослеживании чьего-то желанного падения к своим ногам. Проследив за падением – чего именно, мне стало ясно позднее, если я опять-таки не ошибаюсь, – он долго смотрел себе под ноги изумленно-ошарашенным взглядом. Это бывает как с умными людьми, так и с полными тупицами, которым разыгравшееся воображение подкидывает картинку случившегося до того еще, как ему суждено было случиться в действительности...

Так вот – Гознак Иваныч очнулся наконец от всего предвосхищенного, отмахнулся от него, вздрогнув всем своим огромным крупом, вздохнул и слегка развел руками. Видимо, он – мысленно же – давал понять будущей жертве и правительству, что, к сожалению, никто теперь не сможет приостановить неумолимого хода событий, более того – он даже не подумает его останавливать, поскольку временно является исполняющим обязанности самого РОКА.

Если бы и я тогда мог хоть как-нибудь проникнуться этими вот «служебными» планами – ничего, возможно, не произошло бы, а генерал МВД помер бы, как говорится, своей смертью, хотя не помирал он так долго после удара как раз потому, что *своей смерти* у него, возможно, как бы вовсе и не было по причине ее случайной отлучки в неведомые нам измерения. ЕГО СМЕРТИ могло также показаться, что дело она свое проделала при ударе человека по мозгам весьма исправно, без брака, – так что вполне можно удаляться без дополнительной проверки проделанного и необходимых, в случае чего, добавочных ударов.. Но... если б да кабы...

Я тогда занят был своими делами, а может, спяну бессознательно смирился со всем неминуемым, которое бессознательно же воспринял, туповато наблюдая за гримасами Гознака Иваныча.

Ничего также не случилось бы, если бы придурковатый Влупинскис Август Ноябрыч – так он себя величал – не убедил общественность в том, что из дому вышел сам генерал-лейтенант МВД с собакой, в полной форме и при орденах. Это – еще одно лишнее доказательство, что всегда и во всем бывает как-нибудь виновата старобольшевистская сволочь...

Как же было Гознаку Иванычу не отдаться слепо жажде мести, совмещенной с тонкой квартирной грезой? Он и отдался. Времени для этого требовалось мало, а квартиру не надо было взламывать... Вошел... Огляделся... Взглянул с ненавистью на лицо дремавшие-

го генерала – мой знакомый, кстати, как две капли воды похож был на родителя, – счел его мертвецки окосевшим, что с ним раньше часто случалось, затем отыскал или не отыскал заложенные сыном хрущевские тексты и бесценную панагию, поднял бездыханное почти тело и вышвырнул его на газон, наверняка думая про себя: «Получай, падла, подлинно свободное падение тел в условиях развитого социализма... в гробу бы я видел и тебя и его, сука... мне Брежнев с Галиной никогда на голову не срали...»

Разумеется, так отрывочно он мыслил, уже сбегая вниз по лестнице, а может быть, вызвав лифт...

Нельзя было не подумать обо всем таком обороте дела, глядя на следователей, которых замгенпрокурора СССР по высшей мере провожал вместе с Гознаком Иванычем до спецмашины. Они кивали головами с полным знанием того, что им следует делать по ходу расследования, покачивались и были нагружены явно продуктовыми свертками.

Впоследствии так и оказалось. Следователи пришли к выводу, что генерала выбросил из окна мой знакомый. Его даже привозили в наш дом – к сожалению, я был в это время на службе – для проведения убедительного следственного эксперимента, который и должен был, по замыслу заинтересованных лиц, убедить общественность дома и органы в правильности официальной версии. Кроме того, эксперимент, после его проведения, доказательно и изящно, по мнению замгенпрокурора СССР, устанавливал зловещую связь между кровавым отцеубийством, провокационной манифестацией и первомайским глумлением над святынями наших органов.

Моего знакомого – он улыбался и пытался поздороваться с Влупинским – ввели в подъезд, подняли на лифте к опечатанной квартире и приблизили, подвязав предварительно к батарее отопления, к раскрытому окну.

Кстати, никому из понятых – а ими были замупра ЖЭК Стабов, бывший начполитупра ВВС, генерал-майор в отставке Епишевский и директор Сандунов Банько – даже не пришло в голову, что в следственном эксперименте участвует человек абсолютно неменяемый и несчастный, да к тому же потерявший последнего, хоть и неподвижного, но все же живого отца, к которому он был своеобразно привязан. Наоборот – эти люди, не имевшие, подобно австралопитекам, никаких представлений даже о советском праве, деловито обменивались репликами насчет того, что у нас тут не США и номерок с неменяемостью, адвокатской возней и равнодушием общественности к судьбе пострадавших чинов – не пройдет...

В общем, моего знакомого привязали к батарее и попросили припомнить порядок его действий в тот вечер, ход мыслей и приблизительное время выброса парализованного тела на улицу.

Внешне он был, по рассказам очевидцев, вполне нормален. Он улыбался, но отвечал на вопросы с некоторой раздражительностью и корректным высокомерием – то есть производил впечатление законченного садиста и циника, вынужденного делиться опытом со слюнявыми дилетантишками.

Следователи-то прекрасно знали, что за спектакль они устроили и для чего он понадобился кое-кому. А вот понятых не смутило, что на вопрос: «В каком часу все это произошло?» – мой знакомый ответил: «Время шло, как всегда, от причины к следствию». Относительно же хода мыслей он сказал гораздо проще: «Мыслил и существовал, как всегда. Следовательно, борясь с инакомыслием в одной отдельно взятой сверхдержаве».

До сих пор не могу понять, что происходило в его «поехавшем» мозгу, когда речь зашла «о порядке действий в тот вечер», и как может даже маньяк в точности соответствовать явным внушениям следователей.

Ему дали в руки, то есть вручили – как бы самому не «поехать», рассказывая обо всем об этом, – здоровенную, чёрт знает чем набитую куклу, вес которой – грамм в грамм – равен был весу трупа, и сказали: «Держите папу. Действуйте».

В протоколе было затем записано следующее: «С особым цинизмом заглянув в то место макета, где, по его представлениям, должна была находиться голова с лицом пострадавшего, Н-в зловеще улыбнулся и, не испытывая никаких внутренних сомнений, но намекая на непомерную тяжесть макета, подошел с ним к подоконнику. Эту часть следственного эксперимента пришлось произвести повторно, поскольку понятой Банько издал громкий, непредсказуемый возглас ужасного переживания. Н-в вновь охотно улыбнулся и с особо вызывающим цинизмом попросил понятых помочь ему совершить выброс. После гневной отповеди генерала Епишевского Н-в, симулируя растерянность, совершил его сам, после чего пытался скрыться из квартиры, но был задержан предупредительной привязью с дальнейшим вывихом правой ступни... На вопрос: «Выбрасывали ли вы из окна тело генерал-лейтенанта МВД Н-ва?» подследственный ответил положительно: «В СССР давно существует свободное падение тел, независимо от их веса, химического состава, национальности, вероисповедания и занимаемой должности». Присутствующими были сорваны все его попытки вести антисоветские разглагольствования относительно инакомыслия в нашей стране...»

Когда моего знакомого выводили из подъезда, кое-кто успел продемонстрировать свою ненависть к отцеубийце и антисоветчику, позировавшему туристам из США во время вражеской вылазки на Ф. Э. Дзержинского.

Больше всех неистовствовал председатель антисоциалистического комитета генерал Драгунский. Он орал с балкона:

– Антисемитов и сионистов – вон из Москвы в преддверии Олимпиады!

Так кончился следственный эксперимент...

Разумеется, задолго до него все случившееся уже было темой домовых, уличных и общемосковских слухов, а также разговорчиков в самой грандиозной из всех выстоянных лично мною очередиц у ПУПОПРИ-ПУПО* от населения.

После недельного почти запоя, вызванного праздниками и страстью побыстрее уничтожить нелепые запасы спиртного, посуды, как вы понимаете, скопилось у всех предостаточно. Кроме того, в нашем ПУПОПРИПУПО в такие вот послепраздничные, тоскливо-похмельные времена старались сдать сотни, а порой и тысячи различных бутылок «стеклярики» из Лужников. После первого в сезоне футбола и всех обстоятельств, с которых начат был этот рассказ, посуды на стадионе оказалось рекордное количество. Мафия «стекляриков» – разговор о ней отнял бы много времени – понаехала в своих машинах к нашему пункту. Стоять в этой очередици пришлось до и после обеда. Тогда-то и узнал я, что при обыске в квартире моего знакомого были обнаружены чьи-то паспорта и партбилеты. Все мы искренно сочувствовали людям, не успевшим вовремя выкупить опасных документов или забрать их, как это сделали некоторые шустрые везунчики, в тот самый удобный трагический момент. «Паспортов у нас сколько хошь получай, а с партбилетом дело обстоит похуже...» – сказал кто-то...

Разговоры о приключении моего знакомого на Лубянке велись сдержанно и позитивно, поскольку при всей нашей застарелой ненависти к злодейскому учреждению откровенные высказывания в его адрес и пылкое злорадство – пищи для него тогда хватало – могли приве-

* Пункт по приему пустой посуды.

сти к преждевременным задержаниям, потере очереди, а то и самой посуды.

Известно, что нигде не кишит сексотами так, как в послепраздничных очередях, когда многие с похмелью просто не выдерживают спертости молчаливого существования и начинают распоясываться с безумным бесстрашием. Вот тут-то сексоты, профессионально влившись в наши ряды, собирают объективнейшую информашку о настроениях обывателя. Но бывает и так, что, собрав, дергают кого-нибудь из бурно настроенных в отделение. Делается это для того, чтобы трепачи письменно подтвердили все сказанное в очереди, потому что были случаи, когда сексоты отваживались на очковтирательство – кто, собственно, в нашей Империи на него не отваживается? – занимаясь в рабочее время чёрт знает чем и личными делами, а затем, уже на досуге, лепя от фонаря разную антисоветчину и антиамериканщину. Сложности в таком очковтирательстве и опасности ошибиться почти не бывает, потому что правительству лучше, чем стукачам и сексотам, известно, что все антисоветское в устах обывателя – есть чистейшая правда, а все антиамериканское – внушенная и вбитая в головы правительственной прессой ложь...

Рассказываю я о сексотах потому лишь, что трагикомическая история моего знакомого – не единственная с самого начала тема этого повествования. С настроений народных мы его начали, на них мы его и закончим.

Я уж давно замечал, что обыватель – стоит ему только стать в государственной или имперской какой-нибудь ситуации умней, хитрей, душевней и благородней правительства, – автоматически, вернее говоря, чудесным образом превращается вдруг из забитого, неряшливо обросшего ложью, тупого перемалывателя газетной жвачки и мелко юродствующего советского человечка, определенно и вновь превращается обыватель в народный личностный организм, давая понять этим самым себе, а заодно и правительству, причем без

какого-либо позирования, что человеческое достоинство и трезвое чувство того, ЧТО К ЧЕМУ – есть, в сущности, не уничтожимые никакою властью таланты.

Приметить эти знаки вынужденного укрытия в себе понимания происходящего и происшедшего, равно как и чувств, связанных с пониманием того или иного события современной истории, можно было и во времена Венгерского восстания, и при наивной попытке чехов произвести пластическую операцию на жутком черепе своего социализма, с тем чтобы придать ему черты человеческого лица, и при зверской травле миротворцев с писателями, и при увязании бездарных наших внутренних политиков во внешних джунглях Африки, и при чисто фашистской оккупации земли афганцев, и при лицедейской пацифистской истерии, и, конечно, после постыдного уничтожения корейского самолета.

Как мы замечаем такие достойные мысли и чувства и как сами их при случае выражаем – тема особого, психологического разговора. Правительство, члены которого все же как-никак остаются людьми и, возможно, не чураются временами искренних и достойных самопризнаний – о межинтимных или близких к публичным признаниях не может быть и речи, – правительство прекрасно осведомлено о наших настроениях. С чего бы еще размножать ему тогда внутри Империи фантастическое количество ментов и сексотов, если обыватель настроен так, как живописует поганая наша пресса? Больше не с чего, скажу я вам. Больше не с чего...

Одним словом, обжегшись и попавшись на удочку слуха о *повышении*, большинство из нас, не сговариваясь друг с другом – вот что поразительно, – начали косвенным образом и не ставя самих себя под прямой удар сексотов, как бы распускать тревожные слухи, но на самом-то деле стали доводить до сведения правительства, что никаких с нами финансовых игр, после хамского такого разорения нас и подстроенного, можно

сказать, введения в многодневный запой, больше мы просто так не потерпим.

Вот, скажем, я топчусь в очереди и эдак ленивенько сообщаю, что кому-то кто-то где-то давеча говорил, что если повысят до Олимпиады цены на водяру, а продавать ее станут только после обеда, когда добрым людям следует уже вовсю пить, а не опохмеляться, то на трибунах всех стадионов кое-кто... пьют-то все... ни за что не будут болеть за НАШИХ... Кое-кто на все способен...

Не знаю уж, какова там у них в правительстве механика принятия важных решений, но не были ведь повышены цены перед Олимпийскими играми. Значит, дошел до правительства многократно повторенный среди обывателя слух?..

В преолимпийские, полные истерической суеты дни я и мои знакомые своими ушами слышали также совсем уж абсурдный бред насчет того, что в Черемушках изловили группу молодых парней, которые обзавелись на заводе холодным оружием и собирались в разгар Олимпиады выкрасть пару толстых восточногерманцев, метателей ядер и дисков – выкрасть и натуральным образом их съесть. Превратить в шашлыки – и съесть. Но если правительство перестанет, во-первых, отправлять молодых москвичей в Афганистан, не дав им посмотреть Олимпийские Игры, и если оно существенно улучшит снабжение Черемушек мясом, маслом, сыром и колбасой, то никто протестовать не станет до какого-нибудь иного... ИНОГО раза...

Результат – налицо. Москву завалили, во всяком случае перед самой Олимпиадой, первоклассными продуктами, а крайне непопулярная в народе мобилизация на постыдную бойню перенесена была в основном в провинцию...

Вот, собственно, почти все, что хотелось мне рассказать.

Отец моего знакомого был похоронен со всеми воинскими почестями на Ново-Девичьем кладбище, неподалеку от могилы Н. С. Хрущева.

В «Правде» поместили передовицу: ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ – СВЯТЫНЯ, а в «Московской правде» фельетон – ТОРГОВЦЫ ПАСПОРТАМИ. Несомненно, это было мощное, своевременное эхо результатов обыска в квартире моего знакомого. Как бы, интересно, называлась передовица «Красной звезды», если бы, не дай Бог, тетя Нюся не успела выкупить заложенного в гиблую минуту «ордена Победы»?..

Кстати, нашему маршалу не удалось уклониться от объяснений с органами насчет собаки, покусавшей кого-то там при исполнении служебных обязанностей, а также своего появления на площади Дзержинского, что вызвало нежелательную заминку при снятии провокатора с памятника.

Однако на вызов он отказался явиться и пригласил представителей органов к себе домой. Никому из сидевших на дворе так и не удалось заметить ни приехавших, ни зашедших в подъезд чекистов, словно они использовали для визитов к маршалу какие-то сверхконспиративные подземные или воздушные пути. Но то, что визитов было два, если не больше, было нам точно известно со слов тети Нюси. Во время этих визитов ей приходилось силком выволакивать Алкаша из дома, потому что благодаря феноменальному нюху и нервному потрясению он уже до конца своих дней на дух не мог выносить чекистов, в которых до мозга костей вьелся запахок злодейского учреждения. Маршал, побывавший некогда в застенках, тоже был памятьливым человеком, но собака, в отличие от него, побывав даже не в самой тюрьме, а всего лишь над тюрьмою, в красных сальвиях у палаческого подножья, вела себя по отношению к лубянскому запаху буйно и непримиримо. Этим же объясняются частые ее, вроде бы беспричинные наскоки на некоторых жильцов нашего дома.

С психикой ее все же что-то произошло. Во время прогулок Алкаш ложился на то место, где найден был выброшенный кем-то генерал, и никакою силой невозможно было заставить его сойти с места, пока он сам, горестно поскулив и покопав землю газона лапами – не попытка ли эксгумировать полюбившееся ему существо? – не плелся за тетей Нюсей или за маршалом. Непонятно почему, но вскоре он перестал реагировать на пьющих, а постепенно и сам втянулся в выпивку. Вполне возможно, он проникся любовью к маршалу, вызволившему его из чекистских лап в тот безумный даже для собачьей психики вечер. Проникнувшись же, решил пренебречь внушенными ему законами ненависти к спиртному из свойственного всем собакам – так же как, слава Богу, имеющимся еще на белом свете людям – чувства душевной благодарности спасителю. Тетя Нюся рассказывала близким ей во дворе людям, что больше всего Алкаш любит лакать подогретое пиво, в которое маршал собственноручно крошит говяжий фарш. Обожает также любую бормотуху. Пить же он начал по собственному желанию, но неизвестно по какой именно причине. Может быть – по причине высокого уподобления трагически выпивающим людям. Сначала маршал старался не потакать выявившейся вдруг собачьей страстишке, но пес поднимал такой вой и бесновался до тех пор, пока ему не наливали в миску пивка или «хирсы». Увод его из квартиры ни к чему не приводил – он бесновался еще больше и становился просто опасен.

Родственники маршала пробовали подлечить Алкаша у видного ученого – главного ветеринара Министерства Обороны СССР, но тот, говорят, только развел руками и сказал, что военная наркология бессильна справиться с запоем солдат, офицеров и генералов, которых никак нельзя усыпить в служебном порядке, а вот собаку-алкаша он может бесплатно усыпить в любую минуту. Маршал вроде бы ответил главному

ветеринару, что тот, как был коновалом, так и останется им навеки, но он, маршал, – хоть он и повинен в напрасной гибели десятков тысяч людей – скорее сам подохнет, чем даст всадить предательский шприц в тело друга и собутыльника.

Разговоры об Алкаше тетя Нюся обычно кончала одною и той же горестно-задумчивой фразой: «Жизнь кого хочешь сломает, солдатики, – даже самостоятельную собаку...»

Нехорошо и некрасиво, когда спиваются человек или животное, но, глядя на то, как внезапно постаревший Алкаш с аффективной твердостью переставляет четыре своих лапы и старается, подобно маршалу, ничем не выдать пьяненького состояния, – нельзя было не преисполниться мыслью о благородстве такого вот презрения к служебной натасканности и такой вот готовности принести в жертву другу здоровье и честь собачьей породы...

.....

Свидания с моим знакомым, на которое подталкивала меня не любовь к нему, а сердобольность нормального человека, конечно, не разрешили, хотя я вел переговоры об этом – частным, соседским образом – с самим замгенпрокурором СССР по высшей мере Скончаевым. Однако через странного санитаря до меня дошли из дурдома пара писем несчастного безумца. Я их цитировал ранее. В них он довольно связно излагал свои идеи и логику поведения.

Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Гознак Иваныч вскоре получил освободившуюся квартиру. Секретарша ЖЭКа проболталась однажды в очереди, что им приказали СВЕРХУ вычеркнуть фамилию моего знакомого из домовой книги, а в соответствующей графе указать: ВЫБЫЛ. Куда, как и насколько ВЫБЫЛ, если ВЫБЫЛ не навек – неизвестно, но объ-

явившемуся вдруг советскому новому поэту и бывшему председателю КГБ не случайно же, конечно, явились на ум служебно-лирические строки, вынесенные мною в эпиграф:

ЖИВУТ И ИСЧЕЗАЮТ ЧЕЛОВЕКИ

Безусловно, ему лучше, чем нам, было знать, если не как **ЖИВУТ**, то как **ИСЧЕЗАЮТ** – не только безумные, но и вполне нормальные люди.

1985. Вермонт

В № 52 «Континента» в посвящении к повести Юза Алешковского вместо «земных радостей» набрано «зеленых радостей». Приносим глубочайшие извинения автору и читателям.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis · Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 · Germany

Россия и действительность

Александр Зиновьев

НАУЧНАЯ КРИТИКА КОММУНИЗМА

(Статья вторая)

В статье «С чего начинать» («Континент» № 51, 1987) я писал о необходимости поднять оппозиционную критику коммунистического общества до уровня научной критики. В этой статье я намерен несколько подробнее пояснить основные черты этой формы критики.

* * *

Научная критика коммунистического общества есть такая критика, которая использует результаты научного исследования этого общества, если таковые уже имеются в наличии, и сама предпринимает научное исследование в меру своих возможностей и целей, если наука о коммунистическом обществе отсутствует совсем или находится в таком состоянии, что ее результаты не удовлетворяют интересы критики. Естественно, при описании такой критики надо исходить из описания научного подхода к феноменам коммунистического общества.

Слова «научный» и «вненаучный» («ненаучный») не являются синонимами слов соответственно «истина» и «заблуждение». Научный подход к общественным явлениям отличается от вненаучного целями, методами, результатами и использованием результатов. И в науке люди делают ошибки и впадают в заблуждения. Причем заблуждения в рамках науки бывают порою не менее нелепыми и чудовищными, чем вне ее. И вне науки люди высказывают истины. Например, утверждение о том, что горбачевское руководство намерено повысить эффективность работы советских предприятий, является

истинным, но не является научным, т. е. не является утверждением, полученным методами науки. Достаточно прочитать советские газеты, чтобы убедиться в его истинности. Но чтобы вычислить степень эффективности производства и установить, повысилась она или нет за какой-то период времени, нужны особые методы расчета, измерения и сравнения, которые вырабатываются в рамках науки. Причем эти методы могут быть изобретены так, что с их помощью будет получен ложный вывод. Научный подход к общественным явлениям сам по себе еще не гарантирует истину. Требуется еще усилия для того, чтобы изобрести надежные средства исследования, с помощью которых можно было бы получать истинные результаты.

Задача научного исследования общественных явлений состоит в том, чтобы обнаружить устойчивые закономерности, знание которых позволило бы найти объяснение каких-то наблюдаемых явлений и предвидеть какие-то явления в будущем. Именно каких-то, т. е. некоторых, а не всех. Наука не может объяснить и предвидеть все. Она ограничена в этом самими своими средствами. С помощью науки, например, невозможно объяснить, почему именно Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, и невозможно сегодня предсказать, кто персонально сменит его на этом посту и в какой именно день. Социальная наука вообще не принимает во внимание индивидуальные качества партийных чиновников и вообще отдельных людей и их объединений. Она принимает во внимание лишь некоторые общие и необходимые свойства исследуемых феноменов. Но зато благодаря этому она может объяснить скрытые причины и механизмы наблюдаемых конкретных явлений и высказывать надежные суждения относительно будущего. Например, лишь с помощью науки можно объяснить, почему советское общество имеет низкую (сравнительно со странами Запада) экономическую эффективность производства. С помощью науки можно предсказать, что никакое советское руководство не способно поднять экономическую эффективность производства до уровня передовых стран Запада. Более того, с помощью науки можно обосновать, что если бы вдруг все советские люди перестали пьянствовать, халтурить, обманывать, воровать, брать взятки и т. д., т. е. если бы они превратились в идеологических ангелов и стали бы образцово исполнять все указания и решения выс-

шего партийного руководства, то ситуация в стране изменилась бы скорее в худшую, а не в лучшую сторону. Советские партийные руководители способны обмануть общественное мнение Запада и свое население. Но они не способны обмануть объективные закономерности общественной жизни, которые открывает наука и на основе знания которых она строит свои предсказания.

Наука о коммунистическом обществе исходит не из сочинений классиков марксизма, никогда не живших в реальном коммунизме, не из сочинений идеологов и апологетов этого общества, не из партийных лозунгов, постановлений и программ, не из пожеланий врагов коммунизма и не из субъективных представлений о нем тех, для кого тема коммунизма является источником удовлетворения эгоистических интересов, а из эмпирически данной реальности этого общества. Имеется немало людей, которые полагают, будто советский социальный строй не есть настоящий коммунизм и даже не есть настоящий социализм. Сам Горбачев как-то жаловался на недостаток социализма в Советском Союзе. Но мы оставим эту словесную казуистику тем, кто стремится уклониться от реальных проблем путем манипуляций со словами. Научный анализ советского социального строя исходит из факта существования этого строя, независимо от того, кто и как называет его. Самое фундаментальное требование, предъявляемое к утверждениям опытной науки, это – соответствие исследуемому предмету, а не догмам, не предрассудкам, не предвзятому словоупотреблению. На этом пути вы с первых же шагов убеждаетесь в том, что в советском обществе реализованы принципы не только первой стадии коммунизма (социализма в марксистском смысле), но и высшей, т. е. полного коммунизма. Разумеется, это при том условии, что вы будете интерпретировать эти принципы в социологическом, а не в бытовом смысле. Например, принцип «Каждому по потребностям» в социологическом смысле означает удовлетворение не любых потребностей, а только таких, которые общество признает в качестве потребностей той или иной категории граждан. А в этом смысле полный коммунизм в Советском Союзе построен.

Наука об обществе сама по себе нейтральна. Когда марксисты говорят о «партийности» общественных наук, они смешивают зависимость истины от отношения людей к предмету

и зависимость отношения людей к истине от их положения в обществе. Например, утверждение, что в советском обществе имеет место иерархия социальных слоев населения с соответствующим ей экономическим неравенством, само по себе нейтрально. Но люди различно относятся к тому, о чем тут говорится. Для тех, кто находится на высших ступенях иерархии, это неравенство есть благо. Они заинтересованы в его сохранении, а значит, и в его сокрытии. Для тех же, кто находится на низших ступенях иерархии, это неравенство есть зло. Они заинтересованы в его разоблачении и ослаблении.

* *
*

Научная критика коммунизма использует науку, но сама по себе она еще не есть или уже не есть наука. Она есть особого рода идеологическое явление. Такое явление не ново в истории человечества. В свое время марксизм возник как научная критика капитализма. Он длительное время и оставался таковым, прежде чем превратился в антинаучную апологику реального коммунистического общества. Новым здесь является лишь то, что теперь объектом научной критики становится сам реализовавшийся коммунизм.

Далеко не всё, что может быть получено в профессиональной науке о коммунистическом обществе, должно войти в научную критику этого общества. Например, методы расчета числа начальников всякого рода вообще и партийных работников в частности нет надобности излагать в научной критике коммунизма. В этом нет надобности, поскольку огромное число начальников есть очевидный для всех факт. К тому же профессиональные методы расчета могут понять лишь немногие люди со специальным образованием. Достаточно объяснить, почему в коммунистическом обществе большое число начальников есть необходимое и неустранимое следствие самой организации масс людей и почему никакими постановлениями ЦК КПСС это число не сократить ниже определенного минимума. Или, например, бессмысленно включать в научную критику коммунизма сложнейшие методы вычисления коэффициентов стабильности системы. Достаточно пояснить, почему коммунистический социальный строй имеет

высокую степень стабильности и почему это имеет не только положительные, но и отрицательные последствия. Короче говоря, научная критика коммунизма должна выбрать из науки то, что существенно для понимания важнейших явлений жизни этого общества, и изложить сведения науки в такой форме, чтобы это было понятно людям без специальной подготовки в области социологии вообще и социологии коммунизма в частности. Само собой разумеется, при этом предполагается данным достаточно высокий общеобразовательный уровень тех, к кому адресуется критика.

Научная критика коммунизма акцентирует внимание не на случайных и преходящих недостатках жизни страны, которые в принципе могут быть устранены усилиями властей и граждан, а на таких свойствах общества, которые образуют его непреходящую сущность, которые суть проявления его объективных закономерностей, от которых не способна избавиться людей никакая власть. Задача научной критики коммунизма состоит в том, чтобы вскрыть причины непреходящих зол реальной жизни людей коммунистического общества в самих основаниях этого общества, а не в ошибках отдельных вождей и не в неблагоприятных исторических условиях. В качестве следствия и побочного результата решения этой задачи научная критика коммунизма должна показать, что в Советском Союзе нашли практическое воплощение все самые фундаментальные идеи марксизма-ленинизма, что это и есть тот рай земной, о котором мечтали все коммунисты прошлого, что воплощение в жизнь идей марксизма-ленинизма с необходимостью порождает новые формы экономического и социального неравенства, эксплуатации одних людей другими, насилия одних людей над другими и прочие «язвы» теперь уже нового общественного устройства, что никакое иное коммунистическое общество без этих явлений в принципе невозможно. Иначе говоря, задача научной критики коммунизма состоит в том, чтобы сказать людям правду об этом обществе, не прикрывая ее и не смягчая ее никакими иллюзиями относительно будущего, – развеять миф о коммунизме как о земном рае настолько убедительно, чтобы официальная идеология оказалась уже не в состоянии обратить эту категорию граждан в свою веру.

Совершенно очевидно, что такая критика коммунистического общества совершенно неприемлема для его господст-

вующих и привилегированных слоев, системы власти и официальной (государственной) идеологии. Власти могут допустить любую форму критики, включая даже заведомую ложь, но только не такую критику. Они прилагали и будут прилагать впредь титанические усилия к тому, чтобы не допустить ее появления и чтобы задушить ее в том случае, если ей удастся как-то прорваться к жизни. И до тех пор, пока коммунистический социальный строй существует, его научная критика будет рассматриваться в таком обществе как тягчайшее преступление. Так что тем людям, которые встанут на этот путь, не стоит рассчитывать на такое «милостивое» отношение со стороны властей, какое сейчас можно наблюдать в Советском Союзе в отношении некоторых диссидентов и взбунтовавшихся деятелей культуры. В этом отношении судьба критиков коммунизма с позиций науки гораздо более драматична, чем судьба такого рода критиков капитализма. Сочинения Маркса были напечатаны и распространялись в капиталистическом обществе, которое он подвергал жесточайшей критике. Нечто аналогичное в отношении научной критики коммунизма в рамках коммунистического общества исключено. Капиталистическое общество при всех его недостатках есть общество демократическое, допускающее самокритику в форме научной критики. Коммунистическое общество при всех его достоинствах есть общество тоталитарное, в принципе исключающее научную форму самокритики.

Но научная критика коммунистического общества не может рассчитывать на массовый успех на Западе и на благосклонность западных средств массовой информации. В чем причины такого странного, казалось бы, отношения к критике советского общества в странах, которые в советском обществе считаются историческим врагом коммунистического социального строя? Среди множества причин этого явления я здесь назову одну, о которой обычно умалчивают, говоря об интеллектуальной ситуации на Западе. Дело в том, что в странах Запада имеют место свои социальные контрасты, свое экономическое и социальное неравенство, свои несправедливости. И в силу внутренних социальных отношений здесь поощряется лишь такая критика советского общества, которая не затрагивает по ассоциации социальные основы стран Запада. Здесь успех имеет только такая критика советского общества, которая привлекает внимание к явлениям, не имею-

щим места на Западе, – к массовым репрессиям, к преследованию инакомыслящих, к нарушению прав человека, к отсутствию демократических свобод, к запретам на выезд из страны и т. п. Критика же, которая углубляется до анализа закономерностей социального строя коммунистической страны, невольно вызывает в сознании аналогии с обществом западным и выглядит как посягательство на основы этого общества, критика реального коммунизма выглядит здесь как критика западного общества с позиций коммунизма. Западные люди воспитываются и живут в такой культурно-идеологической среде, что серьезный социологический анализ своего общества вызывает у них скуку или кажется прокоммунистической пропагандой. Они не способны почувствовать принципиальное различие между критикой реального коммунистического общества и коммунистической идеологией, имеющей целью установление коммунистического социального строя. Если западные люди усматривают сходство каких-то явлений советской жизни со своими, они уже не принимают их всерьез или считают их как бы несуществующими на том основании, что это имеется и в странах Запада. Самая важная истина для советских людей, критически настроенных по отношению к своему образу жизни, заключается в том, что коммунистический социальный строй не устраняет, а лишь меняет формы неравенства, эксплуатации и насилия. Эта истина западным людям кажется совершенно несущественной и даже нелепой. Запад достиг в рамках своих форм неравенства, эксплуатации и насилия такого высокого уровня жизни и демократии, что критика неравенства, эксплуатации и насилия отошла на задний план или стала элементом идеологии лишь незначительной части общества, да и то в чудовищно извращенной форме. Реализация идей коммунизма в Советском Союзе напугала своими крайними проявлениями массы западных людей до такой степени, что равнодушие и нарочитое безразличие к научной критике реальности коммунизма стало своего рода слепой самозащитной реакцией от него. Нежелание знать реальность и приложить умственные усилия к ее пониманию воспринимается как средство предотвратить приход этой реальности на Запад. И нет ничего удивительного в том, что в качестве величайших идей, рожденных на «Востоке», на Западе превозносятся банальные и примитивные идеи, навязанные некоторым деятелям оппозиции и некоторым слоям со-

ветского общества самим Западом. Запад воспринимает свою собственную мелочность, отраженную в кривой поверхности советского общества, как нечто грандиозное.

К сказанному присоединяется еще одно обстоятельство, о котором два-три десятилетия назад и помыслить было невозможно. Привилегированные слои советского общества вступили в негласный сговор с аналогичными слоями Запада, хотя советская пропаганда и раздувает всячески непримиримость социальных систем и идеологии Запада и стран советского блока. Привилегированные слои населения стран Запада стали гораздо ближе аналогичным слоям советского общества, чем свои собственные подначальные, непривилегированные, низшие слои населения. Запад теперь с гораздо большим восторгом принимает речи советских партийных чиновников и их холуев, критикующих отдельные недостатки советского общества, давно подвергнутые критике советскими оппозиционерами, чем серьезную критику советского общества, исходящую из кругов оппозиции. Запад предпочитает демагогические обещания советских партийных вождей предупреждениям критиков советского общества, основанным на анализе объективной реальности этого общества, его закономерностей и тенденций. Грандиозные усилия десятков и сотен критиков советского общества раскрыть глаза Западу на это общество и развеять иллюзии пошли фактически впустую. И этот урок следует принимать во внимание будущим критикам советского общества. Научная критика реального коммунизма должна быть направлена прежде всего внутрь коммунистической страны. Лишь там она может встретить полное понимание, да и то со стороны лишь незначительной части населения. Она должна служить целям самопознания общества. А процесс самопознания в такого рода случаях начинается всегда с одиночек.

* * *

Процесс самопознания советского общества на пути его научной критики с первых же шагов наталкивается на такое мощное препятствие, каким является советская государственная идеология. Потому научная критика коммунизма должна

с необходимостью стать критикой советской идеологии, т. е. марксизма-ленинизма. Последний является самым серьезным конкурентом научной критики коммунизма в борьбе за умы людей.

Критика марксизма-ленинизма не есть дело новое в истории. Наоборот, она так же стара, как и сами марксизм и ленинизм. В последние десятилетия активная критика такого рода вроде бы отошла на задний план, уступив место пренебрежительному отношению к марксизму-ленинизму, в особенности – со стороны огромного числа современных «мыслителей», никогда всерьез не изучавших марксизм-ленинизм и имеющих о нем весьма смутное и поверхностное, зачастую – карикатурное и нелепое представление. Однако пренебрежение к марксизму-ленинизму и игнорирование его нисколько не колеблют тот факт, что он был и до сих пор остается самым значительным идеологическим феноменом нашего века. С ним так или иначе придется считаться.

Основная слабость прошлой и современной критики марксизма-ленинизма на Западе заключается в том, что она не была и не является критикой, исходящей из научного исследования фактически существующего коммунистического общества, в котором марксизм-ленинизм стал государственной идеологией. Марксизм-ленинизм как государственная идеология советского общества есть обобщающее и суммарное учение о мире, о человеческом обществе, о человеке, о познании мира человеком, об истории человечества, о будущем, короче говоря – обо всем, что в данных условиях и в данной человеческой общности считается важным для осознания человеком самого себя и своего природного и социального окружения. Научная критика его должна заключаться не просто в критике его отдельных понятий и утверждений, а в создании более совершенного учения о тех же явлениях.

Хотя научная критика коммунизма имеет целью создание определенной картины коммунистического общества и его перспектив, критика советской идеологии (марксизма-ленинизма) должна коснуться всех ее разделов, поскольку они между собою связаны в нечто целое. Например, чтобы показать научную несостоятельность самого фундаментального принципа марксизма в подходе к человеческому обществу – принципа исторического материализма – надо критически проанализировать общефилософский принцип марксистского

материализма, поскольку в марксизме первый изображается как применение второго к пониманию человеческого общества. Надо сказать, что западная критика философии марксизма-ленинизма, будучи явлением интересным во многих отношениях, почти ничего не дает для целей той научной критики советской идеологии, о которой здесь идет речь. Тут фактически предстоит начинать все с нуля. Тут предстоит такое радикальное изменение подхода ко всем важнейшим проблемам философии, какое в принципе неприемлемо для западного способа мышления.

* *
*

В среде общественных явлений советская идеология ощущает себя полным монополистом. Она убеждена в том, что она и только она одна дает подлинно научное понимание общества. И она имеет для этого серьезные основания. Не только сами советские идеологи, но даже очень многие враги и критики советского общества убеждены в том, что это общество явилось воплощением в жизнь предначертаний марксизма-ленинизма, что оно было построено в соответствии с ним, как бы по марксистско-ленинскому плану или проекту. Так что советская идеология убеждена в том, что ее истинность подтверждена всем ходом истории.

В идеологии не все есть ложь. Идеология вообще не есть ложь и ошибка. Она есть определенная форма общественного сознания, характеризуемая в целом и главным образом не понятиями истины и лжи, а понятиями эффективности и неэффективности. В идеологическом учении об обществе многое само по себе имеет смысл. И если умело истолковывать это и привлекать к этому внимание, то оно будет получать все новые и новые подтверждения. Даже для среднеквалифицированного идеолога ничего не стоит представить исторический процесс в наше время как убедительнейшее подтверждение ленинского учения об империализме как высшей стадии капитализма и о современной эпохе. В самом деле, борьба двух систем есть факт, а не вымысел идеологов. Распространение коммунизма по планете тоже факт, а не вымысел. Коммуни-

стические тенденции в самих западных странах тоже дают о себе знать, несмотря ни на что.

Далее, то, что делалось и делается вне марксизма в отношении общества, с точки зрения уровня и широты понимания, нисколько не превосходит то, что сделано в марксизме. В современной науке об общественных явлениях вздора не меньше, чем в идеологии, а узость и мелочность результатов не тянет на уровень общей социологической теории. В современной науке об обществе нет даже такой общей социологической теории для общества такого типа, какой имеет место на Западе. Возможность таких теорий вообще оспаривается или даже совсем отрицается. А марксистско-ленинское социальное учение, хотя и не является научной теорией в строгом смысле этого слова, все же претендует на объяснение исторического процесса в целом и на объяснение основных участников этого процесса – капиталистической и коммунистической систем. Оно претендует на эпохальные прогнозы. И какими бы уязвимыми эти прогнозы ни были с научной точки зрения, они делают свое историческое дело: задача идеологических прогнозов – не беспристрастное научное предсказание, а постановка исторической цели и организация масс на ее достижение. Поскольку в этой исторической деятельности многих миллионов людей всегда что-то удается, результаты процесса постфактум всегда можно истолковать так, будто они были предсказаны заранее. Для идеологии важно не то, сбылись ее предсказания на самом деле или нет, а то, что массы людей воспринимают любой ход истории как ее подтверждение. Когда имеешь дело с массовыми процессами, видимость и поверхностность событий до поры до времени бывает важнее, чем их сущность и глубокие механизмы.

Наконец, советская идеология до сих пор остается вне конкуренции в понимании своего собственного общества с точки зрения влияния на умы и чувства масс населения. Наука не может конкурировать с идеологией в плане легкости усвоения тех или иных понятий, утверждений и идей. Западные советологи и советские критики советского общества много сделали для разрушения райского мифа о коммунистическом типе общественного устройства и для дискредитации Советского Союза. Они добились каких-то успехов лишь благодаря тому, что сами действовали идеологически-пропагандистскими методами. Но, с точки зрения понимания сущности

советского общества, его скрытых механизмов и закономерностей, они все равно не превзошли советскую идеологию. Более того, они ударились в другую крайность и отделились от истины дальше, чем советская апологетика. Советская идеология есть откровенная и последовательная апологетика коммунистического общества. И было бы странно, если бы она не была такой. Но в данных исторических условиях апологетика коммунизма пока еще отражает существенные стороны этого общества, что хоть как-то ограничивает тенденцию к фальсификации, тогда как ничем не сдерживаемая критика так или иначе скатывается к чистому негативизму, переходящему в пропагандистски-идеологический антисоветский и антикоммунистический абсурд.

* *
*

Рассмотрим несколько пунктов марксистского социального учения с целью пояснения сказанного выше. Прежде всего рассмотрим самую фундаментальную его идею – материалистическое понимание истории. Это понимание рассматривается как распространение общего философского материализма на человеческое общество. Если строго придерживаться именно философского материализма, то самое большее, что должно было дать его распространение на сферу человеческой истории, это рассмотрение человеческого общества и истории человечества как объективной реальности, существующей вне сознания теоретиков и независимо от него, и рассмотрение сочинений этих теоретиков как отражения этой реальности. Но такой материалистический подход был обычным делом почти для всех, кто думал на темы истории и человеческого общества. Это было всеобщей банальностью. Исторический марксизм сделал нечто большее, чем признание этой банальности: он явления самой человеческой истории разделил на материальные и идеальные, что равным счетом ничего общего не имеет с философским материализмом.

В основе марксистской социальной доктрины лежит понятие способа производства. В этом, собственно говоря, и усматривается материализм: способ производства считается ба-

зисом общества, на котором возвышаются все «надстройки», включая государственные учреждения. При этом игнорируется начисто тот факт, что ничего идеального в государственных учреждениях (армия, полиция, тюрьмы и т. д.) нет и в способе производства «идеальных» явлений не меньше, чем в надстроечных. В способе производства различаются производительные силы (средства производства и приводящие их в действие люди) и производственные отношения (отношения между людьми в процессе производства). Примат при этом отдается первым. А между тем, были и есть общества, в понимании которых этот принцип просто ошибочен фактически. В коммунистическом обществе скорее имеет место принцип зависимости производительных сил от социальных отношений, а не наоборот. Во всяком случае, эмпирические данные таковы, что все существенные признаки коммунистической организации общества воспроизводятся на любой производственной основе, в любой отрасли, в любом районе при наличии условий, ничего общего не имеющих с разговорами о материальном базисе общества.

Главным признаком производственных отношений считается отношение собственности, конкретнее говоря – чьей собственностью являются средства производства. Главным признаком производственных отношений капитализма, например, является то, что средства производства суть частная собственность капиталистов, а главным признаком производственных отношений коммунизма является общественная собственность на средства производства. Почему, спрашивается, отношения собственности, а не какие-то иные? Почему не отношения между рабочими на заводах, не отношения начальства и рабочих, не отношения между руководителями и подчиненными, не отношения между различными частными собственниками? А отношения между людьми в учреждениях, занятых в сфере управления, культуры, спорта и т. п., имеются среди них производственные отношения в марксистском понимании вообще или нет? Какие именно? Эти вопросы можно умножить. Но не ищите разумного ответа в марксистском учении об обществе. Собственность как главный признак производственных отношений здесь выделена с определенной идеологической целью: дать «обоснование» тому, что частная собственность есть источник всех зол, что достаточно уничто-

жить ее, как наступит рай земной. Кстати сказать, не марксизм избрал эту идею. Вспомните Томаса Мора. Вспомните хотя бы Прудона.

Но отношения собственности суть совсем иной аспект рассмотрения общества, чем аспект производства материальных благ. Собственность есть отношение правовое, и согласно самим же марксистским критериям должно быть отнесено к явлениям «надстройки», а не «базиса» общества. По самому определению понятий, вещь по праву (а не по обычаю или в силу захвата) есть собственность индивида или группы индивидов, если и только если имеется другой индивид или группа индивидов в рамках данной человеческой общности, собственностью которого (или которых) эта вещь не является. Если общество в целом владеет средствами производства, то понятие собственности просто неприменимо к этому случаю. Собственность есть лишь частный случай владения. В коммунистическом обществе имеют место определенные формы владения. А отношения собственности здесь играют крайне ничтожную роль. Даже феодальные отношения лишь отчасти подпадают под понятие собственности. Отношение рабства не всегда есть отношение собственности. Тем более, с понятием собственности не поймешь разнообразные формы обществ, которые марксизм свалил в одну кучу под одним именем первобытно-общинного строя.

Производственные отношения в марксизме сводятся к отношениям собственности. Собственность бывает частная и общественная. С частной собственностью связаны классы и классовая борьба. Уничтожим частную собственность – уничтожим классы. Построим бесклассовое общество. Вроде бы все ясно. Но что же такое классы? Теоретически любые предметы по сходным признакам можно «объединить» в классы. Но идеологию это, конечно, не устраивает. Если, например, мужчины образуют класс мужчин, а женщины – класс женщин, то построить бесклассовое общество немыслимо. А тут нужно именно бесклассовое общество. Так что тут в качестве классов признаются только определенные явления: рабы и рабовладельцы, помещики и крепостные, капиталисты и наемные рабочие. Исключение делается для крестьян. Они – класс. Для интеллигенции никакой пощады: прослойка, не более. Конечно, если классы понимать так, то построить общество, в котором не будет классов, возможно. Оно факти-

чески вот-вот будет в Советском Союзе: крестьян скоро превратят в рабочих, работающих за зарплату.

Но поставим вопрос так: имеется ли в коммунистическом обществе разделение людей по каким-то рубрикам (категориям, признакам), имеющее существенное значение для существования общества и образующее нечто аналогичное тому, против чего было направлено марксистское учение и что должно быть уничтожено? Имеется ли здесь разделение на привилегированных и непривилегированных, на богатых и бедных, на власть имущих и безвластных, на свободных и несвободных? Что важнее – несущественные различия рабочих и крестьян или весьма ощутимые отношения начальства и подчиненных? Советские партийные и государственные чиновники, начиная с некоторого уровня, живут куда богаче, чем многие миллионеры. Они – слуги народа? Но различия все равно остаются. Суть дела не изменится, если в одном случае вы употребите слово «эксплуататор», а в другом – «слуга народа». А суть дела в том, что, уничтожив одни социальные категории («классы» в марксистском понимании), вы освобождаете арену истории для других. Общество снова с необходимостью раскалывается на какие-то категории людей, между которыми развивается неравенство, вражда, отношения насилия.

Согласно марксистскому учению, общественные отношения делятся на материальные (производственные отношения, экономическая структура общества) и идеологические (государство и право, такие формы общественного сознания, как мораль, религия, философия, искусство, а также политическая и правовая форма сознания). Идеологические отношения суть лишь надстройка над материальными. Каждому базису соответствует своя надстройка. Со сменой базиса меняется и надстройка. По Марксу – сбрасывается вся надстройка и заменяется новой. Советские идеологи несколько ослабили эту очевидную нелепость и стали говорить о ликвидации реакционных элементов старой надстройки.

Теперь припомним, что нужно для того, чтобы какое-то явление считать материальным. Это – быть вне сознания людей, производить в нас ощущения (материя – объективная реальность, данная нам в ощущениях). А что такое государство? Тюрьмы, армия, полиция, милиция, чиновничий аппарат – что это? Только плод воображения или нечто, существую-

щее вовне и производящее весьма заметные ощущения в нас? А отношения людей в этих учреждениях, что это такое? Разве мы их не воспринимаем как нечто, происходящее вне нас? И чем с этой точки зрения производственные отношения материальнее? Если это отношения собственности, то они в области права, т. е. в надстройке. А если это экономические отношения, то они лишь варианты зримых отношений людей, наряду с такими же зримыми политическими и прочими. Принцип материализма тут совсем ни при чем. Остается лишь одно: экономические отношения определяют собою все прочие, являются базисом для них. Но что такое экономические отношения? Получается типичная тавтология: это такие отношения, которые определяют собою все отношения данного общества. Но тогда вопрос о том, какие именно отношения играют такую роль, остается открытым. И никакого основополагающего принципа не остается.

Обратимся к надстройке. Согласно марксистскому тезису, каждое общество имеет свой тип надстройки, соответствующий своему типу базиса. Например, свое государство, свое право, своя мораль, своя религия. Здесь смешивается опять-таки целый комплекс проблем. Сам факт объединения общим понятием «надстройка» таких разнородных явлений, как государство, право, мораль, искусство, политика, причем как организаций и действий людей, так и идей, учений, теорий, сознания, – уже достаточно красноречиво говорит о том, что здесь имеет место схематизация квазинаучного сорта. А потом начинается свистопляска с отмиранием и изменением разных элементов надстройки как в бесконечных апологетических текстах на эту тему, так и в самой реальной жизни коммунистического общества. Возьмем, например, государство. Согласно идеологии, государство вообще возникло вместе с классами и отомрет вместе с ними. А оно вот не отмирает. Учение штопают: отомрет через усиление! Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить, будто многомиллионная армия коммунистической власти, захватив все ключевые позиции и блага жизни, отомрет по доброй воле. А вот с правом как раз наоборот, хотя кричат о правах больше всех. Право как социальная форма защиты человека от общества и власти (т. е. право в собственном смысле слова) в коммунистическом обществе действительно отмерло, и мы тут имеем класси-

ческий пример неправового общества. И религия разрушена, низведена до убожески холуйского уровня.

Основная задача марксистской теории общества в ее применении к реальному коммунистическому обществу состоит в том, чтобы дезориентировать людей в понимании сущности этого общества, его реальной социальной структуры, его объективных закономерностей и тенденций. Чтобы понять коммунистическое общество научно, нужно первым делом отказаться от марксистской ориентации внимания. Бесспорно то, что производство средств существования (труд) образует основу существования общества. Но это не значит, что рассмотрение этого факта есть исходный пункт и ключ к пониманию любого типа общества. Для понимания же реального коммунистического общества надо поступить как раз наоборот: принимая то отношение человеческого общества к природе, в котором производятся средства существования, как данный факт и как условие существования человеческого общества, мы должны именно от них отвлечься в первую очередь, чтобы выделить реальный источник, из которого коммунистические социальные отношения вырастают. А вырастают они не из факта трудовых отношений людей к природе, а из факта скопления большого числа людей для совместной жизни и деятельности. Мы и должны выделить в качестве предмета внимания отношения людей в коллективах, имеющие место независимо от того, какой деятельностью заняты эти коллективы. Не вид деятельности коллектива и не деятельность как таковая образует здесь основу для этих отношений, определяет их собою, а наоборот – сами эти отношения являются самой глубокой основой для всех прочих общественных явлений.

* * *

Марксизм-ленинизм со своим учением о полном коммунизме претендует на то, что он дает научное предвидение будущего коммунистического общества. Возможно ли на самом деле такое общество, какое обещает советская идеология? Кое-что из ее обещаний возможно, а кое-что невозможно в принципе. Например, идеология утверждает, что при комму-

низме исчезнут классовые различия между рабочими и крестьянами, колхозно-кооперативная форма собственности и также «существенные» различия между городом и деревней. И это предсказание наверняка сбудется. Упомянутые различия уже сейчас не являются существенными для советского общества. Но зато обещание социально-экономического равенства есть нелепость. Существенными для коммунистического общества являются отношения начальствования и подчинения, имеющие силу во всех сферах жизни общества, в том числе и в деревне. Вот это различие и обусловленное им неравенство людей не исчезнет никогда и ни при каких обстоятельствах. А начальников в этом обществе гораздо больше, чем в капиталистическом обществе. И положение их во многом лучше, чем положение начальников и богатых людей в капиталистическом обществе. И властью над нижестоящими они обладают большей, порою – более мощной, чем господство над людьми в том же «прогнившем» капитализме. Вопрос об исполнении других обещаний зависит от интерпретации слов и утверждений идеологии. Я уже приводил пример для этого: вопрос о реализации принципа «по потребности» зависит от того, как идеологи истолкуют это выражение. Аналогично отмирание государства можно истолковать различно, в том числе так, что любое укрепление государства можно будет изобразить как отмирание.

Если даже допустить, что в данное общество как из рога изобилия откуда-то льются все материальные блага и остается лишь распределять их среди граждан, руководствуясь принципом «по потребностям», то все равно потребовалось бы создать такую социальную структуру из людей и такую систему органов, ведающих распределением благ на деле, которые воспроизвели бы все то, что общество сейчас имеет в условиях дефицита этих благ. Более того, жизнь в таком обществе изобилия оказалась бы гораздо более кошмарной, чем сейчас. Коммунистическому обществу именно изобилие противопоказано. Изобилие способствует росту неравенства и обострению борьбы за жизненные блага. Коммунизм гораздо лучше и увереннее себя чувствует в условиях дефицита и трудностей. Он как будто специально приспособлен для организации жизни в скверных условиях и для преодоления каких-либо трудностей. Именно стремление к изобилию послужит одной из причин

внутреннего ослабления и последующей гибели коммунизма в будущем.

Каковы на самом деле дальнейшие перспективы эволюции коммунистического общества? Чтобы ответить на этот вопрос, надо исходить из научного понимания эмпирически данной реальности, а не из фантазий людей, никогда не живших внутри этой реальности. Коммунистическое общество в основных чертах сложилось и достигло зрелости. Его будущее может быть лишь развитием тех тенденций, которые уже очевидны сейчас. Нельзя предсказать будущее конкретных фактов и деталей. Но будущее целого типа общества, если отвлечься от внешних явлений и случайностей, заложено в его настоящем. Будущее целого типа общества есть лишь реализация его современных объективных тенденций. Мне более вероятной представляется такая перспектива.

Все население страны будет прочно закреплено за определенными территориями, а на них – за определенными учреждениями. Перемещения будут производиться только с разрешения и по воле руководящих инстанций. Произойдет строгое расслоение населения, и принадлежность к слою станет наследственной. Законсервируется бюрократическая иерархия. Определенная часть населения будет регулярно изыматься в армию рабов для особого рода неприятных и вредных работ и для жизненно непригодных районов. Будет строго регламентировано не только рабочее, но и свободное время индивидов. Будут строго регламентированы все средства потребления. Будет в божественный ранг возведена вся система чиновничества. Главе партии будут воздаваться божеские почести. Вся творческая деятельность будет деперсонифицирована. Продукты творчества будут обозначаться именами директоров, председателей, заведующих учреждениями и партийных руководителей. Никакой оппозиции. Полное однообразие мыслей, желаний, целей, действий. Будет создана особая система развлечений для разных слоев населения. Бездуховное развлекательное искусство. Все достижения науки и техники будут использоваться привилегированными слоями в своих интересах. Другим слоям будут перепадать лишь крохи. Разница в образе жизни между господствующими слоями и прочими будет подобна разнице в образе жизни между жителями современной животноводческой фермы и животными, которых они разводят. О «трудящихся» будут

заботиться на тех же основаниях, на каких заботятся о животных. Идеологическое засилие будет чудовищным. Ложь, насилие над личностью, подлость будут пронизывать все звенья общества. Регулярно будут вызревать «временные трудности», т. е. специфически коммунистические кризисы, выходом из которых будут массовые репрессии, авантюры, войны. Население будет обречено на мелочную борьбу за существование до такой степени, что будет исключена всякая возможность для него обдумать свое положение. Карательные органы будут пресекать малейшие намеки на неповиновение и критику.

* *
*

Научная критика коммунистического общества и предпринимаемое в ее интересах научное исследование этого общества вряд ли могут принести славу, уважение и благополучие тем, кто посвятит этому жизнь. Но есть ценности более высокого порядка, чем житейский успех, и среди них в первую очередь можно назвать осознание качества прожитой жизни и удовлетворение от сделанного дела. Я глубоко убежден в том, что Россия, столь щедрая на человеческие жертвы, не останется равнодушной и в этом отношении.

Прежде всего, в рамках официальной советской науки и идеологии возможно появление отдельных личностей, которые из интереса к научным открытиям могут сделать делом своей жизни объективно беспощадный анализ коммунистического социального строя и порождаемых им явлений. Естественно, они будут стремиться предать результаты своих исследований гласности. Опыт «самиздата» показал, что с современными техническими средствами даже в условиях Советского Союза возможно довольно быстрое и широкое распространение идей. Главное – было бы что распространять. Если результаты исследований будут достаточно серьезными и интересными, то никакие карательные меры не будут в состоянии остановить их распространение.

Другой возможный путь, который в перспективе должен соединиться с первым, это – образование нелегальных исследовательских групп в различных районах страны, имеющих

целью сбор эмпирических сведений о ситуации в тех районах, где живут члены этих групп. Это могут быть сведения, например, об имущественном положении различных слоев населения, в особенности – привилегированных и высокопоставленных лиц, о неравенстве в системе образования (привилегированные учебные заведения, привилегии для детей высокопоставленных лиц и т. п.), о распределении материальных и культурных ценностей, о преступности и других аспектах реальной жизни людей. Начав заниматься такой исследовательской деятельностью, энтузиасты-исследователи скоро ощутят потребность в специальной социологической методике, с которой можно познакомиться по многочисленным книгам на эту тему. Но достаточно сообразительные молодые люди скоро могут изобрести и свои методы обработки собираемых сведений. Ведь речь идет не об академических отчетах и диссертациях, а об оппозиционной критике, где научные требования упрощаются и ослабляются и где нет надобности в научном педантизме и рутине. Такого рода группы могут вступать в контакты и обмениваться информацией. Естественно, члены таких групп будут стремиться к тому, чтобы сделать добытые ими результаты более или менее широко известными.

Профессиональные социологи, вставшие на путь научной критики своего общества, могут выработать для таких нелегальных исследовательских групп специальные инструкции относительно того, какого рода сведения нужно собирать и как это делать. Проблема эта не такая уж простая, как это кажется на первый взгляд. Все конкретные данные, характеризующие коммунистическое общество по существу, являются фактически секретными, и нужно проявить немало таланта и смекалки, чтобы по каким-то доступным признакам проникнуть в скрытые механизмы социального организма. Например, не так-то легко получить сведения о том, во что обходится обществу содержание аппарата власти и управления, каковы соотношения в распределении жизненных благ в различных слоях населения, каковы личные связи внутри привилегированных слоев, как конкретно совершаются карьеры и т. д. Заранее можно предвидеть, что, как только дело коснется личного положения представителей господствующих и привилегированных слоев, сбор сведений о них будет расцениваться и караться как преступление, гораздо более тяжкое, чем попытки выведать военные секреты.

Такого рода исследовательская работа имеет основную целью не вклад в некую беспристрастную науку, а своего рода тренировку людей на понимание своего общества и выработку оппозиционной идеологии, которая могла бы стать преемственной. Проблема состоит в том, найдутся ли такие энтузиасты-исследователи и найдутся ли у них сочувствующие, подражатели и продолжатели. Я убежден в том, что найдутся. Общество всеобщего благополучия и благоденствия в принципе невозможно. Переживаемый сейчас период сравнительного благополучия непродолжителен. Объективные законы коммунистического строя так или иначе дадут себя знать, расколов общество на слои, группы, классы с различными и даже противоположными интересами. Людей, недовольных своим положением, и причин для недовольства будет больше, чем достаточно. История коммунизма еще только начинается. И это будет не менее драматичная история, чем прошлое человечества.

Мюнхен, февраль 1987

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГ

Александр Зинovieву

Дорогой и глубокоуважаемый Александр Александрович!

Поздравляем с 65-летием. Желаем Вам – и себе – многих лет дальнейшего плодотворного сотрудничества, бурного и не безоблачного, но тем более для нас ценного. Ваши тексты, в том числе публикуемые на страницах «Континента», всегда задевают, вызывают на спор и размышление, попросту говоря, заставляют шевелить мозгами. Даже и полное согласие с Вами никогда не бывает лениво-самодовольным: прочел-де, все в порядке, я и сам так думаю, отложил и забыл. Чтобы согласиться – или не согласиться – с Вами, нужно действительно всерьез поработать головой, а Ваши статьи и литературные произведения в лучшем смысле слова провоцируют этот труд.

Дай Вам Бог здоровья и долгих лет жизни.

«Континент»

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГ

ЮГОСЛАВСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ОТСУТСТВИЕ ЕДИНСТВА ВОСЬМИ ПАРТИЙНЫХ БЮРОКРАТИЙ

Правящая компартия (официальное название – Союз коммунистов Югославии) с гордостью рассматривает югославскую федеративную систему как особое достижение социализма.

Югославская федеративная система, после ее возникновения в конце Второй мировой войны, была восхвалена и расценена как демократическое решение национальных проблем внутри многонационального государства.

Как выглядит югославская федеративная система после более чем сорока лет проведения такой внутренней политики, каковы ее характерные черты?

* *
*

С начала 70-х годов оба центральных политических органа Югославии – Президиум СФРЮ и Президиум ЦК СКЮ – поддерживали форму коллективного руководства, выражающуюся в представительстве шести республик и двух автономных областей Югославии в этих органах. Делегаты или отбираются из бюрократов, или избираются самостоятельно, и их власть определяется главным образом той мерой поддержки, которую они имеют в своих республиках или областях. Благодаря своему личному контролю над армией и политической полицией и бесспорному авторитету как главы государства, Тито, само собой разумеется, располагал достаточной властью, чтобы проводить все персональные кадровые изменения в любой республике или области, а также расстав-

лять функционеров из республик в центральных органах. Он назначал, повышал или снимал, не особенно заботясь о таких мелочах, как границы или «суверенитет» каждой республики.

В 80-е годы Югославия все больше развивалась в направлении конфедерации. И надобно себя спросить, существует ли в Югославии *одна* компартия, или стоит уже говорить о нескольких коммунистических *партиях*.

Острые различия между югославскими республиками очевидны с давних пор. Отсутствие единства во взглядах на методы, необходимые для преодоления тогдашнего югославского экономического кризиса – худшего в этой стране после Второй мировой войны, – часто обсуждалось как в иностранной, так и в югославской прессе. Расхождения во мнениях насчет экономики объяснялись главным образом различным уровнем развития отдельных республик, а также их протекционистскими мерами против предприятий, находящихся в других частях страны. Наряду с этими экономическими спорами, в Югославии развились также конфликты, основанные на идеологических расхождениях и на националистических чувствах.

Это отсутствие единства отражается также в партийной линии относительно свободы печати, и это определяет меру открытости и меру критики. В некоторых республиках, особенно в Сербии и Словении, налицо терпимое отношение к критической прессе. Появление как отдельных диссидентов, так и некоторых течений демократической политической оппозиции (скрыто существовавшей, конечно, и раньше) было и есть дело возможное: можно выражать свое мнение в открытых критических письмах на имя партийных чиновников и требовать от них в петициях демократических реформ и соблюдения прав человека. В иных местах – например, в Боснии и Герцеговине – ограничения свободы, напротив, гораздо более разительны и грубы, особенно там попираются права человека. Различия в отношении к прессе, диссидентам и критикам режима в Любляне (Словения) и в Сараеве (Босния) едва ли не более вопиющи, нежели разница между «либералами» в Венгрии и «сталинистами» в Румынии.

Но, несмотря ни на что, между бюрократами отдельных республик все-таки существует некоторое действительное единство, поскольку все они хотят сохранить систему – будь то в консервативной, догматической или в видоизмененной, смяг-

ченной форме; им надо лишь, чтобы партия и они сами удержались у власти. Нынешний, все более обостряющийся кризис отсутствия единства между либералами и ортодоксами внутри партии в неменьшей степени отчуждает реформистские республики от тех, где враждебно относятся к реформам.

С точки зрения некоторых ведущих югославских коммунистов, проблемы югославского федерализма объясняются несовершенным соблюдением конституции СФРЮ и невыполнением партийной программы. Такая установка символизирует вообще всю югославскую послевоенную политику: теория и идеология, мол, безупречны, а ошибки проистекают от тех, кто проводит всё в жизнь. Между тем, теория и идеология давно уже небезупречны; они наспигованы фальшивыми, противоречивыми и двусмысленными положениями.

Возьмем для наглядности пример конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии 1974 года: она содержит полное правовое признание сложившейся независимости шести республик – в 1974 году они были совершенно ясно определены как суверенные. И все же Югославия не называет себя конфедерацией независимых государств. Югославия гораздо больше представляет новую форму социалистического, на принципах самоопределения основанного, многонационального государства. На самом деле, формы функционирования федеративных государственных и партийных органов были установлены в конституции таким образом, каковой представляет элементарную насмешку над логикой.

Там не сказано, что республики должны находить решения по принципу большинства голосов. Партийные лидеры, ответственные за проект новой конституции, прежде всего словенец Кардель (самый значительный после Тито югославский коммунист) и ведущий хорватский коммунист Бакарич, утверждали, что республики действительно не могут быть суверенны, пока не придут к согласию. Установка предусматривала, например, следующее: предположим, что делегаты ПЯТИ республик в партийном и государственном руководстве Югославии сошлись на одной политической линии, но с представителями ШЕСТОЙ республики не согласны, – тогда этой республике ничего не остается, как быть обязанной принять то или иное решение. Очевидно, конституция должна предоставлять гарантию, чтобы никакое решение не принималось за счет одной из республик.

Такая система очень напоминает классический федерализм. Если объявить Югославию конфедерацией, многие люди расценят это как начало распада Югославии на отдельные государства. Такой шаг среди многих югославов, как внутри партии, так и вне, наткнулся бы на оппозицию. Так как границы республик не совпадают с жизненным пространством различных югославских национальностей, многие выступают за сохранение целостности Югославии. Вдобавок некоторые национальные группы живут в разных республиках, так что деление Югославии на отдельные государства было бы равносильно разделению ее на отдельные «народы». К тому же некоторые из республик, очевидно, не смогут существовать как отдельные государства. Добавим, наконец, сюда же, что около 1,2 млн. граждан не причисляют себя ни к одной из национальностей, живущих в Югославии, таких, как «словенцы», «хорваты», «сербы» и т. д., – определяя себя просто как «югославы».

Исходя из этого и были развиты официальные выкладки конституции, в которых сказано, что Югославия имеет федеративную систему, но отдельные республики не имеют права вето. Таким образом возникает впечатление, что Югославия находится на кратчайшем пути к своему распаду; кроме того, отдельные республики в важных общегосударственных процессах не должны шантажировать других. И все же очевидно, что принцип «отсутствия права вето» находится в противоречии с принципом «не принимать решения большинством голосов».

Основатели югославской федеративной системы все-таки были частично осведомлены об этом противоречии, надеясь, правда, со всем разобраться по дороге.

Непригодность югославской федеративной системы в ее теперешней форме признана даже многими ведущими партийными бюрократами. Так что осуществление связных перспективных планов и вообще мер по решению фундаментальных проблем Югославии невозможно.

На XIII съезде партии стало ясно, что Союз коммунистов Югославии еще не разработал связной программы дальнейшего развития югославской федерации на предмет ее дееспособности. В основе этой до сих пор не разрешенной проблемы – дальнейшее взаимоотношение республик и областей; а это, в частности, мешает преодолению нынешнего, крайне серьезного, экономического кризиса.

В своих отношениях с внешним миром югославские коммунисты рассматривают себя не всегда как чистое объединение суверенных государств; они отмечают готовность каждой югославской республики встать на защиту всей Югославии, равно как и готовность всей Югославии бороться за каждую из своих республик. Впрочем, это единство в отношениях Югославии к-загранице в конце 70-х и в 80-е годы становилось все сомнительнее. К примеру, Сербия после демонстраций и беспорядков 1981 года в сербской области Косово получила весьма небольшую поддержку и солидарность со стороны других республик, хотя каждому известно, что сепаратистские группы косовских албанцев поддерживаются Албанией, то есть из-за границы. Несмотря на это, надо считать оправданной надежду, что в случае серьезной угрозы Югославии или одной из ее частей югославское единство и солидарность утвердятся вновь – прежде всего, перед лицом опаснейшей и вероятнейшей угрозы: со стороны Советского Союза.

Перевод Анатолия Копейкина

НОВАЯ КНИГА

Александр В е р н и к

Биография

Книга стихотворений

Иерусалим, 1987

Заказы по адресу:

Alexander Vernik

Gilo «В», 306/10, Margalit Str. 1

Jerusalem 93384, Israel

К 150-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ГИБЕЛИ А. С. ПУШКИНА

**Издательство ЛЕКСИКОН предлагает
монографию д-ра С. М. Шварцбанда
«ЛОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОИСКА»
А. С. Пушкин: 1831 – 1833 гг.**

На материале рукописей и фотокопий д-р Шварцбанд воссоздал широкую картину возникновения и становления различных замыслов Пушкина в 1831 – 1833 годах. Исследование позволило пересмотреть время написания и целевую направленность черновиков незавершенных произведений Пушкина («Гл.[ава] I», «Москва была освобождена...», «Теперь позвольте мне...», «Французских рифмачей суровый судья...», «Он между нами жил...» и др.). Системное прочтение черновиков Пушкина позволило автору предложить текстологически аргументированное описание взаимосвязи черновых набросков «Альбома 1833 – 1835 годов» по их местоположению и времени создания.

Введение в научный обиход широкого фона исторических свидетельств и фактов определило логически последовательную и непротиворечивую концепцию генезиса поэм «Езерский» и «Медный всадник». При этом роль полемики Пушкина с Мицкевичем, идеологически истолкованная В. Ледницким, М. Цявловским и С. Бонди, в исследовании д-ра Шварцбанда осмыслена в аспекте противоборствующих поэтик романтизма и реализма.

Особое внимание в монографии уделено «Пиковой даме». Автор предлагает новую гипотезу петербургского происхождения этой отнюдь не «гофманской» повести Пушкина.

Несомненный интерес у специалистов вызовут «Приложения» (промежуточные редакции, описание палеографических данных, схемы, фотокопии рисунков и рукописей Пушкина).

Издание предназначено для широкого круга специалистов и всех интересующихся проблематикой творчества великого поэта.

Запад – Восток

Арман Малумян

ДВА ОЧЕРКА

ОДИН ИЗ НИХ

«Какая-то в державе Датской гниль»
Шекспир

– С самого рождения вы готовы любить всех и всё. Церковь, семья, школа, ваши соотечественники, – все учат вас любить ближнего и уважать соседа. Но вы узнаете, что у этого неизменного правила есть исключение.

И если ваша фамилия оканчивается на «ян», то это исключение – турок.

Уже с момента, когда вас отняли от груди, родители рассказывали вам о том, как турки вырезали ваших предков, ваших бабушек и дедушек. И единственным воспоминанием о них в вашем доме (да и то не всегда) служит пожелтевшая от времени фотография с изображением мужчины или женщины с застывшим лицом в праздничной одежде.

У самых «богатых» сохранились либо вилка, либо ложка – остатки наследия многовековой цивилизации.

С детства вам знакомы мелодии Комитаса Вартабеда*. Эти армянские песни вас совсем не волнуют. Вы предпочитаете музыку «вашего времени»: Тино Росси, Рина Кетти, Шарля Тренэ или Эдит Пиаф**... Вы более или менее говорите на языке, которому родители пытаются вас обучить. Но отвечаете вы по-французски – так удобнее. И даже если родители требуют, чтобы вы говорили с ними на «родном языке», то с братьями и сестрами вы говорите по-французски.

* Отец Комитас – знаменитый армянский композитор.

** Популярные певцы в 1939 году.

Ваши родители избежали «геноцида»*. А вы узнаете значение этого слова только после окончания второй мировой войны.

Вы – ортодоксальный грегорианец. С одной стороны, вы гордитесь тем, что вы не такой, как ваши маленькие друзья. А с другой – вас это смущает.

Часто по пятницам**, по понедельникам или после летних каникул ваши товарищи по школе рассказывают о своих бабушках и дедушках. Бабушка варит такое вкусное варенье! Иногда она дает деньги на покупку детских журналов. А уж дедушка! Он умеет всё починить да еще берет с собой на рыбалку.

А у вас нет бабушки и дедушки с добрыми близорукими глазами, которые засыпают над газетой или над вязаньем. Вы испытываете, используя модный термин, комплекс неполноценности, который подсознательно превращается в комплекс превосходства.

Вы переживаете последствия этого состояния.

В четверг, вместо того, чтобы пойти в патронат, вы были в кино и курили украдкой сигареты «Паризьен». Вы посмотрели фильм с участием Тома Микса, Ника Картера или Лоурела и Харди. И те, кому вы завидовали (те, кто были в «патро», в скаутах, у бабушки и дедушки), теперь завидуют вам. Вы поменялись ролями.

Со временем вы узнаете, что враг – не только пруссак 1870 года, англичанин из Фашода или бош 1914 – 1918 годов, но в первую очередь турок, «таджик». Тот турок, который веками вырезал и уничтожал армян. Вы начинаете ненавидеть и презирать его.

Это по его вине ваши родители лишились родины, семьи, состояния, дома, работы – всего, что у них было в «Айастане» – Армении.

Вы узнали о Вудро Вильсоне и о 19-м пункте его заявления в Версале. Вы с гордостью узнаете, что армяне были един-

* Слово, впервые употребленное в 1944 году Рафаэлем Лемкиным, Дюк Универ (США): от греч. *genos* – раса и суфф. – *cide* (от лат. *caedere* – убивать).

** В то время в школе выходной день был в четверг, а не в среду, как сегодня.

ственной кавказской нацией, сумевшей разбить союзников Германии – турок.

Вы узнаете, что ваш дедушка погиб, выполняя свой долг перед союзниками.

Еще вы узнаете, что один из армянских королей похоронен в соборе Сен-Дени, рядом со своими двоюродными братьями – королями Франции.

Вы узнаете и многое другое. Но вы также научились проглатывать обиду, когда искажают вашу фамилию, когда вас спрашивают, как она пишется и кто ее придумал.

«Как можно быть персом?»... а точнее, армянином...?

Вы узнаете значение термина «грязный иностранец». Как это, «грязный иностранец»? Я же француз! Я родился во Франции. Меня зовут Жак, Робер, Симона или Виржини, даже если родители дома называют вас Агоп, Карабед, Серпюи, Хулиан. Вы научились говорить: «Я француз армянского происхождения».

– А что это значит – армянин? Это что-то связанное с бумагой из Армении, с Ноевым Ковчегом и с горой Арарат?

А вам бы так хотелось иметь фамилию Легран, Бертран, Мартэн или даже... Дюпон. Это было бы так просто.

Немного поразмыслив, вы понимаете, что у французских королей и французской знати только имена французские. Столько там смешалось кровей, рас и религий! Поляки, австрийцы, итальянцы, испанцы и даже немец, который был королем Корсики: Теодор фон Рейхоф – Теодор Первый!

Вы с удивлением узнаете, что в некоторых областях Бретани, провинции басков, Эльзаса, Корсики живут люди, не знающие ни одного французского слова.

А вы говорите по-французски, значит, вы – тоже француз. И еще в большей степени, чем те, которые таковыми являются по крови. Они ведь не говорят по-французски.

Таково ваше умонастроение в 1939 году, когда вам 10-20 лет... а потом война. Вы гордитесь тем, что много армян сражается во французской армии. Вы гордитесь Францией. Это ваша страна. Ведь она когда-то приняла ваших родителей – в то время, когда их преследовали.

От ваших родителей вы узнаете также значение слова «гяур» (неверующий для мусульман: термин, используемый в смысле «неверная собака»). Ваши родители научили вас любить Армению и с благодарностью относиться к той земле,

которая стала родиной изгнанников. Свой долг по отношению к этой стране сейчас выполняют ваш брат, двоюродный брат, ваш отец и все, кто носят форму цвета хаки.

«Мы победим, потому что мы сильнее всех»*.

Вы гордитесь тем, что являетесь гражданином страны, которая борется за данное ею слово. Вы собираете консервные банки, металлолом, которые помогут «ковать сталь для победы»**.

А потом вы переживаете унижение массового бегства, оккупацию, облавы, продовольственные карточки, бомбардировки, очереди в булочных. Ваша родина побеждена, а ваши отец и брат – в плену за колючей проволокой.

Вы узнаете также, что армяне сражаются в Бир-Хакейме, во Французских освободительных силах. Другие армяне сражаются на Восточном фронте под командованием генерала Баграмяна...

Знаменитого американского писателя зовут Уильям Сароян. Известного режиссера – Рубен Мамулян. А некто Гюльбенкян – один из самых богатых людей в мире, и его называют «Господин 5%».

Война заканчивается в 1945 году. По крайней мере официально. Вы узнаете, что другой народ тоже истребляли из-за его происхождения и религии. И вы чувствуете близость к нему. Разве они не страдали, чтобы сохранить свой язык, религию, обычаи, как страдали и ваши предки в течение веков?

Вы начинаете лучше понимать ваших родителей, особенно их отношение к убийцам ваших предков. Ваше сердце переполнено благодарностью к стране, где вы родились, где вы можете свободно исповедовать свою религию и говорить на языке ваших родителей. Вы знакомитесь с двоюродными братьями, которые носят форму американских военных сил.

Вы гордитесь тем, что принадлежите к народу, который сражался на всех фронтах войны и верно служил тем странам, которые его приняли.

И вдруг вы узнаете о существовании Армении, которая является составной частью одной из победивших стран. Вы узнаете, что впервые армянское правительство, армянский язык и Армянская Церковь существуют официально. Даже

* Французский пропагандистский лозунг в 1939 – 1940 гг.

** То же.

если там к слову Армения добавляют еще и слово «Советская».

Не все ли равно, советская или нет? Это же Армения, и она ничего общего не имеет с Россией, не так ли?

И эта Армения охраняет свои границы от турок. Армянские солдаты на границе всегда начеку. Они охраняют Армению от палачей, убивших полтора миллиона армян.

Впервые за всю историю армянин – в стане победителей. Ваши родители торжествуют. Возможно, союзники потребуют и добьются возвращения в народное достояние вилайетов, Карса и Ардахана.

Вы очень рады за своих родителей. Но все это немного абстрактно.

У вас дома появляются бутылки коньяка, вина, варенья армянского производства с этикетками на армянском языке... Начинаются разговоры о возможности возвращения в Армению. Ваши соотечественники из Сирии и Ливана уже вернулись в Армению. Эта Армения исторически не является родной ваших родителей – они родом из турецкой Армении.

В то же время евреи со всего мира эмигрируют в Израиль, обетованную землю, землю их предков. Это движение. Большое движение. Для них это Исход. А для армян? Исход...ян.

В ваших ушах звучат слова, которые приобретают огромное значение: «Правительство Армении (продолжительные аплодисменты, заглушающие определенительное слово – **СОВЕТСКАЯ**) желает возвращения всех своих детей на землю их предков...»

В то же самое время евреи борются в Палестине за право быть самостоятельным государством.

Здесь же без всякой борьбы армяне могут вернуться «домой». И без всяких проблем. Родители и некоторые старики, избежавшие в свое время смерти и покинувшие родную землю, поднимают головы. Им больше нечего стыдиться за свои ошибки во французском языке. Теперь в мире официально существует страна, которая гордо несет свое имя «Армения». И теперь слово «Армения» можно найти во всех географических атласах.

Какой парадокс! Ваши родители души не чаяли в своих детях. Они лишились всего ради них, унижались, соглашались на любой, самый тяжкий труд, чтобы прокормить свою семью. Для них благополучие близких стало своего рода рели-

гией. И они из альтруистов превратились в эгоистов... Для удовлетворения своего тщеславия они приносят в жертву своих детей на алтарь страны, которая даже не является их родиной. И все это для того, чтобы иметь право сказать: «Я армянин», – кстати, не уточняя, откуда родом!

Они ведь сами так страдали оттого, что они иностранцы, что говорят не на родном языке, что вынуждены были принимать новые привычки, чуждые нравы и обычаи. И сейчас они ни на секунду не задумываются над тем, что их дети, которых они обожают и для которых готовы пожертвовать своей жизнью, должны переживать то же самое в стране, которая им безразлична, в которой говорят на чужом для них языке и в которой совершенно другая культура. Даже если это далекая родина их предков.

В США, во Франции, в Греции, в Египте, в Ливане, в Румынии, в Болгарии, в Сирии, в Иране и даже в... Китае любящие родители, под предлогом того, что они хотят дать своим детям армянское воспитание и образование, добровольно, но, к сожалению, не сознавая этого, подписывают их пожизненный арест. В действительности же они просто боятся, что дети убегут из-под их крылышка, что они могут жениться или выйти замуж за людей неармянского происхождения, что они постепенно оставят свой язык и религию. И они хотят избежать этой «катастрофы».

Во имя своей свободы они лишают свободы своих детей.

И, выполняя свой сыновний долг, а точнее от скуки, иногда даже не зная армянского языка, но ненавидя «турок», дети помимо своей воли едут в новое Эльдorado, столица которого называется Ереван...

Драма сыграна. Занавес опущен. Советский эшафот обезглавил слово «свобода».

И вот, наконец, они в Армении.

Родители не хотели понять, что их «Армения» – всего лишь ничтожная частица СССР... Они испытают это на себе. Они узнают, что такое голод, воровство, донос, аресты, уничтожение личности, произвол, ссылка...

Некоторые старики предпочитают пользоваться примитивным знанием языка той страны, где они жили, чем говорить по-армянски. А в свое время, чтобы говорить по-армянски, они отдали в жертву себя вместе с членами своих семей.

Ну и наворотили! Какая же драматическая ситуация должна быть в этой советской Армении, если сотни молодых людей стараются нелегально, иногда с оружием в руках перейти советско-турецкую границу.

И снова армянская кровь пролилась на реке Аракс. Но на этот раз *не для того, чтобы убежать из Турции, а чтобы туда проникнуть!*

Агоп Сеферян с рыданиями в голосе добавил: «И я один из них».

МОЛИТВА

«Правда по одну сторону Пиренеев,
ложь – по другую...»

Паскаль

– Здравствуйте, дорогие ребята!

– Здравствуйте, мадам.

– Нет-нет, мои маленькие, я не мадам. У нас, в СССР – на вашей родине, мы не употребляем больше этого слова. Уже со времени Великой Октябрьской социалистической революции. Меня зовут товарищ Исаакян Ануш Михрановна. А вы зовите меня Ануш Михрановна. Понятно?

– Понятно, мадам Ануш Михрановна.

– Не мадам Ануш Михрановна, а просто Ануш Михрановна. Или товарищ Исаакян. Давайте попробуем еще раз все вместе: «Здравствуйте, Ануш Михрановна. Здрав-ствуй-те, А-нуш Мих-ра-нов-на». Каждое утро мы будем с вами так здороваться.

И все дети повторили хором за учительницей: «Здрав-ствуйте, Ануш Михрановна».

– Вы многому у нас научитесь. Здесь совсем не так, как в капиталистической стране, откуда вы приехали. Там люди несчастливы, они голодают, у них нет свободы, им не дают учиться, мешают улучшить свою судьбу. И всё потому, что они трудящиеся. Детей рабочих в школах бьют розгами.

– Неправда, мадам. Мой папа был рабочим, и никто никогда меня не бил в школе. Наш учитель господин Жак был очень добрым. А даже если бы он был злым, он никогда не

осмелился бы бить меня. Иначе мой папа показал бы ему! Он сделал бы из его головы Триумфальную Арку!

– Нет-нет, это правда. Просто ты этого не помнишь.

– Да нет, мадам. Я говорю правду. Обманывать нехорошо.

– Скажи-ка мне, умная головушка, как тебя зовут?

– Шарль.

– Шарль? Это не армянское имя. А как твоя фамилия?

– Азозян, мадам. Дома родители называли меня Карабед, но я предпочитаю Шарль.

– Хорошо, здесь тебя тоже будут называть Карабед. Ты понял?

– Да, мадам.

– Карабед, не мадам, а Ануш Михрановна. Повтори.

– Да, мад... Ануш Михрановна.

– Вот, так уже лучше. Если у вас будут какие-либо трудности, вы приходите ко мне. Я выслушаю вас, успокою. Если кто-то обидит вас – скажите мне, и я все улажу. Если ваши родители будут нервничать и уставать, если они будут критиковать отсутствие комфорта или будут жаловаться, что у вас нечего есть, что они зарабатывают мало денег, вы расскажите мне, и я сразу же займусь этим. А сейчас перемена. Можете выйти во двор погулять.

Дети выбегают из класса, как воробышки вылетают из клетки. Ведь для ребенка класс – это клетка. Пятнадцать «буржуйчиков» играют во дворе. Это прозвище «буржуйчики» им дали дети, живущие с ними в одном селе.

Да, это настоящие «буржуи». Ведь они приехали с Запада, из Франции. Их родители – те армяне, которые убежали из Турции после резни или отсюда, из Армении, от режима «дашнаков». Да. Они вернулись на родную землю, потому что не смогли противиться зову вечной Армении. И они добросовестно послушались «вербовщиков» из советского посольства в Париже.

«Буржуйчики» и их родители были очень хорошо одеты. Они приехали с полными чемоданами красивых вещей. За сотни верст в округе никто никогда раньше не видел такого. У них были даже радиоприемники. И не «тарелки», как у многих из нас (за исключением дядюшки Саркиса, у которого тоже был такой радиоприемник, «фриц», который он привез как трофей из Германии). У некоторых из них были мотоциклы,

а у троих были даже машины. Как бы там ни было, а машины у них долго не останутся. Лучше «подарить» их артели или колхозу, пока не «реквизировал» райком.

Несмотря на свою красивую одежду и обувь, они были очень грустные. Они же должны радоваться, что в этом 1947 году у них все это есть. Мы-то ходим босые!

Лица их мам были похожи на лицо мамы Згьюи, когда она получила письмо от правительства, что ее старший сын Крикор – герой и что он больше никогда не вернется домой... Часто мы слышали, что женщины у них в домах плакали или пронзительно кричали, а мужья не били их. У нас все происходило бы по-другому. Папа взял бы метлу и: «А ну, иди-ка сюда». Спасайся, кто может, а не то плохо тебе придется. Кстати, папа любил говорить: «Если хочешь, чтобы у тебя шуба была чистая, а жена любезная, – бей обеих».

«Хранцузы» были смешные. Они не говорили по-армянски как мы. «Р» они произносили как евреи, а «л» очень мягко. К тому же они не умели ругаться как мы.

Иногда, чтобы мы их не поняли, они говорили тарабарщину. Надо полагать, что они были глупее нас, раз их учительницей была Ануш Михрановна – секретарь комсомольской организации. Она была «активистка», и ее фотографию напечатали в газете. Ануш Михрановна была очень строгая и строила глазки только Амбарцуму – младшему лейтенанту МГБ. Говорили, что они поженятся...

После перемены «буржуи» снова зашли в класс.

- Ребята, давайте споем! Вы любите петь?
- Да, да, мад... товарищ Исаакян.
- Хорошо. Повторяйте за мной:

«Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек...»

И дети, приехавшие из «свободного мира», хором подхватывают знаменитый припев, который является также позывными московского радио.

– В первый день наших занятий мы поговорили с вами немного. А с завтрашнего дня мы начнем работать серьезно. Вы верите в Бога?

- Да, Ануш Михрановна.
- А ваш Бог добрый?
- Да, Ануш Михрановна.
- И если вы просите его о чем-то, он дает вам?

– Да, Ануш Михрановна. Надо только закрыть глаза и помолиться от всего сердца. И надо очень хотеть то, о чем просишь.

– Это невозможно, ребята.

– Возможно, возможно, Ануш Михрановна. Нужно помолиться горячо и от всей души. Если вы молитесь хорошо и серьезно, не балуясь, то Младенец Иисус даст вам то, о чем вы просите. Ведь Младенец Иисус очень добрый.

– Нет, ребята. Я в это не верю. Вашего «Младенца Иисуса», как вы его называете, просто не существует. А если он и существует, то он не такой добрый, как папа Сталин. Ведь папа Сталин – отец всех детей. Кстати, мы сейчас это проверим. Закройте глаза и очень сильно помолитесь вашему «Младенцу Иисусу», как вы говорите. Попросите его, чтобы он принес вам, к примеру, конфет.

Дети горячо молятся. Может быть, даже сильнее обычно, всем своим маленьким существом, чтобы показать Ануш Михрановне, что Младенец Иисус действительно существует и что Он очень добрый.

Проходит несколько минут.

– Хорошо, ребята. А теперь откройте глаза. Вы помолитесь от всего сердца? И вы очень хотели получить конфеты? Где же они? Вы теперь видите, что ваш Иисус совсем не добрый и его просто нет. А теперь я докажу вам, что папа Сталин существует и что он самый добрый человек на земле. Закройте глаза и помолитесь папе Сталину, чтобы он дал вам конфет.

Дети подчиняются, закрывают глаза и молятся Мировому Вождю.

– А теперь откройте глаза.

Перед глазами очарованных детей на столе у Ануш Михрановны – активистки и секретаря комсомольской организации – лежат аппетитные конфеты...

А несколько месяцев спустя в деревню, где жили «буржуйчики» со своими родителями, приедут грузовики с солдатами с красными погонями. И, несмотря на молитвы «папе Сталину», у них будет только полчаса на сборы: один чемодан на семью. Это было в три часа утра. В три часа тридцать минут грузовики уехали по направлению к Ленинану, где они присоединились к железнодорожному составу для скота. Это было 12 июня 1949 года.

Тридцать пять тысяч из ста тысяч репатриированных армян отправили в эту ночь в «курортные» места. И никогда больше в классе Ануш Михрановны не было слышно «р», произносимого как у евреев, и мягкого «л»...

Перевела с французского Татьяна Премак

СТРЕЛЕЦ – 1988

*ежемесячник литературы, искусства
и общественно-политической мысли*

Гл. редактор – Александр Глезер

Журнал «Стрелец» объявляет подписку на 1988 год. В редакционном портфеле новые прозаические произведения Василия Аксенова, Владимира Войновича, Юрия Гальперина, Юрия Мамлеева, Владимира Некрасова, Сергея Юрьенена и др. писателей, новые стихи Василия Бетаки, Дмитрия Бобышева, Натальи Горбаневской, Бахыта Кенжеева, Юрия Кублановского и др. поэтов, эссе и воспоминания, интервью с русскими и западными писателями, статьи о неофициальных русских художниках, неизвестные современному читателю рассказы и повести 20-х и 30-х годов, публицистика Александра Глезера, Иосифа Косинского, Доры Штурман, Сергея Юрьенена. Мы будем по-прежнему продолжать публикацию стихов и прозы, поступающих к нам по каналам Самиздата из СССР. В разделе «Критика» читатель встретится с рецензиями на новые книги и журналы, а также творческими портретами писателей и поэтов.

Стоимость годовой подписки на журнал остается прежней.

Чеки посылайте, пожалуйста, по адресу:

В Европе: Alexandre Glezer, Chateau du Moulin de Senlis,
91230, Montgeron.

В США: Alexander Glezer, 286 Barrow str., Jersey City,
N. J. 07302.

Западногерманская фирма граммпластинок «Шванн»
выпустила долгоиграющую пластинку

«Старинные русские романсы»

в исполнении

Анны Чернявской

и

Берлинского Симфонического Оркестра

Среди прочих такие известные романсы, как «Очи черные», «Вернись», «Цыганская баллада», «Ямщик, не гони лошадей» и др.

Пластинку можно приобрести:

Schwann-Verlag, Am Wehrhahn 100, 4000 Düsseldorf 1. Тел.: 0211/167 95 42

В издательстве «Посев» – во Франкфурте-на-Майне. Тел.: 069/34 12 65

В магазине граммпластинок Ридель – Западный Берлин. Тел.: 030/882 73 95

Индекс пластинки VMS 2102

Анна Чернявская обращается ко всем любителям русских романсов, старинных и современных русских песен с просьбой помочь ей средствами в осуществлении выпуска еще 3-х долгоиграющих пластинок:

1. Старинные русские вальсы.
2. Старинные русские народные песни.
3. Современные русские песни.

Деньги переводить по адресу:

Anna Tschernjawskaia, Konto Nr. 5930938500, bei Berliner Bank AG, BLZ 10020000, Zweck – für LP.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Григорий К р а в ч и к

ПО ДОРОГАМ БЕССРОЧНОЙ ССЫЛКИ

Главы из рукописи

НА ПРИЕМЕ У МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ УЛЬЯНОВОЙ

1 декабря 1934 года был убит член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь Ленинградского обкома партии С. Киров. После убийства Кирова было расстреляно много тысяч людей, якобы замешанных в этом преступлении, и много миллионов заточены в концентрационные лагеря. Только после XX съезда КПСС стали известны лишь некоторые факты и роль органов НКВД-ГПУ в подготовке и осуществлении этого зловещего преступления, но тогда, в первые дни, убийство Кирова было представлено как террористический акт, совершенный Николаевым по указке «троцкистско-зиновьевской террористической организации». Карательные операции были проведены повсеместно. Началось же все с Ленинграда, Москвы и Киева*.

Уже через тринадцать дней после убийства Кирова, 13 декабря 1934 года, в Киеве заседала выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством известного карателя Ульриха, приговорившая к расстрелу большую группу украинских деятелей культуры по ложному обвинению в подготовке террористических актов против Сталина и других партийных вождей. В эти же дни в Киеве было инспирировано и другое дело по обвинению научных работников Всеукраинской ассоциации марксо-ленинских институтов (ВУАМЛИН) в создании «украинской троцкистско-зиновьев-

* По легенде НКВД-ГПУ, «заговорщики» хотели убить Сталина, в тот же самый момент... «стрелять одновременно с выстрелами (в Ленинграде. – Г. К.), в Москве и Киеве» (см.: Р. Конквест. Большой террор, 1974, стр. 211).

ской террористической организации». Многие ученые были арестованы, а ВУАМЛИН вскоре был ликвидирован. Это были первые жертвы «большого террора»*. В это время я работал научным сотрудником ВУАМЛИНа. 3 декабря я был исключен из комсомола и уволен с работы «за связь и поддержку украинских националистов, контрреволюционных троцкистов и зиновьевцев». В поисках правды мы с моим товарищем по институту Николаем Чопом решили ехать в Москву, в надежде, что там мы найдем справедливость. Мы были преданы коммунистической идеологии и твердо верили, что справедливость восторжествует. Мы, как многие другие, считали, что в Москве о преследованиях невинных людей не знают, что нам будет оказана помощь в восстановлении нарушенных прав. Приехали в Москву в конце декабря 1934 года с надеждой попасть на прием к Марии Ильиничне Ульяновой. О ней ходили слухи, что она «правдолюбец», «совесть партии», что она сохраняет ленинские принципы партийной жизни.

Мария Ильинична Ульянова была сподвижницей Ленина по созданию большевистской партии, а затем, после октябрьского переворота и захвата власти в России, по укреплению диктаторского режима в стране. Своей работой в редакции газеты «Правда» она способствовала пропаганде идеологии, развращающей людей. Она участвовала в съездах партии. На XVII съезде, «съезде победителей», на котором прославлялся гений отца народов, великого Сталина, она была избрана членом Комиссии советского контроля ВКП(б), а в 1935 году членом ЦИК СССР. Приход к власти Сталина, можно предполагать, она считала закономерным и в лице его видела продолжателя ленинских догм и дела партии, которой она верно служила на протяжении всей своей жизни. После XVII съезда Мария Ильинична была назначена заведующей бюро жалоб Комиссии советского контроля, куда стекались многочисленные жалобы; авторитетом сестры Ленина можно было объяснить и оправдать многое из того, что творилось в стране.

В назначенный день, после многодневных посещений приемной, мы наконец были допущены на личный прием к Марии

* О процессе научных работников ВУАМЛИНа публикаций не было. О репрессиях в ВУАМЛИНе – см.: Энциклопедія українознавства. Париж – Нью-Йорк, «Молоде Життя», 1980 (Наукове Товариство ім. Шевченка), ч. 9, стр. 3337.

Ильиничне. Комиссия советского контроля находилась в одном из старых домов на площади Ногина. К нам спустилась по лестнице невысокая, худощавая женщина с гладко зачесанными волосами. Сходство с братом поразило нас: те же раскосые глаза, тот же взгляд, большой лоб, как у Ильича. Не глядя нам в глаза, она безучастно слушала то, что мы ей говорили: о судьбах научных работников ВУАМЛИНа, изгнаниях с работы, арестах, о том, как инспирировались обвинения, наклеивались ярлыки «враг народа». Мы искренно ей говорили, что для нас генеральная линия партии всегда была единственно правильной, что никогда к антипартийным группировкам не примыкали, а наоборот, вели борьбу против троцкистов и других уклонистов от генеральной линии партии, что обвинение нас в том, что мы «враги народа», чудовищно.

Наши жалобы на учиненную расправу она слушала с невозмутимым спокойствием. Наше бесправное положение в ней не вызывало сочувствия. Вскоре она стала проявлять нетерпение, прерывать, ставить вопросы, которые поражали своей необъективностью и тенденциозностью, а затем сказала: «Почему вам обязательно нужно заниматься научной работой? Страна и партия нуждаются в укреплении колхозов. Нужно помочь партии. Партия проводит грандиозную кампанию по сплошной коллективизации. Эту историческую миссию мы должны и обязаны поддерживать и помогать в ее осуществлении. Вам следует поехать на работу в колхоз, а не добиваться работы в институте. Там, в колхозе, вы докажете свою преданность партии». Таков был ее ответ. Видимо, она не считала нужным или возможным вмешаться в нашу судьбу, а возможно, и верила, что мы действительно «враги народа». Беседа с Марией Ильиничной дала первую трещину в моих убеждениях и представлении об идеальном облике коммуниста.

В колхоз я не поехал. Последовали бесконечные посещения московских приемных, отъезд на Памир, скитание по стране, война, ссылка, арест, одиночная камера Алма-Атинской внутренней тюрьмы МГБ Казахской ССР, и снова ссылка на всю жизнь...

Москва, как казалось, жила своей обычной жизнью. Переполненные трамваи, очереди в магазинах за продуктами, торопящиеся и озабоченные люди на улицах города, среди них немало людей, приехавших из провинции за покупками. Внешняя обыденность городской жизни не могла скрыть гнетущего состояния, которое нависло над людьми после убийства Кирова. Охваченная террором страна жила в состоянии страха и тревоги. Усилиями партийных идеологов создавалась видимость атмосферы благоденствия и прогресса страны «под водительством мудрого и гениального Сталина». На улицах и площадях Москвы огромные портреты Сталина. Плакаты, прославляющие передовиков производства и колхозных полей.

Уже ни одна газета не выходила без прославления мудрости Сталина и его фотографий на первых страницах. При въезде в Москву и на улицах города огромные транспаранты оглушали цифрами о небывалых успехах, достигнутых под водительством Вождя. Они вещали: «Основные фонды крупной промышленности по сравнению с 1913 годом выросли в 7 раз»; «Сбор урожая с колхозных полей в 2 раза выше чем до коллективизации»; «Победа социализма обеспечена»; «Вперед к коммунизму»... Каждый день в газетах публиковались Указы о награждениях орденами и медалями передовиков производства и колхозов, прославляли героев строительства московского метрополитена, героев строительства канала Москва–Волга, конечно, не упоминая о том, что возведение канала обошлось в сотни тысяч жизней заключенных. Возносилась до небес эпопея судна «Челюскинец», освоение районов крайнего севера. На щит были подняты «рекорды», а рекордсменов всячески прославляли. Сталин внушал народу, что «рекорды» – это реальная норма для каждого. Тех же, кто возражал, объявляли вредителями, и они уничтожались. Никому не было дано право посягать на эту «показуху». В стране, где провозглашались наиболее «гуманные формы труда», в приказном порядке внедрялись новые производственные нормы, с целью доведения их до «рекордных».

Я не придавал значения тому, что происходило в Москве. Я был занят своими тревогами и печальями. Не найдя поддержки у Марии Ильиничны Ульяновой, я искал других путей. Жить на нелегальном положении становилось все труднее. Отчаяние толкало меня на опасные шаги, к риску. Путь лежал на Лубянку. На имя Ягоды я сдал жалобу, в которой писал: «Если действительно виновен – судите меня по всей строгости закона. Жизнь с „волчьим билетом“ для меня исключена. Я рассчитываю на Вашу объективность и справедливость». В последующие годы такая форма обращения была маловероятной, но тогда, в пору иллюзий, она была естественной для многих, еще не испытавших горечи разочарований. На мой вопрос, когда я получу ответ, дежурный написал мне номер телефона Буланова, личного секретаря Ягоды, и сказал, что ответ я получу по почте. Не получив ответа, я позвонил по телефону. Буланов выслушал меня и иронически произнес: «Когда вы понадобится, мы вас найдем». Буланов и Ягода были вскоре расстреляны по одному из «показательных процессов».

Оглядываясь в прошлое, приходится удивляться тому, что, несмотря на то, что во всех жалобах я указывал свой московский адрес и номер телефона, – обвиненный в тягчайших государственных преступлениях, я оставался на свободе и никому в Москве не было дела до меня. В Москве были заняты «своими делами», да и работников НКВД, в руках которых находились судьбы невиновных людей, настигала такая же участь. В этой общей неразберихе и всеобщей уязвимости я выпадал из поля зрения тех, кто мог бы в отношении меня принять меры и соответствующим образом реагировать.

Другое дело, если бы я оставался в Киеве. Там меня подстерегала та же участь, как многих, кто работал в ВУАМЛИНе и без вины были уничтожены. Избежал уничтожения Петро Трублаевич. Петро Трублаевич был директором Научно-исследовательского института права ВУАМЛИНа. Выходец из украинской интеллигентной семьи, он был «буржуазным националистом» в понимании советской идеологии. Но это было не так. Это был человек, отдававший должное национальным проблемам, но он принадлежал к числу тех,

для кого украинская культура была неразрывно связана с русской. Многие за «связь с буржуазным националистом» подвергли преследованиям и репрессиям, он же уехал с семьей во Владикавказ, выпал из сферы внимания украинских органов НКВД, работал в горплане экономистом. В 1942 году Петро Трублаевич при защите города Владикавказа, в составе курсантской школы, погиб в бою.

Время шло. Ответа НКВД не было. Несмотря на мои надежды, мое заявление реакции не вызвало. Оставался путь в главный прокурорский надзорный орган – Прокуратуру СССР. На Пушкинской улице № 15а, где и сейчас размещена Прокуратура СССР, в те времена порядки были иные. Еще можно было пройти в помещение Прокуратуры через ворота без пропуска. Не было специальной проходной, как это было заведено вскоре и введен порядок выдачи пропусков. Да и работники Прокуратуры еще не были отягощены страхом, хотя и находились под всевидящим оком «органов».

Я побывал у многих работников, рассказывая, в какой ситуации я нахожусь. Был принят заместителями Генерального прокурора – Пилявским и Катаняном. Моя настойчивость многих удивляла. Острота формулировки причин увольнения с работы вызывала естественное недоумение. Мое требование отменить приказ ВУАМЛИНа или судить меня было логичным. Нужно было что-то предпринять, но никто не решался это сделать.

Тогда я не представлял себе, почему это так. Мне не были известны масштабы задуманной провокации, связанной с убийством Кирова, и то место, которое предназначалось ВУАМЛИНу как одному из звеньев в «общем заговоре против партии и правительства». Я не представлял себе, что моя борьба бессмысленна и опасна. Все мои помыслы были попасть к Вышинскому, и в этом мне была оказана помощь. Я был записан на личный прием.

А. Я. Вышинский занимал исключительное положение в эпоху сталинского «большого террора». Сталин, готовясь к захвату всей власти, еще в двадцатых годах приближал к себе людей, на которых он мог опереться, готовых в любой момент действовать по его воле. Это были кадры, способные совершать и совершавшие массовые насилия, террор в стране. Среди приближенных Сталина Вышинский, несмотря на свое меньшевистское прошлое, занимал особое место. Человек

умный, жестокий, раболепный и достаточно эрудированный, что особенно важно было для Сталина, Вышинский сумел войти к нему в доверие.

В 1928 году Вышинский председательствовал на первом «показательном» процессе, т. н. «шахтинском деле», который был сфабрикован под лозунгом «Смерть вредителям». Это был первый процесс, на котором Вышинским отработывалась новая техника следствия и допросов, основанная на «признаниях» подсудимых и «оговорах» других, добытых путем насилия и принуждения. Роль Вышинского на шахтинском процессе привлекла, по-видимому, внимание Сталина. Он увидел в нем нужного и ловкого человека, способного использовать закон для оправдания беззакония, ведь впереди предстояли «показательные» политические процессы. Вышинский помог организовать ложное обвинение своих бывших соратников по меньшевистской партии в 1931 году, людей, которые давно уже порвали связи с политической деятельностью. Вышинский выступал как обвинитель на процессе специалистов фирмы «Метрополитен-Виккерс» в 1933 году, обвиненных по спровоцированным материалам во «вредительстве».

Вышинский стремительно двигался вперед в своей карьере. 20 июня 1933 года был установлен пост Генерального прокурора СССР. Вышинский был назначен заместителем Генерального прокурора, а в июне 1935 года – Генеральным прокурором СССР. Назначение Вышинского на этот пост было не случайным. Ему предстояла широкая возможность проявить себя в качестве обвинителя на сфальсифицированных процессах «большого террора» 1935 – 1938 гг. Он применял на этих процессах принципы средневекового процесса, где признание, данное даже под пыткой, считалось главным доказательством вины – «царицей доказательств». На основании одного признания своей вины, согласно установкам Вышинского, мог быть вынесен обвинительный приговор.

Вышинский преуспел не только в своей прокурорской карьере, преуспел он и на поприще псевдонаучной карьеры. Свои «теоретические концепции» он сформулировал в книге «Теория судебных доказательств в советском уголовном процессе», за которую получил Сталинскую премию I-й степени. Вот к такому человеку я был допущен на личный прием.

Меня проводили на пятый этаж. На этом этаже стояла охрана. После проверки паспорта я был допущен в приемную

Вышинского. Кроме меня, никого из посетителей в приемной не было. Я вошел в кабинет. Вышинский стоял за большим письменным столом. Рядом с ним его референт. Он стал докладывать мою жалобу. Вышинский, обращаясь к референту, с возмущением сказал: «Если правда, что записано в формулировке увольнения с работы в ВУАМЛИНе, то почему его не судят?» Он с неодобрением отозвался о Прокуроре УССР Киселеве – старом большевике «ленинской гвардии» – и сразу же набрал номер телефона Киселева. Киселев оказался на месте. Я стал свидетелем разговора Вышинского с Киселевым.

Вышинский задал тот же вопрос, спросил: почему он, Киселев, не реагировал на мою жалобу? Этот вопрос звучал угрозой. Ведь в руках Вышинского были все нити проводимых на Украине репрессивных акций. Не без его участия создавалась легенда о существовании на Украине «националистической троцкистско-зиновьевской террористической организации». Вышинский как бы напоминал Киселеву об этом и ждал от него принятия соответствующих мер. Закончил разговор Вышинский с Киселевым в приказной форме: «Еще раз проверить, принять все меры, о результатах сообщить в Прокуратуру СССР». Киселев вскоре был арестован и ликвидирован. Я же уехал в Среднюю Азию искать работу, вдали от моих родных мест.

КРАВЧИК Григорий – закончил юридический факультет Института народного хозяйства в Харькове, а затем аспирантуру Института востоковедения. После защиты диссертации с 1933 года работал научным сотрудником во Всеукраинской ассоциации марксо-ленинских институтов (ВУАМЛИН) в Киеве. Автор публикаций по проблемам востоковедения.

После убийства Кирова, в декабре 1934 года, был исключен из комсомола и изгнан из ВУАМЛИНа как «враг народа». В первые дни войны был задержан органами НКВД и по Указу от 22 июня 1941 года «О введении военного положения» выслан в Казахстан. После окончания войны, находясь в ссылке, арестован по делу научных работников ВУАМЛИНа 1934 года и спустя 14 лет постановлением Особого Совещания при МВД СССР и КГБ СССР от 19 февраля 1949 года приговорен как «участник украинской троцкистско-зиновьевской террористической организации» к бессрочной ссылке. После смерти Сталина, в ноябре 1954 года, освобожден от ссылки на основании Указа об амнистии 1953 года, а затем постановлением Прокуратуры СССР,

МВД СССР и Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР от 23 марта 1956 года реабилитирован. Всего находился в заключении и в ссылке 13 лет. После реабилитации работал в Москве адвокатом. В 1981 году вместе с женой Мирой Трайниной эмигрировал на Запад. Живет в Западной Германии. В Западной Германии и в Англии читал лекции по вопросам советского права и законодательства. На радиостанции «Немецкая Волна» (русская служба) провел вместе с Мирой Трайниной цикл передач по делам правозащитников в СССР и проблемам советского права.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

**Главный редактор
Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и**

**LA PENSEE RUSSE
217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France
тел. 45 63 21 83, 45 63 94 47, 45 61 05 79
телекс 64 98 13 Pensrus**

**Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире**

**Информация о событиях в Советском Союзе, в
странах коммунистического лагеря, в странах
свободного и Третьего мира**

**Тексты авторов из СССР – самиздатские и напи-
санные специально для газеты**

**Аналитические статьи по политике и экономике,
литература, мемуары, статьи и заметки по лите-
ратуре и искусству**

Об условиях подписки справляться в редакции

РУССКИЕ КНИГИ

В связи с падением курса доллара
выгодно покупать книги, изданные в США:

Джон Баррон. *Пилот МИГа* – последний полет лейт.
Беленко

Е. Гинзбург. *Крутой маршрут* – в 2-х т., предисловие
В. Аксенова

А. Кузнецов. *Бабий Яр*. 480 стр.

А. Гладилин. *ФССР – Франц. Сов. Соц. Республика*,
170 стр.

В. Некрасов. *По обе стороны стены*, 214 стр.

С. Бадаш. *Колыма ты моя, Колыма...*

С. Пушкарёв. *Роль Православной Церкви в истории Рос-
сии*

В. Давац, Н. Львов. *Русская армия на чужбине*

А. Вербицкий. *Исповедь бродяги*, 200 стр.

Э. Дрейцер. *Пещера неожиданностей*

В. Завалишин. *Казимир Малевич* – большой формат, илл.

А. Кторова. *Лицо Жар-Птицы*, 224 стр.

В. Петроченков. *Осень века* – стихи, 152 стр.

В. Крейд. *Восьмигранник* – стихи

Р. Яров. *Музыка для усталых любовников* – рассказы

Аум № 1 – эзотерический журнал, 268 стр.

Армянское радио – 1400 анекдотов

Л. Троицкий. *История русской революции* – 1407 стр.

В. Максимов. *Заглянуть в бездну* – роман о Колчаке

В. Высоцкий. *Памятник* – подарочный альбом из 12 кассет

Наши книги можно приобрести в Европе также на книж-
ном складе *Нейманиса* и на складах издательств «*Посев*» и
«*ИМКА-Пресс*».

Каталог *Русские книги-86* и список книг по тайноведению
и эзотеризму высылаем по требованию.

EFFEKT PUBLISHING, Inc.
Russian Books Printed Outside the USSR
501 Fifth Ave. # 1612
New York, NY 10017 U.S.A.

УРОК ПРАВДЫ ГОРБАЧЕВА И ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН

В своих речах на XXVII съезде и последующем июньском пленуме ЦК КПСС М. Горбачев, ссылаясь на Ленина, говорил: «Наша сила в заявлении правды», «Страшны иллюзии и самообман, губительна боязнь истины». От себя же добавил: «Партии и народу нужна вся правда – в большом и малом. (...) ложь и полуправда развращают сознание...» Красивые слова. Но посмотрим, как они воплощаются в дела на примере пятилетнего плана СССР на 1986 – 1990 годы.

Что здесь предусмотрено, так это прежде всего ускорение экономического развития. Темпы прироста национального дохода должны составить в среднем 4,1%, с тем, чтобы в 90-е годы они возросли до 5% и более. Значение этих темпов станет понятным, если сравнить их с тенденцией трех предыдущих пятилеток: 1971–1975 годы – 5,1%, 1976–1980 годы – 3,9%, 1981–1985 годы 3,1%. Итак, предусмотрены не только более высокие темпы роста в текущей пятилетке, но и поворот тенденции экономического развития до конца века.

Однако уже в этих цифрах – не вся правда. Как нам недавно поведал авторитетный сотрудник госплановского института, «четырёхпроцентные темпы среднегодового прироста национального дохода в перспективном периоде могут стать равнозначными по своему реальному наполнению... примерно 5,4 – 5,8 процентов прироста национального дохода в прошлые годы» («Экономическая газета», 24/1986, стр. 3). Это признание интересно не только тем, что косвенно признается наличие инфляции в СССР и даже дается ее количественная оценка – 1,4–1,8%. Речь, оказывается, идет о реальном росте национального дохода в 4% на перспективу, в то время как ранее он был «перемешан» с ростом цен.

Можно полагать, что для такого перелома тенденции и ускорения экономического развития имеются достаточные

основания. Увы, они вызывают обоснованное недоверие. Если говорить о производственных ресурсах (численность занятых в материальном производстве, первичное сырье и материалы, основные производственные фонды), то темпы их роста в 1986–1990 годах снижаются. Значит, весь прирост с лихвой должен обеспечиваться за счет роста эффективности производства, или, как еще говорят, – интенсивных факторов. Собственно в этом и заключается официальная советская версия. Что она предлагает для этого, так это прирост капитальных вложений в народное хозяйство, по пятилетнему плану – до 23,6% по сравнению с 15,4% в предыдущей пятилетке, или в 1,5 раза! И, конечно же, повышение их эффективности. Однако, по словам председателя совета министров СССР Н. Рыжкова, в предыдущей пятилетке эффективность капитальных вложений снизилась на 12%. Какие же у нас основания предполагать ни с того, ни с сего ее повышение на 16%? За счет ускорения научно-технического прогресса и принципиально новой технологии, способной многократно повысить производительность труда? Да, но она не создается и не внедряется за несколько лет – требуется время. За счет широко-масштабного экономического эксперимента? Но его результаты, судя по откликам в советской прессе, пока куцые, вызвали скорее разочарование, чем энтузиазм. За счет предстоящей радикальной реформы? Но ведь пока нет не только ее целостной концепции, но даже ясности в отношении понятия «радикальности». На это вряд ли уповало советское руководство при установлении заданий пятилетнего плана.

Так что же это? Повторение хрущевского прожектерства, попытка выдачи желаемого за действительность? Как-то не верится, чтобы теперешние советские лидеры совсем уж не извлекли уроков из провала не только предыдущей Программы КПСС, но и трех пятилетних планов. Ведут они себя скорее как реалисты и прагматики, чем «кремлевские мечтатели». Значит, что-то недосказано и скрывается за представленным нам пятилетним планом. Разглядеть и «выудить» скрытое, в общем-то, не просто непосвященным лицам. Слишком уж «по-советски» это сделано. Однако добраться до истины нужно, чтобы оценить действительные шансы ускорения экономического развития СССР.

Как нам представляется, намеченная стратегия перелома и ускорения на базе интенсивного роста есть не что иное как

стратегия экстенсивного, крупного роста производственных капитальных вложений. Советский Союз, по существу, вновь вступает в полосу «первоначального накопления капитала» наподобие конца 20-х и 30-х годов. Уделом же советского народа до конца столетия остается «подтянуть пояс», более напряженный труд, относительно меньше благ.

Этот тезис может показаться странным в свете приведенных выше цифр и представлений западного читателя. Однако здесь мало странного для бывшего советского читателя, тем более ученого, привыкшего к масштабу искажения советской статистики. Секрет оказывается в «реальном наполнении» темпов роста, о котором говорил цитированный выше представитель госплановского института. Все встанет на свои места, если мы согласимся, что «цифра цифре рознь», и перестанем сравнивать официальные статистические данные, отличающиеся внутренним содержанием. В этом случае мы легко разглядим, что в пятилетнем плане «запрограммирован» экстенсивный рост, замаскированный под интенсивный.

Доказательство? Мы могли бы сослаться на собственные расчеты динамики реальных капитальных вложений и накопления в СССР до 1984 года. Однако одновременно вызвали бы вопрос об их обоснованности. Но сегодня в этом нет необходимости – слишком много сведений появилось в советской прессе. Нам остается лишь соответствующим образом их обработать и представить читателю.

1. В статистическом сборнике «Народное хозяйство СССР за 1984 год» капитальные вложения впервые представлены в сопоставимых ценах на 1 января 1984 года, показаны данные о вводе в действие основных фондов жилья за 1984 год, но почему-то (!) не приведены данные за 1981 – 1983 годы. Пришлось обратиться к статистическому сборнику за 1983 год, чтобы рассчитать динамику стоимости 1 кв. м. жилья. И что же? Оказалось, что в 1984 году она неожиданно снизилась на 2,3%, в то время как регулярно росла на 3-5% в год на протяжении всего послевоенного времени. О том, что на самом деле никакого снижения стоимости жилья не было, свидетельствуют опубликованные данные по России, Эстонии и Латвии. Похоже, что Центральное статистическое управление СССР решило перейти к реальному отражению капитальных вложений (дефляционировать – как говорят экономисты) в жилищное строительство по стране, не успев это довести до

сведения отдельных республик. Так сопоставимы ли темпы роста капитальных вложений в жилье за 1981 – 1984 годы?

2. Еще в 1984 году была опубликована статья В. Фальцмана и А. Корнева («Вопросы экономики», 6/1984, стр. 36-45), которая дала возможность сопоставить темпы роста не только капитальных вложений в промышленность, но и их «реально-го наполнения» – ввода производственных мощностей. Оказалось, что это далеко не одно и то же. В то время как капитальные вложения в промышленность возросли в 1971–1975 гг. на 39%, а в 1976–1980 гг. на 25%, ввод производственных мощностей сначала возрос на 9%, затем снизился за пятилетие на 13%. Каково содержание 15,4% прироста капитальных вложений СССР в 1981–1985 годах? Как нам представляется, 3-4% прироста мощностей. Это, во всяком случае, выше 18% прироста вложений предыдущей пятилетки. В 1981–1985 годах уменьшилось количество позиций, по которым сократился ввод в действие производственных мощностей.

3. И уж совсем недавно опубликована статья, позволяющая сопоставить движение основных фондов и производственных мощностей промышленности. Оказывается, они возросли в среднегодовом исчислении соответственно в 1976–1980 гг. на 7,6 и 3,0%, в 1981–1982 гг. – на 6,9 и 1,4% («Вестник статистики», 5/1986, стр. 42). Разрыв между показателями продолжал увеличиваться, показывая, что основные фонды перестают иметь экономическое содержание, точно так же, как показатели фондоотдачи или общей эффективности ресурсов, исчисляемые на их основе. Однако они имеют и другой смысл. Чтобы обеспечить предусмотренные на 1986–1990 годы темпы прироста промышленного производства в 25%, нужен соответствующий рост производственных мощностей. А в целом по народному хозяйству – прирост капитальных вложений в 23,6% должен был быть реальным, а не мифическим.

Мы не рискуем больше утомлять читателя статистическими выкладками и данными, чтобы не вызвать крайнего недовольства. Хотя как без них обойтись, когда речь идет об экономике?

И все же еще пара доводов от противного. Как иначе может быть обеспечено повышение эффективности капитальных вложений в 1986–1990 гг. на 16%, если они снизились в 1981–1985 гг. на 12%? Самый легкий и простой способ для этого – показывать их реальную величину. Или, например,

выдвинутое Н. Рыжковым требование: «В предстоящие пятнадцать лет намечается внести перелом в динамику и этого показателя: на первом этапе – в первой половине 90-х годов – стабилизировать фондоотдачу, а в последующем обеспечить ее рост» («Правда», 4. 3. 1986, стр. 2). Чтобы к этому перейти, нужно постепенно привести в соответствие движение основных фондов и производственных мощностей, о которых мы говорили выше. Значит, уже сейчас надо показывать реальную динамику капитальных вложений, т. е. без завуалированного роста стоимости строительства.

Наконец, еще одно указание Н. Рыжкова, касающееся прибыли как источника формирования финансовых ресурсов государства: «За пятилетку ее темпы в народном хозяйстве по сравнению с предыдущей должны увеличиваться более чем в 2 раза. Эти задания... надо рассматривать в числе важнейших, первоочередных. Нельзя допустить их срыва, так как это привело бы к невыполнению планов по инвестициям и социальному развитию» («Правда», 19. 6. 1986, стр. 5). Спрашивается, почему это для прироста капитальных вложений в 15,4% и общественных фондов потребления в 25,8% в 1981–1985 годах можно было обойтись с 26% прироста прибыли, а для соответствующего прироста в 23,6 и 25% в 1986–1990 годах нужен непременно прирост прибыли на 52,7%? Ответ не сложен. Отражение реальных темпов роста капитальных вложений еще не означает прекращения роста стоимости строительства. И если рост стоимости будет продолжаться, значит, необходим опережающий рост источников финансирования. Для нас в данном случае важно истинное намерение в области капитальных вложений. Предусмотренные на 1986–1990 годы темпы в 23,6%, – очевидно, реальные, и для сравнения с предыдущим периодом они должны быть по крайней мере удвоенны (47-50%). Не это ли показывают запланированные высокие темпы роста капитальных вложений на 1986 год – 7,6% – и реально достигнутый прирост за первое полугодие в 10%?

Если таковы намерения в области капитальных вложений, то совсем иначе смотрится желаемое ускорение экономического развития СССР. Оно выглядит не так уж нереальным. Все дело в выполнении громадной инвестиционной программы. А вот с ней-то, судя по словам Горбачева, обстоит неважно: обстановка в строительстве остается неудовлетворительной, процесс перестройки затягивается, почти половина

строительных трестов хронически не выполняет планы, срывает сроки ввода мощностей и объектов.

Чтобы ответить на вопрос, кто будет финансировать инвестиционную программу, мы вновь должны вернуться к приведенной выше цитате Н. Рыжкова. В ней сквозит беспокойство и опасение; что предусмотренный рост прибыли не сможет быть достигнут. И не напрасно. Разве может быть достигнуто снижение затрат на 5,5% в 1986–1990 годах, если в предыдущей пятилетке они уменьшались лишь на 1,4%? Но дело даже не в этом. Правительство намеревается ограничить рост цен на средства производства, бывшего доселе важнейшим источником роста прибыли. Но, самое главное, оно предусматривает обеспечить рост заработной платы работников материального производства на 25-30% – главным образом за счет внутренних источников предприятий. Что же тогда остается фактором снижения затрат? Конечно же, экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов. Но она вряд ли станет реальным противовесом названным выше факторам.

При столь ненадежном источнике финансирования должны существовать, если не в плане, то в реальности, альтернативные способы. И они, конечно же, есть. Это карман простого труженика, не знающего из-за дефицита товаров, куда девать деньги. Нетрудно заметить, что дифференциация квартирной платы, постепенное повышение доли колхозной торговли, т. е. продажи продовольствия по повышенным ценам, расширение кооперативного строительства – лишь некоторые конкретные способы реализации этой альтернативы.

В свете сказанного вернемся к «уроку правды» Горбачева. Проявил ли он действительно силу в заявлении правды, да еще в большом и малом? Нет, конечно. Разве мог он сказать, что страна вновь нуждается в «первоначальном накоплении капитала», в удвоении инвестиций? Разве мог он сказать, что платить придется народу и что еще одно поколение советских людей обречено на нищенское существование? Нет, конечно. Не вызвал бы он тем самым энтузиазма народа. А каковы были бы отклики на Западе?! Вот и ограничился полуправдой, или, вернее, двумя правдами – одной для партии (читай – партийной верхушки), другой – для народа. Так удобнее и идеологически, и политически.

8 сентября 1986 года

Религия в нашей жизни

Татьяна Г о р и ч е в а

О РЕЛИГИОЗНОМ В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ

Сегодня современно быть постсовременным. На смену модернизму пришел постмодернизм. У постмодернизма нет претензии быть более «прогрессивным» течением, у него вообще отсутствуют претензии, и он не рассматривает себя как некое новое «течение».

Истоцился модернистский радикализм. Радикальным был в модернизме (у футуристов, сюрреалистов и т. д.) разрыв с прошлым, радикальным – устремление к единственно нужному и единственно правильному. В постмодернизме разрыв уступает место сосуществованию различных культур, методов, уровней. Кич и элитарность, высокие и низкие жанры, аура и отсутствие ауры – всё это мыслимо в сегодняшней культуре одновременно, не исключает друг друга. Нет единого стиля, единой истории, единого времени и языка. Есть времена.

Странничество наоборот

Движение – само по себе благо, оно дает свободу. Паломничества, возвращение к истокам, путешествие «очарованного» странника, путешествие-инициация, т. е. непривязанность к месту и изумление Божьим миром, – формы благодатного движения.

Сегодня быть Божьим странником всё труднее, всё невозможнее. Любопытство, рассеянность, неприкаянность современного человека порождают туризм, который рассматривает мир в фотоаппарат. И, хуже того, абсолютная скорость ведет к абсолютной неподвижности. (Почти как у Шигалева из «Бесов» Достоевского: «выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом».) Растущие скорости сжимают, сплющивают мир. Как сказал один хасидский раб-

би: «Железная дорога – это пример того, как можно за короткий срок всё потерять». Сегодня речь идет уже не о «детской» скорости поезда, а о «скоростях света» в лазерной технике, там, где человеческий разум уже не способен проконтролировать, уследить, предотвратить и человек может стать жертвой собственных изобретений. Уже и сейчас человек напоминает инвалида: летя в самолете, он не движется. Он постигает мир, растянувшись на кушетке перед телевизором. Его космос сведен к «коробке восприятия», он уже не способен выбрать в потоке информации что-то нужное ему и все более напоминает подопытного кролика.

Французский философ Поль Вирильо, отмечая наше рабство у скорости, создал специальную науку «дромологию», науку о смерти пространства. О каком пространстве может идти речь, если долететь от Парижа до Нью-Йорка можно быстрее, чем доехать от Парижа до Страсбурга. Одно из основных зол цивилизации – торопливость. Бог не торопится. И, как сказано у Святых Отцов, «бесы быстры, но не лёгки». Ускорение не породило легкости, а сделало цивилизованную жизнь еще более несвободной, еще более несчастной. Заблуждение многих, мечтающих эмигрировать из Советского Союза: можно будет поездить – это и есть свобода. Но на Западе другое пространство и другое время (вернее, то и другое отсутствуют, но по-иному, чем в Советском Союзе), жизнь здесь точечна, пространство съедено не колючей проволокой, но скукой и малостью мира.

Появились даже мученики скорости. Поль Вирильо пишет о пионере постмодернистской цивилизации Хоуарде Хью. Этот человек очень много сделал для самолетостроения. Еще в 30-е годы он облетел мир – прилетев назад, приземлился на том же месте в Нью-Йорке. Он пытался быть в одно и то же время во всех точках земного шара. Каждый день ему подавали тот же самый обед, в одно и то же время (учитывая свойства локального времени). Затем эта ситуация его стала мучить, и он закончил свои дни как «технологический монах» в пустыне Лас-Вегас. Последние 15 лет своей жизни он жил добровольным затворником в башне гостиницы и проводил свое время, глядя одни и те же старые фильмы. Особенно фильм о людях, оставленных на станции «Зебра» на Северном Полюсе. Абсолютная инерция жизни, «вечное возвращение» одного и того же – как в аду.

Интересно, что, следуя нездешней логике, параллельные ада и рая где-то сходятся. «Вечное возвращение» Хью – бегство от себя и от Бога, уныние, перестающее даже тяготиться собой. Неподвижность – признак ада, ведь в аду нет свободы. Постмодернистский «монах» Хью – антимонах. Ибо признак настоящего монаха – радостное, свободное, вечно обновляемое состояние души. Он тоже может провести жизнь в келье, или в затворе, или на столпе (столпники), но при этом ему будет открыт весь мир, и он сможет давать советы царям и полководцам. Он тоже живет «вечным возвращением» Пасхи, праздников, литургии. Но возвращение это придумано Богом только для того, чтобы показать, что Он – хозяин над пространством и временем, что даже повторение Он волен превратить в творчество, в вечно новое рая.

История постмодернистского «монашества» – история одиночества. Социологи много пишут о «фобии контакта», о распаде семьи, о все продолжающейся атомизации общества. «Пустыня растет».

Растет и вопрошание о Другом. Не смеют сегодня говорить об «умерших» Боге и человеке, поэтому и изобрели нейтральное словечко – Другой. Бубер, Лакан, Фуко, Делёз и многие, многие другие ищут Другого.

Убивающее познание

Цветан Тодоров написал книгу «Завоевание Америки. Проблема Другого». Он исследует документы, оставленные завоевателями Америки, испанскими конквистадорами, и приходит к выводу: понимание Другого проходило в Европе так, что это Другое заглатывалось собственным «я» и исчезало. «Кортес понимает ацтеков довольно-таки хорошо и, без сомнения, лучше, чем Монтесума понимает испанскую действительность. И все же это лучшее понимание не препятствует тому, что конквистадоры разрушают мексиканскую культуру и мексиканское общество. Даже создается впечатление, что как раз благодаря этому пониманию и становится возможным разрушение».

Убивающее познание не может понять, принять, полюбить Другое. Для Тодорова существует два типа обществ: одни, традиционно религиозные, приносят жертвы; другие,

современные, вытесняют потребность жертвовать в потребность убивать. Отсюда парадокс нашего просвещенного времени: «просвещенные» испанцы истребили 25 миллионов американских «диких» аборигенов.

Библейское представление о понимании связано с представлением о сексуальном обладании. Понимание эротично у Платона, в платонизирующей христианской традиции. Но есть и «антибиблейское» понимание. Не зря выдумал Деррида термин «фаллоцентризм». Логическое понимание переходит в логическое насилие и в насилие не только логическое, в истребление. Современные мыслители говорят даже о ярости понимания, о самозакрытости и уничтожении различий, об автоматизме редукции. Но как выбраться из этой петли, как искупить эту карму европейского мышления?

Один из выходов, предложенных французским философом Мишелем Фуко, сводится к археологии знания. Археология хочет понять «Другое в Другом», археологическое мышление не должно присваивать, поработать. Оно лишь понимает. Оно понимает, что существуют только чужие мысли. Поэтому археология должна быть поверхностной, не саморефлектирующей. А если что-то приходит, то приходит извне: для Фуко важны именно те мыслители, которые не вписываются в традиционно философский ряд, которые были странными безумцами, «аутсайдерами». Это Гёльдерлин, Батай, маркиз де Сад, Бланшо, Арто. Они лишь прикоснулись к «темнице» познания, указали на ее границы и на то, что они – «другие». Фуко обращается даже к христианской апофатике, говорит о важности мысли Дионисия Ареопагита. По мнению Фуко (который, несомненно, не знаком с православием), Дионисий Ареопагит «околачивался на границах христианства». И Фуко, и Жиль Делёз (в своей работе о Спинозе) призывают вернуться к «негативной теологии», где о Боге можно говорить только в терминах незнания. За богом самодовольного человеческого знания скрывается Настоящий, Другой Бог. За каждой речью нужно услышать молчание, за каждым бытием разглядеть «ничто».

Аналог «археологической» вертикали у другого француза Жана-Франсуа Лиотара – «Возвышенное», которое он, естественно, понимает по-постмодернистски: «Для возвышенного нужно найти такое понимание, которое не было бы романтическим». Не было бы субъективным, психологизированным,

натянутым. Лиотар анализирует картину американца Ньюмана. У Ньюмана, пишет он, пространство превращается в точку, в этический призыв-знак. «Как молния во мгле, как линия на пустой поверхности»; «Событие – это мгновение, которое падает неожиданно».

Это событие более озабочено своим «что», чем своим «как». «У него нет другой цели, как только *быть* видимым событием». Картина не может быть интерпретирована, смысл и значение приходят потом. Это просто «вырванность» из небытия. Оно действует как минимальный призыв-приказ – будь!

Среди агонии небытия вспыхивает не только археологическая вертикаль и картина Ньюмана. Из постмодернистского безразличия выплывает и любимая сегодняшними мыслителями «руина». Подобно тому, как событие озаряет бессвязное и безъязыкое, руина – это кусок органики в мире мертвом, искусственно сделанном. Ее нельзя изготовить, «задумать», она возникает случайно или благодаря неожиданному разрушению. В ней история переплелась с культурой, время с пространством, тогда как в современной железобетонно-барачной архитектуре нет ни того, ни другого. В мире железобетонных, «протезных» зданий руина светится естественностью и природностью.

Руина, вертикаль, минимализм лиотаровского «будь» противостоят постмодернистской пустыне, энтропии постистории. Необходимо заметить, что все эти противостояния непосредственны, поверхностны (не в отрицательном смысле слова), дорефлексивны. Как будто современного, усталого, пресыщенного человека можно расшевелить только каким-то неожиданным потрясением, ожогом.

Таким ожогом и откровением стало вдруг человеческое лицо. Как сказал Оливье Клеман, в анонимном пространстве сегодняшних городов можно встретить только лица. А Левинас создал целую философию лица. Лицо запрещает убивать.

Только лицом к лицу можно встретить Другого. Лицо не зря связано с «личностью», с ее несводимостью к социальному, биологическому, политическому и другим пластам бытия.

Неожиданно и обжигающе действует святость. О ней, конечно, не говорит никто из названных современных философов – слишком давно разошлись пути западной философии и Западной Церкви. Но нам, русским, не чуждо «религиозно» философствовать, мы не боимся традиции, которая у нас совсем иначе понималась и понимается, нежели «консерватизм» на Западе.

Философия литургии могла бы быть вписана в постмодернистский контекст. Литургия – лицо, икона Бога. Она – «умный вопль» души, услышанный Создателем. «И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримою ненавистью между собой, то сокровенная причина тому есть божественная литургия...» Так писал Гоголь, чувствовавший угрожающее (модернистское и постмодернистское) наступление «ничто». Со всех сторон окружены мы бессмысленностью, которая уже не спрашивает о своем смысле, не интересуется даже собственной скукой, и лишь в середине, в «вертикали» совершается беспримерное событие литургии: «Таинство чуждое вижу и невероятное» (Косьма Маюмский). Она – как молния, как взгляд – ждущий, любящий и грозный взгляд Бога. От события «произведения искусства» литургия отличается своей универсальностью, космичностью, всепроникаемостью – божественная литургия вытекает за ограду церкви обрядами, и в конце концов вся жизнь становится бесконечным обрядом, от которого никогда не устаешь.

Святостью своей литургия дает нам чувствовать Другое Другого. В том-то и тайна, и сила святости: литургические возгласы действуют не как «материал к размышлению», а как призыв: «будь!» Эстетика литургии – это и ее этика: нельзя быть пассивным, театральным зрителем литургии, можно быть лишь со-участником, со-творцом. Нельзя быть и одиноким – литургия всегда соборна. «Дело народа», она вбирает в себя всех Других, она и есть соборная «другость». Собор – собрание многих, фактически всех: и людей, и ангелов, и животных, и трав земных. Время литургии – это со-бытие, совместное «будь!». Плотность литургии парменидовская: «бытие есть, небытия нет». В ее пневмосфере слово значительно, жест спасителен, пределен, способен перевернуть собою

мир. Противоречие между действием и созерцанием в литургии снято, как в Евангелии. Ученики спросили Иисуса Христа, где Он живет. Он ответил: «пойдите и увидите» (Ин., 1-39). В той же главе от Иоанна Нафанаил спрашивает: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп отвечает: «пойди и посмотри». Сначала соверши волевой, свой поступок, сделай первый шаг (переверни свою жизнь) – «пойди». И посмотри – брось взгляд, который видит до рассуждения, не экстенсивен, но интенсивен. Философия «интенсивностей», так любимая французами, вполне литургична. Что может быть интенсивнее крика, «умного вопля души»? Вся литургия – в ее беспримерной «плотности» и полноте состоит из предельно интенсивных «воплей» и взглядов (иконы), которые, вбирая в себя quod этого мира, указывают на таинственную инакость мира другого. При всем своем богатстве и брачной пиршественности литургия не болтлива, а «минималистична», предельна в средних.

Как и руина, литургия не изготовлена, не придумана, в ней есть дикость и необузданная природность. Она органична, хоть и представляет собой «плод культурного творчества». Отсюда парадокс литургии: каждый раз одно и то же – и всё же единожды.

Новый эллинизм?

Оригинальность постмодернизма в том, что он не требует от художника быть новым. Само понятие нового исчезает, потому что кончилась власть времени. Сегодня можно реконструировать образ Мэрлин Монро и голос Марии Каллас, можно заставить их петь тексты, написанные после их смерти. Сегодня и дети зачинаются после смерти отца. Теряются понятия истории, прогресса, ностальгии, старого и нового.

Комплексы, связанные с прошлым (вина), будущим (смерть), настоящим (ответственность), должны исчезнуть.

Но, открыв, что нет ничего нового, постмодернизм оторвал новое от времени, оправдав тем самым немодное старое.

Еще совсем недавно в философии Бергсона или Хайдеггера время означало простот истории, событие, творчество.

Теперь этого прироста как бы нет. Есть затишье, где всё одинаково безразлично.

Затихший мир прекрасен, в нем уже незачем действовать, но этим миром можно любоваться. Для художника наших дней история, общество, наука, искусство кажутся столь сложными, что он более не способен «организовать» материал, имеющийся под рукой.

«Поэтому постмодернизм напоминает собою эллинизм: эпоха больших империй и сфер их влияния... Уже давно настало время деполитизированных мегаполисов, время сложного, выходящего из берегов знания, историзма, библиотек, стилевого многообразия, время, лишенное оригинальности, новых идей»*.

Но, может быть, эта сверхсложная эпоха будет наделена той же судьбой, что и похожая на нее эпоха эллинизма? По законам маятника на смену сложности должна прийти простота, а на смену «вечному возвращению» одного и того же – единственность жертвы? Крест?

Вспомним Пастернака:

«Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, горулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложество, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали.

И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнута человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира» («Доктор Живаго»).

* Н. Böhrringer. Begriffsfelder. Von der Philosophie der Kunst. Berlin, 1985, S. 60.

Не будем загадывать. Даже у Пастернака нет еще нужной, евангельской простоты. И попахивает кичем (т. е. вполне в духе постмодернизма): «человек-пастух в стаде овец на заходе солнца» – избитый образ.

Но, поскольку постмодернизм позволяет всё, он в принципе не закрывает пути к святости, чуду, жертве. Даже напротив: он поощряет и здесь поиск Другого (руина, лицо, безумие, дикость). Большинство современных философов ищет Другое не в христианстве (до которого еще не дошли), а в доисторических культурах и у «дикарей» – индейцев, австралийцев, африканцев. Миф о прогрессе окончательно теряет смысл, Европа всё чаще обращается к предбуржуазным ценностям – к ненужности, расточительности (Батай), к историческим структурам – изгоям и маргинальным типам, к «матери сырой земле», к «силе воображения» (Кампер) и к искусству как таковому (Рормозер, Кампер). Искусство более всего сохранило свою подлинность. В нем есть «просветы», «разрывы», «тайны». Весь мир затянут пленкой символов, значений, «вторичного». Естественным перестал быть даже «голый человек» на голой земле. Впрочем, голости уже не осталось, увидеть голого человека в эпоху постмодернизма невозможно – всё стало модой, одеждой. И только искусство иногда поражает, наносит раны, оголяет. Кроме искусства – религия, с ее инаким «церемониальным порядком» и календарем.

Зеркальная стадия человечества, стадия нарциссизма (Лакан), подходит к концу. Как пишет немецкий философ Дитмар Кампер, нужно идти назад, за миф, и вперед – за постмодернизм*.

Для Кампера выход – в искусстве и в «новой», религиозной «графике боли». Он цитирует Ницше: «...Очевидно, нет ничего более ужасного и чудовищного во всей предыстории человечества, чем его мнемотехника. Нужно сжечь что-то, чтобы это что-то осталось в памяти: лишь то, что не перестает *причинять боль*, остается в сознании, – вот основной принцип старейшей психологии в мире... Ничто не обходилось без кро-

* Dietmar Kamper. Zur Soziologie der Imagination. Hanser, 1986, S. 55.

ви, мученичества, жертв, если человек хотел оставить после себя память».

«Поражение» и «поразить» связаны, как связаны «рана» и «чудо» в языке немецком: *die Wunde – das Wunder*. Время с его поразительными событиями было создано ритуалом: «Событие, конституирующее календарь, становится возможным как остановка потока, как перво-начало» (по-немецки первопрыжок) (Кампер). В отличие от танатократического, рационального порядка, порядок «знаков боли» не воинственен, это «разоруженный», примиряющий космос. Дитмар Кампер, увлеченный, как многие современные немцы, идеей пацифизма, даже считает, что «стигматы» и «графика боли» спасут человечество от ядерной войны.

Опять, как у Гёте: «В твоём ничто хочу найти я всё». Но у Дитмара Кампера рана не переходит диалектически в свое инобытие, не превращается в «стяг победы». Раб не вырастает в господина, и «отрицания отрицания» не происходит. Одним словом, здесь мы имеем дело не с гегелевской диалектикой, а с каким-то другим пониманием негативного. Обратимся к истории.

От ничтожного до Ничто

История «ничто» поучительна.

У Хайдеггера и Киркегора через «ничто» достигалось экзистенциально необходимое состояние страха. Условно говоря, речь шла о страшщемся, погруженном в ничто субъекте (хоть Хайдеггер пошел дальше: он заставил по-новому звучать вопрос Лейбница: «Почему есть что-то, а ничто – нет?»). У Сартра и неокантианцев негативность стала окончательно лишь свойством человека, даже уже – свойством сознания, субъекта. Объект, например камень, не может мыслить, потому что не может отрицать. У Бергсона «ничто» также не существовало онтологически. Отсутствие какой-то вещи было просто *отрицательным суждением* о присутствии этой вещи.

Позднее «ничто» онтологизируется. У Жюлья Делёза влечение – это не только «негация». Эрос заимствовал бедность от матери своей Пенни и богатство от отца – Пораса. Так что «ничто» становится здесь началом творчески-эротическим.

У Жака Лакана «ничто» – в центре мира, который он сравнивает с горшком или вазой: «Ваза – это самое изначальное. Она, несомненно, появилась раньше коробки спичек. Она существовала всегда... Эта ваза, которая всегда была, которую употребляют с древних времен, отражает на параболическом, метафорическом и аналогичном уровнях тайну самого творения»*. Вокруг этой пустоты «толпятся земные и небесные силы». В самой сердцевине реального упрятана пустота, «ничто», и мир творится из нее *ex nihilo*. Поэтому знак мира – фактичность, случайность, неприкаянность. «Вещь по существу – это другая вещь», – заключает Лакан, открывая, как и Фуко, Другое Другого.

Тайна творения, по Лакану, сводится не к данности, а к случайности, негативности этой данности. «Ничто» оставляет свои стигматы на вещах. Чем меньше инерции, запрограммированности, тем мы ближе к творчеству, к «ничто». Лакан, подобно Канту, выводит категорический императив для сегодняшнего дня: поступай так, чтобы ни один твой жест не мог быть запрограммирован. Лакан любит цитировать Лютера, ему близка лютеровская «теология Креста». Он цитировал бы, по всей вероятности, и святых Отцов – Дионисия Ареопагита и Максима Исповедника, если бы знал, что существует апофатическое богословие. Негативное, апофатическое богословие избегает «бинарных» идей: Бог и не красив и не безобразен, он не свет и не тьма и т. д. Нет у Бога и у дарованной Им свободы «программ» (промысел Божий отнюдь не программа), рецептов. Бог всегда больше себя самого, в то время как человек меньше себя: «Ему расти, а мне умяться». Подобно Моисею, мы видим только «задняя» Бога, его след. Наше знание должно распинаться незнанием, очищаться Ничто.

Не гегелевским ничто, легко переходящим во «всё», не этим легковесным «ничто» эстетизма, а тем, которое поражает и ранит. Только такие «стигматы» лягут в основу нового Календаря и возвратят нам украденное время.

* Lacan. *Le seminaire. Livre VII. (Лекция 9). Paris, 1986.*

Обыкновенное чудо

Это новое время можно помыслить как Ничто, спрессованное до чуда. Чудо – преодоление раны. И поскольку Бог – вечный Творец, мы живем в эпоху сплошных чудес. И если мы их не замечаем, то сами виноваты: мы их не видим.

В отчаянии и агонии нашей постистории мы не способны принять даже самое «обыкновенное» чудо. Жан-Франсуа Лиотар как-то сказал об апориях Зенона: это гордость – думать, что стрела летит. Лиотар уже не может поверить самому банальному чуду: покоящаяся в каждой точке стрела все же летит. А Ахиллес догоняет черепаху. Хотя движение вообще немислимо. Если возвратиться из Древней Греции в сегодняшний день, то такой банальностью становится кино. Оно похоже на древнюю стрелу: есть отдельные кадры, синтез их немислим. Когда-то в древности циник Диоген эмпирически нагло доказал, что движение все же существует: он просто встал и начал ходить. В эпоху Евангелия появился новый, неслыханный мотив: чудо становится нормой, а «обыкновенные», нечудесные вещи – производением греха. Господь говорил, что верующие «будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». «На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия».

Христианам трудно расслышать эту музыку чуда, еще труднее реализовать призыв Христа. Они охотнее слушают «разумные» речи Великого Инквизитора. И все же есть святые, есть и философы, дерзнувшие понять чудо как норму. Проблематичное для гордыни Лиотара никогда не было таковым для русского философа Николая Федорова. У Федорова не только стрелы летают и посох расцветает, у Федорова масштабы самые большие: воскресить мертвых здесь и сейчас, стать, действительно, соратником Бога на этой земле. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Нужно уже сейчас воскресить мертвых.

Сегодня распространено два взгляда на историю.

Катастрофический: Закат Европы уже свершился, надежды на Воскресение нет. Грядет культурное, моральное и физическое уничтожение человечества, которое и сейчас превращено в заложника у атомной бомбы.

Постисторический: «спокойный» апокалипсис. Люди уже не рождаются и не умирают. Всё стало безразличным, нереальным, мертвым.

Николай Федоров предлагает выход из тупика: не ждать ни первого (катастрофического) апокалипсиса, ни второго, парализующего, а предотвратить Суд Божий, обожившись. Федоров предлагает победить смерть творческим апокалипсисом, Воскресением, которое должно совершаться сейчас и здесь. Только способ Воскресения странный – научный. Здесь Федоров – утопист и имманентист. Федоровская вера в «человеческое, слишком человеческое» выглядит сегодня как кич. Но и этот кич может быть понят по-постмодернистски, тогда это будет оправданный, «окультуренный» кич, кич с «крылышками», с дыханием, с «аурой».

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ СЕДЫХ

Дорогой Яков Моисеевич!

В одну из недавних встреч я спросил, скоро ли можно ожидать Вас в Европе, а Вы сокрушенно ответили мне, что, к сожалению, Вам не к



кому туда ехать: все Ваши друзья и близкие в Старом Свете давно переселились в иной мир. В тот вечер обстановка не располагала меня к возражениям, но сегодня, в день Вашего 85-летия, я позволю себе категорически с Вами не согласиться. За четырнадцать лет, прожитых мною в Европе, по моим наблюдениям, друзей у Вас здесь не только

не убавилось, но стало еще больше. И это, по моему, в первую очередь результат Вашей сердечной доброжелательности, душевной широты и профессионального таланта, который с годами становится лишь все ярче и привлекательнее. А значит, жить Вам еще и жить и наживать всё больше друзей во всех концах света, где еще существует русский читатель.

Поэтому в день Вашего 85-летия хочу пожелать Вам и по обычаю, и по личному глубочайшему убеждению: до ста двадцати, Яков Моисеевич, до ста двадцати!

Владимир Максимов

Истоки

Иосиф Косинский

ДВЕ МЕМУАРИСТКИ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ

Издаваемый в Париже исторический альманах «Минувшее» по структуре, подбору и комментированию материалов очень напоминает исторический сборник «Память», выходящий на протяжении 1978 – 1982 гг. и, к сожалению, прекратившийся на 5-м томе.

Близость тематики обоих изданий дает себя знать, в частности, в последнем по времени (1987), третьем томе «Минувшего». Раздел «Воспоминания» этого тома открывается записками Ольги Михайловны Фрейденберг под названием «Осада человека», посвященными первым (самым страшным) месяцам ленинградской блокады*. В предпоследнем выпуске «Памяти» заметное место занимает «Блокадный дневник» Е. И. Кочиной**.

У меня, пережившего, как и два упомянутых автора, ленинградскую блокаду, нет сомнений в правдивости картины, рисуемой, независимо друг от друга, Е. И. Кочиной и О. М. Фрейденберг. Но это – в целом; многие же частности, детали, конкретные факты, приводимые ими, и особенности восприятия этих фактов вызывают недоумение и даже протест. Хочется возразить: это было не так! Или, вернее: не совсем так...

* Минувшее. Исторический альманах. Выпуск 3. Париж, «Atheuim», 1987, стр. 7-44.

** Память. Исторический сборник. Выпуск 4. Москва, 1979 – Париж, «ИМКА-Пресс», 1981, стр. 153-208. Полностью имя и отчество Е. И. Кочиной в сборнике не приводится.

В предисловии к «Блокадному дневнику» Е. И. Кочина говорит:

«Если мне удалось хотя бы в небольшой степени отразить отчаяние, страх, голод, лишения, одиночество и моральное падение, вызванное непосильными страданиями, которые принесла с собой война, то я буду считать, что свою роль выполнила».

Это, несомненно, удалось. Но то же удавалось и тем, кто, не переживая сам ленинградскую блокаду, узнавал о ней из вторых рук, спустя много времени, и писал на этой основе роман или повесть. А от воспоминаний очевидца, тем более от д н е в н и к а, ждешь не столько художественной эмоциональности, сколько достоверности и той особой индивидуальной окраски каждой будничной мелочи, какая возможна только при личном участии в событиях, сопровождаемом безотлагательной фиксацией на бумаге всех больших и малых фактов и впечатлений. В этом э ф ф е к т е п р и с у т с т в и я – если не прямого участия – можно усмотреть главную ценность многих личных дневников и хроник.

Ведущему дневник не суждено, за редким исключением, знать, какие из запечатляемых им штрихов быстротекущей действительности сделают его Свидетелем перед Судом Истории, а какие – не привлекут внимания историков. Поэтому его долг – записывать, не мудрствуя лукаво, по возможности в с ё, словно он единственный свидетель и летописец происходящего вокруг.

Два, а не одно лицо у ленинградской блокады. По меньшей мере – два. Общеизвестно: главным был в ней беспощадный голод и мор, вымирание значительной части населения, одичание многих из остающихся жить. Менее известна – хотя логически вполне выводима – обратная сторона этого мора: необычайная для трехмиллионного «цивилизованного города» переоценка ценностей. Проще говоря, невероятное падение интереса ко всему, что не насыщало и не грело.

Писатель Всеволод Иванов откровенно признавался, что в гражданскую войну топил печку Французской энциклопедией. Таких признаний, относящихся к блокадному Ленинграду, советская цензура не пропустила б, – однако в блокадные

зимы дымом из труб «буржук» также ушло немало драгоценнейших книг. Летом сорок второго года какие только сокровища не продавались – и притом за бесценок! – в открывшихся книжных лавках и на книжных развалах! А между тем, это ведь были всего лишь жалкие остатки сказочно богатых частных библиотек – то, что уцелело после первой, самой свирепой блокадной зимы.

На фоне утраты большинством населения всякого интереса к таким вещам, как книги, бумага, карандаши, авторучки, краски и кисти, музыкальные инструменты и многие другие атрибуты культуры, странно звучит замечание Е. И. Кочинной, что ее записи велись «на клочках газет, обоях, бланках: бумаги не было». Если речь заходит о карандаше – та же история: у нее в руке лишь «огрызок карандаша», никак не более. Подчеркну еще раз: голод отнюдь не был б у м а ж н ы м. Особенно в семьях с учащими и учащимися (автор дневника – учительница); в частности, в нашей семье чистые тетради имелись потому, что моя сестра и я тогда были школьниками, а о каких-либо школьных занятиях зимой 1941-42 гг. нам не приходилось и думать. Возможно, автор дневника лишился бумаги из-за перехода в сентябре 1941 г. из одной квартиры в другую, о чем упоминает Е. И. Кочина? Но в сентябре еще торговали магазины, где человеку, привыкшему изо дня в день вести дневник, можно было ее купить...

Конечно, спустя сорок пять лет, живя в совсем иных условиях, было бы нелепо укорять автора блокадного дневника, зачем он вел его не в тетради, а на клочках газет и на обоях. Но я и не укоряю; я просто недоумеваю по этому поводу, и не с позиций 1987 года, а мысленно возвращаясь туда, в бездонный ледяной колодец, в собственное блокадное детство.

И этот дневник я читал с тем же чувством, с каким несколькими годами ранее – «Блокадную книгу» А. Адамовича и Д. Гранина, изданную в Москве: доброжелательно и заинтересованно, пока не царапала душу первая фальшивая нота, а потом уже – прошу прощения, придирчиво и ревниво, невольно ожидая и в то же время опасаясь дальнейших расхождений с действительностью. Но Гранин и Адамович сами не переживали блокаду в осажденном, вымирающем городе, они писали с чужих слов, и спрос с них меньший. При всем том, к чести этих авторов, скажу, что заведомо неверных фактов и оценок в «Блокадной книге» почти не встречается.

К дневнику, тем более принадлежащему человеку с литературными способностями – а именно таков «Блокадный дневник» Е. И. Кочиной, – мы вправе предъявить более строгие требования.

* *
*

Любопытная особенность выделяет его из круга подобных дневников, которые мне приходилось читать раньше. Обычно по мере того, как человек угасал физически, тускнела, съезживалась и его душа. Пространные дневниковые записи становились все короче, и в них, как наглядно показали нам Адамович и Гранин, начинал доминировать один-единственный интерес и единственный глагол: как бы хорошо чего-нибудь – уже безразлично чего! – «покушать»... какая незадача, что «скушать» то-то и то-то не привелось... Шел неотвязный мысленный подсчет крох съестного – съеденных и пронесенных судьбой мимо рта, и невольно те же мысли изливались на бумагу: они были самыми насущными, самыми важными, важнее не было, пожалуй, ничего. В этом смысле дневник Е. И. Кочиной – не чета другим. Не только потому, что ее ежедневные записи становятся все пространнее по мере того, как неумолимый голод надвигается и берет ее за горло, но и потому, что автор дневника при этом не утрачивает склонности к общим, отвлеченным, довольно-таки водянистым рассуждениям:

«Бесчисленные трагедии совершаются каждый день, бесследно растворяясь в тишине города.

Затаив дыхание, с болью и страданием смотрит страна на свой любимый город.

С напряженным вниманием и восхищением смотрит на Ленинград весь мир.

С холодным любопытством и возрастающим озлоблением смотрят на Ленинград немцы» (запись от 28 декабря 1941 года).

Я написал: «автор дневника не утрачивает склонности...», потому что эта склонность проявляется уже с самого начала. Более того, дневник первых дней войны вообще почти что лишен признаков авторской индивидуальности Е. И. Кочиной

и примет ее личной судьбы. Нет возможности даже узнать, где именно Кочиных застигло начало войны. Где, в каком ни разу так и не названном «институте», 25 июня 1941 года с утра до вечера шили вещевые мешки для многих работников этого института, успевших вступить в еще не созданное тогда военное ополчение и уже уходящих в составе этого ополчения на фронт (без всякого намека на хотя бы элементарное военное обучение, надо полагать)? Иными словами, в каком именно ленинградском учреждении ополчение родилось и было снаряжено в бой раньше, чем во всех других, – на четвертый (!) день войны? Или еще: какое это учреждение, как явствует из дневника, в полном составе рыло противотанковые рвы «вокруг Ленинграда» в первую же военную неделю? Вопросы эти не должны бы затруднить Е. И. Кочину – ведь она пишет о том учреждении, где сама работала.

Быть может, тогда, в июне 1941 года, все это являлось военной тайной и не могло быть доверено бумаге – но ведь Е. И. Кочина обрабатывала свой дневник, вводя необходимые уточнения (вплоть до датировки ряда записей), много лет спустя. Кстати, если бы она указала место, где работала «на окопах», как тогда говорили, то есть на рытье этих противотанковых рвов, – можно было бы судить и о достоверности эпизода с немецким самолетом, обстрелявшим «окопниц», что чуть не оборвало жизнь рассказчицы. От себя замечу: не таким уж гнилым было все у большевиков в Ленинграде и под Ленинградом, и в первую неделю войны шанс погибнуть под городом от пулеметной очереди немецкого летчика был едва ли не равен нулю!

Как-то обидно читать про «один завод», где Кочиным в лютый голод удалось тайно разжиться продуктами, и про еще один (очевидно, уже другой) завод, где такая попытка сорвалась, и про остальные ни единожды не названные места, вошедшие в блокадную судьбу рассказчицы. Назови она их – и ее свидетельства обрели бы, так сказать, полнокровную плоть... А в настоящем виде многие страницы дневника подозрительно бесплотны и, более того, зияют расхожими, стертыми фразами. То ли в сотый, то ли в тысячный раз читаем: «Земля от Балтийского моря до Карпат охвачена чудовищной войной» (единственное содержание записи от 27 июня 1941 г.); «Немцы вышли в район Дубно и Ровно. Идут ожесточенные бои. Все это (?) не укладывается в сознании (привожу пол-

ностью запись от 24 июня); «Смерч войны с устрашающей скоростью несется по нашей земле, разбрасывая по пути людей, как легкую шелуху в разные стороны» (записано 23 июня). «С устрашающей скоростью?» Откуда эта оценка на второй день войны? Ведь все мы, рядовые граждане, именно в этот день были успокоены официальной военной сводкой, где говорилось, что немцам всего лишь местами удалось добиться «незначительного тактического успеха» и вклиниться на нашу территорию на глубину не то десять, не то пятнадцать километров! Только и всего...

Многие дальнейшие записи, увы, столь же неконкретны: «Низко, над крышами летели немецкие бомбовозы» (сентябрьская запись без точной даты; мне еще предстоит вернуться к ней)... «Открылись к о е - к а к и е магазины» (запись от 20 февраля 1942 г.)... И так далее, и так далее.

Конечно, есть в дневнике Кочиной и более конкретные записи. Например, сведения о постоянном урезании хлебного пайка – с точным указанием этих несчастливых дней и количества граммов хлеба, получаемых отныне на семью. Не миновали Е. И. Кочину и характерные блокадные несчастья вроде такого: голодный мальчишка-ремесленник с «маленькой лисьей мордочкой» на улице, на бегу, выхватил у нее из рук кусок хлеба – и скрылся... в булочной какой-то мужчина тоже схватил хлеб, полагавшийся ей, и, запихивая его в рот, стремился поскорее проглотить, невзирая на побои... она опрокинула и разлила подсолнечное масло, которого и без того было ничтожно мало... Каждый из таких случаев выглядел в ту пору трагедией – но, читая о них теперь, трудно отделаться от досадного ощущения в т о р и ч н о с т и всех этих описаний: за истекшие десятилетия об этих – или, по крайней мере, об очень похожих – происшествиях миру было уже рассказано, и не раз. Например, ту же сухую информацию о прогрессирующем снижении хлебных норм, с теми же, естественно, датами находим у Д. В. Павлова – в любом из изданий его известной в СССР и за рубежом книге «Ленинград в блокаде»*. Писательница Вера Инбер («Почти три года» – ленинградский

* Она вышла, в частности, в 1965 г. в английском переводе (в США, с предисловием Гаррисона Солсбери, автора еще более известной книги «900 дней. Блокада Ленинграда»). В 1985 г. в СССР появилось 6-е издание книги Павлова.

блокадный дневник, вошедший в ее собрание сочинений) имела неосторожность опрокинуть драгоценную кастрюльку с кашей и, конечно, поведала об этом горестном событии... Чужой хлеб, лихорадочно глетаемый подростком, которого тут же в булочной ожесточенно колотят и топчут ногами, — это, помнится, из записей Адамовича и Гранина...

Занося в дневник бесцветные трюизмы, повествуя о блокадных переживаниях и несчастьях, за истекшее сорокапятилетие возведенных уже в ранг «классических», Е. И. Кочина в то же время странным образом утрачивает способность видеть и осмысливать вещи, детали, которые предстают перед ее глазами, несомненно ее затрагивают, да вот беда! — не были еще никем рассказаны, не фигурируют в книгах. Как на грех, при сопоставлении с тогдашней действительностью почти любая из них не выдерживает пробы.

Чтобы не быть обвиненным в предвзятости, я выбрал пять таких «пробных камней».

Первый. Запись от «...сентября 1941 г.»*

«Я взглянула в окно. Низко, над крышами, летели немецкие бомбовозы».

Итак немцы летали над пригородами Ленинграда, но не над самим городом. Они сбрасывали бомбы на город со значительной высоты — в частности, из-за насыщенности воздушного пространства Ленинграда аэростатами заграждения. Не может быть, чтобы автор дневника не видел последних — они сотнями всплывали ежевечерне и висели в небе, эффектно освещаемые солнцем, на разных высотах, — или не знал их назначения.

Второй. «9 сентября 1941 г.

Разбомбили продовольственные Бадаевские склады: черно-красные лохмотья пожара, треплющиеся по ветру, видны из всех концов города: горит сахар, крупа, мука».

«Из всех концов города» была видна совсем другая, хотя и не менее зловещая, картина.

Вечером 8 сентября над подожженными с воздуха Бадаевскими складами встал колоссальный столб дыма. Издали он

* Так у Е. И. Кочиной. Эта запись помещена между 8-м сентября (первый день массированной атаки Ленинграда немецкой авиацией) и 9-м и относится, очевидно, к одной из этих дат (9-го ожесточенный налет повторился).

походил на слегка колеблющийся, набухающий ствол чудовищного дерева, уходящего кроной в стратосферу, – пожалуй, нечто вроде картины ядерного взрыва, но картины как бы застывшей. Он все рос в толщину и высоту, становился плотнее, все больше растекался вершиной по небосводу; когда стемнело, мы, выйдя на балкон нашей комнаты (к тому времени был объявлен отбой воздушной тревоги), с ужасом увидели, что снизу этот ствол во всю свою толщину ровно и отчетливо подсвечен пламенем.

Без сомнения, он был виден и из Кронштадта, и из пригородов, к тому времени занятых немцами, – Пушкина, Павловска, Красного Села...

Еще раз подчеркну: издали – будь то от Московского вокзала (где жила семья Кочиных), будь то от Финляндского (где жила наша семья) – ничего подобного расхожей картине «черно-красных лохмотьев пожара, треплющихся по ветру» не наблюдалось. Зрелище было зловеще статичным в течение нескольких часов, до глубокой ночи, и все понимали: вот так этот гигантский баобаб и будет стоять над городом, пока под ним не выгорит все дотла. Что и произошло.

Т р е т ь й. В записи, сделанной 19 декабря 1941 г., говорится о детских санках с хлебом, доставляемым в булочную. «Санки окружал вооруженный конвой из пяти человек».

Картина из легенды. В середине декабря хлеб развозился по булочным, как правило, еще автомобилями-фургонами. Могло, конечно, быть и так, что в булочную с близко расположенного хлебозавода везли хлеб на детских санках (в дальнейшем, действительно, это сделалось основным способом доставки продуктов в магазины). При этом в санки впрягались две женщины-продавицы, а «вооруженный конвой» в лучшем случае был представлен сопровождающим сани милиционером в единственном числе. Главной гарантией сохранности хлеба в пути было следующее: буханки укладывались в деревянные или фанерные ящики, те ставились друг на друга, со всех сторон обвязывались веревкой и ею же основательно прикручивались к саням. Напав на них, можно было завладеть буханкой хлеба только в рукопашной схватке с людьми, которые его везли, охраняли и отвечали за него головой. Таких схваток, насколько мне известно, не происходило – по той же причине, по какой не вспыхивало в городе и голодных бунтов. Здесь невозможно анализировать эту ситуацию подробно,

поэтому скажу лишь: в декабре – главным образом из-за страшной разобщенности населения, возникшей за четверть века советской власти, а в дальнейшем – ввиду отсутствия у умирающих с голоду физических и моральных сил. Впрочем, это не мешало властям держать в Ленинграде на всякий случай достаточные силы «госбезопасности»; голод их не затрагивал, что бы ни писали о них потом разные фальсификаторы вроде автора «чекистских» повестей Василия Ардаматского.

Ч е т в е р т ы й. «4 января 1942 г.

„Буржуйка“ закоптила потолок и стены. Они сделались бархатными».

Аберрация памяти. Из записи от 12 декабря 1941 года следует, что «буржуйка» Кочиных использовала тягу голландской печки, имевшейся в комнате. Много хуже пришлось тем ленинградцам (в том числе и нашей семье), у кого было центральное отопление: комнаты не имели печек, а значит, и дымохода, и трубу «буржуйки» нам пришлось вывести в окно. Законный ветер постоянно гнал дым обратно в комнату; наша одежда, вообще все вещи, все книги пропитались устойчивым запахом гари. Но даже в этих условиях потолок и стены комнаты еще далеко не закоптились за зиму в такой степени, чтобы выглядеть «бархатными». Это – явное преувеличение, тем более очевидное, что у Кочиных «буржуйка» просуществовала к 4-му января всего три недели.

П я т ы й. «24 февраля 1942 г.

...Во многих местах, вместо домов, примелькавшихся с детства, возвышались развалины. Большущий г р а н и т н ы й дом – уг. 5-й Красноармейской (и Московского проспекта) разворочен до самого основания. Раньше здесь помещался галантерейный магазин».

Да, этому дому – не то семи-, не то восьмиэтажной громадине – очень не повезло. Осенью 1941 года, в пору ожесточенных воздушных налетов, он был поврежден немецкой бомбой, но две его фасадные стены – выходявшие на 5-ю Красноармейскую улицу и Международный проспект* – тогда не пострадали.

Однако позже, в разгар первой блокадной зимы, многие наиболее крупные, заметные, по большей части угловые

* Московским проспектом он был назван лишь во второй половине 1950-х годов, успев побывать до того «проспектом им. Сталина».

дома Ленинграда сделались очагами многодневных пожаров, тушить которые было невозможно из-за отсутствия воды. Многие из этих пожаров можно приписать буржуйкам и коптилкам, с которыми не управлялись слабеющие руки. Впервые дошел до нас истинно зловещий смысл старинного русского выражения: **з а р о н и т ь о г о н ь**. Многоэтажный дом, где-то в своих недрах начав гореть, за три-четыре дня полностью выгорал: оставались стоять только наружные стены. Странной, однако, была эта избирательность пожаров – так сказать, особо видное положение домов, которые становились добычей огня. Так что можно было предположить и злонамеренный поджог.

Дом, о котором упоминает Кочина, тоже дотла выгорел изнутри, но отнюдь не оказался «разворочен до самого основания»: его угрюмые монолитные **б е т о н н ы е** (не гранитные, разумеется) стены продолжали неколебимо стоять, зияя щелями окон. В ограждаемом ими пространстве виднелись свирепо скрученные то ли взрывом бомбы, то ли огнем железные балки, из окон нижних этажей вывалились горы обгорелого кирпича, загроздив улицу чуть ли не до середины.

Особенно пугающее впечатление оставлял самый верх этого бетонного скелета, лишенного провалившейся от огня крыши: зимними вечерами звезды зажигались и **н а д** неровной, будто обглоданной огнем, кромкой стен, и **п о д** ней – в дырках бывших окон...

Эти стены, грозящие обрушиться в случае попадания новых бомб или снарядов, в конце концов пришлось подорвать, после чего дом, действительно, оказался разрушенным почти до основания. Но это произошло значительно позже – летом или осенью 1942 года. Груда развалин высилась на этом углу до самого конца войны.

Единственная верная у Кочиной деталь: часть первого этажа злополучного дома, действительно, была прежде занята галантерейным магазином...

* * *

Несколько слов об авторском стиле. У каждого, конечно, свой стиль, но неужели в трагические, роковые дни, упоминая

о пулеметной очереди, которая чуть не убила рассказчицу, невозможно было обойтись без претенциозного сравнения пуль с «маленькими металлическими ящерицами»? Эвакуируемых детей Е. И. Кочина сравнивает с «испуганными зверюшками» (и тут же – их головки со «слоями опёнок»), а вокзал, куда их везут, не может не назвать «демаркационной линией (?) их детства». Жизнь становится все тяжелее, все гаже, а из-под пера досужливого рассказчика продолжают выпархивать эти финтифлюшки: «звуки (ложки о чашку. – И. К.) серебряными бубенчиками сыпались в чай»... «запивая горькие пилюли сводок остывшим (непременно остывшим! – И. К.) чаем»... «рано или поздно победа явится к нам с повинной»... «ленинградцы торопливо возводят баррикады из камней, металла, всякой рухляди (?) и своей фантастической любви к городу»...

И так во всем. Очередь «большим ленточным солитером обогнула угол», взгляд скользит по лицу «дохлой плотвичкой», крик «гончим псом» гонится за рассказчицей, а звук ее шагов, напротив, катится впереди «как кегельный шар». Ну, а тишина? Тишина сравнивается то с паром, осаждающимся «на лестничных клетках», то с «крепким вином»...

Неужели все эти вымученные сравнения приходили, подбирались в дни блокады, когда в наших жилищах пальцы, скрюченные холодом, едва могли удержать карандаш? Или это позднейшие вставки?

* * *

Многое из того, что в качестве д н е в н и к о в ы х з а п и с е й способно вызвать у переживших блокаду – да и у других читателей – раздражение или, в лучшем случае, недоумение, отпадет само собой, если рассматривать «Блокадный дневник» Е. И. Кочиной как повесть, вылившуюся в форму непритязательной повседневной хроники и в значительной мере основанную, безусловно, на личных впечатлениях и воспоминаниях автора и его близких. Хотя неточности, отмеченные мной (и не отмеченные), не способны украсить произведение любого жанра – к мемуарам, а тем более к беллетристическому произведению (повести) не приходится предъявлять

столь строгих требований, как к дневниковым записям; это относится и к точности деталей, и к авторскому стилю.

Позволю себе еще такое замечание. О ленинградской блокаде, как справедливо отмечается в сборнике «Память», написано уже немало. Работая над своими воспоминаниями в наше время, Е. И. Кочина могла бы, вероятно, подняться над некоторыми из тогдашних оценок и, с учетом известного ныне, смягчить некоторые акценты. Например, гнев и отчаяние автора, когда из ее рук ремесленник с «лисьей мордочкой» выхватил кусок хлеба, естественны и понятны; понятен и комментарий соседки, осуждающей этих ремесленников («они разработали целую систему, вырывать хлеб на бегу – это их излюбленный прием»), – но неужели за все послевоенные годы автору «Блокадного дневника» не довелось узнать и понять, что несчастные ремесленники гибли от голода первыми, что у них практически не было шансов выжить? Даже те, кого в конце зимы вывозили, находились уже в безнадежном состоянии – они, как правило, не доезжали живыми до Ладоги, и это их трупы, сложенные в штабеля, дождалась похорон на ладожском берегу, в Борисовой Гриве, лишь весной, когда сошел снег и оттаяла земля.

Кажется, в феврале 1942-го, в люто холодный, но солнечный день, идя от Сенной площади по Международному проспекту, посередине моста через Фонтанку я увидел одного из таких обреченных: он лежал на боку рядом с кучей конского навоза – лошадь, видимо, прибыла в город из-за Ладоги, и в этой куче попадались зернышки овса. Вот ради них-то и прилег мальчишка на ледяную мостовую – истаявший от голода, бескровный, прозрачно-желтый, – прилег, чтобы уже больше не встать...

Не будем забывать, что это всё были дети, подростки, набранные перед войной в ремесленные училища в основном из сельских местностей. У них не было в городе ни родных, ни близких, никто не делился с ними последним куском – напротив, «воспитатели», завхозы, коменданты общежитий нещадно обирали их еще в «мирное время», а теперь и вовсе грели себе их последние жалкие крохи.

Память – великая сила, но насколько сильнее и добрее становится человек в своих воспоминаниях, если он повергает их з н а н и е м – будь то знание хронологии, психологии, будь то просто память и опыт других людей! Сегодня, вспоминая

ужасы ленинградской блокады, мы такую возможность имеем...

* * *

Записки О. М. Фрейденберг роднит с дневниковыми записями Е. И. Кочиной обилие – в ущерб конкретным деталям блокадного быта – общих фраз, иногда просто неинтересных, порой даже малопонятных. Это тем более огорчительно и неожиданно, что, в отличие от рядовой учительницы Кочиной, Ольга Михайловна Фрейденберг – известный ученый; как ее представляет издательская аннотация – «разносторонний исследователь исторической поэтики, теории фольклора, ритуально-мифологических образов, античной литературы... автор очень глубоких, хотя и спорных книг».

Далее в той же аннотации читаем:

«В одной из статей, посвященных О. М. Фрейденберг, сказано: „Своей судьбой, человеческим обликом она принадлежит не только истории науки, но и истории культуры“. В этом смысле очень важны не только научные труды О. М. Фрейденберг, не только интереснейшая ее переписка с любимым двоюродным братом – поэтом Б. Л. Пастернаком, но также и много страниц ее частично ретроспективных автобиографических „Записок“».

Действительно, в части, публикуемой историческим альманахом «Минувшее», записки эти «ретроспективны»: впечатления первого дня войны (22 июня 1941), первых ее недель, блокадной зимы 1941-42 гг. поверялись бумаге лишь начиная с мая 1942-го. Вероятно, несколько нечеткий, более того – поверхностный характер записей во многом объясняется этим обстоятельством: речь идет отнюдь не о дневнике.

Как и у Е. И. Кочиной, в записках О. М. Фрейденберг нашли отражение многие события и факты того времени, но опять-таки – главным образом те, которые уже хорошо известны по литературе, по другим воспоминаниям: неудачная эвакуация детей из Ленинграда в первые месяцы войны (детей отправили в те местности, которые оказались на пути немецкого наступления), добровольно-принудительный набор в «народное ополчение», господство в воздухе немецкой авиации,

артиллерийские обстрелы города, многократные – на протяжении суток – воздушные налеты, оживленное – в начале первой блокадной зимы – пешеходное движение по городу, ввиду того, что стали трамваи...

В связи с этим то обстоятельство, что мемуаристка не приводит точных дат всех этих событий, – небольшая потеря для историка.

Хуже другое: мы почти не находим у нее сколько-нибудь ярких индивидуальных эпизодов, таких штрихов повествования, которые могли бы что-то прибавить к известной общей картине, что-то «высветить» с неожиданной стороны, что-то оттенить.

К немногим исключениям я бы отнес такие эпизоды из воспоминаний О. М. Фрейденберг, действительно затрагивающие душу читателя:

«Многие открыто ругали наши власти, уже ничего не боясь. В аптеке, в очереди, возле лежавшего тут же трупа, одна женщина громко говорила:

– Наше правительство жестокое, бессердечное... Нас заставляют умирать. Подумаешь, им земли мало. Да мы отдали бы ее, проклятую, – берите, только лучше жить дайте, родных не убивайте».

«Дул резкий ледяной ветер. Молча шли люди, не глядя, через мост. Вот Васильевский остров, Академия. Вот здание ИЯМа*, эти улицы, где столько пережито, любовь, свидания, целая жизнь... Издалека чья-то фигура идет по вымершей пустынной набережной. Это не Струве? Нет, он уехал. Подходит ближе. Да это Тимофеев! Нет, он умер».

За пределами таких – очень немногочисленных, повторю, – исключений мемуаристка не поднимается выше толков и оценок, обычных для самых темных слоев населения, – с поправкой лишь на ненависть к властям, вспыхивающую с новой силой в условиях блокадного быта.

«Три с половиной миллиона жителей было заперто в осажденном городе, как в ящике, и служило мишенью», – записывает мемуаристка, имея в виду начало блокады, осень 1941 года. Через несколько страниц она замечает: «В Ленинграде погибло за зиму, по слухам, 3½ миллиона человек». То

* Институт языка и мышления.

есть – все погибли? Однако еще через страницу говорится о «запертых в ящик 5 миллионах»...

Удивительно, что автор мемуаров умудрилась запомнить крайне неточно даже песню, звучавшую перед войной изо дня в день на всех перекрестках, без конца передававшуюся по радио – хвастливую песню о всесокрушающей советской танковой лавине*, которая неудержимо устремится на врага,

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет.

У О. М. Фрейденберг:

«...куда велит товарищ Сталин
И верный маршал в бой нас поведет».

А вот – уже неточность, непосредственно касавшаяся быта мемуаристки, – и тем более непонятно, как можно было это забыть за те немногие месяцы, что отделяли день необычной – для ленинградцев – радости от дня, когда это записывалось:

«В самом конце декабря, в связи с успехами армии, был увеличен хлеб на 25 граммов. Но и это было воспринято с восторгом, как знак того, что хоть не уменьшат существующих норм».

Здесь всё неверно – и факт, и его интерпретация. Людям свойственно надеяться на лучшее, и после неоднократных снижений хлебной нормы, доведших в ноябре ежедневную выдачу на «служащую», «иждивенческую» и «детскую» карточки до 125 граммов, а на «рабочую» карточку – до 250, декабрьское повышение нормы было воспринято как свидетельство перелома, как предвестие дальнейших прибавок пайка, как шанс выжить. К тому же прибавка хлеба составила не 25 граммов, а 75 (для служащих, иждивенцев и детей) и 100 (для рабочих).

Эта акция властей была вызвана отнюдь не «успехами армии» (не было тогда, в конце декабря 1941-го, никаких «успехов»), а тем, что, кроме хлеба, население Ленинграда не получало в то время почти никаких продуктов и выдачи их не предвиделось и в январе.

* Эта незабвенная песня начинается словами: «Броня крепка, и танки наши быстры». Имеются свидетельства, что немцы издевательски заставляли петь ее наших солдат в лагерях военнопленных («Пой, Иван: Б р о н ь я крепка!...») – это лишний раз свидетельствует о популярности песни: ее знали по обе стороны фронта.

«Появились специальные хлебные воры, – пишет мемуаристка, – которые вырывали у публики и у продавцов хлеб; пользуясь полной тьмой, они выхватывали хлебные карточки; вспыхнули хлебные грабежи, особенно вечерами, на улицах и в подворотнях».

«Специальные хлебные воры» – что за чепуха! Хлеб в вымиравшем от голода городе сделался мерой всех вещей, и в условиях, когда практически ничего, кроме хлеба, по карточкам не выдавали, понятно, что все помыслы голодных людей обращались к хлебу: у слабого отбирали силой, у более сильного – крали, непосредственно или похищая хлебные карточки. Какие уж там «специалисты» этим занимались! – просто люди, с каждым днем теряющие человеческий облик.

Отметив, что сотрудники НКВД, вплоть до самых мелких, голода совершенно не знали (это действительно так), О. М. Фрейденберг пишет, что те же привилегии в снабжении продовольствием распространялись и на милицию (а это уже абсолютно неверно):

«Работники милиции получали столько, что не могли всего съесть, и приносили домой белые пироги (милиционер распиливал мне дрова)».

Последняя фраза в данном контексте звучит, признаемся, несколько странно. По-видимому, Ольга Михайловна хотела подчеркнуть достоверность своей информации ссылкой на то, что получила ее из первых рук: о сытой милицейской жизни и белых пирогах «от пуза» ей рассказывал не кто иной, как милиционер, пиливший у нее дрова. Однако впечатление достигается обратное: если милиционерам так хорошо жилось, зачем бы им было наниматься – вероятнее всего, тоже за кусок хлеба, ибо хлеб сделался в блокадном городе универсальной валютой, универсальным средством расчетов, – напилку дров к научному работнику?

Очень характерна аберрация мышления О. М. Фрейденберг – человека, по-видимому, всю жизнь имевшего прислугу: утрата последней представляется ей буквально стихийным бедствием, бедствием в масштабах всего города:

«К иждивенцам бесчеловечно причисляли и домашнюю тягловую силу, прислуг... Как только прислугу перестали кормить, развалились семьи, службы, квартиры и целые дома».

«Развалились семьи, службы», – неужели это пишет научный работник, филолог? К сожалению, язык записок вообще

до крайности скверен. Частые в них обобщения выражены чудовищными фразами, вроде: «Страна едва шлепалась по морю крови и нечистот», «Отдельные лица имеют всё в максимальных размерах», «Он (Сталин) алкал ходить по людям и выжимать, как человека, землю» – и так далее, и так далее.

Очень часто подобная удручающе обобщенная «информация» занимает целые абзацы:

«Приезжавшие с фронта передавали, как одна винтовка приходилась на несколько солдат, а немецкие танки мяли тела наших; самолеты немцев беспрепятственно бомбили наши объекты, нашу армию».

Или:

«Русский человек, в моих глазах, был резиновым. Мог погибнуть в известных условиях европейец. Но русский, да еще советский человек обладал неизмеримой емкостью и мог растягиваться, как подтяжка, сколько угодно, в любую сторону». Можно подумать, что не в блокадном городе, на улицах которого лежали тысячи и тысячи непогребенных мертвецов, пишутся эти строки!

Нельзя даже понять, о бомбежке ли города с воздуха или об артиллерийском обстреле идет речь, когда О. М. Фрейденберг пишет:

«Грузовики увозили мертвых. Молодые жизни обливали кровью улицы. Каждые 2-3 минуты радио выкрикивало об опасности, но кварталы пустели и сами, в одно мгновение, в один выстрел. Живые улицы сразу становились абсолютно мертвы. Под воротами, в подъездах, на лестницах замирали, прижавшись к стене, пешеходы. Трамваи пустели, как мертвецы, на пустых рельсах. Бил грохот за грохотом, свист выл за свистом, и великаны бросали с невиданной высоты груды адских досок, которыми уложена преисподняя».

Нет, до крайности мало сможет почерпнуть историк из подобных мемуаров.

Но, мало что давая с точки зрения информации о жизни города в дни блокады, воспоминания О. М. Фрейденберг зато достаточно откровенно характеризуют их автора – увы, со стороны не очень-то приглядной.

Давно известно, что в экстремальных условиях (фронт, тюрьма, концлагерь) все человеческие качества, и в первую очередь отрицательные, проявляются особенно наглядно. К

экстремальным, критическим должны быть отнесены и условия блокадного Ленинграда.

Самым ужасным переживанием, самым чудовищным бедствием за годы блокады для Ольги Михайловны оказался голод (который, как следует из записей, не коснулся ее «настоящему», по-блокадному, – и слава Богу), а выход из строя водопровода и канализации. Говоря о ленинградцах, погибающих с голоду, «обстреливаемых днем осколочными снарядами и ночью бомбардируемых с воздуха», она именует их так: «эти голодные призраки, оставленные без воды и отлива», «эти люди без воды и отлива». Очень характерно. Слова «испращения», «испражняться» по мере усугубления блокадных ужасов все чаще начинают мелькать на страницах ее записок – именно по причине соответствующих крайних неудобств, испытанных ею лично. Этим неудобствам уделено так много внимания, что они заслоняют все другие – в том числе и несравненно более страшные – стороны трагедии вымирающего города.

«С середины января, – повествует мемуаристка, – нам за дорогу заграничную сумочку дворничиха подрядилась носить со своей кухни 2 ведра воды (ежедневно) в течение месяца. Она держала нас в напряженье своей недобросовестностью. То носила, то не носила. Мы оставались без воды, ждали часами; я бегала в дворницкую, напоминала, льстила, уговаривала. Нервы страдали у мамы и у меня; мама переживала эти лишения тяжело, нервически, мучительно... С утра начиналось волнение: принесет ли дворник воды – и когда?

Однажды мы много ждали дворничиху с водой, но не дождалась. Зайдя к ней, я узнала страшную вещь: воды в доме нет совсем, даже в нижних этажах, и не только у нас, но везде».

Конечно, жаль заграничную сумочку, за которую дворничиха так полностью и не рассчиталась (замечу: не по своей вине). Но ведь и то можно было принять во внимание, что в блокадном городе уже совершилась переоценка ценностей, о которой я писал вначале: ничего уже не стоила красивая, но бесполезная заграничная сумочка, и в то же время страшно поднялись в цене хлеб, та же вода и, наконец, просто услуги той же дворничихи: люди были так физически слабы, что два ведра воды, которые приходилось ежедневно носить на верхний этаж за эту несчастную сумочку, могли очень приблизить смерть того, кто, надрываясь из последних сил, их носит.

Понимала ли это Ольга Михайловна? И да, и нет. Понимала, увы, только тогда, когда это касалось ее личных трудов, ее родных, друзей и знакомых, относящихся к тому же кругу: «эти ведра с лестниц и на лестницы, эти хождения пешком, повинности, баки с водой издалека – это убивало вернее бомб и снарядов». Убивало – так сказать, европейцев. Применительно к дворничихе это ей не приходило в голову. Ибо – как уже сказано: «русский человек, в моих глазах, был резиновым... обладал неизмеримой емкостью и мог растягиваться, как подтяжка, сколько угодно, в любую сторону».

Сама О. М. Фрейденберг, перечитывая написанное ею, осталась – судя по авторскому послесловию – вполне довольна: «...Эти записки принесли мне чарующее наслаждение. Я (перечитывая их. – И. К.) попала в имагинарный мир, от которого пахло теми днями, ушедшими навсегда, похороненными (...) в них навсегда сохранена наша жизнь, как бы ужасна она ни была».

Автор не смог по прошествии известного времени отнестись к своим записям критически – это так понятно, так неудивительно! Удивляет другое: что пленило в них редакцию исторического альманаха «Минувшее»?

Идею, вызвавшую к жизни сначала сборники «Память», а в дальнейшем – альманах «Минувшее», удалось реализовать в этих изданиях в целом блестяще. Историка, социологу, публицисту они доставляют ценнейший материал. Но именно поэтому, ввиду уже достаточно обозначившегося уровня исторического альманаха, этому уровню должно бы отвечать всё, что отбирается для него. Публикация на страницах «Минувшего» записок О. М. Фрейденберг представляется еще более огорчительным недоразумением, чем появление в свое время в сборнике «Память» блокадного дневника (или псевдодневника) Е. И. Кочиной.

V. 87

КОСИНСКИЙ Иосиф Алексеевич – родился в 1929 г. в Ленинграде, в семье бывшего офицера (капитана I-го ранга) царского военно-морского флота. В августе того же года отец был арестован по обвинению в «шпионаже» (реабилитация – посмертная, разумеется, –

последовала в 1957 году) и в 1930-м умер в Соловецком концлагере от тифа.

Все годы германо-советской войны семья оставалась в Ленинграде. В 1948 г. окончил там же среднюю школу и поступил в университет. В апреле 1951 г. был арестован органами госбезопасности по обвинению в антисоветской агитации и «сколачивании» антисоветской молодежной организации: «В ходе следствия второе обвинение отпало, что позволило мне оказаться на скамье подсудимых одному (никого не потянул за собой) и отделаться мягким по тем временам приговором (10 лет + 5 лет поражения в правах)».

В конце 1954 г. обратился с просьбой о пересмотре приговора. В июле 1955 г. был «амнистирован» и вернулся в Ленинград, где начал работать переводчиком технической литературы в научно-исследовательском институте.

В 1968 г. уехал в Среднюю Азию, прожил в Душанбе до 1981 г. Выдав себя за еврея, в конце 1981 г. получил разрешение на эмиграцию в Израиль. С февраля 1982 г. живет в Нью-Йорке.

С весны 1983 г. работает в редакции «Нового русского слова». Публикуется также в «Русской мысли», журналах «Континент», «Время и мы», «Стрелец», «Литературный курьер».

Журнал «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*

Искусство

Александра Орлова

ТАЙНА ЖИЗНИ И СМЕРТИ ЧАЙКОВСКОГО

Как известно, история полна белых пятен, иной раз неразрешимых загадок. И изучение событий, скрытых от нас, подчас напоминает судебное разбирательство: историк, как и следователь, ищет истину, опираясь на разнообразные источники. Это и документы (дневники, письма, периодика, гражданские акты, правительственные распоряжения). Это и воспоминания современников – своего рода свидетельские показания, получаемые, в лучшем случае, из первых рук, но иной раз – и из вторых. Степень достоверности всех этих материалов не может считаться абсолютной. В письмах и дневниках возможны субъективные толкования событий; в газетных статьях – преднамеренные лжесвидетельства. А в мемуарах – все это плюс забвение или аберрация памяти. Следовательно, ни один источник, в сущности, невозможно принимать за истину в ее последней инстанции. Задача историка – собрать, сопоставить, тщательно проанализировать все сохранившиеся материалы, подвергнуть их в полном смысле слова судебной экспертизе. Только в контексте всех материалов можно отыскать путь к истине.

Такая задача встала передо мной, когда я приступила к изучению обстоятельств смерти Петра Ильича Чайковского.

* * *

В 1970 году в Ленинградском лектории на публичной встрече с читателями, автору книжки «Чайковский в Петербурге» Л. М. Конисской был задан вопрос: «Почему композитор покончил с собой?» Не спросили: «А правда ли, что он

кончил жизнь самоубийством?» Только: «почему?» Самый же факт самоубийства не вызывал сомнения.

Но как объяснить, почему Чайковский, болезненно боявшийся смерти («злой курноски», как он называл ее), решился на такой шаг? И действительно ли совершил его, или версия о самоубийстве – ложная?

Вопрос этот требует ответа не только ради удовлетворения праздного любопытства. Разгадать тайну Чайковского необходимо прежде всего потому, что биография художника тесно связана с его творчеством. Сам композитор утверждал: «В своих писаниях я являюсь таким, каким меня создал Бог и каким меня сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую»¹.

Однако имеем ли мы право касаться тайны его жизни и тайны его смерти? Ведь Петр Ильич так боялся вмешательства в его личную жизнь! Этот вопрос я задавала себе неоднократно, особенно когда в 1938 году попала в Дом-музей Чайковского в Клину и приступила к изучению его писем.

Л. Н. Толстой писал: «Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие тайны людям»². Для того, чтобы понять внутренний мир Чайковского, надо «навести микроскоп» на тайны его души, отбросив мешанскую мораль и желание приукрасить истину. Однако в Советском Союзе тайна жизни Чайковского, как и тайна его смерти, – тема запретная³.

Работая в Клинском музее, я прочитала все письма композитора к братьям Анатолию и Модесту. Впечатление было потрясающим. Передо мной впервые в полном объеме раскрылась трагедия великого композитора.

Впоследствии часть писем (правда, с некоторыми купюрами, однако такими, что смысл оставался понятным) была опубликована в книге: П. Чайковский. Письма к родным, том 1 (1850 – 1879). Но, едва увидев свет в 1940 году, том был запрещен и изъят. Книга сохранилась лишь в библиотеке Дома-музея в Клину и у тех, кому посчастливилось приобрести ее непосредственно в издательстве. Через несколько лет (в 1955 году) письма Чайковского к членам его семьи в еще более урезанном виде были изданы под названием «Письма к родным» (причем все огромное эпистолярное наследие композитора уместилось в одном томе!). Затем, со множеством купюр, письма вошли в так называемое полное собрание сочинений

Чайковского⁴. Но и в этих кастрированных изданиях внимательный анализ текста помогает увидеть степень саморазоблачения композитора в его исповедальных письмах к братьям.

Чайковский – фигура глубоко трагическая. Не его вина, а его беда – патологическая извращенность. Это – болезнь. И тени она бросить на него не может, вызывая лишь глубокое сострадание. Всю жизнь она мучила его. С юных лет композитор терзался своей обособленностью.

Вот одно из признаний композитора в письме к брату Модесту, страдавшему той же аномалией: «Ты говоришь, что нужно плевать на *qu'en dira t'on!* Это верно только до некоторой степени. Есть люди, которые не могут меня презирать за мои пороки только потому, что они меня стали любить, когда еще не подозревали, что я, в сущности, человек с потерянной репутацией. Сюда относится, например, Саша (сестра композитора, А. И. Давыдова. – А. О). (...) Я знаю, что она о *всем* догадывается и *все прощает*. Таким же образом относятся ко мне очень многие любимые или уважаемые мной личности. Разве ты думаешь, что мне не тяжело это сознание, что меня *жалуют и прощают*, когда, в сущности, я ни в чем не виноват! И разве не убийственна мысль, что люди, меня любящие, иногда могут *стыдиться* меня!»

Вся жизнь Чайковского была отравлена страхом разоблачения. Достаточно привести лишь один эпизод, о котором он сам рассказал в письме к Модесту: «В Фастове я взял газету („Новое время“) и нашел в ней „Московский фельетон“, посвященный грязной, подлой, мерзкой и полной клевет *филиппике* против консерватории. Лично про меня там почти ничего нет, и даже упоминается, что я занимаюсь *одной музыкой*, не принимая участия в интригах и дрызгах. Но в одном месте статьи трактуется про *амуры* профессоров с девицами и в конце ее прибавляется: «*есть в консерватории еще амуры другого рода, но о них, по весьма понятной причине, я говорить не буду*», т. д. Понятно, на что это намек. Итак, тот дамочков меч в виде газетной инсинуации, которого я боюсь больше всего в мире, опять хватил меня по шее. Положим, что лично до меня инсинуация на сей раз не касается, но тем хуже. Моя (здесь купюра, но по смыслу: позорная, скандальная. – А. О.) репутация падает на всю консерваторию, и от этого мне еще стыднее, еще тяжелее»⁶.

Даже из приведенных отрывков видно, каким проклятием была для Чайковского его аномалия и как смертельно боялся он огласки. Для него священным было его призвание, а следовательно, и чистота его имени. И вечная необходимость скрывать свою тайну, постоянное ожидание, что дамоклов меч может опуститься в любую минуту, рождало мучительные переживания.

Бессилие перед природой, невозможность переделать себя, острое сознание непоправимости своей беды наложили неизгладимую печать на мировосприятие композитора. Лейтмотивом его творчества стала тема неумолимого рока, преследующего человека, убивающего мечты о счастье, рока, преодолеть который не во власти людей. И чем зрелее становился его талант, тем явственнее, тем трагичней звучала в его произведениях эта тема.

Характерно для музыки Чайковского и чувство неудовлетворенной любви, тоска по недостигаемому идеалу. Достаточно вспомнить такие музыкальные темы, как тема Одетты в «Лебедином озере» или темы любви Ромео и Джульетты, Татьяны, Германа. Но не только увертюра «Ромео и Джульетты» – произведение, которое, по утверждению Модеста Чайковского – брата и биографа композитора – могло явиться потому лишь, что в юности Петр Ильич пережил безответную мучительную любовь к своему однокашнику Владимиру Гергарду (запомним это имя – оно еще встретится нам), но и все творчество великого композитора раскроется в истинной полноте только в том случае, если мы поймем его душевные страдания.

Насколько сильно в его музыке звучит чувство безнадежной любви, признавался сам Чайковский в письме к Н. Ф. фон Мекк: «Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне *любовь не платоническая?* И да и нет. Если вопрос этот поставить иначе, то есть спросить: испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу – *нет, нет и нет!* Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на этот вопрос. Если же Вы спросите меня: понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу: *да, да и да,* и опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это, не знаю, или лучше сказать, предоставляю судить другим»⁸.

О том же говорят и его многочисленные признания в письмах к любимым братьям – Анатолию и Модесту. Это поразительные документы. Будучи тончайшим психологом и знатком человеческой души, Чайковский постоянно занимался самоанализом. И мы видим, каким проклятием для него оказался врожденный гомосексуализм. Он стремился любой ценой избавиться от своего порока, и, когда понимал всю тщету этого стремления, являлось «желание и жажда абсолютного покоя, то есть смерти»⁹.

К 1875 году (ему было 35 лет) он особенно остро почувствовал невыносимую тяжесть своего существования. «Я очень, очень одинок, – писал он брату. – Да и то правда (здесь купюра, но по смыслу можно понять: моя аномалия. – А. О.) образует между мной и большинством людей непроходимую бездну. Она сообщает моему характеру отчужденность, страх людей, робость, неумеренную застенчивость, недоверчивость, словом, тысячу свойств, от которых я все больше и больше становлюсь нелюдимом»¹⁰.

Через год он приходит к мысли, что единственным выходом из жизненного тупика может стать женитьба или явная связь с какой-нибудь женщиной (главное – чтобы все знали!). В нескольких письмах к братьям он обосновывает свое намерение. Вот что он говорит Модесту: «Я много передумал за это время и о тебе и о нашей будущности. Результатом всего этого размышления вышло то, что с нынешнего дня я буду серьезно готовиться вступить в законное брачное сочетание с кем бы то ни было. Я нахожу, что наши *склонности* суть для нас обоих величайшая и непреодолимая преграда к счастью и мы должны всеми силами бороться со своей природой»¹¹.

Насколько мысль о женитьбе «на ком бы то ни было» овладела Чайковским, видно из многих его писем. И хотя он обещал братьям и сестре (которой, разумеется, иначе объяснял свое намерение) не спешить, избрать жену осмотрительно, он, как известно, поступил вопреки благоразумным планам и женился без оглядки, не размышляя, при первом подвернувшемся случае. Женился на девушке, признавшей ему в любви, даже не будучи хорошо знаком с ней. А девушка эта – Антонина Ивановна Милюкова – оказалась патологически влюбчива, страдала явным сексуальным психозом (она умерла в 1916 году, проведя последние двадцать лет в психиатрической лечебнице).

Результатом этой поспешной женитьбы явилось тяжелое нервное заболевание, едва не погубившее композитора. В письмах к братьям того времени отражаются поистине невыносимые душевные муки, которые Чайковский испытал во время своего недолгого супружества. Из отчаянной попытки стать таким, как все, ничего не вышло.

Такова психологическая атмосфера, в которой жил Чайковский. Не зная этого, нельзя понять причин, приведших к трагедии 1893 года.

* * *

16 октября¹² (1893) года в зале Дворянского собрания в Петербурге состоялась премьера Шестой (Патетической) симфонии Чайковского под управлением автора. Через несколько дней Петербург облетела тревожная весть: Чайковский тяжело болен. А 24 октября «Новости и биржевая газета» в № 293 сообщили: «Весь музыкальный мир встревожен известием о серьезной болезни П. И. Чайковского. К счастью, по последним известиям, болезнь П. И. Чайковского (по предположению – тиф) принимает благоприятное течение». Следовательно, когда готовилась публикация этих сведений, о холере еще не говорили.

В день кончины композитора, т. е. на следующий день – 25 октября, – та же газета (№ 294) поместила заметку: «Жесткая эпидемия не пощадила и нашего знаменитого композитора П. И. Чайковского. Он заболел в четверг днем и болезнь сразу приняла опасный характер». Далее приводятся тексты двух медицинских бюллетеней и сообщается, что в «2½ часа ночи врачи уехали, признав положение безнадежным. В 3 часа ночи П. И. Чайковского не стало» (сообщение было напечатано в день кончины композитора и попало в Хронику, как и в других газетах).

В дальнейшем отчеты о болезни и смерти Чайковского поражают обилием расхождений в рассказах непосредственных свидетелей трагедии. Но уже и в приведенных хроникальных заметках обнаруживается разночтение: в первой сообщается, что у Чайковского, по-видимому, тиф и что 23 октября якобы наступило улучшение. А в заметке, оповещающей о его

кончине, говорится, что болезнь сразу же приняла опасный характер. Правда, заболевание не названо, но, поскольку упоминается эпидемия, ясно, что имеется в виду холера. (Летом 1892 года в России была жесточайшая эпидемия холеры. В следующем году она повторилась, хотя в более слабой степени. Как правило, к осени вспышка затухала. Так было и в октябре 1893 года. В газетных отчетах «о движении холеры» до конца года зафиксированы лишь единичные случаи.)

Всё новые расхождения в различных интервью очевидцев, по-видимому, обратили на себя внимание публики. По городу разнесся слух (быть может, еще при жизни Чайковского), что композитор покончил жизнь самоубийством.

На следующий день после его смерти (26 октября в № 294) «Петербургская газета» писала: «Каким образом мог заболеть холерой живший в отличных гигиенических условиях и только несколько дней тому назад приехавший в Петербург Чайковский?» Надо думать, что подобное недоумение испытывала не одна «Петербургская газета».

В том же номере напечатано интервью доктора Бертенсона – «первого из призванных Петром Ильичом врачей». Инициалы доктора не указаны, но известно (со слов и Л. Б. Бертенсона, и М. И. Чайковского, а также по воспоминаниям В. Б. Бертенсона), что *первым* был приглашен постоянно лечивший композитора его друг Василий Бернардович Бертенсон. В интервью врач рассказал, что Чайковский почувствовал себя плохо в четверг (21 октября), но весь этот день, а также часть следующего (пятница 22 октября) занимался самолечением и «к врачебной помощи не обращался». Только в пятницу вечером (т. е. вечером 22-го) «доктор Бертенсон был призван уже тогда», когда «надо было уже соединить усилия шести человек» для облегчения страданий больного. Далее говорится, что на следующий день (в субботу 23 октября) наступило значительное улучшение и «от холеры собственно» Чайковский «был отвоеван». Но зато в это утро врачей стала беспокоить другая опасность – «продолжительная задержка мочи. И они стали бояться заражения».

Одновременно с интервью В. Б. Бертенсона «Новости и биржевая газета» поместили интервью доктора Н. Н. Мамонова, ассистента Льва Бернардовича Бертенсона – крупного клинициста, лейб-медика, вызванного братом, В. Б. Бертенсоном. Мамонов находился у постели Чайковского до последней

минуты (с ним чередовался второй ассистент Л. Б. Бертенсона, доктор Зандер). Репортеру Мамонов сообщил, что еще в среду, накануне заболевания, Чайковский чувствовал себя плохо. Между тем, по свидетельству Модеста Чайковского, композитор весь день накануне болезни был совершенно здоров и даже поздно вечером чувствовал себя отлично¹³.

27 октября в «Новом времени» (№ 6345) была напечатана статья Л. Б. Бертенсона. Перед статьей редакция поместила следующее сообщение: «Разноречие сведений, появившихся в печати о болезни покойного П. И. Чайковского, заставило нас обратиться к доктору Л. Б. Бертенсону, который руководил лечением покойного композитора».

Однако картина, нарисованная Л. Б. Бертенсоном, лишь усугубила расхождения. Так, в отличие от своего брата, Л. Б. Бертенсон подчеркивает, что с самого начала болезни Чайковского появилась опасность уремии, а в субботу (23 октября, когда, по словам В. Б. Бертенсона эта опасность только-только возникла, а общее состояние больного улучшилось) композитору не только не стало лучше, но он уже умирал и скончался в ночь на воскресенье (24 октября).

Чем можно объяснить подобные расхождения? Напрашивается только один ответ: врачи стремились скрыть истину. Поскольку в Петербурге в октябре все еще наблюдались отдельные случаи заболевания холерой, намеченная сначала версия тифа была заменена версией холеры – жестокой и неумолимой болезни, имеющей, как правило, летальный исход. Быть может, на это решение повлияло и то, что мать композитора умерла от холеры в 1854 году.

Но, очевидно, врачи – порядочные и честные люди, не способные на ложь и авантюру, к тому же растерявшиеся под гнетом разразившейся катастрофы, – настолько запутались, что не смогли выработать единой линии в своих показаниях. Они и сами, видимо, это заметили, потому что в Хронике «Нового времени» за 28 октября (№ 6346) говорится: «Л. Б. Бертенсон, лечивший покойного П. И. Чайковского, просит нас поместить следующую заметку: Некоторыми газетами по поводу болезни П. И. Чайковского мне приписываются мнения и отзывы в таком извращенном виде, что я вынужден от них отказаться, и с тем большим основанием, что никого из гг. репортеров, кроме репортера „Нового времени“ (см. 6345), я не видел, а потому ни с кем из них говорить не мог. Из трех

бюллетеней, появившихся в печати, только два, помещенные в сокращении (...) написаны мной». Речь идет о бюллетенях, которые вывешивались на дверях квартиры Модеста Чайковского в последний день жизни композитора и по часам давали сведения о состоянии больного. Но ведь и данные бюллетеней не совпадают с отчетом Л. Б. Бертельсона!

Естественно, что вся эта путаница лишь подливала масла в огонь, слухи не прекращались и даже усилились. И тогда взялся за перо брат композитора, Модест Ильич.

* * *

При разборке архива М. И. Чайковского в 1938 году (в Клинском музее в то время приступили к генеральной научной обработке архивов и подготовке публикаций) были обнаружены два письма доктора Льва Бертенсона, написанные после кончины композитора. Одно из писем – коротенькая эмоциональная записка с выражением соболезнования по поводу ужасной утраты – кончины дорогого Петра Ильича. Второе – пространное, типа открытого письма или, скорее, инструкции, куда менее эмоциональное, скорее деловое, главное содержание которого сводилось к подробному описанию болезни Чайковского¹⁴. Есть основание полагать, что это письмо должно было послужить «шпаргалкой» для статьи Модеста Чайковского. Иначе чем можно объяснить необходимость рассказать неотлучно находившемуся у постели брата, как протекало заболевание Чайковского?

Однако Модест Ильич был в таком состоянии, что не смог вникнуть во все подробности, продиктованные ему врачом, чтобы поддержать версию холеры. Перед глазами убитого горем человека стояла иная картина, и помимо его воли и сознания заслоняла порой инструкцию врача.

Письмо к редактору М. И. Чайковского появилось 1 ноября в ряде петербургских газет (у меня в руках было «Новое время», № 6350). Называется статья «Болезнь Чайковского» и начинается так: «В добавление к краткому, но совершенно точному рассказу Л. Б. Бертенсона о последних днях жизни моего брата, я считаю нужным, в устранение всяких разноречивых толков, передать вам для оглашения

возможно более полный рассказ всего того, чему я был свидетелем».

Вероятно, Модест Ильич не в состоянии был запомнить ни статьи Бертенсона, ни даже вчитаться в текст его письма. При сличении этих двух «отчетов» бросается в глаза следующее. В каждом из документов описаны симптомы холеры, буквально час за часом прослежено ее течение, но каждый из авторов дает разное описание. Если один сообщает, что у больного были ужасные судороги, то другой, рассказывая о том же самом случае, утверждает, что судороги прекратились. Если по свидетельству одного Чайковский был в полном сознании, то по утверждению другого в то же самое время он был в забытии. И самое удивительное: по свидетельству врача Петр Ильич умер не 25-го, а 24 октября, т. е. на целые сутки раньше. Кроме того, описания и Модеста Чайковского, и Льва Бертенсона расходятся с данными медицинских бюллетеней.

Обращает на себя внимание существенная подробность: Модест Ильич сообщает, что у больного в первый день были резкие боли в области груди, а на следующий день – неутолимая жажда. Об этих явлениях в отчете врача нет ни слова, потому что они не наблюдаются при холере. Но, видимо, это как раз то, что особенно врезалось в память брата, мучительно переживавшего страдания Петра Ильича. Как мне объяснили специалисты-эпидемиологи и токсикологи, подобные симптомы – резкие боли и жажда, – не характерные при холере, типичны для отравления мышьяком.

Что касается состояния Модеста Ильича, то о нем имеется такое свидетельство: «М. И. Чайковский до такой степени убит горем, что вынужден отсутствовать на панихиде; в обществе нескольких преданных лиц он находится в отдельной комнате»¹⁵. Так что нет ничего удивительного, что инструкция Бертенсона не могла помочь в изображении того, чего не было на самом деле.

Следует отметить еще два факта, которые играют роль в показаниях как упомянутых выше свидетелей, так и других лиц, а затем и в мемуарах. В различных газетных интервью упоминается стакан сырой воды, выпитый Чайковским и якобы сыгравший роковую роль. Причем некоторые лица говорят, что сырую воду Петр Ильич пил вечером в среду (20-го) в ресторане, а Модест Ильич утверждает, что роковой стакан

был выпит в четверг днем, когда композитор уже чувствовал себя плохо.

Между тем, во всех инструкциях по борьбе с холерой не только запрещалось пить сырую воду, но и умываться, и мыть посуду рекомендовалось кипяченой водой¹⁶. Оставим в стороне версию о ресторане – она фигурирует главным образом в мемуарах, часто из вторых рук. Но вполне естественно, что ни в одной интеллигентной семье сырая вода на стол не подавалась (и особенно немислимо это вообразить в семье Чайковских, где холера нанесла когда-то страшный удар). Но даже если бы Петр Ильич и выпил сырую воду накануне заболевания, а тем более в самый день, когда он был уже болен, ничего в его состоянии не изменилось бы, так как холера не возникает мгновенно, а имеет инкубационный период и развивается постепенно.

Различные сведения имеются и о ванне, которая необходима для холерного больного (чтобы вызвать деятельность почек), а при отравлении не требуется. Л. Б. Бертенсон рассказывает, что Чайковскому сделали ванну в субботу – по версии врача, в последний день жизни, а Модест Ильич указывает воскресенье (реально последний день жизни Чайковского). Но, очевидно, к ванне вообще не прибегали, о чем, кстати, пишет в своем дневнике А. С. Суворин: «Чайковский погребен вчера. Страшно жаль его. Лечили его Бертенсоны, два брата, и не сажали в ванну»¹⁷.

Надо сказать, что самый факт появления в печати подробнейшего описания болезни великого человека и способов его лечения, уместного в медицинском журнале, кажется беспрецедентным в широкой прессе. В свое время на дверях квартиры Пушкина вывешивались подробные бюллетени о состоянии поэта, о ходе лечения, чтобы информировать людей, с тревогой следивших за его судьбой. Но зачем понадобилось *после смерти* композитора детально описывать, какой у него был стул, как работали почки, как его лечили?! И зачем такого рода рассказ сочли нужным дать и врач, и брат покойного? Ясно, что это была реакция на слухи, желание восстановить (или скрыть!) истину.

Если бы не было существенных расхождений в рассказах очевидцев, можно бы предположить первое. Но любой юрист согласится, что расхождения в показаниях свидетелей, стремя-

щихся убедить суд в справедливости какой-то одной версии, доказывают сомнительность этой версии.

Можно также вообразить себе, как шокированы были чопорные, респектабельные читатели «Нового времени», когда им преподносили описания естественных отравлений Чайковского!

Не только разноречивые свидетельства очевидцев, но и еще одно странное обстоятельство не могло не поразить современников и, несомненно, вызывало недоумение – несоблюдение элементарных предосторожностей как у постели больного Чайковского, так и после его кончины. Распоряжения правительства относительно умерших от холеры были очень четкими, и о них знали все: «В случае смерти от холеры тело удаляется из дому возможно скорее в закрытом наглухо гробу; причем следует также безусловно избегать устройства многочеловеческих похорон и поминок»¹⁸.

В доме Чайковского все правила были нарушены. У постели умирающего собралось пятнадцать человек, не считая священника, пришедшего со Св. Дарами. Два дня покойный лежал сначала на постели, где умер, а затем в открытом гробу (гроб закрыли только вечером второго дня, т. е. 26-го). «Почивший лежит на оттоманке, как живой, и кажется как бы уснувшим», – писало «Новое время» 26 октября в отчете за 25-е (№ 6344). Корреспондент «Московских ведомостей» в сообщении от 26 октября рассказал, что накануне, 25-го, он не смог попасть на панихиды, а 26-го был на двух панихидах, причем отмечал: «Петр Ильич лежит как живой, лицо спокойно, но страшная бледность как бы выражает те страдания, которые перенес дорогой усопший в последние три дня жизни»¹⁹. Только на третий день, 27 октября, публика проходила перед закрытым гробом, утопавшим в цветах.

В первые два дня служили панихиды при большом стечении народа. 25 октября в 2 часа дня (тело покойного еще лежало на оттоманке) и в 7 часов вечера пел хор русской оперы и «присутствовало множество лиц петербургского общества и музыкального мира, литераторы, артисты и т. д.»²⁰. На следующий день (26-го) на панихиде присутствовали педагоги и учащиеся Училища правоведения.

Н. А. Римский-Корсаков вспоминал: «Как странно, что хотя смерть последовала от холеры, но доступ на панихиды

был свободный. Помню, как Вержбилович (...) целовал покойника в голову и лицо»²¹.

Вечером 25 октября скульптор С. Целинский снял посмертную маску. Эта маска – еще одно свидетельство против холерной версии. Маска Чайковского экспонируется в Доме-музее в Клину. Лицо усопшего сильно осунувшееся, но спокойное, тогда как лица умерших от холеры бывают до неузнаваемости искажены судорогами.

Как нарушение строгих правил, так и расхождения в свидетельствах очевидцев не могли остаться незамеченными. Достаточно привести лишь одну статью, чтобы показать, в каком положении оказался доктор Л. Б. Бертенсон и какую жертву, рискуя своим престижем, принес он во имя сохранения тайны Чайковского.

«Мы получили ряд писем, – сообщала «Петербургская газета» 4 ноября (№ 303), – из которых видно, что многие весьма недовольны доктором Бертенсоном, лечившим покойного Петра Ильича Чайковского. Доктор будто бы не принял всех тех мер, прибегнув к которым, быть может, оказалось бы возможным предотвратить роковой исход болезни нашего великого композитора. Спрашивают, например, почему г. Бертенсон не созвал консилиума и пр. и пр. Все это прежде всего вопросы, разрешение которых требует специальных многих знаний. Лучше всего эти вопросы могли бы, несомненно, быть разрешены профессиональными коллегами г. Бертенсона; и потому невольно приходит мысль, что г-н Бертенсон, быть может, поступил бы прежде всего в собственных интересах, передав теперь же весь этот, прискорбный для его профессионального престижа, инцидент на рассмотрение третейского суда».

Но никакого третейского суда не последовало. И не потому ли, что в создавшейся ситуации такая мера оказалась невозможной? Ответить публике на волнующие ее вопросы было нечего. Ведь после прямых обвинений в некомпетентности Бертенсон, казалось бы, был заинтересован, чтобы истина восстановилась. Он же предпочел стать объектом газетной травли, ибо другого выхода не было²².

В 20-х годах в Ленинградской консерватории учились Николай Бертенсон и Юрий Зандер, сыновья двух врачей – свидетелей последних дней жизни Чайковского. Соучеником и близким приятелем Николая и Юрия был музыковед Георгий

Орлов, впоследствии мой муж. Орлов бывал в доме В. Б. Бертенсона и не раз говорил с ним о Чайковском. И Василий Бернардович рассказал Орлову, что композитор был болен не холерой, а принял яд. Об этом же, со слов своего отца, тогда уже покойного, говорил и Ю. Зандер²³.

* *
*

Итак, не холера, а самоубийство! Заранее продуманный способ уйти из жизни так, чтобы было похоже на смертельное заболевание.

Я уже упоминала, что композитор всегда испытывал мучительный страх смерти, и это не только нашло отражение в его высказываниях, но с огромной силой раскрывается в его сочинениях. Достаточно назвать оперу «Пиковая дама» и Патетическую (Шестую) симфонию. Во всем мировом музыкальном искусстве трудно найти творение, где с такой потрясающей силой звучала бы тема смерти и ужас человека перед ней.

И все-таки был случай, когда Чайковский совершил попытку самоубийства. Это произошло осенью 1877 года после роковой женитьбы. Убедившись, что брак для него невозможен, доведенный до отчаяния, Петр Ильич решил: остался один выход – умереть. Но умереть так, чтобы родные не заподозрили самоубийства. Холодной ночью он пошел на Москву-реку, погрузился по пояс в ледяную воду и стоял до тех пор, пока тело не стали сводить судороги. Но не только смертельной простуды, даже насморка у него не сделалось – в таком состоянии возбуждения он тогда находился. Этот эпизод, рассказанный им самим, может дать ключ к событиям 1893 года²⁴.

Естественно напрашивается вопрос: когда и почему возникло такое отчаянное решение у композитора, достигшего вершин мировой славы? Какое событие, заставившее его решиться на этот страшный поступок, произошло в Петербурге во время последнего приезда Чайковского?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо проследить жизнь композитора за эти дни. Начало болезни – четверг 21 октября. Естественно, что отсчет времени после этого уже не требу-

ется. Следует установить, что могло случиться между 10 октября (день приезда в Петербург) и днем заболевания.

Я думаю, что время с 10-го по 16 октября также можно исключить: подготовка к концерту отнимала у Чайковского все силы. По рассказам Модеста Ильича, когда композитор сам дирижировал своими произведениями, в дни репетиций он уставал до такой степени, что, возвращаясь домой, все время спал. Конечно, возможно было общение с друзьями в вечерние часы, может быть, даже посещение театров, но вряд ли до концерта случилось что-то такое, что выбило Чайковского из колеи. В противном случае трудно представить, что он смог бы выступить в концерте. Таким образом, отсчет дней правильной всего начать со следующего числа после концерта, т. е. с 17 октября.

На следующий день после концерта композитор отдыхал дома и готовил для отправки своему издателю и другу П. И. Юргенсону партитуру Шестой симфонии. По-видимому, вечером (другого свободного времени не остается) Чайковский навестил врача Добрянского, жена которого, певица Марокетти, готовила партию Татьяны, и композитор пришел ее прослушать и сделать свои указания. У Добрянских произошло знакомство Чайковского с молодым художником (будущим крупным искусствоведом и живописцем) Игорем Грабарем. Поздно вечером композитор и Грабарь пешком возвращались домой – оказалось, что они жили в одном доме²⁵.

18 октября Чайковский утром писал письма²⁶. После этого отправился на генеральную репетицию «Евгения Онегина» в частной опере (зал Кононова). Во второй половине дня Петр Ильич давал парадный обед пианистке Адель Аус-дер-Оэ, выступавшей с ним в концерте 16 октября²⁷. Вечер провел в Мариинском театре на представлении «Евгения Онегина»²⁸.

Далее известно следующее. 19 октября вечером Чайковский был в частной опере в зале Кононова на представлении оперы Антона Рубинштейна «Маккавеи». 20-го утром у Чайковского был с визитом адвокат Август Антонович Герке по поручению издателя В. В. Бесселя, затем Петр Ильич гулял со своим племянником Александром Литке, после этого обедал у Веры Бутаковой (сестры зятя Чайковского Льва Давыдова), а вечером присутствовал в Александринском театре на представлении пьесы Островского «Горячее сердце». После спектакля в большой компании ужинал в ресторане Лейнера³⁰.

Итак, из последующих за 16 октября дней известно, чем было заполнено все время, за исключением целого дня – с утра до вечера – 19 октября. В этот день утром, до того, как уйти из дому, Чайковский написал деловое письмо (см. примечание 26).

В течение многих лет попытки установить времяпрепровождение Чайковского с утра 19 октября до его появления в театре на вечернем представлении были бесплодны. Ни в каких документах или воспоминаниях день этот не упоминается.

Возможно, что ответ на этот вопрос дал хранитель отдела нумизматики Русского музея в Ленинграде Александр Александрович Войтов. Как и Чайковский, он окончил Училище правоведения (в 1914 году). С юных лет, еще будучи воспитанником Училища, Войтов начал заниматься его историей. Он собрал богатую литературу, изучил массу источников, хранил биографические сведения о всех воспитанниках. Однажды – это было за несколько месяцев до его кончины³¹ – я обратилась к нему за консультацией (по вопросу, не имеющему никакого отношения к Чайковскому). Зашел, конечно, разговор и о Чайковском. Как и я, Войтов не сомневался, что композитор покончил жизнь самоубийством. Я рассказала ему о своей работе и пожаловалась, что не могу установить причину, толкнувшую композитора на этот шаг. «Кажется, я могу вам помочь», – сказал Войтов. И вот что он мне поведал.

«В списке учеников, окончивших Училище правоведения одновременно с Чайковским, есть фамилия Якоби. Когда я находился в Училище, то все праздничные дни проводил в семье умершего в 1902 году Николая Борисовича Якоби. Супруга его была связана с моими родителями дружескими и родственными узами, очень меня любила и радушно принимала. В 1913 году, когда я учился в предпоследнем классе, широко отмечалось 20-летие со дня смерти Чайковского. И тогда, видимо, под впечатлением нахлынувших воспоминаний, Е. К. Якоби под великим секретом рассказала мне историю, которая – как она призналась – давно мучила ее. Она сказала, что решается открыться мне именно теперь, так как она уже стара и чувствует, что не имеет права унести в могилу важную и страшную тайну. «Ты, – сказала она, – интересуешься историей Училища и судьбой его воспитанников. И поэтому должен знать всю правду. А тем более, такую печальную правду...»

...Дело было осенью 1893 года. Чайковскому грозила большая беда. Граф Стенбок-Фермор, обеспокоенный вниманием, которое композитор уделял его юному племяннику, написал возмущенное письмо на имя государя и передал это официальное письмо Якоби, бывшему в то время товарищем обер-прокурора уголовно-кассационного департамента Сената, для вручения Александру III. Разоблачение грозило Чайковскому лишением прав, ссылкой в Сибирь, неминуемым позором. Разоблачение грозило позором и Училищу правоведения и всем правоведам – товарищам композитора. А честь мундира охранялась правоведами как святыня.

Чтобы избежать огласки, Якоби решил поступить так: он пригласил к себе всех бывших товарищей Чайковского, в том числе и его самого, и устроил суд чести. Всего собралось человек восемь³². Е. К. Якоби сидела с рукоделием на своем обычном месте в гостиной, рядом с кабинетом мужа. Оттуда время от времени слышались голоса – то громкие и взволнованные, то стихавшие до шепота. Так продолжалось очень долго, почти пять часов. Потом из кабинета стремительно вышел Чайковский. Он почти пробежал, как-то боком поклонился и ушел, ни слова не сказав. Он был очень бледен и взволнован. Все прочие еще долго оставались в кабинете и тихо разговаривали. А когда чужие разошлись, Якоби, взяв с жены клятву, что она будет молчать, рассказал ей, что они обсуждали письмо Стенбок-Фермора государю. Не дать хода этому письму Якоби не имел права. И вот товарищи приняли решение, которому Чайковский обещал подчиниться. Письмо можно будет задержать только в том случае, если он умрет... Через день или два по Петербургу разнеслась весть о его смертельной болезни».

Сообщенная Войтовым версия представляется мне наиболее вероятной. Рассказ Е. К. Якоби позволяет связать в единое целое подробности беспрецедентного, ужасного дела, фактически – убийства великого композитора. Вероятно, во вторник 19-го Чайковский с утра отправился к Якоби, куда, видимо, был приглашен накануне. Как провел он время после посещения Якоби – остается только гадать. Надо себе представить состояние приговоренного к смерти!

Однако требовалось взять себя в руки настолько, чтобы никто ничего не заметил. В театре он держался так, что ничем не вызвал подозрения у окружающих. Держался и последую-

щие сутки. Еще бы! Если б он показал свое волнение, произошел бы скандал, которого Петр Ильич всю жизнь так боялся. Зная об исключительной нервности Чайковского, трудно представить, как мог он прожить эти двое суток, не выдав себя ни словом, ни поведением.

При этом обращает на себя внимание следующее обстоятельство: начиная с вечера 19 октября, Чайковский все время находится на людях – в театрах, в ресторанах, в гостях, причем в обществе посторонних, – лишь бы не оставаться с глазу на глаз с Модестом Ильичом. Тот бы сразу заметил, что со старшим братом творится что-то неладное. Быть может, Чайковскому удалось скрыть свое душевное состояние еще и потому, что в эти дни Модест был целиком поглощен репетициями своей пьесы в Александринском театре и, возможно, уделял Петру Ильичу меньше внимания, чем обычно.

Утром 20-го, после визита А. А. Герке, Чайковский гуляет с племянником Литке, обедает у Бутаковой, едет в театр в большой компании, ужинает в ресторане с друзьями и знакомыми. Поздно возвращается с Модестом Ильичом, но от ресторана Лейнера до дома – недалеко, да и ночь темная. Во всяком случае, он держит себя в руках настолько, что брат ничего не замечает...

В четверг 21 октября утром, по словам Модеста Чайковского, Петр Ильич выглядел плохо и жаловался на нездоровье и на скверно проведенную ночь. Дальнейшие события в передаче брата композитора описаны скорее всего неверно. Поэтому повторять его рассказ нет смысла. Однако следует обратить внимание на одно весьма важное указание: несмотря на все ухудшающееся состояние, на физические страдания, Чайковский в течение всего дня категорически запрещал вызвать врача. И только вечером, понимая, что спасти его уже невозможно, разрешил пригласить Василия Бертенсона.

Так выглядят события, если рассматривать распорядок дней Чайковского по рассказу его брата. Получается, что роковая встреча с бывшими однокашниками произошла у Якоби 19 октября. Но может статься, именно в этот день ничего особенного не произошло (к примеру, композитор мог навестить своего старшего брата Николая или кузину Анну Петровну Мерклинг). И незачем было Чайковскому утаивать свое душевное состояние в течение последующих дней.

Покойная ныне Галина Николаевна фон Мекк (дочь племянницы Чайковского Анны Львовны, урожденной Давыдовой, и Николая Карловича фон Мекк, сына многолетнего друга и корреспондентки Чайковского, Надежды Филаретовны фон Мекк) в 1981 году выпустила в Англии, где Галина Николаевна жила с конца 30-х годов, свой перевод «Писем к близким» Чайковского. В послесловии к книге рассказала следующее: на третий день после того, как Чайковский написал Юргенсону об издании партитуры Шестой симфонии (письмо от 18 октября), «композитор пришел домой сильно взволнованный чем-то – мы никогда не узнаем, чем – и чувствуя себя не очень хорошо. Он попросил у своего брата стакан воды. Когда тот ему сказал, что нужно подождать, чтобы воду вскипятили (...) он, не обращая внимания на протесты своего брата, пошел на кухню, налил воды из крана и выпил его, проговорив что-то вроде: «не все ли равно?» В тот же вечер ему стало очень плохо; врач, за которым послали на следующее утро, установил, что это была холера»³³.

Три дня спустя после 18-го – это 21-е. Если откинуть холеру, которая не наступает внезапно, через несколько часов после выпитой сырой воды, то, возможно, все так и было: утром Чайковский пишет О. Э. Направник, что «сегодня не едет», затем отправляется к Якоби, возвращается домой «сильно взволнованный» и «нехорошо себя чувствуя», пьет сырую воду (возможно, запивая ею яд), добавив нечто вроде: «не все ли равно?» Все это вполне увязывается. За врачом в тот вечер не посылали, относительно следующего утра Галина Николаевна просто могла не знать. И тогда это все вполне совпадает с интервью В. Б. Бертенсона (см. выше), который сказал, что Петр Ильич почувствовал себя плохо вечером 21-го, весь следующий день занимался самолечением и врача разрешил позвать только вечером (22-го). Ну, а далее, как я уже говорила, все происходило иначе, чем это описали Л. Б. Бертенсон и М. И. Чайковский, хотя последний и проговорился о болях в области груди и сильной жажде.

Как было на самом деле? Этого никто никогда не узнает. Версия, которую приводит Г. Н. фон Мекк, стала ей известна от двоюродного племянника композитора, Александра Литке, с которым она дружила. Самой Г. Н. в 1893 году было два года, так что она не может считаться свидетельницей. Зато А. Литке был в числе тех родных, кто присутствовал

при кончине Чайковского и стал очевидцем происшедшей трагедии.

Вероятно, В. Б. Бертенсону и Модесту Ильичу композитор признался, что выпил яд, тем более, что симптомы отравления были достаточно явными. Однако вряд ли кому-либо поведал о «суде», разве лишь брату Модесту, от которого у него никогда не было тайн. Остальные могли думать, что Петр Ильич добровольно наложил на себя руки. Этим он никого не подводил. В противном случае, участникам встречи у Якоби грозило тяжелое наказание за самосуд. Да к тому же последовал бы громкий скандал, и смерть Чайковского не достигла бы цели.

Брат должен был понять: иного выхода, чтобы приостановить письмо Стенбок-Фермора и предотвратить позорную огласку, не было. Он должен умереть, должен пожертвовать жизнью ради родных, для спасения своего доброго имени. Врачам же надлежит только облегчить ему уход из жизни. Да еще подсказать, как выдать самоубийство за болезнь.

Но, быть может, страшная жертва была принесена зря? По слухам, при дворе сквозь пальцы смотрели на гомосексуализм – многие родственники царя и высшие сановники грешили этим. И лишь в случае скандальных разоблачений высокопоставленным чиновникам давали назначения в дальние провинции, но ни к суду не привлекали, ни в Сибирь не ссылали³⁴. Надо думать, что при благоговейном отношении царя к Чайковскому, получив письмо Стенбок-Фермора, Александр III не дал бы хода этой жалобе и предложил бы замять скандал. (Александр Вячеславович Осовский, профессор Ленинградской консерватории, в 1893 году служивший в Министерстве юстиции – он был по образованию юристом, – в бытность свою директором Института Театра и музыки в Ленинграде, где и я работала в 40-х годах, на мой вопрос: правда ли, что Чайковский покончил жизнь самоубийством? – ответил утвердительно. И добавил следующее: когда Александр III узнал об этом, он был в отчаянии и сказал: «Графов и баронов у нас много, а Чайковский – один». Следует обратить внимание на выражение «графов и баронов много» – значит, царю стало известно о письме Стенбок-Фермора. Откуда царь узнал обо всем? – Говорят, что от своего лейб-медика Л. Б. Бертенсона; следовательно, последний знал правду, но не о самосуде. Вы-

ражение государя в непечатном варианте передавал А. С. Суворин – но смысл остается тот же).

Но ведь не репрессий боялся Чайковский. Боялся потерять уважение в глазах тех, кого уважал сам, боялся запятнать свое имя. Его пугало не наказание, а потеря чести... И ужасное совершилось.

Чтобы подчеркнуть свое преклонение перед гением великого композитора, царь распорядился устроить грандиозные похороны за счет Министерства императорского двора. Отпевали Чайковского в Казанском соборе – честь, которой гражданское лицо удостоивалось впервые. Депутации от разных обществ, учебных заведений, городов, многотысячная толпа провожали композитора в последний путь. Движение на Невском проспекте было приостановлено на несколько часов.

Похоронили Чайковского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры (ныне Некрополь мастеров искусств), вблизи могилы Глинки. Среди выступавших на кладбище был и однокашник композитора, человек, которого в годы юности Чайковский беззаветно и безответно любил, Владимир Герард. Он мог быть одним из тех, кто в доме Якоби приговорил Чайковского к самоубийству. Речь Герарда у могилы производит тягостное впечатление своим ледяным, официальным и бездушным тоном³⁶.

* * *

*

Тайна «суда чести» и насильственного самоубийства Чайковского, казалось, была погребена вместе с ним. Но, по видимому, какие-то архивные документы существуют. Во всяком случае, в 1960 году на лекциях по судебной медицине в Первом ленинградском медицинском институте в качестве примера насильственного самоубийства был назван случай с Чайковским³⁶.

Если бы сообщение А. А. Войтова явилось единственным свидетельством, можно было бы сомневаться в его достоверности, как в версии, никем не подтвержденной. Но, оказывается, та же версия известна из совершенно другого источника.

О суде над Чайковским знал племянник композитора Юрий Львович Давыдов, главный хранитель Дома-музея

Чайковского в Клину. Каким образом стало ему известно об этом – сказать не берусь. Впрочем, может быть, от того же Войтова. Но скорее всего существуют какие-то материалы то ли в клинском, то ли в каком-либо государственном архиве. Во всяком случае, умерший раньше Войтова (в 1965 году), Давыдов незадолго до кончины поделился своей тайной с одним ленинградским музыковедом. А тот в свою очередь сообщил ее английскому музыковеду Джону Уорроку³⁷.

В публикуемой работе объединены все известные в настоящее время свидетельства, как письменные, так и устные. Не исключено, что могут открыться новые подробности. Поэтому я не считаю тему закрытой³⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Письмо к С. И. Танееву от 14 января 1891. – П. И. Чайковский. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. М., 1959–1981, т. XVI-A, стр. 89 (в дальнейшем ссылка на это издание дается сокращенно: римскими цифрами – том, арабскими – страница).

2. Л. Н. Толстой. Дневники. Собрание сочинений, юбилейное издание, т. 53, стр. 94.

3. Лишь недавно, в связи с новым изданием английской музыкальной энциклопедии Гроува, в которой автор очерка о Чайковском, Дэвид Браун, говорит о гомосексуализме композитора и излагает мою версию о его самоубийстве, журнал «Новый мир» (1986, № 10) напечатал «разгромную» статью журналистки Ольги Чайковской. Отрицая мою версию самоубийства и самый факт его, О. Чайковская ни словом не обмолвилась об истинной причине трагедии. Впрочем, читатели в Союзе, привыкшие читать между строк, могли догадаться, что скрыто за фигурой умолчания.

4. В настоящей работе письма Чайковского к братьям до 1879 года приводятся по «Письмам к родным» (М., 1940), сокращенно: ПР, а с 1880 года – по собранию сочинений.

5. Письмо к М. И. Чайковскому от 18 сентября 1876, ПР, стр. 259.

6. Письмо к нему же от 29 августа 1878, ПР, стр. 442.

7. Об этом рассказывает М. И. Чайковский в своих неопубликованных воспоминаниях (в период моей работы в Клину они хранились в его архиве).

8. Письмо от 9/21 февраля 1878, VII, 105-106.

9. Письмо к Н. Ф. фон Мекк от 4 сентября 1878, VII, 384. Это письмо написано под впечатлением той же статьи в «Новом вре-

мени», о которой композитор рассказывал Модесту Ильичу в письме от 29 августа 1878.

10. Письмо к А. И. Чайковскому от 9 января 1876, ПР, стр. 214.

11. Письмо к М. И. Чайковскому от 10 сентября 1876, ПР, стр. 253-254.

12. Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.

13. Чем объяснить такие расхождения? Можно предположить, что доктор Мамонов, зная, что холера никогда не начинается внезапно, придумал это, стремясь поддержать версию о холере. В пору эпидемии 1892 и 1893 гг. о том, как протекает холера, знали все, так как выпускались специальные брошюры. Вот что писал доктор Модест Галанин в своей работе «О холере», напечатанной сперва в «Новом времени» (начиная с 28 июня 1892, № 5865), затем выпущенной отдельной брошюрой (изд. Суворина): «Холера отнюдь не появляется вдруг. В течение нескольких дней до холерного припадка больной чувствует себя уже нехорошо: у него наблюдаются известные симптомы».

14. Первое письмо опубликовано в английском переводе американским музыковедом Н. Слонимским в книге: Herbert Weinstock. Tchaikovsky. A. Knopf, p. 364. Второе осталось неизданным, и, когда после войны я пыталась получить его, мне было сказано, что оно утрачено (не исключено, что на некоторые материалы в Доме-музее Чайковского наложен запрет или, хуже того, они уничтожены).

15. «Новости и биржевая газета», 1893, № 295 от 26 октября.

16. «...прежде всего следует избегать сырой воды – не пить ее; эта мера элементарна и легко осуществима. Не пить сырую (...) мыться кипяченой водой» (М. Галанин, цит. работа).

17. Дневники А. С. Суворина. М.-П., 1923, запись от 29 октября 1893.

18. «Правительственный вестник», 1892, № 142 от 2 июля.

19. «Московские ведомости», 1893, № 296 от 27 октября.

20. «Новое время», 1893, № 6344 от 26 октября.

21. Н. А. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955, стр. 194.

22. Л. Б. Бертенсон (1850 – 1929) вошел в историю русской музыки, как врач, лечивший в последние дни их жизни двух великих композиторов – Мусоргского и Чайковского. В случае с Чайковским он рисковал своей карьерой, своим добрым именем. И неудивительно, что до конца своей жизни категорически отвергал версию самоубийства.

23. В. Б. Бертенсон в своих «Листках воспоминаний» («Исторический вестник», 1912, т. 28, стр. 806-814, отрывки перепечатаны в сборнике: Воспоминания о Чайковском, 4-е изд., Л., 1980, стр. 342-343; в дальнейшем ссылка на этот сборник дается сокращенно: Восп.) повторил «холерную версию». В печати эта версия так и осталась. Но в тесном кругу В. Б. Бертенсон рассказал правду, понимая, что уже никому не может повредить; он умер в 1933 г. Год смерти Зандера – не установлен.

24. Чайковский рассказал об этом своему другу, музыкальному критику Н. Д. Кашкину. Последний же привел исповедь композитора в дополнении к своим воспоминаниям (куда этот эпизод не был включен). Впервые опубликовано в сборнике: Прошлое русской музыки. Под ред. Игоря Глебова. Т. I. Чайковский. Пг., 1920, стр. 125).

25. Воспоминания Игоря Грабаря помогли установить, где провел Чайковский вечер 17 октября. Грабарь не указал года встречи. Но, коль скоро отметил, что жил в одном доме с Чайковским на углу Малой Морской и Гороховой, это могло быть только в последний приезд Чайковского в Петербург. Лишь незадолго до этого квартира была снята М. И. Чайковским (Восп., стр. 415).

26. В XVII томе опубликовано несколько писем композитора, относящихся к последним дням его жизни. Дата 18 октября на трех письмах и 19 октября – на одном проставлены Чайковским, остальные письма датированы редакторами. Из писем, получивших дату 21 октября, одно – записка к жене дирижера Направника с извещением, что «сегодня» композитор не уезжает. Второе письмо под этой датой – деловое, адресованное в Одессу антрепренеру оперного театра И. Н. Грекову. Датировка письма 21-м числом представляется крайне сомнительной. Имеются сведения, что оно пришло в Одессу за два дня до кончины Чайковского, т. е. 23 октября (Восп., стр. 419). Написанное 21-го письмо не могло за такой короткий срок прийти из Петербурга в Одессу. Если же верить М. И. Чайковскому, что уже 21-го с утра брат был болен, то не мог он в этот день писать сугубо деловое письмо с обширными планами на будущее. Этого не могло быть, тем более, в том случае, если Чайковский принял яд. Так что дата письма к И. Н. Грекову представляется ошибочной при любом варианте.

27. Отчет об обеде напечатан в газете «Петербургский листок», 1893, № 294.

28. Восп., стр. 197.

29. «Русская музыкальная газета», 1897, № 12.

30. Почти все подробности о времяпрепровождении Чайковского в последние дни жизни почерпнуты из статьи «Болезнь П. И. Чайковского». Впоследствии почти без изменений эта статья включена М. И. Чайковским в третий том его книги «Жизнь Петра Ильича Чайковского», М.,-Лейпциг, 1900 – 1903 (добавляя подробности, не имеющие непосредственного отношения к описанию болезни композитора).

31. А. А. Войтов скончался 22 октября 1966 г., а встретились мы весной того же года. Меня привела к Войтову ныне покойная Л. М. Конисская, и мы обе записали его рассказ, а потом сверили свои записи.

32. К этому времени в Петербурге из оставшихся в живых товарищей Чайковского по Училищу правоведения находилось семь человек. Н. Б. Якоби в 1893 г. был членом консультации при Министерстве юстиции и товарищем обер-прокурора уголовно-кассационного департамента Сената, действительным тайным советником.

33. P. I. Tchaikovsky. Letters to his family, an autobiography. Translated by Galina von Meck, with additional annotation by Perry M. Young. London, 1981, p. 555 (перевод с английского). За сообщение сведений о статье Г. Н. фон Мекк, умершей в 1985 году, приношу глубокую благодарность Андрею Лишке. – О Николае Карловиче Мекке и его мужественном поведении на следствии упоминает А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ».

34. О наказании гомосексуалистов (лишение всех прав и ссылка в Сибирь) говорится в статье 995 Уголовного кодекса Российской Империи. СПб., 1868 и 1885.

35. Речь Герарда и подробности траурной церемонии и похорон Чайковского помещены почти во всех петербургских газетах (я пользовалась «Новым временем», 1893, № 6347). Речь Герарда напечатана также в брошюре: Петр Ильич Чайковский. Биографические о нем сведения и список музыкальных его сочинений (из Памятной книжки правоведов XX выпуска 1859 года). СПб., 1894, стр. 9-10. Подробное описание похорон сделано Л. Конисской в ее книжке: Чайковский в Петербурге. Лениздат, 2-е изд., 1974.

36. Об этом сообщил мне один ленинградский врач, бывший в то время студентом и слушавший указанные лекции (так как он живет в Сов. Союзе, фамилию его, по понятным причинам, не называю).

37. О том, что тайна «суда» стала известна Джону Уорроку от ленинградского музыковеда, а последнему – от Ю. Л. Давыдова, я узнала только в США. Мне сообщил об этом английский музыковед Дэвид Браун.

38. В последние годы в Ленинграде слух о принудительном самоубийстве Чайковского циркулирует в ином варианте, чем передал мне Войтов. А именно: якобы царь, узнав о жалобе Стенбок-Фермора, призвал – по одной версии, самого композитора, а по другой – его брата Модеста – и приказал принять (дать) яд. В любом варианте этот слух представляется неправдоподобным. Обвинение царя в убийстве, конечно, вполне в духе советской идеологии. Но в корне противоречит тому, что известно об отношении Александра III к Чайковскому. Еще нелепей слух о привлечении к расправе над композитором его брата. Модест Ильич боготворил Петра Ильича, он скорее убил бы себя. К тому же он был глубоко религиозным человеком. – О Чайковская «подбросила» еще одну, весьма туманную, версию: в 1949 году «Литературная газета» получила письмо от какой-то женщины, сообщившей, что Чайковский был убит (кем?), и назвавшей это позорным преступлением царского правительства («Новый мир», 1986, № 10, стр. 244). – Живя в США, я получила несколько писем от бывших ленинградцев и москвичей с сообщением других версий о смерти Чайковского. Версии отличаются деталями, но главное в них – самоубийство композитора – не подвергается сомнению, причем сведения моих корреспондентов исходят из разных кругов – медицинских, юридических и др.

ОРЛОВА Александра Анатольевна (р. 1911) – музыковед (историк-документалист), одна из зачинателей жанра «летописей жизни и творчества» русских композиторов, автор летописей Чайковского (1940, в соавторстве), Глинки (I-е изд. – 1952, 2-е – 1977, в СССР напечатана только первая часть), Мусоргского (1963), Римского-Корсакова (1969 – 1973), а также многих публикаций в музыковедческих сборниках и журналах и научно-популярных книг о Глинке, Чайковском и Мусоргском. Документальные работы Орловой широко используются западными специалистами русской музыки.

С марта 1979 г. живет в США, где продолжает музыковедческую деятельность: помимо подготовки и переработки для перевода старых работ (американское издание летописи Мусоргского вышло в 1983 г., перевод летописи Глинки завершается), Орлова написала новую документальную книгу – летопись жизни и творчества Чайковского для серии «Russian Music Studies» (издается UMI Research Press, Анн Арбор). Там же публикуются и все вышеупомянутые летописи Орловой. В издательстве Оксфордского университета (Великобритания) в настоящее время печатается перевод (переработка) изданной в СССР в 1976 книги «Чайковский о музыке, о жизни, о себе».

За годы эмиграции Орлова опубликовала ряд статей в русскоязычной и англоязычной периодике.

МИХАИЛ ФЕДОТОВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Книга о судьбах людей, вернувшихся по завету предков на свою историческую родину – в Израиль, об их чаяньях и проблемах в новой для них среде и обстановке.

В книге 400 страниц.

Заказы принимаются по адресу:
M. Fedotov, POB 6997
Jerusalem, Israel

Литература и время

Соломон В о л к о в

ВСПОМИНАЯ АННУ АХМАТОВУ

Разговор с Иосифом Бродским

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Жанр «разговора» особый. Сравнительно давно укоренившийся на Западе, в России он пока не привился. Превосходная книга Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, при всей ее документальности, есть в первую очередь дневник самой Чуковской.

Русский читатель к «разговорам» со своими поэтами не привык. Причин на то много. Одна из них – поздняя профессионализация литературы на Руси. К поэту прислушивались, но его не уважали. Эккерман свои знаменитые «Разговоры с Гёте» издал в 1836 году; на следующий год некролог Пушкину, в котором было сказано, что поэт «скончался в середине своего великого поприща», вызвал гнев русского министра просвещения: «Помилуйте, за что такая честь? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стихи не значит еще проходить великое поприще».

Ситуация стала меняться к началу XX века, с появлением массового рынка для стихов. Но было поздно – пришла революция; с ней все и всяческие разговоры укрылись в глухое подполье. И, хотя звукозапись уже существовала, не осталось записанных на магнитофон бесед ни с Пастернаком, ни с Заболоцким, ни с Ахматовой.

Между тем, на Западе жанр диалога процветает. Родоначальник его, «Разговоры с Гёте», все еще стоит особняком. Другая вершина – пять книг бесед со Стравинским, изданных Робертом Крафтом в сравнительно недавние годы; эта блестящая серия заметно повлияла на наши культурные вкусы.

Откристаллизовалась и эстетика жанра. Тут можно назвать «Разговоры беженцев» Брехта и некоторые пьесы Беккета и Ионеско. Успех фильма Луи Малля «Обед с Андрэ», целиком построенного на разговоре двух реально существующих лиц, показывает, что и широкой публике этот прием интересен.

Начальным импульсом для разговоров с Иосифом Бродским стали лекции, читанные поэтом в Колумбийском университете (Нью-Йорк) осенью 1978 года. Я регулярно приходил на эти лекции и записывал их. Они произвели на меня чрезвычайно сильное впечатление. Бродский рассказывал об англоязычных поэтах, о которых я знал мало или ничего. Он также совершенно по-новому анализировал хорошо, казалось бы, известных русских поэтов. В том числе – Анну Ахматову.

Как это случается, мне страстно захотелось поделиться своими открытиями с возможно большей аудиторией. Началась пятилетняя работа, результатом которой явился объемистый манускрипт «Разговоры с Иосифом Бродским». Главы из этого манускрипта в разное время публиковались в русской зарубежной печати.

В предлагаемой вниманию читателя главе об Анне Ахматовой хотелось достичь трех вещей. Во-первых, сохранить как можно больше деталей и штрихов, связанных с Ахматовой и ее окружением.

Далее, казалось важным и интересным представить лабораторию поэтической работы, показав (насколько это возможно) некоторые из побудительных мотивов к сочинению стихов. (Сама по себе эта тема также традиционна для русской культуры: ср. циклы Марины Цветаевой «Поэт» и «Стол», Анны Ахматовой – «Тайны ремесла».)

Наконец, хотелось дать читателю возможность просто посидеть при занимательном разговоре двух людей, двух новых беженцев, безотносительно к тому, что один из них поэт, а другой – журналист. Ведь это – своего рода пьеса, с завязкой, подводными камнями конфликтов, кульминацией и финалом.

Мне помогало то, что мышление Иосифа Бродского – принципиально диалогично (по Бахтину). Это заметно и в стихах Бродского, и в его прозе, и в драматургии.

Но эта же диалогичность создавала определенные трудности при подготовке текстов к печати. Записанные на магни-

тофон разговоры долго и тщательно «монтировались» и редактировались. Финальный вариант был просмотрен самим Бродским. Если, несмотря на всю эту предварительную работу, окончательный результат все еще будет представляться читателю спонтанным, почти импровизацией, я буду склонен воспринимать это как комплимент.

Соломон Волков

Волков. Я часто сталкиваюсь с тем, насколько хрупкая штука – человеческая память. Разговариваешь с людьми и видишь, как события сравнительно недавнего прошлого растворяются, очертания их становятся все более и более зыбкими. Мне хотелось бы в разговоре с вами попытаться восстановить какие-то детали, штрихи, связанные с Анной Андреевной Ахматовой. Попробовать вернуть эти детали из небытия.

Бродский. С удовольствием, если они не канули туда бесследно. Просто я знаю, что не на все вопросы я в состоянии ответить. Всё, касающееся Ахматовой, – это часть жизни, а говорить о жизни – все равно что кошке ловить свой хвост. Невыносимо трудно.

Одно скажу: всякая встреча с Ахматовой была для меня довольно-таки замечательным переживанием. Когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели ты. Гораздо лучшим. С человеком, который одной интонацией своей тебя преображает. И Ахматова уже одним только тоном голоса или поворотом головы превращала вас в хомо сапиенс. Ничего подобного со мной ни раньше, ни, думаю, впоследствии не происходило. Может быть, еще и потому, что я тогда молодой был. Стадии развития не повторяются.

В разговорах с ней, просто в питье с ней чая или, скажем, водки, ты быстрее становился христианином – человеком в христианском смысле этого слова, – нежели читая соответствующие тексты или ходя в церковь. Роль поэта в обществе сводится в немалой степени именно к этому.

Волков. Мы начали говорить о памяти. Оглядываясь назад, вы делите свою жизнь на какие-то периоды?

Бродский. Я думаю, нет.

Волков. Вы никогда не говорили себе: раз в три года или, может быть, в пять лет со мной случается то-то; такое-то время года для меня благоприятно?

Бродский. Вы знаете, я уже не помню, когда и что со мной произошло. Сбился со счета. Я не знаю точно: произошло нечто, скажем, в 1979 году или в 1969-м? Все это уже настолько позади, да? Жизнь очень быстро превращается в какой-то Невский проспект. В перспективе которого все удаляется чрезвычайно стремительно. И теряется – уже навсегда.

Волков. Дело в том, что Ахматова цикличности в своей жизни, повторяемости каких-то дат придавала огромное значение. В частности, помню, что август считался зловещим месяцем:

Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой.

Бродский. У Анны Андреевны дела с памятью обстояли гораздо лучше. Качество памяти было у нее поразительное. О чем бы вы ее ни спросили, она всегда без большого напряжения называла год, месяц, дату. Она помнила, когда кто умер или родился. И, действительно, определенные даты были для нее очень важны. Лично я таким вещам никогда не придавал какого бы то ни было значения. Помню, что два или три раза существенные неприятности в моей жизни начинались к концу января. Но это было чистое совпадение... В этом отношении к деталям, к подробностям, к датам сказывается, видимо, разница в воспитании – или в самовоспитании. Сколько я себя помню, я всегда стремился отделяться от той или иной реальности, нежели пытаться удержать что-либо. В результате тенденция эта превратилась в инстинкт, жертвой коего оказываются не только обстоятельства твоей собственной жизни, но и чужой – даже дорогой тебе жизни. Разумеется, это продиктовано было инстинктом самосохранения. Но за всё, самосохранение это включая, расплачиваешься. В общем, помнить я у Анны Андреевны не научился – если этому вообще научаются.

Волков. Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Ахматовой?

Бродский. Это было, если я не ошибаюсь, в 1962 году, то есть мне было года двадцать два, Евгений Рейн привез меня к ней на дачу. Самое интересное, что начало этих встреч я помню не очень отчетливо. До меня как-то не доходило, с кем я имею дело. Тем более, что Ахматова кое-какие из моих стихов похвалила. А меня похвалы не особенно интересовали.

Так я побывал у нее на даче раза три-четыре, вместе с Рейном и Найманом. И только в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял – знаете, вдруг как бы спадает завеса, – с кем или, вернее, с чем я имею дело. Я вспомнил то ли ее фразу, то ли поворот головы – и вдруг всё стало на свои места. С тех пор я не то чтобы зачастил к Ахматовой, но, в общем, виделся с ней довольно регулярно. Я даже снимал дачу в Комарове в одну из зим. Тогда мы с ней виделись буквально каждый день. Дело было вовсе не в литературе, а в чисто человеческой и – смею сказать – обоюдной привязанности. Между прочим, как-то раз произошла замечательная сцена. Мы сидели у нее на веранде, где имели место все разговоры, а также завтраки, ужины и всё прочее, как полагается. И Ахматова вдруг говорит: «Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи». Я, конечно, взвился, заверещал, что ровно наоборот. Но до известной степени, задним числом, она была права. То есть в те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то и не до ее стихов. Я даже и читал-то этого мало. В конце концов, я был нормальный молодой советский человек. «Сероглазый король» был решительно не для меня, как и «правая рука», «перчатка с левой руки» – все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями. Я думал так, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние.

Волков. Кого же вы к тому времени почитали из русских поэтов?

Бродский. Цветаеву, Мандельштама.

Волков. Вы говорите, что были об ту пору «нормальным молодым советским человеком». Но Цветаева и Мандельштам – это вовсе не стандартное меню тех лет. Когда вы прочитали Мандельштама впервые?

Бродский. Это был 1960 или 1961 год, один из самых счастливых периодов моей жизни. Я болтался без работы, после полевого сезона в геологической экспедиции. И меня взяли на кафедру кристаллографии Ленинградского университета. Первая коллегия, да? Институт земной коры. Вкалывал я там, между прочим, довольно прилично. Строил им вакуумные камеры и прочее, всё, как полагается. Своими руками. Интересная работа была. Но в целом все это носило несколько комический характер. Рабочий день в университете начинался

в девять утра. Я туда приходил к десяти – потому что в десять открывалась библиотека. В эту библиотеку в записался на второй день по поступлении на работу. И поскольку я числился сотрудником, а не студентом, у меня было более выигрышное право доступа к книгам. Я их там массу брал. И, в частности, взял Мандельштама «Камень» (потому что слышал звон о книге с таким названием) и «Tristia». Ну и, конечно, тут же отключился. Особенно сильное впечатление на меня об ту пору произвели «Лютеранин», «Над желтизной правительственных зданий»; несколько стихотворений тогда крепко засели.

Вообще есть что-то совершенно потрясающее в первом чтении великого поэта. Ты сталкиваешься не просто с интересным содержанием, а прежде всего – с языковой неизбежностью. Вот что такое, наверное, великий поэт. Да? После этого ты уже говоришь другим языком.

Вслед за «Камнем» и «Tristia» года два или три мне ничего другого из Мандельштама в руки не попадало. Даже после знакомства с Анной Андреевной. Начальники из ГБ подозревали Ахматову в том, что она разлагает молодых, давая им стихи запрещенных классиков. Но этого совершенно не было. Мне, например, даже не приходило в голову спрашивать у Анны Андреевны стихи Мандельштама. И когда я впоследствии читал новые для меня стихи Мандельштама, то происходило это на окольных путях. Какие-то полутемные люди, совершенно посторонние – как правило, девушки или дамы – вдруг извлекали из своих сумочек Бог знает что. Да? Что было чрезвычайно интересно. И, конечно, было приятно и интересно дать эти стихи почитать кому-нибудь другому, если я знал, что он с ними еще не знаком. Я эти стихи перепечатывал, размножал. Нормальная психология.

Волков. А разве все эти «девушки и дамы» не должны были быть преимущественно поклонницами Ахматовой?

Бродский. Вполне возможно, что они и были. Но они, видимо, считали, что я и так хорошо знаком с сочинениями Анны Андреевны. Что совершенно не имело места, потому что я знал только довольно узкий набор ее стихотворений – двадцать или около того.

Волков. Любопытно поговорить о ленинградской субкультуре конца пятидесятых – начала шестидесятых годов. Вы собирались, читали стихи – того же Мандельштама – друг другу?

Бродский. Нет, этого совершенно не было. Помню, мы друг друга спрашивали: «Это ты читал? А это читал?» Время от времени собирались у кого-нибудь на квартире, но тогда читали только свои стихи. Это началось, когда мне было года 22-23.

Волков. А у кого собирались?

Бродский. У самых разных людей. Поначалу даже и не собирались, а просто ты показывал свои стихи человеку, с чьим мнением считался, либо в чьей поддержке или одобрении был заинтересован. И тогда начинался довольно жесткий разговор. Не то, чтобы начинался разбор твоих стихов. Ничего похожего. Просто собеседник откладывал твое стихотворение в сторону и корчил рожу. И если у тебя хватало пороку, ты спрашивал его: в чем дело. Он говорил: да ну, посмотри, ни в какие ворота.

Моим главным учителем был Рейн. Это человек, чье мнение мне до сих пор важно и дорого. Он, на мой взгляд, обладает абсолютным слухом. Нас было четверо: Рейн, Найман, Бобышев и я. Анна Андреевна называла нас – «волшебный хор».

Волков. «Волшебный хор» – это цитата откуда-нибудь?

Бродский. Нет, думаю, что собственное изготовление. Ахматова, видите ли, считала, что происходит возрождение русской поэзии. И, между прочим, была недалеко от истины. Может быть, я немножечко хватаю через край, но я думаю, что именно мы, именно вот этот «волшебный хор» и дал толчок тому, что происходит в российской поэзии сегодня.

Когда регулярно читаешь новые стихи, как это делаю я, то видишь, что в значительной степени (не знаю, может быть, я опять хватаю через край) это подражание нашей группе, эпигонство. И не то, чтобы у меня по поводу нашей группы существовали какие-то патриотические или ностальгические соображения. Но эти приемы, эта дикция впервые появилась среди нас, в нашем кругу.

Анна Андреевна считала, что имеет место как бы второй серебряный век. К этим ее высказываниям я всегда относился с некоторым подозрением. Но, вы знаете, вполне возможно, что я был и неправ. По одной простой причине: Ахматова имела дело с куда более обширным кругом поэтов, или лиц, в поэзии заинтересованных. В Ленинграде к ней приходили не только мы. И молодые люди несли ей свои стихи не только в

Ленинграде, но и в Москве. И это была чрезвычайно разнообразная публика (не хотелось бы сказать – разношерстная).

Волков. Правда ли, что Ахматова всех вас называла «аввакумовцами»?

Бродский. Из ее уст я этого не помню.

Волков. А сами себя вы как-нибудь называли?

Бродский. Нет. Нам это и в голову не приходило.

Волков. Даже шуточного самоназвания не было?

Бродский. Нет, никакого. Мы просто очень дружили. Были крепко друг с другом связаны, интеллектуально да и чисто человечески.

Волков. А теперь, оглядываясь назад, могли бы вы сказать, что это была определенная литературная группа, школа?

Бродский. Оглядываясь назад, безусловно. Мне вот что пришло не так давно в голову, в связи со стихами Лосева, которые я прочитал. Действительно, в свое время в Ленинграде возникла группа, по многим признакам похожая на пушкинскую «плеяду». То есть примерно то же число лиц; есть признанный глава, признанный ленивец, признанный остроумец. Каждый из нас повторял какую-то роль. Рейн был Пушкиным. Дельвигом, я думаю, скорее всего был Бобышев. Найман, с его едким остроумием, был Вяземским. Я, со своей меланхолией, видимо играл роль Баратынского. Эту параллель не надо особенно затягивать, как и вообще любую параллель. Но удобства ради ею можно время от времени пользоваться.

Волков. Действительно, налицо любопытное сходство темпераментов. За исключением, быть может, Рейна. О сопоставлении дарований говорить не приходится, но даже просто склад характера, темперамент...

Бродский. Чепуха, вы просто не знаете Рейна!

Волков. О стихах Рейна я, разумеется, не говорю. Но возьмем его журнальные статьи и заметки...

Бродский. Человек хлеб зарабатывает! Я представляю, чем бы занимался Александр Сергеевич при советской власти! Даже страшно об этом подумать!

Волков. Одно я могу сказать с точностью: к архивам его бы не подпустили. Так что он не смог бы написать ни «Историю пугачевского бунта», ни «Историю Петра Великого».

Бродский. Вообще с Петербургом происходит нечто странное. На мистику это не тянет, но очень уж к ней близко. Потому что в начале столетия ситуация там была довольно

схожая: опять-таки возникла какая-то группа. Конечно, это было немного более разбросано во времени. Но все-таки: Блок, Мандельштам... Тут, правда, не знаешь, кто из них имеет больше прав на пушкинскую роль. Мандельштам, в общем-то, не был вождем. Скорее эта роль принадлежала Гумилеву, с его «Цехом поэтов». Они себя называли «Цехом поэтов»! Мы, надо нам отдать должное, до таких высот не подымались.

Волков. А что Ахматова вам рассказывала о «первом» серебряном веке?

Бродский. Вы знаете, меня – как человека недостаточно образованного и недостаточно воспитанного – все это не очень-то интересовало, все эти авторы и обстоятельства. За исключением Мандельштама и впоследствии Ахматовой. Блока, к примеру, я не люблю, теперь пассивно, а раньше – активно.

Волков. За что?

Бродский. За дурновкусие. На мой взгляд, это человек и поэт во многих своих проявлениях чрезвычайно пошлый. Человек, способный написать: «Я ломаю слоистые скалы / В час отлива на илестом дне». Ну, дальше ехать некуда! Или еще: «Под насыпью, во рву некошенном, / Лежит и смотрит, как живая, / В цветном платке, на косы брошенном, / Красивая и молодая». Ну, что тут вообще можно сказать! «Красивая и молодая»!

Волков. За этим – Некрасов, целый пласт русской поэтической культуры. Потом еще синематограф, который Блок так любил.

Бродский. Ну да, Некрасов, синематограф, но все-таки уже имел место быть XX век, и говорить про женщину, особенно про мертвую – «красивая и молодая»... Я понимаю, что это эпоха, что это поэтический троп, но, тем не менее, меня всякий раз передергивает. Вот ведь у Пушкина нету «красивой и молодой».

Волков. У него есть «с догарессой молодой»...

Бродский. И у Мандельштама ничего подобного нет! Заметьте, кстати, как сильна в Мандельштаме «баратынская» струя. Он, как и Баратынский, поэт чрезвычайно функциональный. Скажем, у Пушкина были свои собственные «пушкинские» клише. Например, «на диком берегу». Знаете, откуда пришел «дикий берег»? Это, между прочим, ахматовское на-

блюдение, очень интересное. «Дикий берег» пришел из французской поэзии: это «риваж» и «соваж», стандартные рифмы. Или, скажем, проходная рифма Пушкина «радость» – «младость». Она встречается и у Баратынского. Но у Баратынского, когда речь идет о радости, то это вполне конкретное эмоциональное переживание; младость у него – вполне определенный возрастной период. В то время как у Пушкина эта рифма просто играет роль мазка в картине. Баратынский – поэт более экономный; он и писал меньше. И потому, что писал меньше – больше внимания уделял тому, что на бумаге. Как и Мандельштам.

Волков. Баратынский не был профессиональным литератором в пушкинском понимании этого слова. Он мог позволить себе жить в имении и не печататься годами.

Бродский. Ну, если бы обстоятельства сложились по-другому, то он, может быть, наоборот, позволил бы себе печататься. Но читательская масса, которая, по тем временам, была не такой уж массой...

Волков. Это нам сейчас так кажется. Пропорционально масса была вполне приличной. Альманах «Полярная звезда» (тот самый, бестужевский) за три недели купило полторы тысячи человек. А стоил он – 12 рублей книжка...

Бродский. Но вообще-то аудитория у поэта всегда в лучшем случае – один процент по отношению ко всему населению. Не более того.

Волков. Ранний Баратынский у современного ему русского читателя был так же популярен, как самые известные имена в наши дни.

Бродский. Но недолго, недолго он был популярен. Я хотел бы процитировать замечательное письмо Баратынского Александру Сергеевичу: «Я думаю, что у нас в России поэт только в первых незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящиеся в нем почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мрут, потому что стихи его все-таки не проза».

Волков. Баратынский был разочарован и уязвлен утратой своей популярности. Его «Сумерки» – очень горькая и желчная книга.

Бродский. Это не желчь и не горечь. Это трезвость.

Волков. Трезвость, которая пришла вслед за убийственным разочарованием.

Бродский. Что ж, для поэта разочарование – это довольно ценная вещь. Если разочарование его не убивает, оно делает его действительно крупным поэтом. На самом деле, чем меньше у тебя иллюзий, тем с большей серьезностью ты относишься к словам.

Волков. На мой вкус, «Сумерки» – лучшая книга русской поэзии. Особенно я люблю «Осень».

Бродский. Нет, в «Сумерках» «Бокал» будет получше все-таки. И, если уж мы говорим о Баратынском, то я бы сказал, что лучшее стихотворение русской поэзии – это «Запустение». В «Запустении» все гениально: поэтика, синтаксис, восприятие мира. Дикция совершенно невероятная. В конце, где Баратынский говорит о своем отце: «Давно кругом меня о нем умолкнул слух, Прияла прах его далекая могила, Мне память образа его не сохранила...» Это всё очень точно, да? «Но здесь еще живет...» И вдруг – это потрясающее прилагательное: «...его доступный дух». И Баратынский продолжает: «Здесь, друг мечтания и природы, Я познаю его вполне...» Это Баратынский об отце... «Он вдохновением волнуется во мне, Он славить мне велит леса, долины, воды...» И слушайте дальше, какая потрясающая дикция: «Он убедительно пророчит мне страну, Где я наследую несрочную весну, Где разрушения следов я не примечу, Где в сладостной тени невянущих дубров, У нескудеющих ручьев...» Какая потрясающая трезвость по поводу того света! «...Я тень, священную мне, встречу». Помоему, это гениальные стихи. Лучше, чем пушкинские. Это моя старая идея. Тот свет, встреча с отцом – ну, кто об этом так говорил? Религиозное сознание встречи с папашей не предполагает.

Волков. А «Гамлет» Шекспира?

Бродский. Ну, Шекспир. Ну, греческая классика. Ну, Вергилий. Но не русская традиция. Для русской традиции это мышление совершенно уникальное, как и заметил о Баратынском Александр Сергеевич, помните? «Он у нас оригинален, ибо мыслит; он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко».

Волков. Говорила ли когда-нибудь о Баратынском Анна Андреевна?

Бродский. Нет, до него как-то дело не доходило. И в этом вина не столько Ахматовой, сколько всех вокруг нее. Потому что в советское время литературная жизнь проходит в сильной степени под знаком пушкинистики. Пушкинистика – это единственная процветающая отрасль литературоведения. Правда, сейчас эта ситуация начинает потихоньку меняться.

Волков. Мне также представляется странным отсутствие в разговорах Ахматовой другого поэта – Тютчева.

Бродский. Припоминаю, что о Тютчеве шел разговор в связи с выходом маленького томика его стихов с предисловием Берковского. Что ж, Тютчев, при всем моем расположении к нему, поэт не такой уж и замечательный. Мы повторяем: Тютчев, Тютчев, а на самом деле действительно хороших стихотворений набирается у него десять или двадцать (что уже, конечно же, много). В остальном же, более верноподданного автора у государя никогда не было. Помните, Вяземский говорил о «шинельных поэтах»? Тютчев был весьма «шинелен».

Волков. Вы знали Берковского?

Бродский. Да, он жил за углом, я к нему заходил. Воспоминания мои о Берковском чрезвычайно приблизительны. В кругах ленинградской интеллигенции говорили: Берковский, Берковский. И у меня уже с порога было некоторое предубеждение: знаете, когда про кого-то очень долго говорят... Это был человек небольшого роста, с седыми волосами, склада апоплексического. Необычайно интересовался дамскими коленками. А по тем временам я обращал внимание на поведение человека, его манеры. Что же до предисловия Берковского к сборничку Тютчева, то оно мне в сильной степени не понравилось. Реакции Анны Андреевны ни на поэта, ни на редактора этого сборничка я не помню.

Ахматова любила повторять: «Что ни говорите, а символизм – это последнее великое течение в русской литературе». Думаю, между прочим, что не только в русской. Это действительно так: и по некоей цельности, и по масштабу, объему вклада в культуру. Но, на мой взгляд, это было действительно течение. Если позволено будет поиграть словами: великое, но течение.

Волков. А разве акмеизм она не выделяла как особое направление? В свое время акмеисты весьма отчетливо противопоставляли себя символизму.

Бродский. Совершенно верно. Но, вы знаете, в 60-х годах этого уже не было – ни в разговорах, ни в поведении, ни, тем более, в позициях. К тому времени уже невозможно было восстановить пафос этого противопоставления, этой полемики. Все это уже перестало существовать даже задним числом. К тому же Анна Андреевна была человеком в достаточной степени сдержанным и скромным.

Волков. Почему Анна Андреевна отзывалась о Кузмине как о нехорошем человеке? Чем он был ей так неприятен?

Бродский. Да ничего подобного! Это неправда, миф. Она к Кузмину, к его стихам очень хорошо относилась. Я это знаю потому, что к поэзии Кузмина относился хуже, чем Анна Андреевна, – потому что не очень-то знал его – и в этом духе высказывался. И у Кузмина, конечно же, масса шлама. Ахматова встречала эти мои выпады крайне холодно.

Если у Анны Андреевны и были какие-то трения с поэзией Кузмина, то они были связаны с ее «Поэмой без героя». Она чрезвычайно дорожила этим произведением. И, разумеется, находились люди, указывавшие на сходство строфы, которой написана «Поэма без героя», со строфой, которую Кузмин впервые использовал в своей книжке «Форель разбивает лед». И утверждавшие, что кузминская строфа куда более авангардна.

Волков. Но разве действительно ахматовская строфа не ведет свое происхождение от кузминской «Форели»?

Бродский. Вы знаете, трудно утверждать это с полной определенностью. Но, во всяком случае, музыка ахматовской строфы абсолютно самостоятельна: она обладает уникальной центробежной энергией. Эта музыка совершенно завораживает. В то время как строфа Кузмина в «Форели» в достаточной степени рационализирована.

Волков. На отношении Ахматовой к Кузмину могли повлиять мемуары, начавшие приходить из русского зарубежья: Георгий Иванов, Сергей Маковский. Там муссировалась роль Кузмина как учителя Ахматовой. Анну Андреевну это весьма раздражало.

Бродский. Мемуары Георгия Иванова ее сильно бесили, потому что там было чрезвычайно много вымысла. И это Ахматову, действительно, возмущало.

Волков. Я помню также ее возмущение «Парнасом серебряного века» Маковского. Она говорила примерно следую-

щее: Маковский был богатенький барин, который Мандельштама и Гумилева на порог, что называется, не пускал. Их он считал желторотыми гимназистами, босяками, а себя – большим поэтом и ценителем.

Бродский. Да, меценатом. Это я помню.

Волков. Ахматова говорила, что ее пытаются изобразить дамочкой-любительницей, которую Кузмин и Гумилев совместными усилиями произвели в поэтессы.

Бродский. Это, конечно, полный бред. И разговоров такого порядка с Ахматовой было немного – настолько подлинная картина самоочевидна. Было ясно, что это не предмет для серьезного обсуждения. Чего Анна Андреевна терпеть не могла, так это попыток запереть ее в 10-х – 20-х годах. Все эти разговоры, что она прекратила писать, что в тридцатые годы Ахматова молчала, – вот это бесило ее бесконечно. Это понятно. Меня, например, – когда я потом читал и читал Анну Андреевну – куда больше интересовали именно ее поздние стихи. Которые, на мой взгляд, намного значительней ее ранней лирики.

Волков. Говорила ли Анна Андреевна о гомосексуальных наклонностях Кузмина?

Бродский. Ничего конкретного. В России даже интеллигентная среда все-таки очень пуританская. Да и вообще, я не очень-то припоминаю разговоры с Анной Андреевной на уровне сплетни.

Волков. Мне кажется, Анна Андреевна иногда была совсем непрочь посплетничать. И делала это с большим вкусом.

Бродский. Конечно, конечно. Вы знаете, это уже порок моей памяти.

Волков. Кузмину-человеку, как это ни странно, в разговорах «не для печати» доставалось меньше других. Его как бы щадили – быть может, именно потому, что он представлял собою сравнительно легкую мишень для злословия.

Бродский. Совершенно верно. И я помню, что в разговорах с Ахматовой – о ком бы то ни было – всегда наличествовала большая доля иронии. С ее стороны – ирония нажитая, с нашей – снобистская, то есть забегающая вперед.

Волков. А не присутствовала ли некая доля иронии в отношении Ахматовой к Пастернаку?

Бродский. Это было, это было. Ирония и – во многих случаях, нравственное осуждение, если угодно. Скажем так (это будет очень точно): Ахматова чрезвычайно не одобряла

Бориса Леонидовича амбиций. Не одобряла его желания, жажды Нобелевки. Ахматова судила Пастернака довольно строго. Как, впрочем, поэт такого масштаба и заслуживает.

Волков. Ахматова любила читать свои стихи – не с эстрады, а близким людям. Спрашивала ли она у вас о впечатлении?

Бродский. Да, она и читала, и показывала написанное. И всегда весьма интересовалась нашим мнением. Мы сидели, вносили поправки: Толя, Женя, Дима и я. Говорили, что именно, по нашему мнению, не годится. Не часто, но это происходило.

Волков. И Ахматова соглашалась?

Бродский. Безусловно! Она к нашим соображениям прислушивалась чрезвычайно.

Волков. Вы можете указать на какой-нибудь конкретный случай?

Бродский. Я вспоминаю поправку, внесенную Найманом в ахматовскую «Царкосельскую оду». У нее было так:

Драли песнями глотку
И клялись попадней,
Пили царскую водку,
Заедали кутьей.

Найман сказал ей: «Анна Андреевна, вы ошибаетесь, царская водка – это окись», – я уж не помню, чего, в общем, это едкое химическое соединение. И для Наймана, химика-технолога по образованию, это было совершенно очевидно. Ахматова-то имела в виду царскую водку другого порядка. И поэтому исправила так: «Пили допоздна водку». И я помню поправки даже в более существенных стихах.

Волков. «Поэму без героя» она ведь тоже вам читала?

Бродский. Да, множество раз. Особенно – новые куски. И все время спрашивала – годится это или нет. Она ее, «Поэму», постоянно дописывала и переписывала.

Помню, как я прочел «Поэму без героя» в ее первом варианте. Я очень сильно возбудился. Впоследствии, когда «Поэма» разрослась, она мне стала представляться слишком громоздкой. Впечатление свое о «Поэме» я могу сформулировать довольно точно с помощью одной сентенции, даже не мной высказанной: «Самое замечательное в „Поэме“, что она написана не „для кого“, а „для себя“».

Волков. Но у меня создалось впечатление, что именно относительно «Поэмы без героя» Анна Андреевна чрезвычай-

чайно беспокоилась, как это произведение будет восприниматься другими.

Бродский. Может быть. Но на самом деле стихи пишутся в первую очередь именно «для себя». Конечно, Анне Андреевне было интересно, как на «Поэму» реагируют, насколько ее понимают. Но весь этот процесс дописывания и переписывания был в большей степени связан с нею самою, нежели со внешними реакциями.

Во-первых, в данном случае Анна Андреевна находилась во власти этой самой строфы. Я помню, как она меня учила. Она говорила: «Иосиф, если вы захотите писать большую поэму, прежде всего придумайте свою строфу – вот как англичане это делают». У англичан это дело действительно поставлено на широкую ногу. Почти каждый поэт придумывает свою собственную строфу. Байрон, Спенсер, и так далее.

Ахматова говорила так: «Что погубило Блока в „Возмездии“? Поэма-то, может быть, замечательная, но строфа – не своя. И эта заёмная строфа порождает эхо, которого быть не должно. Которое все затемняет».

Это принцип чрезвычайно здравый. С другой стороны, конечно, Ахматова оказалась во власти своего собственного изобретения. Дело в том, что стихи поэт пишет не каждый день. И когда стихи не пишутся, жить, по словам самой же Ахматовой, становится «чрезвычайно неудобно». И вполне естественно, что Анна Андреевна постоянно возвращалась к идиоматике собственной строфы. Верней, строфа эта к ней возвращалась. Как сон – или как дыхание. И тогда начинались все эти дописывания, вписывания и так далее.

Во-вторых, исправление, составление, композиция, игра с более поздними кусками могут постепенно превратиться в «вещь в себе». Это занятие с ума сводящее, заворазживающее. И, естественно, ее чрезвычайно интересовало, как к этому отнесутся те или иные читатели.

Постепенно возникла ситуация, в которой мы – наиболее близкие из читателей «Поэмы» – и сама Ахматова оказались более или менее на равных. То есть мы все уже не в состоянии были оценить: на месте какой-нибудь новый кусок находится в «Поэме» или нет. Ты оказываешься в такой зависимости от этой музыки, что, в общем, уже не понимаешь пропорции целого. Теряешь способность относиться к этому целому кри-

тически. Будь Ахматова жива сегодня, она, я думаю, продолжала бы «Поэму» дописывать.

Волков. Вам не кажется, что с «Поэмой без героя» приключилась следующая парадоксальная вещь. Задумана она была действительно, быть может, «для себя». Для постороннего читателя ее сюжет и аллюзии довольно-таки энигматичны...

Бродский. Ну, все это легко расшифровать!

Волков. Все-таки «Поэма» требует от читателя определенной подготовки в большей степени, чем любая другая русская поэма...

Бродский. В русской поэзии существует тенденция – продиктованная размерами страны, количеством населения и т. п. – считать, что поэт работает для широкой аудитории. Этой иллюзии подвержены все без исключения. Все этому поддаются, по крайней мере, на каком-то определенном этапе своего развития. В той или иной степени всеми нами когда-то завладевает мысль, что «у меня огромная аудитория». От какой иллюзии перемещение в пространстве, между прочим, зачастую избавляет.

Вольно или невольно, любой русский автор испытывает определенное давление: писать для широкой аудитории. Но, с другой стороны, всякий более или менее состоявшийся поэт там, в глубине души, сознает, что работает он не для публики. Что он пишет потому, что ему язык, в просторечии называемый музы, диктует. И что это именно ради своего языка он и занимается этим делом / ради музыки языка, ради этих слов, суффиксов, я не знаю... Ради этой гармонии, да? А не ради аудитории.

Так что в случае с «Поэмой без героя» я не вижу никакого противоречия. Конечно, Ахматовой было интересно узнать реакцию слушателей. Но если бы ее действительно больше всего на свете занимала бы доступность интерпретации «Поэмы», то она не понаписала бы всех этих штук. Конечно, Ахматова зашифровывала некоторые вещи в «Поэме» сознательно. В эту игру играть чрезвычайно интересно, а в определенной исторической ситуации – просто необходимо.

Волков. Вы меня неверно поняли. Парадокс как раз заключается в том, что «Поэма без героя» превратилась в символ «серебряного века» и эпохи перед Первой мировой войной. Эту эпоху мы сейчас рассматриваем, как это ни странно, именно сквозь призму зашифрованной «Поэмы».

Бродский. Ну, я не знаю, кого вы имеете в виду, говоря «мы»...

Волков. Тех, кого «серебряный век» интересует. Для всех нас какая-нибудь несчастная Ольга Афанасьевна Судейкина, кончившая свои дни во Франции полупомешанной старушкой, навсегда осталась такой, какой ее изобразила Ахматова:

Как копытца, топчут сапожки,
Как бубенчик, звенят сережки,
В бледных локонах злые рожки,
Окаянной пляской пьяна, –
Словно с вазы чернофигурной
Прибежала к волне лазурной,
Так парадно обнажена.

Бродский. Судейкина, Саломея Андроникова, Вера Стравинская – в моем сознании это те самые дамы, о которых Мандельштам говорил: «европейки нежные».

Волков. Но в той же «Поэме без героя» Ахматова роняла о Судейкиной и другое, гораздо более жесткое: «Деревенскую девку-соседку / Не узнает веселый скобарь».

Бродский. Совершенно верно. В конце концов, сама Анна Андреевна была, по выражению Цветаевой, «все-таки дамой». Нет, нет, я предпочитаю думать о них как об именно нежных европейках. Но в самом этом определении Мандельштама есть ведь своя доля иронии, да? Дескать, стали «европейками»...

Волков. В «Поэме без героя» Ахматова, когда описывает убранство спальни Судейкиной, замечает, как бы вскользь: «Полукрадено это добро...» Это, конечно, стихи, но когда речь идет о близкой знакомой, то звучит это достаточно сильно, почти как предъявление уголовного обвинения. О теневых сторонах этого праздничного мира я только сейчас начинаю догадываться.

Бродский. Да ничего особенного – это был нормальный русский мир, и строчки эти на меня столь сильного, как на вас, впечатления не производят. Кстати, вы знаете о замечании Пастернака по поводу «Поэмы без героя»? Он говорил, что она похожа на русский народный танец, когда идут вперед, закрываясь, а отступают, раскрываясь. Это высказывание Бориса Леонидовича Ахматова очень любила.

Волков. Ахматова говорит о русской пляске в исполнении Судейкиной в своих прозаических записях к «Поэме». Вообще

она много лет думала о балетном либретто на материале «Поэмы». К сожалению, все это осталось в фрагментах.

Бродский. Анна Андреевна ведь еще и пьесу написала, судя по всему, замечательную вещь. По-видимому, она ее сожгла. Как-то раз она при мне вспоминала начало первой сцены: на сцене еще никого нет, но стоит стол для заседаний, накрытый красным сукном. Входит служитель, или я уж не знаю, кто, и вешает портрет Сталина, как Ахматова говорила, «на муху».

Волков. Для Анны Андреевны это совершенно неожиданный, почти сюрреалистический образ.

Бродский. Нет, отчего же, ровно наоборот. У нее этого полно в стихах – особенно в поздних, да и в быту сюрреалистическое это ощущение часто прорывалось. Помню, на даче в Комарове у нее стояла горка с фарфоровой посудой. В разговоре нашем возникла какая-то пауза, и я, поскольку мне уже нечего было хвалить в этом месте, сказал: «Какой замечательный шкаф». Ахматова отвечает: «Да какой это шкаф! Это гроб, поставленный на-попа». Вообще чувство юмора у нее характеризовалось именно этим выходом в абсурд. Это она очень сильно чувствовала.

Волков. Вы упомянули о том, что Цветаева называла Анну Андреевну «дамой». Мне представляется, что вы, с вашим опытом – фабрика, работа в морге, геологические экспедиции – были в ее окружении скорее исключением. И вообще для русского поэта ваша жизнь в отечестве была не вполне обычной: и тюрьма, и – если не сума, то батрачество...

Бродский. Да нет, жил как все. Русское общество, при всех его недостатках, все-таки в сословном смысле наиболее демократично.

Волков. Русский поэт обыкновенно оказывается более демократичным в своих стихах, чем в реальной жизни. Анна Андреевна в одном из ранних своих стихотворений говорит о себе: «На коленях в огороде / Лебеду полю». Лидия Гинзбург вспоминала, как гораздо позднее выяснилось, что Ахматова даже не знает, как эта самая лебеда выглядит. Вокруг Анны Андреевны всегда был тесный круг вполне интеллигентского персонала.

Бродский. Это далеко не так. Русский литератор никогда на самом деле от народа не отделяется. В литературной среде вообще всякой шпаны навалом. Но если говорить об Ахматовой, как быть с ее опытом тридцатых годов и более поздним:

«Как трехсотая с передачей под Крестами будешь стоять»? А все те люди, которые к ней приходили? Это были вовсе не обязательно поэты. И вовсе не обязательно инженеры, которые собирали ее стихи, или технари. Или зубные врачи. Да и вообще, что такое народ? Машинистки, нянечки, сестры, все эти старушки – какой вам еще народ нужен? Нет, это фиктивная категория. Литератор – он сам и есть народ. Возьмите вон Цветаеву: ее нищету, ее поездки с мешками в гражданскую войну... Да нет, уж вот где-где, а в возлюбленном отечестве поэту оторваться от простого народа никогда не удавалось...

Волков. Ахматова в последние годы своей жизни стала более доступной...

Бродский. Да, к ней приходили почти ежедневно – и в Ленинграде, и в Комарове. Не говоря уж о том, что творилось в Москве, где все это столпотворение называлось «ахматовкой». В Москве Анна Андреевна останавливалась у разных людей: в Сокольниках, у Любви Давидовны Большинцовой, вдовы Стенича, замечательного переводчика, и дамы самой по себе довольно замечательной; на Большой Мещанской, у вдовы и дочери поэта Шенгели; у профессора Западава, специалиста по русскому классицизму – Ломоносову, Державину и полководцу Суворову; у Лидии Корнеевны Чуковской. Но главным образом, у Ардовых, на Ордынке.

Волков. Опишите «ахматовку» подробнее.

Бродский. Это, в первую очередь, непрерывный поток людей. А вечером – стол, за которым сидели царь-царевич, король-королевич. Сам Ардов, при всех его многих недостатках, был человек чрезвычайно остроумный. Таким же было все его семейство: жена Нина Антоновна и мальчишки Боря и Миша. И их приятели. Это всё были московские мальчишки из хороших семей. Как правило, они были журналистами, работали в замечательных предприятиях типа АПН. Это были люди хорошо одетые, битые, тертые, циничные. И очень веселые. Удивительно остроумные, на мой взгляд. Более остроумных людей я в своей жизни не встречал. Не помню, чтобы я смеялся чаще, чем тогда, за ардовским столом. Это опять-таки одно из самых счастливых моих воспоминаний. Зачастую казалось, что острословие и остроумие составляют для этих людей единственное содержание их жизни. Я не думаю, чтобы их когда бы то ни было охватывало уныние.

Но, может быть, я несправедлив в данном случае. Во всяком случае, Анну Андреевну они обожали.

Приходили и другие люди: Кома Иванов, гениальный Симон Маркиш, редакторши, театроведы, инженеры, переводчики, критики, вдовы – всех не назвать. В семь или восемь часов вечера на столе появлялись бутылки.

Волков. Анна Андреевна любила выпить. Немного, но...

Бродский. Да, за вечер грамм двести водки. Вина она не пила по той простой причине, по которой и я его уже не особенно пью: виноградные смолы сужают кровеносные сосуды. В то время как водка их расширяет и улучшает циркуляцию крови. Анна Андреевна была сердечница. К тому времени у нее уже было два инфаркта. Потом – третий.

Анна Андреевна пила совершенно замечательно. Если кто умел пить – так это она и Оден. Я помню зиму, которую я провел в Комарове. Каждый вечер она отряжала то ли меня, то ли кого-нибудь еще за бутылкой водки. Конечно, были в ее окружении люди, которые этого не переносили. Например, Лидия Корнеевна Чуковская. При первых признаках ее появления водка пряталась и на лицах воцарялось партикулярное выражение. Вечер продолжался чрезвычайно приличным и интеллигентным образом. После ухода такого непьющего человека водка снова извлекалась из-под стола. Бутылка, как правило, стояла рядом с батареей. И Анна Андреевна произносила более или менее неизменную фразу: «Она согрелась».

Помню наши бесконечные дискуссии по поводу бутылок, которые кончаются и не кончаются. Временами в наших разговорах возникали такие мучительные паузы: вы сидите перед великим человеком и не знаете, что сказать. Понимаете, что тратите его время. И тогда спрашиваете нечто просто для того, чтобы такую паузу заполнить. Я помню очень отчетливо, как я спросил ее нечто, касающееся Сологуба: в каком году произошло такое-то событие? Ахматова в это время уже поднесла рюмку с водкой ко рту и отпила. Услышав мой вопрос, она сделала глоток и ответила: «Семнадцатого августа тысяча девятьсот двадцать первого года». Или что-то в этом роде. И допила оставшееся.

Волков. Когда Ахматовой наливали, то всегда спрашивали – сколько налить? И Ахматова рукой показывала, что, дескать, хватит. Но поскольку жест был – как всё, что Анна

Андреевна делала – медленный и величественный, то рюмка успевала наполниться до краев. Против чего Ахматова не возмущалась... Вы говорили, что к Ахматовой приходили самые разные люди. Вероятно, многие – по русскому обычаю – искали не только поэтических советов, но и чисто житейских?

Бродский. Я вспоминаю один такой эпизод, вполне типичный. Дело было зимой, я сижу у Анны Андреевны, в Комарове. Выпиваем, разговариваем. Появляется одна поэтесса, с этим замечательным дамским речением: «Ой, я не при волосах!» И моментально Анна Андреевна уводит ее в такой закуток, который там существовал. И слышны какое-то всхлипывания. То есть явно эта поэтесса не стихи читать пришла. Проходит полчаса, Анна Андреевна и дама появляются из-за шторы. Когда дама эта удалилась, я спрашиваю: «Анна Андреевна, в чем дело?» Ахматова говорит: «Нормальная ситуация, Иосиф. Я оказываю первую помощь».

То есть множество людей к Ахматовой приходило со своими горестями. Особенно дамы. И Анна Андреевна их утешала, успокаивала. Давала им практические советы. Я уж не знаю, каковы эти советы были. Но одно то, что эти люди были в состоянии изложить ей все свои проблемы, служило им достаточной терапией.

Волков. Я хотел спросить вас об одной частности: я никогда не видел фотографии, на которой вы и Анна Андреевна были бы вместе.

Бродский. Да, такого снимка нет. Это смешно... Как раз вчера я разговаривал с одной своей приятельницей, женой довольно замечательного поэта. И сказал ей: «Дай мне твою фотографию». А она мне отвечает: «У меня нет. В этом браке – я тот, кто фотографирует».

Волков. В книге об Ахматовой Аманды Хейт воспроизведен вот этот снимок: вы и Найман в глубокой задумчивости; у вас, Иосиф, на коленях «Спидола»...

Бродский. Наверняка слушаем Би-Би-Си. Не помню, кто это снимал. Либо Женя Рейн (потому что оба они приехали ко мне в Норенскую). Либо я поставил камеру на автоспуск. На той же странице – портрет Ахматовой моей работы. Я ее снимал несколько раз. И вот эта фотография ахматовского рабочего стола в Комарове – тоже моя.

Волков. Когда вы жили в Комарове?

Бродский. Полагаю, это была осень и зима с шестьюдесятью второго года на шестьдесят третий. Я снимал дачу покойного академика Берга, у которого когда-то учился мой отец.

Волков. Существует ли «мистика» Комарова? Или же это место само по себе ничем не примечательно, а стало знаменитым лишь благодаря Ахматовой?

Бродский. В Комарове был просто-напросто дом творчества писателей. Там жил Жирмунский Виктор Максимович, с которым мы виделись довольно часто. Рядом с Анной Андреевной поселился довольно милый человек и, на мой взгляд, довольно хороший переводчик, главным образом с восточных языков, поэт Александр Гитович. Приезжала масса народу, и летом на даче Анны Андреевны, в ее «будке», устраивались большие обеды. По хозяйству помогала замечательная женщина, жившая, как правило, в летние периоды при Ахматовой, – Ханна Вульфовна Горенко. Многие годы она считалась соломенной вдовой, если угодно, брата Анны Андреевны, который жил и умер здесь, в Соединенных Штатах. Однажды Анна Андреевна показала мне фотографию человека: широкие плечи, бабочка – сенатор, да? И говорит: «Хорош..., – после этого пауза, – американец...» Совершенно невероятное у него было сходство с Ахматовой: те же седые волосы, тот же нос и лоб. Кстати, Лева Гумилев, сын ее, тоже больше на мать похож, а не на отца.

Волков. А как брат Ахматовой попал в Америку?

Бродский. Он был моряк, гардемарин последнего предреволюционного выпуска. В конце гражданской войны он и Ханна Вульфовна, на которой он был тогда женат, оказались на Дальнем Востоке. Его фамилия, как и Анны Андреевны девичья, была Горенко. Он был такой Джозеф Конрад, но без литературных амбиций. Когда он расстался с Ханной, то довольно долго странствовал по Китаю и Японии – эти места он потом называл «андизайрбл плейсис». Плавал он там в торговом флоте, а когда где-то после войны перебрался в Штаты, то стал здесь «секьюрити гард». Отсюда первую весточку о себе он послал Ахматовой не через кого иного, как через Шостаковича. Потому что так получилось, что Горенко охранял Шостаковича во время приезда того в Штаты. И таким образом Ахматова узнала о том, что ее брат жив. Потому что прежде контактов между ними, по-моему, вообще никаких не

было. Вы можете себе представить, чем такие контакты могли бы обернуться.

Только к концу ее жизни, когда времена стали снова, как бы это сказать, более или менее вегетарианскими, можно было опять думать о переписке, хотя бы и чрезвычайно нерегулярной. Горенко посылал Ханне и Анне Андреевне какие-то вещи – шали, платья, которыми Ханна чрезвычайно гордилась. Когда Анна Андреевна занедужила и с ней приключился третий инфаркт, ему послали телеграмму. Ну, что он мог сделать? Приехать? Он был женат на американке, жил в Бруклине.

Когда в свое время Ханна Вульфовна вернулась с Дальнего Востока в Россию – она была такая нормальная КВЖДинка – то, по-моему, села – и крепко. А может быть, и нет. Вы знаете, вот это не помнить – грех. Мы с ней очень любили друг друга, хорошо друг к другу относились; я ей стихи какие-то посвятил. Но вот что происходит с памятью... Или это не столько память, сколько нагромождение событий?

Волков. Что Анна Андреевна рассказывала о своем отце?

Бродский. Андрей Антонович Горенко был морским офицером, преподавал математику в Морском корпусе. Он, кстати, был знаком с Достоевским. Этого никто не знал, между прочим. Но в 1964 году вышли два тома воспоминаний о Достоевском. И там были напечатаны воспоминания дочки Анны Павловны Философовой о том, как Горенко и Достоевский помогали ей решать арифметическую задачку о зайце и черепахе. Я тогда жил в деревне, эти воспоминания прочел и, умо-заклучив, что речь идет об отце Ахматовой, написал об этом Анне Андреевне. Она была чрезвычайно признательна. И потом, когда мы с ней встретились, уже после моего освобождения, она примерно так говорила: «Вот, Иосиф, раньше была только одна семейная легенда о Достоевском, что сестра моей матери, учившаяся в Смольном, однажды, начитавшись «Дневников писателя», заявила к Достоевскому домой. Всё как полагается: поднялась по лестнице, позвонила. Дверь открыла кухарка. Смоленка наша говорит: «Я хотела бы видеть барина». Кухарка, ответивши «сейчас я его позову», удаляется. Она стоит в темной прихожей и видит – постепенно приближается свет. Появляется держащий свечу барин. В халате, чрезвычайно угрюмый. То ли оторванный от сна, то ли от своих трудов праведных. И довольно резким голосом говорит:

«Чего надобно?» Тогда она поворачивается на каблуках и стремглав бросается на улицу».

И Анна Андреевна, помнится, добавляла: «До сих пор это была единственная семейная наша легенда о знакомстве с Достоевским. Теперь же я рассказываю всем, что моя матушка ревновала моего батюшку к той же самой даме, за которой ухаживал и Достоевский».

Волков. В этом ее комментарии есть определенная доля самоиронии. Потому что сотворять легенды было вполне в ее характере. Или я неправ?

Бродский. Нет, она, наоборот, любила выводить все на чистую воду. Хотя есть легенды – и легенды. Не все легенды были ей неприятны. И все же темнить Анна Андреевна не любила.

Волков. Против одной легенды – к сотворению которой, как мне теперь кажется, она приложила руку, – Ахматова протестовала всю свою жизнь...

Бродский. Да, против легенды о романе ее с Блоком. Ахматова говорила, что это «народные чаяния». Такая популярная мечта о том, чего никогда, как она утверждала, не было. И вы знаете, Ахматова – это тот человек, которому я верю во всем беспрекословно.

Волков. Вероятно, это был роман, что называется, «литературный». Во всяком случае, с ее стороны. Достаточно перечитать ее стихи, обращенные к Блоку. В конце жизни Ахматова испытывала к Блоку чувства амбивалентные: в «Поэме без героя» она описывает его как человека «с мертвым сердцем и с мертвым взором». В одном из стихотворений шестидесятых годов она называет Блока – «трагический тенор эпохи». И, если вдуматься, это вовсе не комплимент.

Бродский. А в баховских «Страстях по Матфею» Евангелист – это тенор. Партия Евангелиста – это партия тенора.

Волков. Мне такое даже и в голову никогда не приходило!

Бродский. И стихи эти написаны как раз в тот период, когда я приносил ей пластинки Баха...

Волков. В стихах Ахматовой, особенно поздних, музыка часто упоминается: и Бах, и Вивальди, и Шопен. Мне всегда казалось, что Анна Андреевна музыку тонко чувствует. Но от людей, хорошо ее знавших, хотя, вероятно, и не весьма к ней расположенных, я слышал, что Ахматова сама по себе ничего в музыке не понимала, а только лишь внимательно прислуши-

валась ко мнению людей, ее окружавших. Они говорили примерно так: высказывания Ахматовой о Чайковском или Шостаковиче – это со слов Пунина, а о Бахе и Вивальди – со слов Бродского.

Бродский. Ну, это чушь. Это глупость беспредельная и безначальная. Просто когда мы с Анной Андреевной познакомились, у нее ни проигрывателя, ни пластинок на даче не было: только лишь потому, что никто этим не занимался. Руки не доходили, вот и всё.

Волков. Анне Андреевне принадлежит удивительно тонкое замечание о музыке Одиннадцатой симфонии Шостаковича. Об Одиннадцатой симфонии приходится слышать вещи уничижительные, поскольку автор дал ей название «1905 год». А Ахматова сказала, что там «песни летят по небу, как черные облака». Я не могу даже передать, насколько точно это услышано. И в то же время Анна Андреевна не восприняла прелести «еврейского» вокального цикла Шостаковича. Там она услышала только ужасные с поэтической точки зрения слова. В отношении слов она, конечно, права, но...

Бродский. Ну, это естественно, потому что она – поэт. В первую очередь она уделяет внимание стихам, содержанию.

Волков. Но ведь в случае с Одиннадцатой симфонией Ахматова услышала за чисто внешней программой подлинное, музыкальное содержание...

Бродский. Может быть, в «еврейском» цикле – это вина Шостаковича, что слова выплыли на поверхность. Вероятно, музыка их не поглотила, не скрыла должным образом.

Волков. Шостакович, который был с Ахматовой знаком, дал ее высокий музыкальный «портрет» в своем вокальном цикле «Шесть стихотворений Марины Цветаевой». Говорила ли Анна Андреевна с вами о Шостаковиче?

Бродский. Может быть, несколько раз упоминала. Мы чаще говорили с ней о Стравинском. Это Ахматова поставила мне впервые советскую «пиратскую» пластинку «Симфонии Псалмов». Я тогда на этом сочинении очень торчал. Помню одно замечание Ахматовой о Стравинском. Дело было в 1962 году, во время приезда Стравинского в Советский Союз. Я был в тот момент в Москве. И из такси, по дороге к Анне Андреевне, увидел Стравинского, его жену Веру Артуровну и Роберта Крафта: они выходили из «Метрополя» и садились в машину.

Я знал, что накануне Стравинские наносили Анне Андреевне визит. И, приехав к ней, говорю: «Угадайте, Анна Андреевна, кого я сейчас на улице увидел – Стравинского!» И начал его описывать: маленький, сгорбленный, шляпа замечательная. И вообще, говорю, остался от Стравинского один только нос. «Да, – добавила Анна Андреевна, – и гений».

Волков. У меня была возможность убедиться в том, что суждения Анны Андреевны о музыке были веские и определенные: и о Вивальди, и о Бахе, и о Перселле...

Бродский. Перселла я таскал ей постоянно.

Волков. Как раз это я и имею в виду...

Бродский. Еще мы о Моцарте с ней много говорили.

Волков. И она даже – несмотря на свое пушкинианство – придерживалась научно прогрессивного взгляда, что Сальери к смерти Моцарта не имел никакого отношения.

Бродский. Ну, конечно, что за разговор, что за разговор... Кстати, вы знаете, что она обожала Кусевицкого? Я имя этого дирижера впервые услышал именно от нее.

Волков. «Симфония Псалмов» написана по заказу Кусевицкого. Вы говорили с Анной Андреевной об этом сочинении Стравинского?

Бродский. Мы в тот период как раз обсуждали идею переложения Псалмов и вообще всей Библии на стихи. Возникла такая мысль, что хорошо бы все эти библейские истории переложить доступным широкому читателю стихом. И мы обсуждали – стоит это делать или же не стоит. И если стоит, то как именно это делать. И кто бы мог это сделать лучше всех, чтобы получилось не хуже, чем у Пастернака...

Волков. Анна Андреевна считала, что у Пастернака это получилось?

Бродский. Нам нравилось – и ей, и мне.

Волков. Кстати, в связи с идеей переложения Библии: как вы относитесь к гравюрам Фаворского, исполненным им для «Книги Руфь»?

Бродский. Они очень хороши. И вообще Фаворский – замечательный художник. Я его довольно долго обожал. Но в последний раз я смотрел на вещи Фаворского много лет тому назад. Фаворский принадлежит скорее к области воспоминаний, нежели к моей зрительной реальности.

Волков. Вам не кажется, что Фаворский и Ахматова – это люди схожие? И что есть какая-то связь между его гравюрами и, скажем, библейскими стихами Ахматовой?

Бродский. Да, есть какое-то сходство в приемах, но только постольку, поскольку вообще можно сближать изобразительное искусство и изящную словесность – чего делать, в общем-то, не следует. Есть определенный сближающий момент – не столько с Ахматовой, сколько с литературой вообще: Фаворский работает черным по белому, он график. Да и вообще, я бы сказал, что Фаворский – художник литературный, в том смысле, что условности, к которым он прибегает, в достаточной степени литературны.

Волков. А библейские стихи Ахматовой – изобразительны.

Бродский. Всё, что Ахматова пишет, – изобразительно. Так же, как всё, что изображает Фаворский, – дидактично.

Волков. «Библейская» Ахматова для меня более дидактична, чем «библейский» Пастернак.

Бродский. Нет, я с этим не согласен. Вообще-то мне стихи Пастернака из романа очень сильно нравятся. Замечательные стихи, особенно «Рождественская звезда». Я о них часто вспоминаю. Когда-то у меня была идея – каждое Рождество писать по стихотворению. И, как правило, когда приближается Рождество, я начинаю обо всем этом подумывать. Некоторое время я пытался следовать этой своей идее, но году в 1974-м или 75-м я прекратил этим заниматься. Просто обстоятельства не стали складываться...

Волков. Стихи Ахматовой всё чаще кладут на музыку. Одно из самых крупных сочинений такого рода – «Реквием» английского композитора Джона Тавенера; его исполняли в Лондоне, а затем – на фестивале в Эдинбурге.

Бродский. Да, я знаю об этом. Видите ли, поэт – это последний человек, кто радуется тому, что его стихи переключаются на музыку. Поскольку он-то сам в первую очередь озабочен содержанием, а содержание, как правило, читателем усваивается не полностью и не сразу. Даже когда стихотворение напечатано на бумаге, нет никакой гарантии, что читатель понимает содержание. Когда же на стих накладывается еще и музыка, то, с точки зрения поэта, происходит дополнительное затемнение. Так что, с одной стороны, если ты фразер, то тебе лестно, что на твои стихи композитор музыку написал. Но

если ты действительно озабочен реакцией публики на твой текст – а это то, с чего твое творчество начинается и к чему оно, в конце концов, сводится, – то праздновать тут совершенно нечего. Даже если имеешь дело с самым лучшим композитором на свете. Музыка вообще выводит стихи в совершенно иное измерение.

Волков. Конечно, стихи в соприкосновении с музыкой в чем-то умяляются. Но то новое измерение, о котором вы говорите, как раз и придает этому взаимодействию особый интерес. Скажем, тот же «Реквием» – это текст примечательный, но довольно однозначный. Музыка может эту однозначность усугубить, а может неожиданно высветить в стихах какой-то новый пласт.

Бродский. Ну, на самом-то деле, текст «Реквиема» далеко не однозначен.

Волков. Конечно, там есть два плана: реальный, биографический – Ахматова и судьба ее арестованного сына; и символический – Мария и ее сын Иисус.

Бродский. Для меня самое главное в «Реквиеме» – это тема раздвоенности, тема неспособности автора к адекватной реакции. Понятно, что Ахматова описывает в «Реквиеме» все ужасы «большого террора». Но при этом она все время говорит о том, что близка к безумию. Помните?

Уже безумие крылом
Души закрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

Эта вторая строфа, быть может, лучшая во всем «Реквиеме». Здесь самая большая правда и сказана: «Прислушиваясь к своему / Уже как бы чужому бреду». Ахматова описывает положение поэта, который на всё, что с ним происходит, смотрит как бы со стороны.

Волков. Это как у Саши Черного: «У поэта умерла жена...»

Бродский. Отчасти. Потому что, когда поэт пишет, то это для него – не меньшее происшествие, чем событие, которое он

описывает. Отсюда – вопреки самого себя, особенно, когда речь идет о таких вещах, как тюремное заключение сына или вообще какое бы то ни было горе. Начинается жуткий покрыв самого себя: да что же ты за монстр такой, если весь этот ужас и кошмар еще и со стороны видишь.

Но ведь действительно, подобные ситуации – арест, смерть (а в «Реквиеме» всё время пахнет смертью, люди всё время на краю смерти) – так вот, подобные ситуации вообще исключают всякую возможность адекватной реакции. Когда человек плачет – это личное дело плачущего. Когда плачет человек пишущий, когда он страдает – то он как бы даже в некотором выигрыше от того, что страдает. Пишущий человек может переживать свое горе подлинным образом. Но описание этого горя – не есть подлинные слезы, не есть подлинные седые волосы. Это всего лишь приближение к подлинной реакции. И осознание этой отстраненности создает действительно безумную ситуацию. «Реквием» – произведение, постоянно балансирующее на грани безумия, которое привносится не самой катастрофой, не утратой сына, а вот этой нравственной шизофренией, этим расколом – не сознания, но совести. Расколом на страдающего и на пишущего. Тем и замечательно это произведение.

Конечно, «Реквием» Ахматовой разворачивается как настоящая драма: как настоящее многоголосие. Мы все время слышим разные голоса – то простой бабы, то вдруг – поэтессы, то перед нами Мария. Это всё сделано как полагается: в соответствии с законами жанра реквиема. Но на самом деле Ахматова не пыталась создать народную трагедию. «Реквием» – это все-таки автобиография поэта, потому что всё описываемое – произошло с поэтом. Рациональность творческого процесса подразумевает и некоторую рациональность эмоций. Если угодно, известную холодность реакций. Вот это и сводит автора с ума.

Волков. Но разве в этом смысле «Реквием» не есть именно автобиографический слепок с ситуации, в которой, как я понимаю, присутствовало определенное равнодушие Ахматовой к судьбе сына?

Бродский. Нет, равнодушия в жизни как раз не было. Равнодушие – если это слово вообще здесь применимо – приходило с творчеством. Анна Андреевна мучилась и страдала из-за судьбы сына невероятно. Но когда поэтесса Анна Ахматова

начинала писать... Когда пишешь, то стараешься сделать это как можно лучше. То есть подчиняешься требованиям музыки, языка, требованиям литературы. А лучше – это не всегда правда. Или: это правда большая, чем правда опыта. То есть, ты стремишься создать трагический эффект тем или иным образом, той или иной строчкой и невольно как бы грешишь против истины: против собственной боли.

Волков. Лев Николаевич Гумилев, сын Ахматовой, не раз упрекал ее в том, что она о нем заботилась недостаточно – и в детстве, и в лагерные его годы. Помню, я разговаривал со старым латышским художником, попавшим в лагерь вместе со Львом Гумилевым. Когда я упомянул Ахматову, его лицо окаменело, и он сказал: «От нее приходили самые маленькие посылки». Я как будто услышал укоряющий голос самого Гумилева.

Бродский. Это всё, конечно, дела семейные, но что правда, то правда: он ее упрекал. И он сказал ей как-то фразу, которая Ахматову чрезвычайно мучила. Я думаю, эта фраза была едва ли не причиной ее инфаркта; уж во всяком случае, одной из причин. Это не точная цитата, но смысл слов Гумилева был таков: «Для тебя было бы даже лучше, если бы я умер в лагере». То есть имелось в виду – «для тебя как для поэта».

Даже если это было бы правдой и это сказал бы старый друг, то и то первая мысль была бы: «Ну и сволочь ты все-таки». Но ведь это сын говорит! Что называется – додумался. Лев Николаевич в заключении провел восемнадцать лет, и эти годы его изуродовали. Он, видите ли, решил, что после того, что он там натерпелся – всё ему можно, всё наперед прощено. Такое происходит иногда с побывавшими в лагерях. Но и отсидевшие, и никогда не сидевшие под тем же самым человеческим законом ходят: «не рань».

В случае со Львом Николаевичем, вероятно, еще всякие психологические нюансы наслаиваются. Прежде всего он был – в отсутствие отца – мужчиной в семье. А она, хоть и мать, и поэтесса, и Ахматова, но тем не менее – женщина. И поэтому он как бы может сказать ей все, что ему заблагорассудится. Это всё, конечно, Фрейд для бедных, но так он свое мужское начало, видать, проявлял. Я об этом довольно много думал в свое время, обо всей этой истории и о «Реквиеме». Не по себе мне от всех этих разговоров наших об этом – и Анна Андреевна первая мне бы не простила, что встречаю, – но сын тут не на

высоте оказался. Этой фразой про «тебе лучше» он показал, что дал лагерям себя изуродовать, что система своего, в конце концов, добилась.

Волков. Я думаю, что попытки озвучить «Реквием» будут продолжаться.

Бродский. Музыка, боюсь, может сообщить этому тексту только аспект мелодрамы. Его, «Реквиема», драматизм не в том, какие ужасные события он описывает, а в том, во что эти события превращают твое индивидуальное сознание, твое представление о самом себе. Трагедийность «Реквиема» не в гибели людей, а в невозможности выжившего эту гибель осознать. Мы привыкли к идее о том, что искусство как-то реагирует на события реальной жизни. Но не только на Хиросиму, но и на более мелкие происшествия реакция исключена. Иногда удается создать какую-то формулу, которая выражает состояние шока перед ужасом действительности. Но это счастливое – и только для репутации автора – совпадение. Какая-нибудь «Герника», например.

Волков. В 1910 году в Париже молодая Анна Ахматова познакомилась с Амедео Модильяни. Она только начинала как поэтесса, он был уже зрелым художником. Но из воспоминаний Ахматовой об их романе явствует, что понимание значимости того, что делал Модильяни, пришло к ней задним числом.

Бродский. Вы знаете, вполне возможно. Но так это и должно быть в любви. Это гораздо лучше, гораздо естественнее, чем наоборот. В воспоминаниях Ахматовой о Модильяни речи о живописи не идет. Это просто личные отношения двух людей.

Волков. Существует рисунок Модильяни (вероятно, 1911 года), изображающий Ахматову. По словам Ахматовой, этих рисунков было шестнадцать. В воспоминаниях Анны Андреевны о судьбе рисунков сказано не совсем внятно: «Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции». Анна Андреевна говорила об этом подробнее?

Бродский. Конечно, говорила. В доме этом стояли красногвардейцы и раскурили эти рисунки Модильяни. Они из них понаделали «козьи ножки».

Волков. В ахматовском описании этого эпизода чувствуется какая-то уклончивость, необычная даже для Анны Андреевны. Она понимала ценность этих рисунков? Может, она сама их по ветру пустила?

Бродский. Ну, с какой стати! Бумаги у нее в доме, я думаю, всегда хватало – в конце концов, она стихи писала. Нет, видимо, это произошло в ее отсутствие.

Волков. Вам кажется, что отношения Ахматовой с Модильяни были для нее важны?

Бродский. Как счастливое воспоминание – безусловно. Анна Андреевна, после того как дала мне прочесть свои записки о Модильяни, спросила: «Иосиф, что вы по этому поводу думаете?» Я говорю: «Ну, Анна Андреевна... Это – „Ромео и Джульетта“ в исполнении особ царствующего дома». Что ее чрезвычайно развеселило.

Оценивать сейчас тогдашние отношения Ахматовой и Модильяни – дело сложное и, скорее всего, ненужное. Юная Ахматова, заграничная жизнь. В ту пору о себе она имела чрезвычайно смутные представления. Просто человек живет и мало ли чего представляет себе про будущее. В бытность Ахматовой в Париже за ней не только один Модильяни ухаживал. Не кто иной, как знаменитый летчик Блерио... Вы знаете эту историю? Не помню уж, где они там в Париже обедают втроем: Гумилев, Анна Андреевна и Блерио. Анна Андреевна рассказывала: «В тот день я купила себе новые туфли, которые немного жали. И под столом сбросила их с ног. После обеда возвращаемся с Гумилевым домой, я снимаю туфли – и нахожу в одной туфле записку с адресом Блерио».

Волков. Что называется, не растерялся!

Бродский. Француз, летчик!

Волков. Вам не кажется, что в жизни Ахматовой сравнительно большое место занимали иноземные мужчины: Модильяни, Юзеф Чапский, Исая Берлин? Для русской поэтессы это довольно-таки необычно.

Бродский. Ну, какие же они иноземные! Сэр Исая – родом из Риги (которая, кстати, много замечательных людей дала миру). Чапский – поляк, человек славянской культуры. Какой же он для русской поэтессы иностранец! Да и вообще отношения с Чапским могли быть только очень осторожными. Ведь он, насколько я знаю, занимался контрразведкой у генерала Андерса. О чем вообще могла идти речь, особенно по тем замечательным знойным временам! В Ташкенте, я думаю, за их каждым шагом следила целая орава. Большинство разговоров Ахматовой с сэром Исией сводилось, как я понимаю, к тому – кто, что, где, как? Она пыталась – 20 лет спустя – узнать

о Борисе Анрепе, Артуре Лурье, Судейкиной и прочих своих друзьях юности. Обо всех, кто оказался на Западе. За 20 почти лет он был первым человеком оттуда – и 6 лет из этих 20-ти ушли на Вторую мировую войну.

Волков. Сэр Исаяя напечатал свои воспоминания о встречах с Ахматовой в 1945-46 годах. Об этих же встречах говорится во многих стихах Ахматовой. Если эти две версии сравнить, то создается впечатление, что речь идет о двух разных событиях. В трактовке Анны Андреевны их встреча послужила одной из причин начала «холодной войны». Да и в чисто эмоциональном плане, посудите сами: «Он не станет мне милым мужем, / Но мы с ним такое заслужим, / Что смутится Двадцатый Век». Ничего похожего у сэра Исаяи вы не прочтете.

Бродский. Я думаю, что в оценке последствий ее встречи в 1945 году с сэром Исаяей, Ахматова была не так уж далека от истины. Во всяком случае, ближе к истине, чем многим кажется. Что до воспоминаний Берлина, то они тоже чрезвычайно красноречивы, но вы не можете писать по-английски, расплескивая эмоции по столу. Хотя, конечно, вы правы, что он не придавал встрече с Ахматовой столь уж глобального значения.

Волков. В своих воспоминаниях Берлин настаивает, что шпионом – в чем обвинил его Сталин – он никогда не был. Но его рапорты из британского посольства в Москве – а ранее из британского посольства в Вашингтоне – вполне соответствуют советским представлениям о шпионской деятельности.

Бродский. Советским, но не ахматовским. Хотя общение с дипломатом всегда опасно, и Ахматова, думаю, догадывалась о служебных обязанностях Берлина. Я думаю, его несколько скептическая оценка ахматовской версии вот еще на чем основана: как дипломат на службе Британской империи, Берлин имел дело с людьми, чья государственная деятельность не подвержена капризам. В то время как поведение Иосифа Виссарионовича диктовалось иногда совершенно посторонними соображениями.

Волков. Тот взрыв бешенства, с которым Сталин встретил известие о встрече Ахматовой и Берлина, кажется сейчас совершенно иррациональным. По сведениям Ахматовой, он ругался последними словами. Впечатление такое, что она задела нечто очень личное в нем. Похоже, что Сталин ревновал Ахматову!

Бродский. Почему бы и нет? Но не столько к И. Берлину, сколько, думаю, к Рандольфу Черчиллю – сыну Уинстона и журналисту, сопутствовавшему Берлину в этой поездке. Вполне возможно, что Сталин считал, что Рандольф должен видаться с ним и только с ним, что в России – он главное шоу.

Волков. Вся эта история чрезвычайно напоминает романы Дюма-отца. В которых империи начинают трещать из-за неосторожного взгляда, брошенного королевой. Или из-за уроненной перчатки.

Бродский. Совершенно верно, так это и должно быть, так это и должно быть. Ведь что такое была Россия в 1945 году? Классическая империя. Да и вообще ситуация «поэт и царь» – это имперская ситуация. На сегодняшний день все это понемногу меняется даже и в России. И все-таки там имперские замашки все еще сильны.

Волков. Ахматова описывала развитие событий примерно так. Ее встреча с Берлином, затянувшаяся до утра, взбесила Сталина. Сталин отомстил ей особым постановлением ЦК ВКП(б), которое, по твердому убеждению Анны Андреевны, самим же Сталиным было и написано (как замечает Лидия Чуковская, «из каждого абзаца торчат августейшие усы»). Это постановление (кстати, до сих пор формально не отмененное), когда оно было опубликовано в 1946 году, произвело шоковое впечатление на интеллектуалов Запада. До этого вполне благодушно взиравших на Советский Союз. Атмосфера была испорчена – и навсегда. Стартовала «холодная война». Вы согласны с такой интерпретацией событий?

Бродский. Очень похоже. Конечно, я не думаю, что «холодная война» возникла только из-за встречи Ахматовой с Берлиным. Но что гонения на Ахматову и Зощенко сильно отравили атмосферу – на этот счет у меня никакого сомнения нет.

Волков. Уже здесь, на Западе, я выяснил, что по крайней мере в одном отношении Анна Андреевна была абсолютно права: постановление 1946 года ошарашило интеллигенцию Запада, точно гром с ясного неба. Всем им хотелось дружить с Советским Союзом, а тут – нате... Кстати, вам цикл Ахматовой «Шиповник цветет», посвященный Берлину, нравится?

Бродский. Это замечательные стихи. В них тоже есть это – Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома. Хотя, конечно, это скорее «Дидона и Эней», чем «Ромео и Джульетта». По своему трагизму цикл этот в русской поэзии

равных не имеет. Разве что «Денисьевский» цикл Тютчева. Но в «Шиповнике» вы слышите нечто новое по своей чудовищности: вы слышите голос истории.

Волков. Существует любопытная история о том, как Анна Андреевна узнала о направленном против нее и Зощенко постановлении 1946 года. Она в тот день газет не читала, но встретила на улице Зощенко, который спросил ее: «Что же теперь делать, Анна Андреевна?» Ахматова, не понимая, что Зощенко имеет в виду конкретно, но полагая, что он задает метафизический вопрос, отвечала: «Терпеть». С тем они и разошлись. Это маленький город – Ленинград.

Бродский. Она очень его любила, Зощенко. Довольно много о нем рассказывала. Он в последние годы не мог есть – боялся, что его отравят. Анна Андреевна считала, что Зощенко потерял рассудок. И объясняла гибель Зощенко его собственной, если угодно, неосторожностью. Им обоим устроили встречу с группой английских студентов, приехавших в Ленинград. И кто-то из студентов задал весьма нелепый вопрос о том, как Ахматова и Зощенко относятся к постановлению 1946 года. Ахматова встала и коротко ответила, что с этим постановлением согласна, и всё тут. Зощенко же начал объясняться: «Сначала я постановления не понял, потом с чем-то согласился, а с чем-то нет». В итоге Ахматовой дали возможность существовать литературным трудом – переводами и так далее. А у Зощенко всё отобрали окончательно.

Волков. Ахматова любила повторять, что она к постановлению 1946 года была готова хотя бы уж потому, что это была не первая касающаяся ее партийная резолюция: первая была в 1925 году. И это действительно так, только об этом все забыли. Еще она говорила, что Сталин обиделся на ее стихотворение «Клевета», не заметив даты – 1921 год. Он воспринял его как личное оскорбление. Лишнее свидетельство тому, насколько Сталин «персонально» воспринимал свои отношения с поэтами. Они разочаровывали Сталина в его лучших ожиданиях.

Бродский. Да, я думаю, что Мандельштам, например, тоже сильно его разочаровал своей одой. Его стихотворение о Сталине гениально. Быть может, эта ода Иосифу Виссарионовичу – самые потрясающие стихи, которые Мандельштамом написаны. Я думаю, что Сталин сообразил, в чем дело. Сталин вдруг сообразил, что это не Мандельштам – его тезка, а он, Сталин, – тезка Мандельштама.

Волков. Понял, кто чей современник.

Бродский. Да, думаю, именно это вдруг до Сталина дошло. И послужило причиной гибели Мандельштама. Иосиф Виссарионович, видимо, почувствовал, что кто-то подошел к нему слишком близко.

Волков. Четверостишие Ахматовой «О своем я уже не заплачу...» посвящено вам?

Бродский. Не знаю. Говорят, но я никогда этим не интересовался.

Волков. К стихотворению Ахматовой «Последняя роза» эпиграфом поставлена ваша строка, обращенная к Ахматовой: «Вы напишете о нас наискосок». Вы помните историю появления «Последней розы»?

Бродский. Ахматова очень любила розы. И всякий раз, когда я шел или ехал к ней, я покупал цветы – почти всегда розы. В городе это было или не в городе. Когда деньги были, конечно; хотя это были не такие уж большие деньги.

Волков. А как вы узнали, что Ахматова выбрала эпиграфом вашу строку?

Бродский. Я не помню.

Волков. Что? Не помните вашей первой реакции?

Бродский. Ей-Богу, не помню! В этом смысле я, действительно, в сильной степени не профессионал. Ну, конечно, когда о таком узнаешь, это приятно. Но и только. Строчка эта – «Вы напишете о нас наискосок» – взята из стихотворения, которое я написал Ахматовой на день рождения. (Там было два стихотворения – оба в общем довольно безнадежные, с моей точки зрения. По крайней мере, на сегодняшний день.) Единственное, что я про это стихотворение помню, так это то, что я его дописывал в спешке. Найман и я, мы ехали к Анне Андреевне в Комарово из Ленинграда. И нам надо было нести на вокзал, чтобы успеть на электричку. Спешку эту я запомнил, не знаю почему. Не понимаю, почему такие вещи запоминаются.

Волков. А что Анна Андреевна сказала, когда прочла ваше стихотворение?

Бродский. Не помню. Думаю, что ей эта фраза понравилась. Начало у стихотворения беспомощное – не то чтобы беспомощное, но слишком там много экспрессионизма ненужного. А конец хороший. Более или менее подлинная метафизика.

Волков. Анна Андреевна рассказывала мне, что при первой, журнальной публикации у нее спрашивали, не Иван ли Бунин автор эпиграфа, поскольку он был подписан инициалами «И. Б.». Ахматова отмалчивалась. Но уже ко времени издания «Бега времени» предположения о бунинском авторстве отпали. Эпиграф исчез и уж больше никогда не появлялся.

Бродский. Ну, что ж, «ноу хард филингс». Как говорится, я не в обиде.

Волков. Говорили ли вы с Ахматовой о расстреле Гумилева?

Бродский. Нет, специально об этом не было речи.

Волков. А вообще о Гумилеве?

Бродский. Мы говорили о нем как о поэте. Помню, последний наш разговор о Гумилеве был связан с тем, что кто-то принес Ахматовой стихи, которые якобы были написаны Николаем Степановичем в камере. И мы гадали – подлинные это стихи или нет.

Волков. Анна Андреевна всегда говорила, что материал против Гумилева был сфабрикован, что ни в каком заговоре он не участвовал. Она причисляла Гумилева к величайшим русским поэтам XX века. Вы согласны с ней в этом?

Бродский. Гумилев мне не нравится и никогда не нравился. И когда мы обсуждали его с Анной Андреевной, я – исключительно, чтобы ее не огорчать, – не высказывал своего подлинного мнения. Поскольку ее сентимент по отношению к Гумилеву определялся одним словом – любовь. Хотя я и не скрывал, что, с моей точки зрения, стихи Гумилева – это не Бог весть что такое. Помню довольно длинный разговор с Ахматовой про микрокосм Гумилева, который к моменту его ареста и расстрела начал стабилизироваться, становиться его собственной мифологией. Совершенно очевидно, что уж кто был убит не вовремя – так это Гумилев. Что-то в этом роде я Ахматовой и сказал.

Уже после смерти Анны Андреевны я прочел пяtitомник Гумилева, выпущенный в Соединенных Штатах. И не переменял своего мнения. Помню, я в те дни зашел к Жирмунскому. И говорю ему: «Вот, Виктор Максимович, я получил книжки, которые могут быть вам любопытны: полное собрание сочинений автора». Автора я не называю и продолжаю: «Мне он не очень интересен, но вам, быть может, понадобится для каких-нибудь академических разысканий. Так что я могу вам совер-

шенно спокойно эти книжки отдать». Жирмунский говорит: «Это кто ж такой?» Я отвечаю: «Вы знаете, мне неловко, но это пять томов Гумилева». На что Жирмунский мне: «Здрасьте! Я еще в 1914 году говорил, что Гумилев – посредственный поэт!»

Волков. Когда говорят о Гумилеве, то иногда забывают, что он был в числе нескольких русских поэтов, чья участь была решена непосредственно Лениным.

Бродский. Вы знаете, от того, как негодяй обращается с поэтом – благородно или неблагородно – отношение у меня к нему не изменяется ни в коей мере. Человек, который погубил такое количество жизней... Ну, о чем там можно говорить? Даже если бы он спас Гумилева от расстрела...

Волков. ...или выпустил больного Блока в Финляндию, как просил его об этом Горький...

Бродский. Это все равно ничего бы не изменило. Луковок для этого господина нет, к сожалению.

Волков. Гумилев проходил по делу так называемой «Петроградской боевой организации». Расследованием занимался Яков Агранов, впоследствии близкий друг Маяковского и Бриков. Лиля Брик вспоминала, что уже после смерти Маяковского Ахматова иногда заходила к Брикам на обед. Я помню, как я удивился, об этом услышав. Потому что Анна Андреевна о Бриках высказывалась довольно резко. Она говорила, что в конце 20-х годов, когда искусство в России, по ее словам, «отменили», власти оставили только салон Бриков, «где были бильярд, карты и чекисты».

Бродский. Это точно. Это очень похоже. К Брикам у Ахматовой отношение было сугубо отрицательное. Между нами на этот счет существовало определенное единодушие. Но Анна Андреевна говаривала, что зачастую имеет смысл иметь дело с явными негодяями, с профессиональными доносчиками в частности. Особенно если тебе нужно сообщить что-либо «наверх», властям. Ибо профессиональный доносчик *донесет* все ему сообщенное в точности, ничего не исказит – на что нельзя рассчитывать в случае с человеком просто пугливым или неврастеником.

Волков. Говорили ли вы с Анной Андреевной о Борисе Пильняке, которому посвящено ее стихотворение «Всё это разгадаешь ты один...»?

Бродский. Был довольно короткий разговор – в связи с тем, что в Москве, в «Национале», я встретился с человеком, который оказался сыном Пильняка: такой восточного типа красавец. И, помню, я был несколько озадачен тем, что Анна Андреевна относится к Пильняку с большой симпатией. Я по тем временам был такой, знаете, злой мальчишка. Все мы тогда утверждали свои вкусы за счет предшественников – знаете, как это всегда делается? Здесь я перечитал Пильняка и не нашел повода изменить свое к нему отношение. Единственный автор, представление о котором у меня здесь переменялось к лучшему, это Замятин. Я имею в виду не «Мы», а его короткие вещи.

Волков. Замятин был также и блестящий эссеист.

Бродский. Да, это я тоже здесь оценил.

Волков. Почему Анна Андреевна так уничтожающе отзывалась о поздних стихах Заболоцкого?

Бродский. Это не так. Ахматова говорила: «Заболоцкий меня не любит, но, тем не менее...» И так далее.

Волков. Ахматова подозревала в Заболоцком закоренелого антифеминиста и, как выяснилось, была права. Заболоцкий, по воспоминаниям, высказывался в таком духе: «Бабе в искусстве делать нечего».

Бродский. Всем этим цитатам – грош цена. Когда человеку не дано полностью высказаться при жизни, то мы, потомки, неизбежно пользуемся какими-то обрывками, из которых конструировать ничего не следует. Заболоцкий сегодня мог сказать одно, послезавтра – другое. Судьба засовывала Заболоцкого в какой-то образ, в какую-то рамку. А он был больше этой рамки.

Волков. Каковы были отношения Ахматовой и Пастернака?

Бродский. Чрезвычайно близкие, чрезвычайно дружественные. Между прочим, Пастернак два раза предлагал Анне Андреевне брак.

Волков. И как Ахматова комментировала этот факт?

Бродский. Ну, во-первых, – что это за предложение при живой-то жене. А во-вторых... Пастернак был все же ниже Ахматовой ростом, помимо всего прочего. И моложе. Так что из этого номера ничего не вышло. В общем, я думаю, Ахматова к лирической стороне своих отношений с Пастернаком всерьез никогда не относилась. Она знала, конечно, что Зинаида Николаевна, жена Пастернака, ее люто ненавидит.

Анна Андреевна очень любила Пастернака. Хотя, как я уже говорил, и относилась с чрезвычайным предубеждением к его желанию получить Нобелевку. Она также не одобряла его отношений с Ольгой Ивинской. Вы ведь читали, поди, мемуары Ивинской?

Волков. Чуковская в своих записках рассказывает примечательную историю. Ахматова встретила в 1956 году Пастернака; тот только что написал пятнадцать новых стихотворений для сборника, который готовился к печати в Гослите. О своих новых стихах он сообщил Ахматовой так: «Я сказал в Гослите, что мне нужны параллельные деньги». На что Ахматова ему ответила: «Какое это счастье для русской культуры, Борис Леонидович, что вам понадобились параллельные деньги!»

Бродский. Надо сказать, всем им фатально не везло в личной жизни. Анне Андреевне не везло с ее мужьями – фатально. Цветаевой не везло – фатально. Пастернаку с его женами и возлюбленными – невероятным образом. Единственный человек, которому повезло с женой, – это Мандельштам. Но с другими женщинами в его жизни ему опять-таки фатально не везло.

Волков. Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях пишет о «фантастическом наследстве», оставленном Ахматовой, и о раздорах вокруг этого наследства. На него претендовали ее сын Лев Гумилев – с одной стороны, и семья Пуниных, с которой она жила, с другой.

Бродский. Ну, не знаю, что по представлениям Надежды Яковлевны являлось «фантастическим состоянием». Остались кое-какие вещи, картины. Добра как такового просто не было. Ахматова не из тех людей, у которых было добро. Все ее имущество разместилось бы в 16-метровой комнате, оставив при этом массу свободного места. Главное, что осталось, это ее литературный архив, который Пунины продали, заработав на этом огромные деньги.

Волков. Вы считаете, что в споре за ахматовский архив правда была на стороне Гумилева?

Бродский. Конечно. Пунины – одно из самых гнусных явлений, которые мне довелось наблюдать в своей жизни.

Волков. Почему же Ахматова оказалась так тесно с ними связанной?

Бродский. Она жила с ними, еще когда сам Пунин был жив. Затем, когда Пунин был арестован и погиб, Анна Андре-

евна считала, что она если и не виновата в этом, то, по крайней мере, накликала беду: «Я гибель накликала милым, / И гибли один за другим». Ахматова считала себя обязанной заботиться о дочке Пунина, Ирине. А впоследствии и о внучке Николая Николаевича – Аньке. Которая, как ни странно, в профиль была немножко похожа на Анну Андреевну – но не на молодую, а на старую.

Лев все эти годы был в лагерях. Когда он освободился, ожидалось, что его вскоре реабилитируют, и тогда они с Анной Андреевной съедутся. А пока она продолжала жить у Пуниных. Ирина Пунина была в этом заинтересована, поскольку существовали они в значительной степени на зарботки Ахматовой.

И я Ахматову в этом понимаю: она исходила из нормальных практических соображений. После реабилитации Гумилеву могли бы дать большую квартиру. А так – на что они могли вдвоем рассчитывать? А Ирина ее подзуживала: «Перестань, Акума, подожди, пока Леву реабилитируют». (Она ее называла Акумой. Это слово вроде бы привез из Японии Пунин, оно означает «ведьма».) В общем, Ахматова послушалась Ирины. И сказала сыну, что пока им лучше не съезжаться, а следует подождать, пока ему дадут отдельную жилплощадь. Тут Лев Николаевич вышел из себя и вспылал. Он, на мой взгляд, замечательный человек, но с тем существенным недостатком, о котором я уже говорил: считает, что после лагеря ему почти всё позволено. Вот тут он на нее и наорал, о чем я уже рассказывал. Последние годы перед смертью Ахматовой они не виделись. Пунины, которые тряслись за свое благополучие, систематически старались посеять между ними рознь. В чем чрезвычайно преуспели.

Размолвку с сыном Ахматов переживала очень тяжело. И когда она уже лежала с третьим инфарктом в больнице, Гумилев поехал к ней в Москву. Потому что все-таки понятно, что такое третий инфаркт, да? Но тут Пунина подслала к нему Аню, которая передала ему якобы слова Анны Андреевны (которые на самом деле сказаны не были) – слова о том, что-де «теперь, когда я в больнице с третьим инфарктом, он ко мне на брюхе приползет». После чего Лева в больницу к Ахматовой не пошел.

Когда Ахматова вышла из больницы, то поселилась у Ардовых, пожила там, по-моему, две недели или около того,

поехала в Малеевку и там умерла. Найман передал мне ее последние слова, он был при этом: «Все-таки мне очень плохо». Она сказала это, когда ей начали колоть камфару. И грех говорить, но я, как сердечник, эти слова узнаю. Это именно те слова, которые вырываются, когда с сердцем плохо.

Волков. И какова же была судьба ахматовского архива?

Бродский. Весь он попал в лапы к Пуниным. Причем в этом отчасти я виноват – я и Надежда Яковлевна Мандельштам. После похорон Ахматовой мы вернулись в Ленинград. Кажется, разговор был в квартире Ахматовой на улице Ленина. Я говорю Надежде Яковлевне: «Вы помните, что произошло с архивом Пастернака, когда он умер? И с архивом Сологуба?»

Волков. Что же произошло с этими архивами?

Бродский. Они были немедленно арестованы властями. И никто их так никогда и не видел. И вот, Надежда Яковлевна мне ответила: «Я все понимаю, Иосиф, предоставьте это мне». После чего она ушла в комнату, где держала военный совет, на котором, кроме нее, присутствовали Пунины, Кома Иванов, Арсений Тарковский. Не помню, кто еще. И тут-то Пунины сообразили, что архив Ахматовой надо срочно прибирать к рукам, покуда не поздно. Затем Пунины продали этот архив в три места: в Москве в ЦГАЛИ, а в Ленинграде в Пушкинский дом и Публичную библиотеку, получив в трех местах разные красные цены. Разумеется, разбивать архив на три части не следовало. Но они это сделали, полагаю, что не без консультаций с Госбезопасностью. Таково мое мнение, так же думал и Лев Гумилев.

Он, как известно, затеял против Пуниных процесс, который, в конечном счете, проиграл. Хотя, на мой взгляд, продажа Пуниными архива была нелегальной. Они не могли бы сделать этого без поддержки государства при живом наследнике. Юридически они не могли обойти Гумилева. Те, кто приобретал архив, должны же были задавать какие-то вопросы. И, видимо, эта продажа была санкционирована свыше, в обход Левы. Никаких особенных идей у Пуниных в данном случае не было. Единственное, что их интересовало, – это деньги. Так оно было всегда, всю жизнь. И деньги эти Пуниным дали не столько за самый архив, сколько, я полагаю, за временные ограничения на пользование оным. Теперь архив закрыт, кажется, на 75 лет. Власти знали, что Лева не наложит запрет

на пользование архивом. Ему и самому было бы интересно в нем разобраться. А Пуниным на все это было наплевать, за что они и были соответственным образом вознаграждены.

Волков. Как и в случае с Пастернаком, и наследные дела Ахматовой, и ее похороны превратились в событие политическое...

Бродский. Пунины совершенно не хотели заниматься похоронами Ахматовой. Они всучили мне свидетельство о смерти Анны Андреевны и сказали: «Иосиф, найдите кладбище». В конце концов, я нашел место – в Комарове. Надо сказать, я в связи с этим на многое посмотрелся. Ленинградские власти предоставлению ей места на одном из городских кладбищ противились, власти курортного района – в чьем ведении Комарово находится – тоже были решительно против. Никто не хотел давать разрешения, все упирались; начались бесконечные переговоры. Сильно помогла мне З. Б. Томашевская: она знала людей, которые могли в этом деле поспособствовать – архитекторов и так далее.

Тело Ахматовой было уже в соборе Святого Николы, ее уже отпевали, а я еще стоял на комаровском кладбище, не зная – будут ее хоронить тут или нет. Про это и вспоминать даже тяжело.

Как только сказали, что разрешение получено и землекопы получили по бутылке, мы прыгнули в машину и помчались в Ленинград. Мы еще застали отпевание. Вокруг были кордоны милиции, а в соборе Лева метался и выдергивал пленку из фотоаппаратов у снимающих. Потом Ахматову повезли в Союз писателей, на гражданскую панихиду, а оттуда – хоронить в Комарово. Надо сказать, я слышал разговоры, что вот, дескать, Комарово – не русская земля, а финская. Но, во-первых, я не думаю, что Советский Союз отдаст когда-либо Комарово Финляндии, а во-вторых, могла же Ахматова ходить по этой земле... В общем, похороны – да и все последующие события – были во всех отношениях мрачной историей. И, конечно, грех оспаривать Божью волю, но я думаю, что к смерти Ахматовой не она привела, а просто недогляд.

Волков. С чьей стороны?

Бродский. Со стороны знакомых, друзей. В Москве, после больницы – ее поселили в тесной каморке: духота, рядом кухня. Потом – внезапный перевоз в Малеевку. И представьте

себе, после третьего инфаркта на вас обрушивается весна. Впрочем, я не знаю.

Анна Андреевна была, говоря коротко, бездомна и – воспользуясь ее собственным выражением – беспастушна. Близкие знакомые называли ее «королева-бродяга», и действительно в ее облике – особенно когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры – было нечто от странствующей, бесприютной государыни. Примерно четыре раза в год она меняла место жительства: Москва, Ленинград, Комарово, опять Ленинград, опять Москва, и т. д. Вакуум, созданный несуществующей семьей, заполнялся друзьями и знакомыми, которые заботились о ней и опекали ее по мере сил. Она была чрезвычайно нетребовательна, и я не раз, навещая ее в гостях и особенно у Пуниных, заставлял ее голодной – хотя именно там, у Пуниных, она «ежеминутно все оплачивала».

Существование это было не слишком комфортабельное, но, тем не менее, все-таки счастливое в том смысле, что все ее сильно любили. И она любила многих. То есть каким-то невольным образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю, к этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих – почти всех – его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной внутренней щедрости, от нее исходивших.

Мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. Не все из нас, по крайней мере. Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного/духовного – да не знаю, уж как это там называется, – уровня, на котором находился, – от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она. Конечно же, мы толковали о литературе, конечно же, мы сплетничали, конечно же, мы бегали за водкой, слушали Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это: в моем сознании всплывает одна строчка из того самого «Шиповника»: «Ты не знаешь, что тебе простили». Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отры-

Колонка редактора

ПОЧВА И СУДЬБА

О чем бы вы сегодня ни начали разговор по отношению к России – о литературе, балете, сборе грибов или погоде, – вам все равно в конце концов придется закончить политическими проблемами. Таково уж в современном мире положение этой страны, в которой определилось теперь средоточие самых фундаментальных проблем человечества. Хотим мы того или не хотим, но от развития событий в ней зависит сегодня завтрашняя судьба христианской цивилизации, ее культуры, ее свободы, ее моральных и социальных ценностей. Отсюда и формируется то особое положение, которое, помимо его собственной воли, занимает на Западе русский или восточноевропейский писатель-эмигрант, или – если выразиться более традиционно – изгнанник.

- Подавляющее большинство из нас открыто политически ангажированы. Это обусловлено как давнишней традицией русской и славянской литературы вообще, изначально взявшей на себя роль легальной оппозиции в своих обществах, так и самим фактом эмиграции-изгнанничества – фактом, несомненно, прежде всего идеологическим. В связи с этим любой писатель из тоталитарного мира, вне зависимости от эстетической позиции, являет собою в глазах западного читателя и слушателя величину в первую очередь политическую, а затем уже литературную.

И сколько бы иные из нас ни открещивались от этого, сколько бы ни кокетничали своей непричастностью к какой-либо идеологии, они все равно отмечены уже несмысливаемой печатью той системы, из которой им удалось выломаться, а следовательно, несут и часть ответственности за нее.

Помнится, несколько лет назад в литературной эмиграции шла довольно острая полемика вокруг одной любопытной ситуации, сложившейся в Париже в связи с поэтическим вечером Андрея Вознесенского. На этом вечере группа правозащитников подняла плакат в защиту писателей – советских политзаключенных. На следующий день несколько писате-

лей-эмигрантов выступили в газете «Монд» с осуждением этой акции.

Доводы их, на первый взгляд, были вполне убедительны. Они призывали не смешивать поэта с системой и не предъявлять к нему политических претензий. По мнению этих писателей, никто не вправе спрашивать с поэта за преступления его правительства.

В ответ я в газете «Либерасьон» предложил своим коллегам вообразить себе аналогичную ситуацию из недавнего прошлого Европы. Томас Манн остается жить в гитлеровской Германии, время от времени посещая соседние страны с литературными вечерами. Вправе были бы его европейские собратья по перу напомнить ему о концлагерях, аншлюссе или, к примеру, о судьбе Карла Осецкого? К сожалению, авторы письма в «Монд» не смогли или не захотели более обсуждать подобную возможность.

Я убежден, что писатель, вне зависимости от своей эстетической позиции, отвечает за то, что происходит не только в его стране, но и во всем мире. Недаром большинство наиболее видных западных писателей также не чурается политической деятельности. Вспомним хотя бы недавно ушедших Мальро, Сартра, Бёлля или ныне здравствующих Маркеса, Льюиса, Грасса, Ионеско, Моравиа и многих-многих других.

Кстати сказать, у этой традиции на Западе долгая и славная история. Она легко прослеживается от Гёте и Вольтера, через Шенье, Ламартина, Гюго и Гейне до Золя, Роллана и Франса. Человечество слышало их голос всегда, когда где-либо в мире и кем-либо попиралась справедливость.

Я убежден также, что едва ли такие литературные затворники наших дней, как Беккет, Симон или Зингер, не вышли бы из эстетического гетто, окажись они в положении своих русских и восточноевропейских коллег. Эстетика, на мой взгляд, дочь красоты, а я не верю в красоту без морали. Не случайно великий Достоевский предрекал нам, что только красота спасет мир.

Разумеется, я не склонен навязывать свою гражданскую позицию кому бы то ни было – каждый художник волен сам определять свое место в жизни и литературе, – я лишь против того, чтобы лукавыми обвинениями в политизации творчества по моему адресу и адресу моих единомышленников иные наши

оппоненты оправдывали свой духовный оппортунизм и собственное равнодушие.

Судите сами, могу ли я молчать, когда за колючей проволокой погибли наши коллеги – писатель Анатолий Марченко, поэт Василь Стус? Когда лишь в последнее время спасены от гибели Виктор Некипелов, Микола Руденко, Ирина Ратушинская, Леонид Бородин, Низаметдин Ахметов? Могу ли я со спокойной совестью сидеть в безопасном далеке над своей очередной книгой, когда у меня в стране обречены на печатную немоту такие художники, как Инна Лиснянская или Лидия Чуковская? Могу ли я безмятежно отдаваться профессиональному делу, когда именитые дезинформаторы от советской литературы под аплодисменты достаточно влиятельных западных кругов распространяют здесь смертельно опасную для судеб свободы ложь?

Честно говоря, могу, но, тем не менее, не имею права.

Я не имею на это права и по чисто личным причинам. В свое время я уже говорил об этом в своем ответе на анкету той же «Либерасьон». Я позволю себе процитировать здесь этот свой ответ:

«В отличие от подавляющего большинства русских писателей моего поколения (если не всех вообще), мне единственному, так сказать, повезло, выйдя из самых низов советского общества, пройти по всем его «девятым кругам», от маргинального мира нищих, бродяг и преступников до советского истеблишмента, где жизнь сводила меня с писателями, художниками, артистами, учеными всех рангов и положений, а также с партийными и советскими деятелями всех уровней, включая некоторых членов политбюро. К тому же, будучи сыном рабочей-железнодорожницы и крестьянина, ставшего рабочим, я, сам по профессии рабочий-каменщик, а по сложившейся судьбе и положению интеллигент, являю собою как бы в значительной мере социальную и духовную субстанцию общества, из которого я выломился.

Все это вместе взятое уже в ранней юности породило во мне такое испепелявшее меня изнутри желание рассказать обо всем, что я видел и пережил, что если бы я не сумел этого сделать, то, наверное, сошел бы с ума. А насколько сумел, не мне судить. Во всяком случае, другого способа, кроме писательского, у меня для спасения не было. Вот и всё».

Нет у меня иного способа профессиональной и духовной самозащиты на Западе, кроме сохранения в себе меры ответственности за все, что происходит в моей стране, и чувства вины за то, что делается в мире ее именем.

Вечным напоминанием о долге художника может служить всем нам хрестоматийное четверостишие Бориса Пастернака:

Когда строка диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

В контексте нашего времени эти слова могут служить нам путеводителем не только в литературе, но и в повседневной деятельности. Это диктуется природой самой почвы, из которой мы вышли, и той судьбой, которую мы себе выбрали.

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Анри Волохонский, Евгений Звягин,
Владимир Максимов**

Поэзия:

**Михаил Еремин, Сергей Петрунис,
Белла Дижур**

Публицистика:

**Игорь Бирман, Томаш Мяннович,
Борис Парамонов**

Наша почта

ВАССАЛЬСТВО, ИСКУШЕНИЯ ТОТАЛИТАРИЗМА И «ФИНЛЯНДИЗАЦИЯ»

Благодарю Жана-Пьера Руссо за интересную статью о «финляндизации сознания» («Континент» № 51). Автор неплохо описал определенное явление финской культуры 70-х годов, и нельзя не заметить, что он стремился к объективности, не жалея похвал, где считал это возможным. Однако что касается политического положения Финляндии, то г-н Руссо позволяет себе делать ничем не обоснованные намеки о «вассальстве». Но необходимо заметить: Финляндия не является «вассально зависимой страной» и никогда таковой не была. Это не Франция периода Виши; вспомним, что представитель Финляндии мог во время войны предупредить Германию насчет возможных планов оккупации страны; он сказал: мы суровый народ, и если надо, то будем бить вас так же, как мы били русских. Но о политическом положении Финляндии я сейчас не хочу спорить.

Как я уже сказал, г-н Руссо неплохо описал известное психологическое явление, однако он не смог объяснить, в чем тут дело. Руссо сам видит парадокс, который ему все же не мешает продолжать развивать свою точку зрения; финны со стыдом относятся к тому, за что они заслужили восхищение во всем мире, имеется в виду героическое сопротивление Финляндии Советскому Союзу, пишет г-н Руссо, а потом отмечает, что ожидать от Финляндии храбрости перед Советским Союзом не стоит, потому что у народа якобы «долгое подневольное прошлое», «унаследованный восточный фатализм», «крестьянские корни», «навыки прежнего вассала»! Это не только противоречиво, но и безграмотно. Финляндия всегда принадлежала к зоне скандинавской крестьянской свободы: в отличие, например, от Франции, в Финляндии никогда не было крепостного права. Финская культура и общественные традиции безусловно западные, а если говорить о политических правах народа, то Финляндия оказалась второй страной в мире, где было введено всеобщее избирательное право еще в 1906 году.

Но чем же все-таки можно объяснить некоторые странные явления финской культуры 70-х годов: попустительство в отношении советского режима, даже сдачу интеллигенции (между прочим, подчеркнем, что эти явления как таковые уже изжиты)?

Чтобы это понять, надо взять историю, как она есть, и не придумывать небывлицы. В 30-е годы, когда во Франции интеллигенты поспешили сдатьсь кто Сталину, кто Гитлеру, такого явления в Финляндии почти не было. Только молодое, послевоенное поколение интеллигенции, которое не получило уроков военного времени, было готово поддаться искушениям тоталитаризма. Кстати, это случилось как раз в то время, когда на улицах Парижа начались массовые беспорядки под лозунгами маоизма. СССР и стал «третьим миром» финской молодежи, и Брежнев – ее Мао Цзедуном. Финский вариант указанного сумасшествия – странный, но возможно ли доказать, что французский вариант чем-то более разумен? История культуры развивается по противоположностям. После того, как вплоть до 60-х годов у коммунизма в Финляндии совсем не было поддержки интеллигенции, он стал на короткое время ведущим течением среди молодежи. После того, как ко всему русскому в Финляндии относились враждебно в течение нескольких десятков лет, увидели возможность примирения с русскими людьми, русской культурой, и это относится даже к людям старшего поколения.

Это, правда, еще не всё объясняет: надо еще иметь в виду роль официального внешнеполитического курса – курса прагматизма, механизм которого нередко действовал подобно тоталитаризму: хорошо только то, что полезно отечеству, а ему полезно политическое доверие СССР по отношению к политике Финляндии, а плохо то, что приносит ущерб интересам страны, как бы ни были красивы идеалы.

Бесспорно, что многие явления финской культуры этого времени являются странными, смешными, трудно объяснимыми. Но то же самое можно сказать о любой культуре. Подумать только о тех примерах, которые дает в своей недавней книге Паскаль Брюкнер*. Чем объяснить лозунги маоистов на парижских баррикадах, чем – бесславное падение Франции во время войны? Думать, что они были следствием того, что

* Pascal Bruckner. Le sanglot de l'homme blanc. Paris, 1983.

французский народ получил политические права только в 1945 году, или же искать ответ в национальном характере либо в древнем прошлом Франции вряд ли было бы разумно. Не считаться с недавним прошлым, с тем, что пережили современные поколения, значит не стремиться к серьезному пониманию вопроса.

Говоря о пацифизме, который особенно беспокоит г-на Руссо, следует упомянуть, что в Финляндии никогда не было такого массового явления пораженчества, которое было во Франции и, судя по опросам, все еще существует. Но думается, можно ожидать, что это явление во Франции изживет себя так же, как изжила себя «финляндизация сознания» в Финляндии. В указанном г-ном Руссо виде она уже прошла.

*Тимо Вихавайнен,
научный сотрудник
Унив. Хельсинки*

Многоуважаемый господин редактор!

В № 51 Вашего журнала были помещены заметки из литературного архива Кирилла Померанцева – «Неизвестное стихотворение», в котором опубликовано стихотворение Георгия Иванова – «Я за войну, за интервенцию...» К. Померанцев ошибочно утверждает: «Стихотворение нигде не было напечатано, и это понятно. Но оно сохранилось в моей памяти...»

В парижском журнале «Возрождение», № 82, октябрь 1958 г., на странице 123 был опубликован некролог – «Принц без короны», в нем как раз и приведено это стихотворение, правда, не целиком, а первое четверостишие.

В вышедшую в январе этого года в американском издательстве «Антиквариат» книгу – «Георгий Иванов. Несобранное» (составитель В. Крейд) также включено это известное стихотворение Георгия Иванова.

К прекрасной публикации (в этом же номере) «Сонеты» Миколы Зерова хочется добавить следующее. Переводчик Василий Бетаки в своей вступительной заметке о большом украинском поэте, в частности, отмечает: «А вот в СССР – почти ничего. (Это о публикациях произведений Миколы Зерова. – Э. Ш.) Краткое упоминание в Краткой литературной

энциклопедии. Несколько стихотворений по-украински в конце пятидесятих годов...» В 1985 году, в Ленинграде, в издательстве «Искусство», вышла из печати монография Платона Белецкого – «Георгий Иванович Нарбут». В книге этой не только воспроизведена обложка книги М. Зерова «Антология», но и рассказано о творчестве в содружестве поэта и художника. Платон Белецкий в своей монографии приводит украинский текст сочиненной М. Зеровым элегии Грабуздова «На умолчание мельницы фамильной».

С уважением,

Э. Штейн



GLOBUS
A Slavic Bookstore

332 Balboa Street

San Francisco, California 94118

U.S.A.

(415) 668-4723

Предлагает новые и антикварные книги, опубликованные эмигрантскими издательствами, журналы и газеты, а также открытки, пластинки и кассеты. Выполняет переплетные работы и реставрацию книг.

Каталог высылаем по требованию.

Критика и библиография

И КОМИССАРЫ В ПЫЛЬНЫХ ШЛЕМАХ...

Последний роман Юрия Трифонова остался незавершенным, он обрывается фразой: «Но прошло много лет...»

В одном давнем интервью Юрий Валентинович сказал: «У каждого писателя есть один золотой запас, который однажды он должен потратить. Этот запас – его детство. Я давно думал написать о своем детстве, но все не решался приступить. Тем более, что детство мое легло на годы сложные, трудные... Я жил в Москве... Моя маленькая родина – это Софийская набережная, Каменный мост, переулки Замоскворечья. Эта тема тоже будет в романе. Во время войны я работал на одном из московских заводов. Мне было тогда 16-17 лет» («Лит. Россия», 1969, 7 марта).

И впечатления детства (запас которых и впрямь «золотой», комфортный – квартира в Доме на набережной, черный отцовский «роллс-ройс», в комнате персидские ковры, коллекция оружия, летом – дача и пляж в Серебряном бору), и переулки Замоскворечья, и прифронтная Москва, и работа нашего-героя на заводе – всё это вошло в незавершенный роман, но основной костяк повествования – другой, о нем не поведал автор корреспонденту «Литературной России», ограничившись словами: «Детство мое легло на годы сложные, трудные...»

Время возносит и опускает людей, меняет их местами: в двадцатых они – судьи, в тридцатых – жертвы, скоро их черед исчезнуть в этом водовороте, где тонут одинаково и умеющие плавать, и не умеющие... Вчерашний «истеблишмент» теснят следующие, тоже жаждущие «роллс-ройсов» и дач в Серебряном бору. Семья Николая Григорьевича Баюкова (отца героя) принадлежит к высшему кругу победившей революции: Орджоникидзе в этой семье зовут запросто «Серго», запросто ему звонят, несут ему свои рукописи-воспоминания, по его безвременной кончине надевают траур всей семьей, включая двух

Юрий Трифонов. Исчезновение. Роман. – «Дружба народов», 1987, № 1.

престарелых бабушек – тоже со славным революционным прошлым. (Одна из этих бабушек в революционных перипетиях... позабыла свои подлинные имя и фамилию, откликается лишь на подпольную кличку, чем вызывает у автора особое к ней уважение и сочувствие.) Но с каждым годом сановитой семье всё труднее вести свои дела, не к кому обратиться: одни соратники умерли, другие исчезли, третьи оттеснены, четвертые хоть и работают на прежних местах, но настолько переменились, что к ним и не обратишься.

К четвертым принадлежит некий Арсений Флоринский, тот самый, что в 20-м году работал под началом Баюкова в трибунале дивизии, «его называли не иначе, как Арсюшка, и гоняли, как простого ординарца». Потом годами не виделись, Арсений Иустинович учился, работал в следственных органах на Украине, в Закавказье, встретились году в 25-м на пленуме Верхсуда в Москве – Баюков был тогда крупный чин в Военной коллегии, носил четыре ромба, называл Флоринского по-прежнему Арсюшкой и улыбался покровительственно. И вот, в конце тридцатых, этот «Арсюшка» Флоринский, говоря современным номенклатурным языком, собирает «компроматериал» на бывшего начальника. За что такая черная неблагодарность?

Оказывается, в «злой памяти» Флоринского, как пишет автор, хорошо сохранился эпизод: осенью 20-го года он, молоденький юноша в кожанке до колен, с маузером на боку, секретарь ревтрибунала города Владикавказа, примчался на дрезине в Ростов к члену реввоенсовета Баюкову. Примчался затем, чтобы спасти от расстрела следователя местной ЧК Бедемеллера, попросту Сашку, своего двоюродного брата, который использовал мандат в корыстных целях, как то: вымогательство у населения. Баюков, который мог приостановить исполнение, резко и грубо отказал: «Мы можем простить любого, но не чекиста». И Сашка Бедемеллер, «не доживший до 23 лет, был расстрелян на рассвете в балке за городом». Не отстранен от работы, не выгнан из партии, не как-то иначе наказан, а – расстрелян.

Самое поразительное, что, в отличие от «злопамятного» Флоринского, Николай Григорьевич Баюков этого расстрела попросту не помнит; по-видимому, то был проходной случай в его революционной практике. «Арсюшку» же, по авторской ремарке, потрясла тогда не столько смерть брата, не дожив-

шего до 23-х лет, сколько «великий и заразительный пример беспощадности». Отметим – беспощадности, имеющей право.

Теперь это право получил Флоринский, ныне «господин действительный тайный советник». В обширной литературе о жертвах и палачах 37-го года едва ли мы найдем пример такого материализованного возмездия, принявшего форму кровной мести. Кому же из двоих – Флоринскому или Баюкову – должен сочувствовать читатель? Можно ответить по старой дипломатической формуле: для литературы хороши оба. Оно так, да ведь читатель читает книгу не как дипломат, он неизбежно выбирает, и этот выбор определяется его, читательской нравственностью.

Подобный пример этой аморальной «забывчивости» был и в романе Трифонова «Старик». На склоне жизни Павел Евграфович Летунов озабочен спасением памяти командарма Мигулина, мучается воспоминаниями о несправедливости, которая была в отношении него допущена, собирает папку «Всё о Мигулине» – и не понимает, не помнит начисто, что сам был одной из сил, погубивших Мигулина. «...добрейший Павел Евграфович в двадцать первом на вопрос следователя, допускает ли он возможность участия Мигулина в контрреволюционном восстании, ответил искренно: „Допускаю“, но, конечно, забыл об этом, ничего удивительного, тогда так думали все или почти все, бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что...»

Прототип Мигулина – Филипп Кузьмич Миронов (1872 – 1921) – упоминается Трифоновым еще в романе «Отблеск костра». Этот незаурядный человек, командарм 2-й Конной, доблестно сражался, был награжден, а затем репрессирован и «ликвидирован» – еще при Ленине. Чтобы восстановить доброе имя командарма, историю его боев, десятилетиями бились многие оставшиеся в живых мироновцы. Все сохранившиеся, тщательно собранные материалы они вручили писателю Трифонову, сыну Валентина Трифонова, бывшего при Миронове политическим комиссаром. Они надеялись, что сын, в отличие от отца, сумеет подняться над обстоятельствами времени, высветит трагическую судьбу Миронова, скажет всю правду.

И что же? С одинаковой размытой «беспристрастностью» говорит автор и о расстреле юного грабителя Сашки Бед-

меллера, и о гибели вожака донского казачества, легендарного Миронова.

«Я не хочу ничего разжевывать или объявлять моральный приговор, – так объяснял свою позицию Трифонов. – Эту работу должен сделать читатель. И потом, мы ведь о людях в жизни выносим обычно неоднозначное мнение. Одни оценивают человека так, другие иначе...»*

Но авторское отношение существует всегда, от него не уйдешь. Авторское сочувствие или неприязнь неизбежно проявятся – в сюжете, диалогах, интонациях. Так и Трифонов не может скрыть от нас явной ностальгии по ушедшему, отодвинутому революционному «истеблишменту», к которому сам принадлежал по рождению**. Симпатии его неизменно на стороне революционеров-ленинцев, пострадавших в 1937-м. Все страдавшие и погибавшие до этого – не в счет, «бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что...»

Трифонов против наглых, вторгающихся в жизнь, нахрипистых флоринских, и ему очень не хочется, чтоб их путали с чистыми идейными «комиссарами в пыльных шлемах». Признаться, современный читатель не слишком разделяет авторскую боль и горечь; существеннее, однако, другое: на чьей стороне был бы автор в конфликте безупречного комиссара В. Трифонова и «анархистствующего» самородка Миронова? Похоже, пиши Ю. Трифонов «Тихий Дон», для него главным героем, предметом сострадания и любви был бы не Мелехов, а Кошевой.

* Ю. Трифонов. Как слово наше отзовется. М., «Сов. Россия», 1985.

** Отец писателя, Трифонов Валентин Андреевич (1888 – 1938) – российский революционный и военный деятель. Член КПСС с 1904 г. Участник Октябрьской революции (Петроград), Гражданской войны (в 1918-21 гг. член коллегии Наркомвоена, участник создания Красной Армии, член РВС ряда фронтов). В 1923-25 гг. председатель Военной коллегии Верховного суда СССР, затем на хозяйственной работе. – Сов. энциклопедич. словарь.

В романе «Отблеск костра» Юрий Трифонов пишет об отце: «Он был одним из тех, кто раздувал пламя: неустанным работником, кочегаром революции, одним из истопников этой гигантской топки». Образы впечатляющие, да почему-то в моем воображении всплывает... Освенцим. – Н. К.

Роман не завершен, поэтому, пожалуй, только линия Баюков – Флоринский более или менее ясна. Другой, чрезвычайно интересный – и для Трифонова необычный – узел отношений связывает Баюкова с его братом Михаилом и племянником Валеркой. Тоже едва намеченный, этот узел все же заслуживает того, чтобы хоть вкратце на нем остановиться. В отличие от брата, Михаил Баюков сам отошел от дел, «оторвался от большой работы» и живет бирюком:

– Не участвую, не служу, не езжу в черном «роллс-ройсе», ядри вашу в корень, – вот простейшая избранная альтернатива тому, чем занят, чем живет брат: – Движение тащит тебя, как кутенка, ты даже не барахтаешься.

Но обстоятельность не столь просты, и хотя Михаил Григорьевич осознал их абсурдность и низкую природу, и его не минует «исчезновение»:

– Ты понял, почему я на собрания не хожу? Я уж и скрылся от них за сорок верст, ни с кем не вижусь, на письма не отвечаю, а всё жгучий интерес к моей персоне...

Его сын Валерка – двоюродный брат главного героя – тоже тяготится родовой принадлежностью к делу революции. Он убегает от матери, не порвавшей со своей средой, вышедшей вторым браком за дипломата и готовящейся к поездке в Париж. Убегает, как и положено подростку, прямо с вокзала, обманув мать и отца. Похоже, бегство составляет доминанту его поведения. Роман, бесспорно, автобиографичен, и в Валерке легко предположить двоюродного брата Трифонова – «беглого» писателя Михаила Дёмина, урожденного Георгия Трифонова, чья судьба сложилась одинаково нелегко, даже трагично, и в России, и на Западе.

Не вдаваясь в сравнительный анализ творчества обоих писателей, скажем, однако, что Михаил Дёмин оторвался, «сбежал» от своего класса, чего так и не сумел Юрий Трифонов. Начал он свой литературный путь романом «Студенты», удостоенным Сталинской премии за 1950-й год, когда кампания борьбы с космополитами достигла апогея. Роман вышел в «Новом мире», сопровождаемый эскортом статей – «Оруженосцы космополитизма», «Эпоха в кривом зеркале» (о романе К. Гамсахурдиа «Давид-Строитель»), «Проповедник космополитизма. Нечистый смысл чистого искусства Александра Грина» и т. п., – да и сам дебютант не уклонился от схватки: его отрицательный персонаж, профессор Козельский, «форма-

лист» и «низкопоклонник» (определения автора. – Н. К.), изгоняется из института за апологетику Достоевского, герой положительный, будущий писатель, а пока студент, Вадим Белов, подкладывает в костер, к ногам учителя, свою охапку хвороста: «Этот Достоевский, которого народ не понимал и не поймет никогда»... Много лет спустя, в беседе с критиком А. Бочаровым, зрелый мастер признался: «...теперь я такой книги бы не написал». А теперь такого и не требовалось, теперь были в цене «ленинские нормы жизни», «преемственность поколений», «священные традиции отцов», «комиссары в пыльных шлёмах»... Обогадив, на заре своего писательства, русскую литературу борьбой с инакомыслием, Юрий Трифонов целиком отдался революционной ностальгии. И эта-то ностальгия, владевшая им до последнего дыхания, обозначила потолок, выше которого большой талантливый писатель так и не смог подняться.

Наталья Кузнецова

ЛИРИЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВЕРНИКА

Расположив стихи, за редким исключением, в хронологическом порядке (с 1963 по 1986 год) Александр Верник разделил их на два разнозначных цикла: «Лермонтовская, 12», то есть доэмигрантское бытие, и «Адресат выбыл» – всё, что после, – и назвал свою книгу в том же квазианкетном духе «Биография». На этом всякое соответствие с внешними обстоятельствами, разумеется, кончается, уступая место неопределенностям и неуловимостям самой поэзии, где «сквозь событий сито на краю у быта мало что осталось для судьбы иной». С этого-то многозначительного жеста приятия доли и разворачивается вся событийность незримого уровня.

Метафорически и мелодически упрощенные, предельно соотнесенные с речевой интонацией и интонационно беспретенциозные, стихи Александра Верника неизменно устремлены к тому, что у Мандельштама названо «последней просто-

Александр Верник. Биография. Стихи. Иерусалим, «Лексикон», 1987.

той». Не принимая ни одну из заманчивых поэтических поз, он, как бы не замечая читательского присутствия, покойно и непринужденно излагает немногословные итоги своих безнадежных наблюдений за ожиданием, за негромкой и утомленной надеждой: «О эти завтра! Милая утеха, насмешка над несбывшимся вчера...»

Поначалу это зачастую стихи-куплеты, сквозь которые то и дело улавливается гитарный перебор, приглушенный вечерний голос:

Я в вагонный мрак ныряю,
уезжаю – на беду.
Может, снова потеряю,
потеряю – не найду.

Этой напевной ритмикой обусловлено впечатление некой ве­дóмости в ранних вещах, песенной зачарованности голоса, почти не ведающего, что творит с ним упругий и незамысловатый мелодический ход. Они все на ритме, из ритма, а ведь в ритме, по словам престарелого Гёте, «есть что-то колдовское; он даже вселяет в нас веру, что возвышенное принадлежит нам».

Именно в изменении ритмики сказываются качественные сдвиги в стихах 70-х годов: она чуть замедляется, раздаются вширь лирические горизонты, и прежняя напевность неприметно уступает место порою сбивчивому, возбужденному, но все еще сдержанномуговору:

И тех, что мне случилось полюбить,
или казалось, что любить случилось,
я помню так, я так их вспоминаю,
как можно только неживых...
И подступает плакать –
без времени, не ко двору, некстати.

Потом бывшая мелодика неожиданно приобретает подголосок отчаянья, обреченности: «Что ж, еврейская скрипочка, мне душу надвое рвешь?» На этом распутье последние мелодии означенного в заглавии адреса обрываются испуганным возгласом-самоуговором:

Только все это – бред, блажь.
Пой же, скрипочка, пой,
что ничей я – не их, не ваш.
Отпустите домой!

После того, как тяжеленная страница перевернулась, как «адресат выбыл», стихи наполняются воздухом пустот и «невозможная, немислимая синестъ смущает разум, но душа мертва», но душу населяет «знание беды, такой крошечной, что не страшно...» Как непоправимо далека недавняя меланхолическая напевность, как неузнаваем в своей настойчивости этот новый голос: «Здесь воздух цепенеет от беды и холода зимы ненастоящей...»

Ранние ритмы откликаются лишь вкрадчивым эхом, когда «всё осень – по памяти – берет в тиски»: «На даче в маленьком саду под Харьковым давно в легчайшем солнечном бреду с друзьями пил вино».

В стихах 80-х годов интонацию поэта отмечают уже ритмическая неровность, сбивчивость, какая-то лирическая одышка, нарастающий темной волной драматизм:

Надо было слова записать
так,
чтоб пыль и огонь небосвода
очертили: вечером в пять
умирает природа.

.

Точно в пять и случилась тьма,
вдруг –
без суда и смысла.
И погребла под собой дома.
И в провалах дворов повисла.

Поэт по-прежнему удивительно последователен, настойчив в своих – теперь совершенно по-иному высвеченных – образах: «И когда на холмы тьмой египетской рушится вечер, столь внезапно и страшно...», «И губительны сумерки...», «все дела столь далеки, а ночь – чернее ночи черной!», «Под вечер моросит и близко до беды». Лирика последних лет внушает ощущение характерной осколочности, смятения, недоговоренности в интонационных срывах.

Видать – в облюбованной Богом стране
что-то не больно можется мне.
Все остальное – больно.
Было б разумней не жить вполне.
Впрочем, живу добровольно.

Новые, чуть флегматичные монологи Александра Верника становятся все длиннее и неувереннее, будто поэт подозревает свою «визитную карточку двух-трех десятилетий» в возможной необязательности предъявления, но тем не менее в лирическом постскриптуме «своей биографии и себе» поэт заявляет с присущими ему непосредственностью и прямодушием, что намерен «досматривать действие не до антракта, а до конца».

А. Радашкевич

«И ДЫШАТ ПОЧВА И СУДЬБА»

Сейчас, приступая к рецензии на книгу В. Непомнящего «Поэзия и судьба», я невольно вспоминаю, как я впервые взяла ее в руки три года тому назад. Была гриппозная московская зима, и я – болея этим самым гриппом и оттого позволяя себе не вставать с постели, расслабиться – с утра, проводив сына и мужа, оставалась одна в маленькой квартире на «Проспекте Вернадского», где за окнами всё росли и росли сугробы, всё уже становилась протоптанная в снегу дорожка к поликлинике и всё звонче в морозном сером воздухе голоса закутанных платками детей; я раскрывала эту книгу и настороженно – во-первых, потому что «мой Пушкин» и, во-вторых, потому что в самой себе тоже видела профессионала, не абстрактного «филолога», а пушкинистку, с одной статьей, только что законченной, и другой, только что начатой, – настороженно вчитывалась и вдумывалась в каждое утверждение этого нового слова о Пушкине. И тогда же, с первых страниц, я почувствовала, что в этой книге «кончается» литературоведение «и дышат почва и судьба», а значит, всякий разговор о ней может быть только глубоко личностным, тяготеющим к исповедальности, свободным от филологического снобизма.

Пушкин когда-то сказал, что «цель поэзии – поэзия», я бы к этой формуле добавила сейчас, что цель всякого гуманитарного исследования – необходимость выразить свой взгляд на мир, сквозь призму любимого или нелюбимого (что сложнее!) автора прояснить свое нравственное credo. И оттого любая

Валентин Непомнящий. Поэзия и судьба. М., «Сов. писатель», 1984.

значительная работа о Пушкине – всегда (в хорошем смысле слова) исповедь *по поводу Пушкина*.

После мертвого, растянувшегося на несколько десятилетий вульгарного социологизма отечественная наука о литературе к концу 60-х годов с удивлением почувствовала, что на ее шее ослабели пальцы газет и плакатов, и, оставив все это на откуп в удел бедной «средней» школе, где замученные переполненным утренним автобусом, детской ветрянкой, пьющим мужем и мороженой картошкой в рваных пакетах женщины усталыми голосами рассказывают о зеркале русской революции и пушкинском недопонимании – в силу общественных причин – славного пугачевского восстания, оставив все это им, наша наука о литературе попробовала вернуться к утраченной свежести личного восприятия, к той свободной от изнурительных подпорок, оглядок, «предыдущих освещений данного вопроса» литературоведческой прозе, которая была уделом Гершензона, Айхенвальда, Тынянова и Цветаевой. И вдруг оказалось, что это – за редчайшими исключениями, такими, скажем, как книга С. Бочарова о «Войне и мире», – невозможно. Может быть, уже поздно, может быть, еще рано. Слишком привыкли писать «мы» вместо «я» в своих дипломах, статьях и диссертациях, и это до анекдотичности осторожное «мы считаем» или «мы убеждены», пришедшее на смену простому и опасному человеческому «я», далеко увело нашу мысль по пути оглядчивого примитива, боящегося оступиться в своем атеизме, материализме и историзме. Правда, свежим ветром потянуло вдруг из эстонского университета, и радостно отдались на его волю задыхающиеся без воздуха умы, чувствуя, что в этой «пустыне, чахлой и скупой», лотмановское направление было глубоко положительным явлением, но тем напряженнее ждала своего часа иная книга, прямо возвращающая нас (при всех своих неудачах) к той чистой прямоте, к той утраченной исповедальности, которую, казалось, унесло водами Леты. Ценность труда Непомнящего не в его научных открытиях, а в том, что он отразил назревшую, сегодняшнюю потребность в восстановлении скомпрометированных нашей историей и временем нравственных истин, в том, что он, заручившись мощной поддержкой Пушкина, возвратил гуманитарную науку «на круги своя». Я во многом не разделяю его мнений, меня подчас коробит его доходящая до декламации «многослогольность», но и сейчас, в моей американской оторван-

ности, мне радостно читать такое, например, живое, переливающееся: «Я не без страха пишу обо всем этом, – позволено ли вторгаться в чужую жизнь? В такую жизнь? Но я знаю, во имя чего пишу, и потому продолжаю».

На мой взгляд, всё в мире, и в том числе литературоведение, может быть обывательским и необывательским. Прелесть «Поэзии и судьбы» в ее однозначно необывательском устремлении, в достоверности и выстраданности каждого предложения. Прелесть? Да. И опасность. Огромная. Но, начиная разговор об опасности, я еще раз, с еще большей, чем прежде, настойчивостью, хочу сказать, пользуясь словами Пушкина из чернового письма к Чаадаеву, что в нашем современном обществе, где господствует «отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и истиной», что в таком обществе появление *такой* книги есть благо.

В свое время, комментируя «Памятник», Гершензон писал как бы от имени Пушкина: «Знаю, что мое имя переживет меня: мои писания надолго обеспечат мне славу. Увы! Она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно ценное, что есть в моих писаниях и что я один чувствую в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд».

Непомнящий делает все возможное, чтобы оторвать представление о пушкинской поэзии от каких бы то ни было «обиходных нужд», его исследование имеет одно основное направление – поиск нравственного идеала и стремление выразить этот идеал своими словами, язык пушкинской поэзии перевести на иной – прозаический и внятный современнику – язык. Вот один из выразительных, на мой взгляд, примеров. «Что такое „чувства добрые я лирой пробуждал?“ – пишет Непомнящий. – Учил доброте? Давал уроки добродетели, которые можно давать и помимо поэзии? Это не значит „учил“. Это значит „пробуждал“ добрые чувства в людях. Учить можно того, кто не знает. Пробуждать можно то, что есть в душе...» В оценке пушкинского творчества Непомнящий не просто романтически высок, он почти религиозен, и потому в его работе столь органично сплетены моменты чисто литературоведческие с широким – в полное дыхание – философским осмыслением не только поэзии, но и всех житейских

испытаний Пушкина. Так, почти мистически приподнято звучит в его интерпретации факт влюбленности и женитьбы на Наталье Николаевне: «Для того, чтобы осилить, донести то, не свое, данное шестикрылым серафимом, оказалось необходимым еще увеличить ношу, взять на себя что-то и свое, такое, как у обыкновенных людей». Отказываясь от каких бы то ни было мерок повседневности и будучи абсолютно противоположным А. Синявскому с его хозяйски-фамильярным отношением к предмету (я говорю о «Прогулках с Пушкиным»), он с кровной автобиографической разделенностью приводит слова одного французского слависта: «Нам трудно понять ваше отношение к искусству. Для нас поэзия – высокая словесность, а поэт – мастер. Для вас поэзия соседствует с культом, а поэт – пророк». Взгляд на Пушкина как на пророка и выразителя русского народного гения безусловно не принадлежит к открытиям Непомнящего, да он и не претендует на это, часто оглядываясь в своем исследовании на мнения Достоевского и Гоголя, так часто, что иногда его книга становится развернутым, тщательно и многословно комментируемым переложением знаменитой речи Достоевского на открытии памятника Пушкину. И в том, что порою Непомнящий повторяет своими словами то, что более ста лет назад произнес Достоевский, сейчас, в наше время, как я его чувствую, таится большая духовная опасность. То *национальное* звучание, которое имела речь Достоевского, желающего, по его собственному выражению, «пробить сердце» человека, русского человека, в исторической жизни которого этот прозаик и провидец всем существом своим ощутил надвигающуюся опасность братоубийственной бойни и большевистской расправы над человеческой жизнью, то *национальное* звучание, которое – повторяю – с определенной исторической оправданностью наполнило в свое время речь Достоевского, приобретает сейчас обидно *националистический* смысл в переложениях Непомнящего. Я боюсь и не хочу обидеть человека, которого помню по Москве и глубоко уважаю; более того: я понимаю, что мне, живущей сейчас в Бостоне, «карты не в руки», ибо всякий упрек из «прекрасного далека» вызывает наше моментальное априорное разобшение, но, как сказал он сам, «я знаю, во имя чего пишу, и поэтому продолжаю». Обращаюсь просто к цитате: «Именно русское слово оказалось по руке его дару, и именно этот дар оказался целиком соприроден России по духу.

Небывалый в мировой культуре по масштабу и роду, дар этот был определен просторной широкой провинциальной стране с тихой беспорывной природой под неярким небом и серенькими тучами, с ее избами, балалайкой и топотом трепака. Он был определен стране, спасшей Европу, стране, осененной поверх всех трагедий и бед высоким духовным предназначением. Он был определен народу, в котором Гоголь и Достоевский расслышали, слушая Пушкина, „всечеловеческое эхо“, небывалое свойство „всемирной отзывчивости“, национальную потребность в „братстве людей“». Мне кажется, что те сто лет, которые прошли со времени речи Достоевского, наглядно доказали нам, что «время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны Родине – истинной» (Чаадаев), что самое большое мужество состоит сейчас в том, чтобы заглянуть в глаза веку-зверю, догрызающему Россию, и заставить ее обратить *свои* глаза внутрь души, чтобы увидеть все «глубокие и кровавые язвы», как это сделал Гамлет по отношению к преступной матери. В России, может быть, благодаря тому «железному занавесу», который отделяет ее от мира, и так с лихвою хватает необоснованно высокого представления о своей исключительности. Чувство это глубоко болезненной природы и обусловлено совокупностью различных, глубоких и мелких причин: от элементарного географического пространственного размаха, породившего знаменитую птицу-тройку, до многовековой привычки к несвободному и насильственному состоянию, приведшему к комплексу непонятости и ущемленной гордыни. Достоевский, который видел дальше и глубже всех, не был – по очень простой причине, которую я определила бы как надежду, столь естественную для любого человека, – свободен от русских народнических иллюзий, давших К. Леонтьеву основание назвать его христианство розовым. Он не был, более того, *не мог и не хотел* быть свободным от этого и потому соблазнился тем церковным национализмом, который мешал русскому народу выйти во вселенскую ширь. Одной из самых крупных тем Непомнящего, выстраиваемой *по поводу Пушкина*, становится тема национальной исключительности с большой буквы, что, на мой взгляд, только затеняет пушкинское творчество и человеческое достоинство. Почему, например, русский критик позволяет себе сказать о «небывалом в мировой культуре по масштабу и роду» даре Пушкина? Неужели наш поэт нужда-

ется в каком-то искусственном возвеличивании в ущерб, скажем, Гомеру, Данте, Шекспиру, Рабле или Гёте? Почему надо так настойчиво повторять вслед за Гоголем, что сочинения Пушкина «может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы»? Разве трудно заметить, что пафос национального морализма имеет оборотной своей стороной национальную аморальность и что болезнь необоснованного российского превосходства можно вылечить только требовательностью и самокритичностью, что духовное оздоровление может наступить только в освобождении от тяжелого националистического наркоза? «То, что происходит сегодня в отношении народа к своему поэту, – пишет Непомнящий, – это стократное эхо пушкинских торжеств 1880 года, вершиной которых была речь Достоевского. Смее думать, что мы сейчас находимся на пороге очередного нового исторического акта самосознания русской культуры, ее отчета перед своей совестью, определения ею своего дальнейшего пути или уже присутствуем при этом акте и участвуем в нем».

Я думаю, что в утверждениях такого рода есть какое-то воспаленное преувеличение, какое-то почти апокалипсическое ожидание чуда, ожидание, соблазненное призрачной идеей его облегченного и быстрого наступления. Но ведь путь к возрождению и долог, и труден, лежит он через горькое испытание покаянием, через мучительное всеобщее очищение, которое невозможно без определенной доли здоровой национальной скромности и обращения к положительным моментам чужого исторического опыта. Мне тем сложнее писать обо всем этом, чем острее я понимаю, что книга Непомнящего – плод глубоко христианских раздумий о жизни и смерти, но ведь тем и выше требования к ней, тем очевиднее те ее моменты, которые глубоко противоположны, более того, враждебны подлинному христианству.

Я полагаю, что в литературоведении, так же, как и в других областях человеческого познания, особенно опасен, говоря словами Пушкина, «предрассудок любимой мысли», и справедливость этого мне хотелось бы доказать сейчас обращением к «Борису Годунову». Непомнящий пишет: «„Борис Годунов“ – не историческая трагедия в привычном смысле термина, а трагедия об истории. Это народная трагедия не потому, что в ней действует народ или даже мнение народное, а потому, что в ней царствует и управляет идеал правды и со-

вести, который в народном русском сознании всегда был высочайшим и по существу единственным идеалом, достойным человека». Мне кажется, что такой взгляд не только искажает смысл трагедии, но и произвольно переворачивает сам ход нашей истории, как он имел место в действительности. Разве так развивались бы ее события, если бы идеал правды и совести и впрямь доказал себя как *единственный идеал* народного сознания? При самом свободном, непредвзятом прочтении трагедии я убеждаюсь в том, что толпа, как ее чувствовал Пушкин, и в действии и в бездействии своем является достаточно слепой и стихийной силой, которая реагирует на происходящее с какой-то импульсивной бессознательностью. Похоже, что «лукавый царедворец» Шуйский имеет серьезные основания произнести:

...Бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна...

В противовес изменчивому и суеверному народному сознанию Пушкин последовательно отстаивает ценность душевной жизни *отдельной* личности, и если уж говорить о совести, то ведь она-кровоточит и подтачивает сердце Бориса, она диктует трудолюбие Пимена, она определяет экстатические провидения Юродивого. Непомнящий убежден в том, что соборное или народное, как везде пишет он, мышление исполнено высоких интуитивных побуждений, что Юродивый и Пимен – лишь их чистое эхо, я же думаю, что его утверждения справедливы только в одном, а именно в том, что в последние минуты действия проснулась – и проснулась *вполне* – совесть людей. Трагедия еще и в том, что она проснулась слишком поздно и что пробуждение ее стоило *таких* усилий. Пушкину, очевидно, важно было сказать, что это было моментом пробуждения совести в душе *каждого* человека, что вид убийства подействовал не на массу, которая только что кричала: «Вязать! Топить! Да здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса Годунова!», – он подействовал на *каждого отдельного* человека, и вот тогда возникло одно *общее* безмолвие.

Если мы вспомним сцену убийства Верещагина или описание партизанского движения в «Войне и мире», то увидим, что и Толстой делал ставку не на толпу, не на массу, а на отдельное

человеческое «я» и не случайно – в качестве высшей похвалы и высшего одобрения – писал о природе народной войны: «русские *раздробляются...*» Объективность беспощадного отношения Пушкина к соборному сознанию и поведению уже неоднократно доказывалась историческими реалиями, так же, как прямо и неустанно любая будничная жизнь доказывает нам ценность того, что сам Пушкин именовал «самостояньем человека».

Да, Непомнящий прав, когда говорит, что идеал совести диктует логику действия «Бориса Годунова», он прав, что «автор трагедии – драматический поэт, беспристрастный, как судьба, и его любовь к своему народу не слезлива...», но он не прав, на мой взгляд, когда в его интерпретации начинает звучать невольная, быть может, подмена объективного, пушкинского своим, желанным...

Огромной удачей я считаю обращение Непомнящего к исследованию пушкинских сказок. Это, может быть, единственная для меня абсолютно убедительная и красивая часть его работы и по замыслу и по исполнению, в ней, как в фокусе, сошлись все лучшие особенности «Поэзии и судьбы»: искренность, независимость мышления, яркость и подлинность переживания. Непомнящий комментирует пушкинскую сказку так, как чувствует ее – строчку за строчкой, – и рассказ о ней образует своеобразный космос внутри его книги, особый мир, в котором достигнута полная внутренняя завершенность. При этом есть моменты восхитительные, прозрачные:

Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо...

«„Подбираясь“, – пишет критик, – то есть подбирая подол платья. Эта-то деталь зачем? да „низачем“. Столь же низачем, как „глаза и кудри опустья“ в лирическом стихотворении. Зачем вообще останавливаться, „благоговая богомольно перед святыней красоты“? да низачем, кроме того, что уже само существование красоты – залог того, что существует она „не напрасно, не случайно“».

Я заканчиваю разговор о книге, достоинства которой условно перевешивают то, что кажется мне ее недостатками, книге, в которой нет ни тени нарочитости, но есть опреде-

ленная стремительность и настойчивая сосредоточенность крупного разговора, дающая нам, ее читателям, ясное представление о пишущем с его устремленностью к честности и чести, с его бескомпромиссностью, хорошей нравственной суровостью и этой почти восторженной, такой понятной нам всем и такой общей для нас – любовью к Пушкину.

Ирина Муравьева

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Как поется в знаменитой опере: «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь». Речь пойдет о творчестве Сергея Довлатова, некоторые особенности которого мы попытаемся вкратце определить, произвольно приурочив данную попытку к выходу его новой книги.

В качестве примера мы – не менее произвольно – выберем рассказ центральный, не случайно, наверное, вынесенный автором в заглавие, потому что в нем наиболее дорогие нашему сердцу черты прозы Довлатова нашли воплощение, в полной мере отвечающее их внутренней привлекательности и оригинальности. Двухзначный же порядковый номер этой книги позволяет говорить уже об общих тенденциях автора, о магистральных темах и образах его литературы, каковыми, на наш взгляд, и являются воля и представление.

Объяснимся быстрее, чтобы отклонить упреки в парадоксальности. Произведения Довлатова содержат в себе довольно редкую комбинацию: зачастую оборачивающийся к читателю своей изнанкой мир сохраняет, тем не менее, романтический флер и в любых обстоятельствах выживающую надежду. Главные действующие лица (если множественное число вообще в данном случае уместно) этих произведений – героичны по своей природе, все их усилия направлены на то, чтобы вырваться из порочного круга реальности (а это и есть воля) и одновременно не потерять свое отчасти идеалистическое о ней представление. Такая раздвоенность определяет

Сергей Довлатов. «Представление» и другие рассказы. Нью-Йорк, «Руссика», 1987.

сложное, неоднозначное отношение Довлатова к происходящему: как всякий скептик, он убийственно ироничен и язвительен, как романтик – не менее опасно серьезен.

Жанр произведений Довлатова кажется рискованно легкомысленным. Он не пишет обреченными на успех витиеватыми, запутанными фразами протяженностью в несколько страниц. Его герои не убивают за идеи и не умирают за них, никто не перерождается, потрясенный каким-нибудь незамысловатым религиозно-мистического толка откровением и не произносит пространных многозначительных монологов о смысле жизни и смерти. Короче говоря: всё более или менее соответствует окружающей нас действительности.

Словно сама жизнь, книги Довлатова почти лишены сюжетных атрибутов (завязка, как правило, случайна, финал условен, кульминация – скорее вопрос мнений); как в жизни, главным организующим началом здесь является стиль, безукоризненным чувством которого наделен автор.

Такая позиция требует незаурядной смелости (для преодоления читательского снобизма, настроенного в первую очередь на так называемую «серьезную», драматизированную литературу) и мастерства: антиэстетическое и, на первый взгляд, отчасти поверхностное осмысление мира преподносится в искусном ненавязчивом орнаменте высокой техники; приближающаяся к музыкальной фразировка повествования, тщательный выбор как самих слов, так и их места в предложении – все это призвано компенсировать безысходность материала, восполнить его подчас полную бессобытийность: как в жизни, в книгах Довлатова практически ничего не происходит.

При этом взгляд судьи, сатирика и скептика неизменно уравнивается у него прямо противоположной точкой зрения – жизнеспособной и романтической. «Милосердие важнее справедливости», – говорит рассказчик в «Иностранке», и безапелляционность этого утверждения вселяет в читателя надежду, что так оно и есть на самом деле. Не последнюю роль в создании позитивного баланса играет и юмор автора – меткий и в то же время лишенный злобы; как у Зощенко, он сродни скорее пониманию человеческих слабостей, нежели осуждению их.

Наверное, Довлатов – единственный «положительный» герой современной нам русской литературы за рубежом: борьба его персонажей проходит в сферах, где нет ни победы,

ни поражения, но есть побежденные и победители – как в жизни, а всевидящий автор судить не берется ни тех, ни других. Воля этих персонажей неизбежно наталкивается на их представления, и чередование скепсиса и романтики неотвратимо, как смена настроения или времен года.

В рассказе, выбранном нами в качестве примера (кстати, впервые он был опубликован в «Континенте»), упомянутые категории использованы в аспекте не совсем обычном (буквальном), с прямотой, обнажающей первичный смысл самих слов.

Воля – конкретна до предела; все повествование построено на противопоставлении лагеря и неконвоируемого мира, лежащего за колючей проволокой и охранными вышками, причем двусмысленность такой диспозиции должным образом обыграна: «Неужели здесь бывают побеги?» – спрашивает зэк про зону. – «Бегут», – отвечают ему. – «Сюда или отсюда?» Тот же нюанс определяет и взаимоотношения главных героев: с первой встречи вора в законе Гурина и сопровождающего его с пересылки рассказчика автор ставит под сомнение привычные понятия свободы и заключения – по крайней мере, преимущества «вольного» солдата перед осужденным на одиннадцать лет уркой иногда не столь очевидны, как могло бы показаться сначала.

Давшее же название рассказу представление взято в одном из своих многочисленных значений – как спектакль, который готовят в лагере к октябрьским праздникам; для него и привез рассказчик Гурина, за случайную кличку «артист» назначенного исполнять роль Ленина. Другой зэк будет Дзержинским.

Комичность и парадоксальность такого сюжета мастерски использованы Довлатовым, и мы не имеем ни малейшего желания портить читателям удовольствие от чтения: там есть над чем посмеяться и о чем подумать. Хочется отметить другое: то, как даже самый депрессивный материал под пером Довлатова поворачивается к нам новой, подчас неожиданной стороной. В данном случае лагерная тема теряет свои, ставшие уже традиционными, черты метафизического ада и разрабатывается во всей сложности реальной, повседневной жизни. При помощи самых разнообразных средств (от предельного детализированного психологизма в описании персонажей до – несомненно романтического же происхождения – иронии)

автор добивается удивительного эффекта: долгое время веселивший и развлекавший нас рассказ, оказывается, вел к финалу, производящему впечатление, подобное резко включенной в кромешной тьме лампочке. Контраст настолько разителен, что, пока глаза привыкают к свету, повествование незаметно обрывается, столь же неожиданно, как и началось:

– Представление окончено, – говорит замполит Хуриев.

И это, как часто бывает в жизни, неправда, вернее, правда неполная. Спектакль действительно позади, и рассказа осталось на две неполные строчки, всё же остальное – то, что составляло основу и ткань повествования, – продолжается. В этом смысле представление и есть та охота, которая пуще всем известно чего.

Максим Кротов

ЖЕНСКАЯ ПРОЗА

Существует ли таковая? Судя по множеству отзывов, как классических, так и современных, существует. А Жорж Занд? А Леся Украинка? А Бичер-Стоу? А Марина Цветаева, наконец? Я все же убежден, как в случае с деревенской и городской прозой, что нет у нее никаких делений, кроме одного: она хорошая или плохая, вот и вся разница. В этом меня убеждает и только что прочитанная мною книга, о которой мне хотелось бы сейчас поговорить. Тем более, что речь пойдет даже не о собственно прозе, а о ее драматургическом выражении – деле, издавна признанном чисто мужским.

В Москве я знал о Нине Воронель, как об опытной и квалифицированной переводчице. Уже здесь, на Западе, я впервые услышал о ее пьесах и киносценариях, по которым были поставлены спектакли и фильмы, не прошедшие незамеченными в большой прессе. «В этих пьесах, четких и отточенных, как кинжал, – писала, к примеру, весьма престижная «Нью-Йорк таймс», – Нина Воронель открывает нам непривычную правду о человеческой душе в тисках бесчеловечного режи-

Нина Воронель. Кассир вечности. Изд. Товарищество Москва – Иерусалим, 1987.

ма». А не менее солидный «Тайм» вторил этой газете с еще большей определенностью: «Драматурга Нину Воронель можно назвать первой в ряду немногих женщин-писателей, голоса которых сумели привлечь внимание общественности Запада. Хоть она так и не смогла прорваться на советскую сцену, две ее пьесы были поставлены в Нью-Йорке, по ее сценариям поставлен полнометражный фильм в Западном Берлине и два телефильма – в Иерусалиме».

И вот передо мной сборник пьес и статей Нины Воронель – можно сказать, итог ее литературной работы уже на Западе, а точнее, в Израиле, под общим названием «Кассир вечности». И если бы я заранее не знал, кто их автор, мне было бы трудно определить, к какому – прекрасному или сильному – полу он относится, настолько тверд, а порою и жесток его литературный почерк. Прежде всего я имею в виду, конечно же, драматистику.

В первой из них – «Майн либер Кац» – перед нами возникает вымороченный мир эдакой литературной богадельни, где несколько творческих развалин доживают свой, на первый взгляд, мало чем интересный век. Но за суетными, комнатного масштаба страстями и склоками то и дело – в репликах, коротких воспоминаниях и проговорках – отчетливо прочитываются совсем непростые, неординарные, а порою и трагические судьбы. В конце концов оказывается, что из семи обитателей этого трагикомического паноптикума больше половины бывшие лагерники, а часть из них в годы Гражданской войны были по разные стороны фронта, но вот прошли годы, и старость свела их всех под одной крышей, куда к ним явилась самая страшная для человека расплата за все их грехи – Великое одиночество, от которого им теперь уже никуда не деться.

А на фоне всего этого, издевательской насмешкой над их былыми страстями и борениями, куражатся подлинными победители в том мире, за какой они когда-то, во всяком случае большинство из них готовы были смести друг друга с лица земли: три современных советских хама – Толик, Алеха и их шеф, в прошлом охранник Сталина, Петрович.

В пьесе же, давшей название всей книге, разыгрывается фарс тех, кому в свое время только предстоит заселять те самые богадельни, о подобии которых шла речь в «Майн либер Кац». Они еще хищно хлопочут вокруг различных творческих кормушек, они еще полны амбиций и надежд, они еще

хорохорятся друг перед другом, но тлен душевной гибели уже коснулся их и уже никакая сила не в состоянии предотвратить их жалкого и отчаянно одинокого будущего.

Вот эта тема – тема всеобщего человеческого распада, из черного пепла которого, словно мифические птицы-фениксы, возрождаются лишь редкостные одиночки, как это происходит, например, в «Дусе и драматурге» или в «Последних минутах», пронзительно болевой нотой проходит через всю драматургию Нины Воронель. Чего уж тут чисто женского!

Есть, правда, в пьесах Нины Воронель одна досадная для меня особенность, свойственная, впрочем, к сожалению, в русскоязычной литературе эмиграции не ей одной: почти все без исключения россияне в ее пьесах – пьяные монстры, по своему умственному уровню находящиеся где-то между обезьяной и человеком. Но еще великий Исаак Бабель остроумно заметил как-то: «Революция вывела на свет новый тип еврея – еврея алкоголика». Так что грех Бахуса и связанного с этим массового одичания коснулся в нашей несчастной стране всех вне зависимости от пола, возраста или национальной принадлежности. И грузина, и татарина, и, разумеется, друга степей калмыка, и прочая, и прочая. Увы!

И только в своей публицистике Нина Воронель проявляет свой чисто женский и, прямо скажу, весьма своенравный характер. Здесь с ней хочется спорить почти во всем: в выборе героя, во взглядах на литературу, театр, кино, в отношении к окружающему миру. Я бы не хотел особенно ввязываться в этот спор, ибо, на мой взгляд, он слишком бы затянулся. Но без некоторых замечаний все же не обойтись.

К примеру, в отличие от автора, я в оценке фильма Уоррена Битти «Красные» на стороне Льва Наврозова. Фильм мне представляется безусловно апологетическим. Когда после просмотра фильма в Париже главный редактор «Нью-Йорк геральд трибюн» господин Фойзи спросил, что я думаю об этой ленте, я не задумываясь ответил, что на месте советских бонз от пропаганды присудил бы ей Ленинскую премию, настолько она ошеломила меня своим откровенным просоветизмом.

Категорически не могу также согласиться и с оценкой Нины Воронель фильма Андрея Тарковского «Ностальгия» и связанных с ним авторских суждений. Мне кажется, писатель должен, если хотите, даже обязан относиться к творчеству

своего собрата по смежному виду искусства (даже не понимая или не принимая его!) с большим тактом или хотя бы осторожностью. Тем более, что в данном случае речь идет о действительно гениальном художнике.

У самой Нины Воронель в ее предисловии к книге есть поучительные слова, когда она рассказывает о героях своих первых пьес:

«О Господи, что они рассказывали, в каких грехах и слабостях сознавались, эти удивительные незнакомцы, непредсказуемо возникавшие из темных глубин моего подсознания! Да и не только из подсознания: стоило мне наметить взрывной узел расщепления действительности, как из самой жизни навстречу моему замыслу начинали толпами набегать на меня персонажи. А если нужного характера в данный момент не находилось в небесных закромах, то удача моя придумывала иной выход: она посылала какое-нибудь абсолютно постороннее лицо из другого жизненного спектакля специально для того, чтобы лицо это одарило меня парой недостающих реплик. Вот и выходило, что от меня требовалось только терпение, сосредоточенность и умение сдержать себя и не лезть вперед со своим мнением».

Вот об этом умении учиться у своих героев нам – людям пишущим, на мой взгляд, никогда не надо забывать. Впрочем, об этом и вся книга Нины Воронель.

В. М.

СКАЗАНИЕ О ПОХОДАХ

Имя недавно скончавшегося русского писателя Сергея Ивановича Мамонтова, к сожалению, не очень широко известно – ничего не поделаешь, так уж складываются эмигрантские литературные судьбы. Его собственный жизненный путь по насыщенности, остроте коллизий и неожиданности поворотов и сам может показаться полным драматизма приключенческим романом. Родился Сергей Иванович в коренной мос-

С. Мамонтов. Походы и кони. Париж, ИМКА-Пресс, 1981; С. Мамонтов. Сказание. Париж, «Альбатрос», 1986.

ковской купеческой семье, и близким его родственником был прославленный меценат Савва Мамонтов. Беспечальное детство, насыщенное общением с природой, деревенскими впечатлениями, а также горячей любовью к лошадям (у отца был конный завод), определило настрой характера и жизненные устремления.

Будучи юнкером, он прибыл в Первую конно-горную батарею генерала Дроздовского, которая действовала вместе с конной дивизией, которой командовал генерал Врангель. Три года Мамонтов воевал, не слезая с коня: ходил с терцами по тылам, с кубанцами – в десант, дрался на Украине, и в Крыму, и в Таврии. Об этом тернистом боевом пути, когда порой чудом удавалось избежать смерти, Сергей Иванович рассказал в книге «Походы и кони», рукопись которой была удостоена в 1979 году литературной премии имени В. Даля.

О Гражданской войне 1917-1920 гг. советскими историками и писателями написана гора макулатуры, ничего общего с действительностью не имеющей. Вот почему непосредственные наблюдения живого, умного и, главное, объективного участника событий приобретают в наше время особую ценность. В этом смысле особенно характерно высказывание самого автора: «Я хотел изобразить все как оно было на самом деле, хорошее и плохое, стараясь не преувеличивать, не врать и оставаться беспристрастным. Это очень трудно. Невольно кажется: все, что делали мы, – хорошо; все, что делали они, – плохо». В этом высказывании весь Мамонтов, сохранивший до старости юношескую открытость, наивность и чистоту. Братоубийственная Гражданская война увидена им как бы изнутри и передана с поразительной простотой, безыскусственностью и в то же время психологической отточенностью деталей.

Двадцатилетний юноша, прапорщик, а затем поручик Белой армии Сергей Мамонтов, казалось бы, с трудом мог разобраться в политической сути происходящего. Однако сердце подсказывало ему, что на его глазах разворачивается трагедия русского народа. К ним в плен попадали красноармейцы, которые оказывались такими же обыкновенными русскими ребятами, как и белые юнкера. Просто люди сплошь и рядом оказывались жертвой лживой и грубой, а потому особенно действенной большевистской пропаганды. Отношение населения к белым зависело от того, насколько долго приходилось им переносить власть красных.

Тяжелый военный опыт позволил автору не только хорошо разглядеть лицо боевых товарищей, но и лицо нового, страшного по своей внутренней сути врага. Красная армия была явлением совершенно особым, никогда в истории прежних войн не виданным. «Мы тоже не были ангелами и часто бывали жестоки, – пишет Мамонтов, – но культурный уровень нашей армии был несравненно выше культурного уровня красной армии... У нас был дух дружбы, не только среди офицеров, но между офицерами и солдатами... Жили мы той же жизнью, делали ту же работу. Дисциплина была добровольная... Никаких сысков и доносов у нас не было. Часть превращалась в семью...» И в этом была громадная принципиальная разница между белыми и красными. Зажатая железными кулаками политруков и комиссаров, Красная армия являла собой зрелище сплошной подозрительности, сыска, доноительства и повальных расстрелов.

«Походы и кони» получились настоящей эпопеей Гражданской войны, своего рода летописью Белой Вандеи. Состоящее из нескольких небольших повестей «Сказание» носит свойственный авторскому стилю эпический характер, однако ни по содержанию, ни по жанру ничего общего с первой книгой не имеет. Перед нами – историко-бытовые, порой фантастические, порой представленные в виде развернутого исторического анекдота новеллы, лучшая из которых, «Сказание об Иване Богатыре», заслуживает особого рассмотрения.

Действие стремительно переносится в атмосферу скаочно-далеких времен русской истории, о которых и письменных свидетельств почти нет – одни лишь былины и летописи. Тем не менее, пора постоянных войн и распрей переяславских князей с печенегами и половцами оказалась в изображении Мамонтова реалистически-живой, яркой и убедительной. Время-то автор показал далекое, а суть человеческой природы – и это абсолютно точно – не изменилась ни на йоту: как всегда, дорвавшиеся до власти хитры, трусливы и изворотливы, а среди простых царит грубость нравов и слепое подчинение вышестоящим.

Иван был сиротой, подкидышем, и чем взрослей он становился, тем на деревне сильнее его били и больше над ним издевались. Он жил в хлеву и носил рванье. Тем не менее, когда зашел вопрос, кого выставить в единоборстве с половецким богатырем Тургаем, ни одного охотника не только среди кня-

зей и воевод, но даже среди простых дружинников – не нашлось. И перед могучим, облаченным в кольчугу всадником выпихнули пешего, безоружного и растерянного Ивана. И этот бой он выиграл. Помогли врожденная смекалка, ловкость, быстрота и, как ни странно, привычка к побоям. И еще – и это, должно быть, самая верная защита – помог святой, имени которого Иван так и не узнал. Когда окровавленный труп Тургая уносили с поля боя, перед жителями города как ни в чем не бывало возник воевода и объявил, что это именно он сражался и стал победителем и что князь с честью может вернуться в свои хоромы.

В «Сказании об Иване Богатыре» с особой силой проявилась свойственная Мамонтову душевная открытость и теплота, благодаря которым он стал чудесным рассказчиком для детей. Надо сказать, что и в этом, былинного типа произведении немало чисто детских, доверчивых интонаций. Запоминается горькая жалоба Ивана, который, за неимением собеседника, изливается близкому другу-коту: «Горемычные мы с тобой, неприкаянные. Никто нас не любит, никто не приласкает... Только пинки да побои от людей видел... На лютую смерть меня посылают – с половчанином биться».

Однако важнее другое – отталкиваясь от русской былины, автор сумел перейти к обобщениям широкого историко-психологического характера. В образе «последнего на деревне мужика» Ивана он передал существенные черты целого народа, который в самых невыносимых обстоятельствах и сам спасется, и страну свою спасет, и будет это не в бою с половчанином, а перед нашествием неисчислимых, вооруженных до зубов вражеских орд. А то, что плоды победы присвоит себе жадный да хитрый, да охочий до власти, – не его вина. Простодушному Ивану не под силу распутывать лукавые козни, он для этого слишком невежествен и забит.

Итак, перед нами две небольшие, скромные на вид книжки. Но, как говорится, «мал золотник, да дорог». На сравнительно небольшом количестве страниц Сергей Мамонтов сумел не только отразить уникальный жизненный опыт, но и передать историческую правду о событиях, которые столь тщательно скрываются и искажаются в Союзе теми «жадными, да хитрыми, да до власти охочими», о которых повествуется в «Сказании об Иване Богатыре».

Майя Муравник

Коротко о книгах

Алла КТОРОВА

МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ

Роквилл (США), «Козерог», 1986

Алла Кторова, автор известных повестей «Лицо Жар-птицы» и «Крапивный отряд», – писательница в некотором роде феноменальная: вот почти уже тридцать лет живет она в Соединенных Штатах, но пишет почти исключительно о московской жизни, о москвичах, о Москве, в которой родилась, выросла и прожила до 1958 года, до той поры, когда вышла замуж за американского гражданина Джона Шандора и уехала с ним в Америку.

«Мелкий жемчуг» представляется интересней и значительней предыдущих книг А. Кторовой как по насыщенности материалом и общей масштабности, так и по интонационной напряженности, богатству языка и обилию языковых находок. Здесь как бы синтезировался весь предшествующий жизненный и лингвистический опыт автора – она, к слову сказать, не только прозаик, но и ученый-языковед.

«Мелкий жемчуг» – это практически не одна, а две сплетенные воедино книги, объединенные одним главным действующим лицом, центральным персонажем – Москвой, которая дана исторически, в отображении ретроспективном, и повседневно, как Москва нынешняя, гигантский Вавилон, советская столица, сосредоточившая в себе основные особенности современного социалистического быта.

Москва прошлого у Кторовой – это и довольно точный слепок воспетой еще драматургом Островским простонародной жизни, с ее трактирными чаепитиями, масляничными гуляньями и перезвоном колоколов, и временной, исторический детектив, направленный в глубь веков, на раскрытие семейной хроники прямых предков писательницы – исконных московских ямщиков Чепурновых. В этом смысле Кторова явно опрокидывает поговорку об «Иванах, не помнящих родства», ибо свое родство она не только знает, но и постоянно тщательно изучает. Поиск приводит ее в дремучую тьму Смутного времени, в «слободки ямщицкия», обитатели которых привольно гуляют по страницам книги и словно бы облакаются плотью потомков, населяющих ныне Россию. От тех протягивается к этим живая нить

судьбы и генной памяти, и вырастает единый и цельный облик народа.

Кторова по праву гордится своими предками, своей воистину «аристократической» родословной, потому что старинных ямщиков недаром называли «аристократией русского крестьянства». Именно по роду занятий жизнь отбирала на ямщицкую долю самых крепких, бесстрашных и сообразительных людей. Как раз они, эти, по авторскому выражению, «основоположники работы российской связи», гнали почтовые кареты по самым опасным дорогам и в самых различных направлениях и доставляли к самим царям самую срочную, самую секретную корреспонденцию.

Нынешняя Москва увидена Кторовой особо, с присущим ей знанием и пониманием вещей. Мы знаем, к примеру, массу воспевателей старой Москвы, царского Петербурга и современного города Ленинграда-Питера. Однако новую советскую Москву, «столицу нашей социалистической родины», честные авторы не только не воспевают, но проклинают, не находя уничтоженных церквей, уникальных зданий и старинных кварталов. Кторова Москву не воспевает и не проклинает, она ее любит. Так любят кем-то обезображенную, но в душе оставшуюся прежней мать. Писательницу и не тянет на помпезные проспекты, она в тысячный раз пройдет по сохранившимся переулкам детства и отыщет, где только возможно, не только друзей, родных и знакомых, но их детей, внуков и правнуков. Кторова видит Москву *избирательно*, потому что для нее город – это прежде всего люди, а они, по ее глубокому убеждению, в сути своей остались прежними, не затронутыми тоталитарной властью.

Из такого понимания современной Москвы выросло у Кторовой и понимание печально знаменитой «коммуналки». Выросшая из личных воспоминаний Кторовой и отраженная ею в прежних произведениях, коммуналка в «Мелком жемчуге» – вовсе не рай, но уж никак и не ад. Каким-то немислимым чудом эта квартира в районе Неглинной улицы сумела не разъединить, а крепко сплотить жильцов, далеких друг от друга, как небо и земля. Карнавально-пестрая жизнь этой коммуналки-семьи рисуется с такой теплотой, и в описании слышится такой неподдельный ностальгический плач, что сразу отменяются все подозрения в неискренности либо в идеализированном представлении из «прекрасного далека».

Свою коммуналку Кторова, по принципу отталкивания, в отличие от Вороньей слободки Ильфа и Петрова, нарекла Доброй слободкой. В ней к «отцу народов» Сталину нестираемо прилепилась кличка «Мухтамалай», и все исподтишка над Мухтамалаем издеваются, а

живущий в квартире дедушка простодушно называет революцию «кроволюцией». Тут же, в слободке, и рядом, на Цветном и Трубной, и дальше, в метро и на улицах, Кторова ловит новые, рожденные временем слова и, полюбовавшись, пускает их в строку.

И вот они здесь, все эти «шизонутые» и «прохиндейские», которые могут «состыковаться», «схлопотать срок» и «тиснуть по харе». Ничего не поделаешь – жаргонный язык толпы, грубый и хлесткий. Верным доказательством того, что народ сумел сохранить душу живую и уберечься от казенщины, и стал этот язык, ничего общего не имеющий с пресной «новоречью» газет и официальных постановлений.

В книге Аллы Кторовой он, этот язык, органически слился с авторской речью и стал неотделимой чертой стиля. Порой эта речь, перехлестнув все барьеры и рамки, становится до того озорной и ироничной, что выглядит в чем-то искусственной. Но это уже дело вкуса: одним может нравиться, другим – нет. Как бы то ни было, именно язык предстал здесь тем некривящим зеркалом, в котором отразился облик эпохи, а это само по себе ценно и важно. Для нас же в любом случае только он, живой, искрящийся и переливающийся, определил название книги – «Мелкий жемчуг».

М. М.

Борис ЗАКОВИЧ

ДОЖДЬ ИДЕТ НАД СЕНОЙ

Париж, «Альбатрос», 1984

Послесловие Ренэ Герра

Силой событий русская зарубежная литература делится на два периода. С начала эмиграции (1920 – 1939 годы) ведущим течением была так называемая «парижская нота». То были зарубежные поэты, творившие вне России, в странах нашего рассеяния. Притом в эмиграции они не только повторили себя, но и творили действительно новое. До начала Второй мировой войны в Париже создавался богатый культурными силами зарубежный центр – непонятное явление в условиях, казалось бы, столь далеких от поэзии. Ею стали остро интересоваться люди, потерявшие родину, занятые зачастую тяжелой и нудной работой, усталые, разуверившиеся в том, что прежде казалось им неизбежным. Однако все это вместо того, чтобы заглушить стремление творить, дало ему новый импульс. И в те годы, когда в советской России

гремел футуризм, всюду хозяйничали имажинисты, «ничевоки» – вокруг акмеизма из-за мужественной смерти Николая Гумилева создался ореол мученичества. И, возможно, в силу этого, именно акмеизм перешел границу и сделался в те годы на какое-то время отличительным признаком поэзии в изгнании. И такая оппозиция «левым» течениям в поэзии, как дореволюционным, так и послереволюционным, являлась обязательной для зарубежных поэтических идеологов, таких, как Георгий Адамович. Из этого поэтического мироощущения в начале тридцатых годов родилась «парижская нота».

«Давно уже стали достоянием истории русской литературы, прекрасными тенями, имена тех, кому посвящены стихотворения этой книжечки», – пишет в послесловии к стихотворному сборнику Бориса Заковича «Дождь идет над Сеной» профессор Ренэ Герра. Именно его стараниями этот сборник недавно увидел свет в издательстве «Альбатрос».

Те, кому посвящал свои стихи Борис Закович – Поплавский, Штейгер, Одарченко, Божнев, – уже довольно полно изданы на Западе, даже в СССР их знают, хоть частично. Борис Закович, его стихи, полные печали и сарказма, по сей день известен лишь редким собирателям «Музы диаспоры». Ренэ Герра кропотливо собирал его стихи по разрозненным публикациям – ибо автор, презирующий старания во имя собственной славы, по сей день здравствующий в Париже, лишь в 1984 году, на пороге 80-летия, решил опубликовать собственный сборник. Книга, оформленная художником Сергеем Голлербахом, предназначена сразу для собирателя элитарных стихотворных сборников: ибо выпущена в количестве трехсот экземпляров. Да и невозможно представить такой сборник, изданный массовым удешевляющим тиражом.

Одиночество, когда оно приравнено к свободе, прекрасно. Это «одиночество-свобода», ставшие для Бориса Заковича «радостью-страданием», определили тональность его стихов:

Дождь идет над Сеной,
Значит в жизни брэнной
Главное – следы
Дождевой воды...

В дневниках Поплавского, посвятившего Борису Заковичу не одно стихотворение, упоминается о совместных блужданиях по ночному Парижу, о ночах напролет за разговорами в парижских кафе – теми беседами о «прекрасном и жестоком», о которых пишет Борис Закович в своих стихах:

Мы играли в карты до утра,
Даже ничего не проиграли,
Только постарели да устали,
Только поумнели со вчера...

«Парижская нота» оборвалась, кончилась. Новые поколения поэтов, пришедших из Советского Союза в первые послевоенные годы, как-то примитивно и враждебно относились к «парижанам»: от них ждали стихов, громящих политических врагов, и были явно недовольны «упадочничеством». Но уже сейчас становится ясно, что не грубая пропаганда против пропаганды – но самый принцип свободы творческой и человеческой по-настоящему может быть противопоставлен принципу несвободы. И тема о человеке, о том, чем ему быть, делает стихи Бориса Заковича, последнего и старейшего представителя «Парижской ноты», истинной поэзией, а не просто сочинением стихов:

Мы верим тьме, что в ней – начало света,
Мы любим свет, где есть начало тьмы.
Но что есть свет и что есть сумрак, мы
Не обретаем у времени ответа...

Бессильные что-либо конкретно свергнуть, настоящие стихи, все эти стройные ямбы и хорей, если они свободны, – страшное оружие. Казалось бы, прописная истина, но не дай Бог ее забыть!

Кира Сапгир

ВАСИЛЬ СТУС В ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВЕ, ВОСПОМИНАНИЯХ И ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННОКОВ

Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. Упорядкували і зредагували Осип Зінкевич і Микола Французенко. Балтимор–Торонто, Українське вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987

Эта книга является первым выпуском серии «Расстрелянное и запрещенное творчество деятелей украинской культуры». Надо надеяться, что в той же серии появится и полное собрание самого главного, что говорит нам о поэте, – его стихов. Точнее, настолько полное,

насколько возможно: часть стихов Стуса погибла при обысках или была варварски уничтожена лагерной администрацией. Но и задача собрать все, что уцелело (и не вошло в выпущенные на Западе книги поэта), – дело, которое потребует времени.

Но уже и нынешний сборник (и не только для тех, кто знаком со стихами Василя Стуса) создает образ мужественного поэта, правозащитника, мыслителя. В обращении к украинскому читателю, которым открывается сборник, бывшая политзаключенная Нина Строката пишет: «Василь Стус был одним из тех, кто в неволе нашел свободу. (...) Василь сумел сказать о том, кто, как и когда манипулирует общественной мыслью; о том, что время зовет художника к сопротивлению и добровольно избранному страданию; о том, что приносит участие в дозволенных формах национальной жизни; о капитулянтах в поэзии; о невыносимом давлении на человека и о том, как трудно выработать идеальный образец поведения».

В текстах самого Стуса – от рецензий, написанных им для официальных литературных изданий (и в них он, что совершенно очевидно, ни словом не погрешил против того, что действительно думал), через первые письма протеста до лагерных писем и дневниковых записей – мы видим этот «идеальный образец поведения». Видим и то, как он вырабатывается, как взгляды и убеждения очищаются от всякой неопределенности и непроясненности, от употребления с детства привычных советских оборотов. В комментарии на приговор суда по своему первому делу (1972) Стус писал: «Тогда я еще называл эту страну своей родиной, еще не мог решиться на великое отречение: если на твоей родной земле тебя распинают за любовь к ней, за стремление в поте лица работать для своего народа – тогда приходится смириться с тем, что у тебя есть родная земля, но нет родной страны. Ибо она стала страной твоей неволи, она превратила тебя в раба, насилием вырвав с родной земли».

Страстная любовь к родной земле, к Украине, лежащей «за сотнями заборов и проволочных заграждений», светящейся, «как далекая зорька в вечернем мордовском небе», – как всякая подлинная любовь к родной земле, никогда не выливалась у Василя Стуса во что-то, хоть мало-мальски близкое к шовинизму. Выступая в ссылке на собрании в колымской шахте, где «обсуждалось его поведение» в связи с напечатанным в местной газете пасквилем на Стуса, поэт сказал: «По-вашему, я – националист. По-моему – украинский патриот, гражданин суверенного украинского государства. (...) Да, я люблю мой украинский народ, я чувствую себя его верным сыном. Я никогда ни словом не позволил себе оскорбить чье-либо национальное достоинство. Среди

моих многолетних друзей, которые называют меня братом, есть русские и белорусы, евреи и украинцы, армяне и молдаване, литовцы и татары, грузины и латыши. Никто из них не считает меня националистом».

Трудно остановиться при цитировании текстов Василя Стуса, которые составляют центральную, но далеко не единственную часть этого сборника. Стихи, посвященные Стусу (в том числе поэтов, как и он, долгие годы проведших в советских лагерях и тюрьмах, – Станислава Караванского и Ивана Светличного), письма в защиту Стуса, воспоминания (в том числе его сокамерников Сергея Солдатова и Михаила Хейфеца) и первая попытка собрать то, что написано о его поэзии, – вот важнейшие разделы сборника. В конце его приложена не полная, но достаточно исчерпывающая библиография публикаций текстов поэта и литературы о нем. В нее, естественно, попали и две подборки стихотворений Василя Стуса в русских переводах, опубликованные в «Континенте», но прибавим, что, как указано в библиографии, его стихи были переведены также на английский, немецкий, португальский и чешский языки (сейчас к этому можно прибавить еще переводы на польский, сделанные Виктором Ворошильским).

Н. Г.

МАГАЗИН — КНИГА-ПОЧТОЙ

«ЛУКОМОРЬЕ»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КНИГУ:

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

**«СТИХИ. ПОЭМЫ.
ПРОЗА».**

Издательство «Гилея». Нью-Йорк. 1986 год.
637 с.

Сборник, содержащий множество редких иллюстраций и текстов, выпущен к 100-летию со дня рождения одного из талантливейших русских поэтов.

Наш адрес: LUKOMORYE BOOK STORE.

P. O. Box 161. Bay Station. Brooklyn, N. Y. 11235.

Тел. (718) 891-1927 после 6 часов вечера. Суббота, воскресенье — весь день.



ПРЕМИИ НИЖНЕСИЛЕЗСКОЙ «СОЛИДАРНОСТИ»

31 августа 1987 года Соглашение Комитетов науки, культуры, просвещения, здравоохранения и экологии при участии регионального руководства НСПС «Солидарность», а также организации «Борющаяся Солидарность» присудило ежегодные нижнесилезские премии «Солидарности».

Лауреаты обычной премии:

Владислав Гонсёровский и учительский коллектив закрытого властями общеобразовательного лицея № 1 в Валбжихе – за профессиональную работу и за поведение, которое должно служить образцом всем педагогам.

Тадеуш Хусковский (премия присуждена посмертно) – за особый вклад в развитие независимого издательского движения.

Межшкольный комитет сопротивления – за умелое соединение работы по самообразованию с акциями протеста, объединяющими ученическую среду.

Мечислав Тарновский – за создание в Валбжихе центра независимой мысли и деятельности.

Кшиштоф Турковский – за достижения в распространении знаний о новейшей истории Польши.

О. Адам Виктор – за создание Пастырства Трудящихся, патриотическая деятельность которого распространилась на весь регион.

О. Людвик Вишневский – за продолжающуюся много лет воспитательную работу среди студенчества и за создание во Вроцлаве одного из важнейших центров мысли и образования.

XYZ (фамилия оставлена в тайне) – за научную работу по истории Великого Княжества Литовского.

Лауреаты почетной премии:

Наталья Горбаневская (Париж) – за особый вклад в укрепление подлинной дружбы между польским и русским народом.

Кшиштоф Сенинта (Брюссель) – за достижения в подготовке документации по профсоюзному положению в Польше для международных организаций.

По страницам журналов

«ПОГЛЯДЫ» № 1

(«Pohl'ady». *Časopis pre kultúru. Vydáva Slovenská spoločnosť pre vedu a kultúru. Montreal, maj 1987, № 1*)

В Канаде вышел первый номер нового словацкого журнала «Погляды» (что означает «взгляды, мнения, точки зрения»), органа Словацкого научно-культурного общества. Само общество создано недавно с целью объединить словацкую интеллигенцию в эмиграции на службе национальным и общедемократическим ценностям.

На Западе (в том числе в «братских» эмиграциях) о словаках, их культуре и истории, их вчерашнем и сегодняшнем дне знают крайне мало и, в общем-то, держат словаков за бедных родственников чехов (в западных языках вообще привилось выражение «чехословак», обидное своей неточностью как для тех, так и для других). Если в последние годы на Западе обращают внимание на религиозное возрождение в Чехии, то гораздо меньше знают о стойкости в вере словацкого народа, для которого, как для поляков, католицизм представлял одну из важнейших форм национального самосохранения. Свв. Кирилл и Мефодий – общие для Католической и Православной Церкви – крестили славян и наделили их грамотой на территории нынешней Словакии, где тогда простиралась Великоморавская империя.

Одним из центральных материалов в первом номере «Поглядов» является статья Франтишека Куруча «Заметки о смысле нашей истории и импульсы к смыслу нашего будущего». Говоря о сегодняшнем духовном кризисе западного мира и, собственно, всего мира, автор считает, что преодолеть его можно «лишь духовным обновлением, черпаемым из исторических истоков» – прежде всего из христианских истоков, которые должны лечить и излечить духовную усталость и материалистическую дегенерацию». По его убеждению, «культурные, то есть христианские истоки Европы – это своего рода синтез культуры и христианства Восточной и Западной Европы, течение и движение, реальность которого сохраняется и в наши дни». Именно с этой – не с археологически-этнографической, не с узко национальной – точки зрения подходит Франтишек Куруч и к истории родной Словакии, и к тому вкладу, который словаки (как любая иная «большая»

или «малая» нация) могут внести в дело всемирного духовного обновления. Любой другой подход ведет к созданию губительных «мифов» – им посвящает свою статью «О фальшивой мифологии» главный редактор журнала Войтех Мирга. Значительная часть этих мифов – националистического происхождения. Если Мирга логически и весьма сдержанно указывает на мифы, распространенные среди соседнего народа – чехов, то на родимые, словацкие мифы он обрушивается со всей силой своего сарказма: «Ну, а мы что – мы, голубиный народ? Что мы, наследники заветов святых братьев Кирилла и Мефодия? Гордый народ Юра Яношика? В нашем сознании почти нет сомнений в том, что в основной части своих национальных несчастий мы вообще неповинны. Мы же оказались в самом центре Европы, тысячу лет под властью венгров, больше шестидесяти – чехов, уже почти сорок – коммунистов, по миру рассеянный, миром не понятый и не оцененный народ, – разве все это не доказывает, как мы незаслуженно обижены?» Эта обиженность и «неповинность» – один из самых сильных «фальшивых мифов», и, прибавим, не у одних словаков.

Не станем перечислять все материалы журнала (в котором, кроме публицистики, есть также раздел стихов и прозы), отметим лишь отличную заметку Йозефа Э. Сухого «Внимание! Евтушенко», предупреждающую против сегодняшней дезинформации, под флагом «гласности», вызывающей на Западе самый благоприятный прием, и публикацию в спецприложении к номеру нстареющего текста Александра Солженицына «Жить не по лжи».

Н. Г.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» № 164

Этот номер «Нового Журнала» посвящен памяти скончавшегося в прошлом году многолетнего редактора его Романа Борисовича Гуля. Новый редактор, Юрий Кашкаров, в своем кратком вступлении отмечает, что Гуль был большим русским писателем, журналистом, человеком сильной воли и неутомимой энергии, посвятившим «свою общественную и литературную жизнь борьбе с главным злом XX века – тоталитаризмом». Новый редактор заверяет читателей, что редакция «Нового Журнала» и в дальнейшем будет следовать заветам основателей журнала, «придерживаясь принципа самой широкой терпимости ко всякому инакомыслию», исключая только сторонников «тоталитарных идеологий, как правых, так и левых».

Ряд писателей и публицистов почтили память Р. Б. Гуля краткими некрологами. Борис Филиппов называет Гуля летописцем русской эмиграции, историографом и художником, сочно и ярко рисовавшим людей, «встреченных на жизненном пути».

В память Р. Б. Гуля помещены также шесть его работ и отрывков из книг, ярко восстанавливающих целый исторический период, свидетелем и участником которого был Роман Борисович. Заканчивается эта подборка страницей «Из продиктованного Р. Гулем в последние месяцы его жизни». Это, главным образом, несколько штрихов к портрету Виктора Михайловича Чернова.

В этом же номере журнала находим продолжение начатой в № 163 увлекательной, насыщенной образами, сложной по форме прозы Юрия Кашкарова «East – West», о первой части которой уже подробно писал Борис Филиппов, отмечая «вещность и красочность» речи автора и одновременно его перегруженность культурой: «заедает автора его культура: Карпаччо, Анри де Ренье. А, впрочем, как нам, насквозь прокультуренным, писать?» Продолжение в этой книге журнала изобилует тем же богатством культурных ссылок, тем же смещением времени и места, фантастичностью образов и примесью гротеска.

Рассказ А. Ровнера «Посмертие» – в отличие от красочной и почти перенасыщенной прозы Кашкарова – сжат и лаконичен, но он так же сложен и многослоен. Рассказ, может быть, об эмиграции, а может быть, о переселении в миры иные: «Ты говоришь искренно, но знание твое ограничено. Известно, что у каждого человека своя неповторимая посмертная судьба».

Значительное место в журнале отведено поэзии: помещены стихи Чиннова, Перелешина, Кузнецовой, Таубер, Петруниса и Митина. Появление шести поэтов в одном номере «Нового Журнала» надо приветствовать – жалко только, что подборка стихотворений производит впечатление некоторой случайности. Рядом с замечательными стихами Игоря Чиннова («У края бездны я хватаюсь, как дурак, / За безделушки, за безделки») и Валерия Перелешина («Разоблачить лукавые уловки / Иду на тя, лукавый стихоплет») помещены, например, стихи Владимира Митина, по всей вероятности, только потому, что они «получены редакцией из СССР».

Под рубрикой «Воспоминания и документы» находим целый ряд интересных и ценных материалов. Среди них составленный П. Милюковым «Проект манифеста об отречении Николая II»; публикация Ю. Фельштинского – брошюра партии эсеров 1921 г. «Что дали большевики народу»; отрывок «Н. В. Устрялов – Из письма», публикуе-

мый игуменом Г. Эйкаловичем; а также «Переписка Светланы Аллилуевой и Ольги и Романа Гуля». Текст проекта об отречении, обнаруженный в Бахметьевском архиве Колумбийского университета, как отмечает редакция, «существенно отличается» от обнародованного манифеста. Этот документ должен привлечь особое внимание историков. Брошюра партии эсеров 1921 г. как библиографическая редкость тоже может представлять собой интерес, но в первую очередь для историка-специалиста по этому периоду. Публикация игумена Геннадия Эйкаловича о федоровской идее «общего дела» воскресения отцов, на каком-то этапе включенной большевиками в их официальный «новый миф», тоже несколько специальна. А вот переписка Аллилуевой с Гулями явилась настоящей неожиданностью. Аллилуева в своих письмах оказалась более живым и интересным человеком, чем созданная прессой карикатурная фигура, к которой привык читатель. Таково, во всяком случае, первое впечатление от нескольких ее писем, помещенных в этой книге журнала. Не будем, однако, спешить с заключениями, так как редакция обещает продолжить печатанье переписки в дальнейших номерах.

В отделе «Политика и культура» помещены две статьи – одна игумена Геннадия Эйкаловича «Родословная Софии» и другая Ю. Фельштинского «Политика советского правительства по отношению к югославским интернационалистам. 1917 – 1918 гг.» Глубоко эрудированная статья игумена Эйкаловича с подзаголовком «Общие размышления на тему софиологической проблематики» предназначена для читателей, специально интересующихся вопросами софиологии.

В заключение следует кратко упомянуть некоторые упущения, замеченные в рассматриваемом номере. Так, в нем, к сожалению, не появилось ни обещанного продолжения автобиографической повести Гуля «Я унес Россию», ни продолжения статей Юрия Иваска о русской поэзии. Не обошлось и без пропусков и опечаток. Так, под портретом Гуля оказалась дата рождения «1986» вместо 1896 года. В тексте Кашкарова неправильно напечатаны некоторые французские и немецкие слова.

Однако эти частности не умаляют обычного главного достоинства этого старейшего толстого русского журнала в Зарубежье – содержательности и многообразия материала. Остается только пожелать новой редакции дальнейшей удачи в поддержании высокого литературного и общекультурного уровня, каким он отличался в прошлом. Читатели его всегда с нетерпением ждали появления очередного номера.

Екатерина Филипс-Юзвигт

ПЛЕМЯ ЖИВЫХ

(«Стрелец», № 5, 1987)

В 5-м номере «Стрельца» я прочел довольно пространное эссе Владимира Меламедова «Неуклюжие ангелы». Само по себе это эссе заслуживает серьезного разговора, но мне хотелось бы написать не столько о нем (уверен, что о нем еще скажет наша критика), сколько о его героях, молодых московских поэтах нового поколения, племени для меня действительно молодого и незнакомого, но удивительно привлекательного.

По правде говоря, несмотря на всеобщую эйфорию по поводу расцвета эпохи гласности в Советском Союзе, я довольно скептически отношусь к ее литературным перспективам. Пока что эти перспективы осуществляются или за счет затравленных при жизни покойников, или благодаря нескольким залежавшимся в столах у писателей старшего поколения рукописей, скорее злободневных, чем по-настоящему талантливых.

В целом же страницы советской литературной периодики заполняет все тот же, что и 10 – 15 лет назад, поток словесной серости. А в связи с новой «оттепелью» в борьбу с этой самой серостью вступили сегодня первостепенные таланты отечественной прозы. То и дело читаю на страницах советских газет и журналов посвященные этой борьбе воинственные статьи таких мастеров слова, как Иван Стаднюк, Николай Грибачев, Петр Проскурин и целый ряд других, не менее крупных. Поговаривают, что в ближайшее время мощный удар по серости нанесет в своем новом творении великий Валентин Пикуль.

И вдруг сквозь всю эту макулатурную демагогию прорывается ко мне со страниц «Стрельца» насмешливый голос юного Александра Еременко:

...Но если страна позовет,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет,
Врага интеллектом раздавит,
За плугом пойдет в борозде...
И северный ветер рыдает
В косматой ее бороде.

А ему вторит Татьяна Щербина:

Я, Александр Сергеич, Вам гожусь
В праправнучки! но гены бродят, суки –

И в эту полночь мне не снесть разлуки.
Я к Вам пишу и я на Вас сержусь:
Вы сочинили Гимн. Какая гнусь!
И как у Вас не отвалились руки!

Эти поэты, конечно же, провоцируют читателя, но торжествующая новизна их так победительна, что вызывает не протесты, а скорее жгучую жажду продолжения. И оно не заставляет себя ждать в стихах Эдуарда Прониловера:

...И мне открылась Истина нагая.
Однажды я одел ее на грош,
Обул на два, поцеловал – и что ж?
Она в ту ночь три тайны мне открыла,
Как будто извлекала их из ила.
Вот первая из них: ни там, ни тут
Пути земные к Богу не ведут;
Вторая: в мире главное уменье –
Считать за правду собственное мненье;
И в-третьих – чтобы я не дорожил
Тем, без чего хотя бы день прожил.

Голоса эти сделались для меня подтверждением моих давних предчувствий, что эпоха лирического взлета пятидесятых – шестидесятых годов кончилась, что литературный поиск моего поколения с его открытой социальной и общественной направленностью самозавершился, что вскрылись новые пласты поэтического проникновения и что там, у нас на родине, из-под болотной толщи официальной литературы выбивается мощный источник качественно нового слова и сущностно иного отношения к действительности.

Иронические, порою даже нигилистические мотивы творчества этих поэтов не сводятся к тотальному отрицанию традиционных нравственных или литературных ценностей. Сквозь всеразъедающий скептицизм то и дело проглядывают мотивы трагические, а временами и религиозные.

Когда я стану королевой –
А быть мне ею непременно –
То первым же своим указом
Сама себя пошлю на плаху,
Чтоб голове своей проклятой
Палач отвел в корзине место.

И лишь тогда смогу свободно
Я отдохнуть душой и телом.
А быть мне королевой точно.

(Елена Горячева)

И все же, по первому впечатлению, нигилизм и отрицание – определяющий мотив этой новой «школы». К примеру, «Таракан» того же Прониловера, явно и даже, по-моему, намеренно заимствованный из неувядаемого Лебядкина, мог бы служить для нее – в известной, конечно, мере – эстетической декларацией, противопоставляющей лирическому муравью Окуджавы вездесущую суету этой шуршащей твари.

Но давайте вспомним, с чего начинались в истоке шестидесятых публичные чтения у памятника Маяковскому. Увы, с того же самого: с социального скепсиса, общественного отрицания, эстетического бунта. Но естественный процесс гражданского, духовного и профессионального роста, сбросив с себя в пути балласт всего случайного и наносного, дал в конце концов современной русской литературе Леонида Губанова, Вадима Делоне, Владимира Алейникова, Юрия Кублановского, с его глубоко религиозным и духовным поиском.

Моему литературному поколению, на мой взгляд, не следует забывать, что и все мы, и каждый из нас в отдельности (за редким исключением) начинали, в общем-то, с того же самого, только возникшая вдруг перед нами в связи с хрущевской оттепелью возможность публиковаться укоротила наш путь к собственной зрелости.

Наверное, поэтому некоторые из нас в своих печатных суждениях о современной русской литературе все еще цепляются за советские, хотя и далеко не худшие литературные образцы, отдавая этим дань ностальгии по собственной молодости, но начисто забывая при этом, что образцы эти – результат творчества вполне благополучных и давно сросшихся с системой их бывших друзей.

Мне кажется, что, если мы действительно хотим плодотворного развития нашей литературы, нам в первую голову следует поддержать не преуспевающих апологетов горбачевской «перестройки» от литературы, собственно и не нуждающихся в нашей поддержке (разве лишь в качестве десерта к их душевному комфорту), а вот этих вызывающих и эстетически неудобных для нас, возникших вдруг у нас за спиной «enfants terribles», даже если они вознамерились перешагнуть через нас. Впрочем, это, по выражению одного из Гонкуров, извечный закон всякой литературы: «дети пожирают своих отцов».

Что ж, как говорят, время жить и время умирать. На смену нам идет новое поколение, ему — этому поколению — многое можно поставить в упрек: излишний скепсис, сознательный отказ от социальной реальности, вызывающую полемичность по отношению к предшественникам. Но у них есть одно достоинство, которое искупает всё, — Подлинность.

В. Максимов

***Мацей Лопинский, Мартин Москит,
Мариуш Вильк***

НЕЛЕГАЛЫ

(КОНСПИРА)

*Перевод с польского
Н. Горбаневской и Л. Шатунова*

**«Бестселлер» польского
подполья:**

Богдан Борусевич, Збигнев Буяк, Тадеуш Едынак, Богдан Лис, Владислав Фрасынюк, Александр Халль и Эугениуш Шумейко рассказывают о буднях подпольного руководства «Солидарности». Высоким, хотя и верным словам о борьбе за свободу и человеческое достоинство лидеры подполья предпочитают рассказ о живых, конкретных, нередко анекдотических случаях. Мастерство подпольных журналистов позволило создать из горы сделанных ими магнитофонных интервью увлекательную энциклопедию первых лет подполья.

**Лондон, ОРІ, 1986
270 стр. с илл.**

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С БРАНКО ЛАЗИЧЕМ

– Бранко Лазич, поскольку вы никогда не печатались в «Континенте», расскажите вначале нашим читателям о себе, о своей деятельности.

– Последние сорок, а то и больше лет моей жизни я занимаюсь одним делом – проблемами коммунизма.

Я – серб по происхождению. Во время войны я участвовал в национальном движении сопротивления, возглавляемом генералом Михайловичем, был представителем сербской молодежи при Генштабе. Одновременно мне было поручено собирать документы о коммунистическом движении Тито. Моя первая брошюра, опубликованная в «самиздате» генерала Михайловича, называлась «Элементарные истины о Тито и коммунистах». Поэтому, когда коммунисты пришли к власти в Югославии, я должен был покинуть страну.

Я обосновался в Женеве и продолжал заниматься изучением феномена коммунизма. Я окончил университет, а затем защитил докторскую диссертацию о Ленине и Третьем Интернационале. Моя диссертация была опубликована отдельной книгой в 1951 году, с предисловием Раймона Арона, который тогда впервые написал предисловие к политической книге. Некоторое время спустя я был принят научным сотрудником в Институт по изучению проблем коммунизма, основанный Борисом Сувариным. Я занимался изданием бюллетеня института и работал с Сувариным вплоть до его смерти в 1984 году, т. е. около тридцати лет. За эти годы я опубликовал несколько книг о коммунизме, в том числе книгу о коммунистических партиях Европы, книгу о революции в Югославии, биографический словарь Коминтерна, который содержит биографии 750 ведущих коминтерновцев. Я также принимал участие в написании недавно вышедшей книги Жан-Франсуа Ревеля «Как кончаются демократии».

Кроме того, я до сих пор занимаюсь изданием ежемесячного бюллетеня Института, который начиная с 1956 года называется «Восток и Запад» и посвящен проблемам коммунизма

как в тех странах, где коммунизм победил, так и в тех, где он занимает активную, наступательную позицию.

– Во всем мире вы считаетесь крупнейшим специалистом по проблемам Коминтерна. Были ли обнаружены в последние годы какие-то новые, интересные детали о деятельности Коминтерна, об индивидуальных судьбах его руководителей и рядовых участников?

– Много стало известно не в последние годы, а в годы хрущевской десталинизации. Но нужно отдавать себе отчет в главном: все архивы Коминтерна находятся в СССР, и никто не имеет к ним доступа. В обширнейшей исторической советской литературе, продукции целого ряда научных институтов АН СССР, почти отсутствуют исследования или даже упоминания Коминтерна. Не написаны (или не изданы) биографии ведущих деятелей Коминтерна, как уничтоженных, например, Зиновьева и Бухарина, так и не подвергшихся чистке, например, Мануильского, или репрессированных, но впоследствии реабилитированных, например, Пятницкого. В хрущевское время был опубликован значительный отрывок из биографии Пятницкого, но там даже не упоминается его деятельность в Коминтерне с 1921 по 1935 г., т. е. в течение почти пятнадцати лет. А ведь он руководил в Коминтерне знаменитым ОМС – отделом международных связей, т. е. секретным аппаратом Коминтерна, который занимался изготовлением поддельных документов, фальшивых денег и т. д. и разрабатывал всю тактику подрывной деятельности.

В 1969 г., в связи с 50-летием со дня основания Коминтерна, в СССР была издана история Коминтерна, нечто вроде учебника, переведенного, впрочем, на все основные европейские языки. В этой книге опубликованы некоторые документы из архивов Коминтерна, но сами эти архивы, повторяю, остаются недоступными как для советских, так и для иностранных ученых, в том числе историков из стран соцлагеря. Вы знаете, многие европейские коммунистические партии просили Москву прислать им копии материалов, касающихся их взаимоотношений с Коминтерном. Ну, и получили они лишь копии отчетов, которые посылались соответствующими компартиями в Москву, – и ни одного документа или инструкции, исходивших из Москвы. Почему? А потому что эти документы противоречили бы официальному тезису Советского Союза,

согласно которому Коминтерн якобы был международной организацией, а не руководился из Союза. Просто «случайно» Исполком Коминтерна находился в Москве! Но, если опубликовать архивы Коминтерна, станет очевидным, что он был лишь придатком советского государства, сначала придатком советской дипломатии, а затем – полиции и секретных служб. Впрочем, даже в последнее время, при всей горбачевской «гласности», молчание относительно Коминтерна продолжается...

– Много поразительных фактов о тайной деятельности Коминтерна содержится в книге Кривицкого. Достоверны ли его воспоминания?

– Это абсолютно точная и правдивая книга. Редкий случай среди книг, написанных перебежчиками из восточных стран: ничего не приукрашено, не раздуто, не перевернуто. Когда он принял решение порвать с Советским Союзом, он прибыл в Париж и встретился с Борисом Сувариним и Борисом Николаевским, которые сразу могли проверить точность некоторых излагаемых им сведений. У него, например, превосходная глава о чистках в Коминтерне. Или возьмите рассказ о том, как Сталин фабриковал фальшивые деньги!

В его книге есть лишь одна неточность, за которую он, кстати, не отвечает. Издатель назвал его генералом Вальтером Кривицким, чтобы произвести большее впечатление на публику. Но генералом он не был, хотя и являлся главой советской разведслужбы в Западной Европе. Его книга была, впрочем, переиздана лет десять тому назад в Париже. Это один из классических источников по подлинной советской истории довоенного периода.

– Кривицкий умер в Америке в 1942 году при неясных обстоятельствах. Что вы знаете о его смерти?

– Суварин рассказал мне, что, когда Кривицкий уезжал в Америку перед войной, кажется, в 1939 г., он предупредил его: «Борис, если со мной что-то случится, не верьте, что я покончил с собой. Я никогда не покончу самоубийством, никогда не оставлю своего сына». Инсценировка самоубийства была излюбленным приемом органов для расправы с одинокими, бессемейными. И действительно, по официальной версии американской полиции Кривицкий покончил с собой в каком-то

отеле... Настоящего расследования произведено не было, полиция ничего о Кривицком не знала, в политику в ту эпоху она не вмешивалась.

– Коминтерн не возродился после войны, хотя и был послушным инструментом сталинской внешней политики. Почему?

– Сталин добровольно задушил Коминтерн. Сталин уважал только силу. Поскольку Коминтерн находился в полной зависимости от Москвы, Сталин его презирал. Это презрение выражалось, в частности, в отсутствии конгрессов. При Ленине конгрессы Коминтерна проходили ежегодно, с 1919 по 1922 г. При Сталине было только два конгресса – в 1928 г. и в 1935 г., а потом – ничего. Сталин, как известно, называл Коминтерн «лавочкой». Во время войны, в мае 1943 г., Сталин распустил Коминтерн, чтобы добиться восторженной реакции западных лидеров. В книгах по истории иногда утверждается, что он уступил давлению со стороны Черчилля и Рузвельта. Это неправда. Никакого давления не было, они даже вопроса такого не поднимали, они узнали о роспуске Коминтерна из газет, как все прочие.

Интересно, что Сталин проявил полное презрение и к членам Коминтерна, которые работали в Москве. Энрико Кастро Дельгадо, член ЦК испанской компартии, был представителем своей компартии в Исполкоме Коминтерна. Каждое утро он приходил на работу в свое московское бюро, работал в качестве референта Коминтерна по делам испанской компартии. Как-то по приходе на работу он открывает «Правду» и сообщает другим коллегам-испанцам: «Вы знаете, а Коминтерн-то распущен!»

– А под каким предлогом был распущен Коминтерн?

– Под предлогом – отчасти, впрочем, верным – «изменения международной обстановки». Действительно, ряд коммунистических партий, участвовавших в освобождении своих стран от нацизма и фашизма, окрепли в этой борьбе и не нуждались больше в директивах из Москвы. Нужно было предоставить им автономию. Но в некоторых случаях эта автономия зашла слишком далеко. Поэтому в 1947 году Сталин вместе с несколькими наиболее сильными компартиями, в том числе французской и итальянской, основал Коминформ. Он

преследовал при этом две цели: восстановить контроль над мировым коммунистическим движением и расправиться с Тито, может быть, даже физически уничтожить его. Первая цель была явной, а вторая – тайной. Всего через год после своего создания, в 1948 г., Коминформ уже осудил Тито, но дальше дело не пошло. Тогда Сталин перестал интересоваться Коминформом, ибо созданный им инструмент оказался негодным. В конце концов Коминформ был распущен Хрущевым в 1956 г. И теперь больше нет органа, который руководит мировым коммунистическим движением. Единственный координирующий и консультативный орган – это выходящий в Праге журнал «Проблемы мира и социализма», в редакцию которого входят постоянные представители почти всех компартий мира.

– Но какова реальная причина того, что сегодня нет центрального руководства коммунистическим движением?

– Главная причина в том, что Москва больше не в состоянии навязывать свою волю компартиям всего мира. Коммунистическое движение стало слишком обширным и многоликим. Москва не только не в состоянии создать руководящий орган, но даже не способна созвать всемирную конференцию компартий. Последний такой форум состоялся в 1969 году, т. е. 18 лет тому назад, а последующие попытки проваливались. Горбачев вновь поднял этот вопрос в своем интервью газете «Унита» и даже предложил дату – 70-летие Октябрьской революции. Посмотрим, что из этого выйдет. Но вообще западные компартии, которые частично освободились от опеки Советского Союза, опасаются международной конференции, ибо у Москвы, благодаря партиям, которые она полностью контролирует, всегда будет большинство. Кроме того, некоторые компартии находятся в оппозиции к советскому режиму, как, например, китайская, и они вряд ли поедут в Москву. Возможно, что Москва предпочтет созвать более широкий форум – всех прогрессивных сил, включая пацифистов, зеленых и т. п.

– Это кажется весьма вероятным, тем более, что компартии Европы теряют свою силу и притягательность...

– Совершенно верно. Общая тенденция сегодня – это упадок или даже распад коммунистического движения в Европе. Сорок лет тому назад коммунисты входили в коалиционные правительства десяти европейских стран: Франции, Италии,

Бельгии, Норвегии, Австрии, Финляндии и т. д. Но с развитием и экономическим подъемом Европы коммунисты начали терять силу. В одних странах упадок компартий происходил быстро, как, например, в Австрии, Германии, Финляндии, в других, как во Франции, – этот процесс занял гораздо больше времени. А недавно снизилось число членов и в итальянской компартии... Таким образом, общая тенденция – это маргинализация коммунистического движения в Европе. Кроме того, коммунисты подрывают собственные корни фракционностью. В Греции – две компартии, в Испании – две компартии, в Финляндии – две компартии, в Швеции – две компартии. Слабое и разобщенное коммунистическое движение не сможет сыграть сколько-нибудь значительной роли в будущей Европе. Поэтому Москва, отдавая себе отчет в слабости коммунистов, и делает ставку на совокупность «прогрессивных сил» Европы. Тем не менее, Москва продолжает активно поддерживать европейские компартии. Подумайте, например, что крошечные западногерманская и австрийская компартии, которые не собирают на выборах и 0,5% голосов, выпускают ежедневные газеты. Кто за это платит? Не на членские же взносы выпускаются эти газеты! Москва поддерживает эти крошечные партии на всякий случай. А вдруг в результате кризиса наступит взрывчатая ситуация и их можно будет использовать! Но в качестве массового движения у коммунистов нет будущего.

– Какие изменения вы предвидите в Европе в связи с внешней политикой Горбачева?

– У Горбачева есть одно огромное преимущество. Он строит свою политику, зная, что все еще останется у власти через 10-15 лет. У него есть стратегическая перспектива, которой не обладают главы демократических государств. Через 3-4 года никого из тех, что сегодня стоит у кормила власти на Западе, не окажется, а Горбачев будет по-прежнему занимать свой пост. Его второе преимущество – исключительный уровень его окружения, его ближайших советников. Я думаю о таких людях, как Добрынин или Яковлев, которые прекрасно знают Запад и западную психологию. А принципы советской западной политики не изменились со времен Сталина – это эксплуатация противоречий и слабостей империалистического лагеря. В переводе на сегодняшнюю реальность это значит оторвать Европу от Америки. Раньше Советский Союз пы-

тался оказать давление на Европу, чтобы она отдалилась от Америки. А когда не вышло, в ход пошел новый вариант. Теперь СССР пытается заключить союз с Америкой, за спиной и за счет европейцев. Поэтому и происходят все эти встречи на высшем уровне между Рейганом и Горбачевым, а также их министрами. По существу, это ленинская стратегия, которая эксплуатирует противоречия, не стремится ни к ядерной, ни к обычной войне, но имеет целью добиться военного и дипломатического превосходства в Европе, чтобы использовать ее технологию и промышленность в своих интересах. Советским нужно, чтобы Западная Европа работала на них. И это случится, если им удастся оторвать Европу от Америки.

– Думаете ли вы, что Горбачев пойдет на объединение двух Германий ради нейтрализации ФРГ и ослабления Европейского сообщества?

– Я этого не думаю. Еще со времен Ленина Германия всегда рассматривалась как ключевая страна в стратегии советских лидеров. Для большевиков Германия – главная страна в Европе, будь она врагом или союзником. И сегодня эта страна поделена. Не забудьте, что у большевиков есть знаменитая формула «слабого звена». В результате Первой мировой войны таким «слабым звеном» оказалась Россия, после Второй мировой войны – Франция, в которой коммунисты входили в правительство и пользовались огромным влиянием. В начале 70-х годов такой страной оказалась Италия, где исторические обстоятельства вызвали стремительный рост компартии. Сегодня «слабое звено» западного мира – это Германия. Эта страна в наибольшей мере поддалась пацифистским и антиамериканским настроениям. И советские используют эти настроения, зная, что, если переменит свою ориентацию Германия, все соотношение сил в Европе изменится. Они могут использовать для разложения Западной Германии пропаганду об объединении двух Германий, но они никогда не пойдут на объединение. Невозможно представить себе, чтобы Советский Союз по доброй воле отказался бы от коммунистического сателлита. Это противоречит теории о необратимости коммунистического процесса в любой данной стране. Поэтому СССР и из Афганистана не уходит! Но как орудие дипломатии и пропаганды, которое работает в советских интересах не только среди левых, но и среди правых в Германии, Совет-

ский Союз будет и дальше эксплуатировать идею воссоединения.

– *Каково ваше мнение о внутренней политике Горбачева?*

– Пока что влияние Горбачева куда более заметно в области политики, чем в экономике. За два года он практически «колонизовал» руководство партией, но он еще даже не начал применять на практике свои экономические реформы. Помоему, горбачевский «шарм» особенно действует на Западе. Он быстрее завоевал сердца западных лидеров, чем сердца своих соотечественников.

– *Конечно, на западное общественное мнение действуют такие эффектные жесты, как, например, возвращение Сахарова в Москву.*

– Да, это было ловким жестом со стороны Горбачева. Раньше во всех его зарубежных поездках ему ставили в упрек Сахарова. А теперь он сам может говорить о несоблюдении прав человека в западных странах! А дело Сахарова как пример нарушения прав человека больше не существует...

– *Вызовет ли политика Горбачева какие-то перемены в соцстранах?*

– Пока об этом рано судить. Он очень быстро изменил состав политбюро ЦК, но перемены в составе руководства восточноевропейских стран еще даже не начались. Поэтому трудно сказать, каковы его планы. Значит ли отсутствие изменений, что Горбачев еще не набрал силу? Или он пока сконцентрирован на внутренних делах? А может быть, он просто выжидает, что время возьмет свое. Ведь большинству глав европейских соцстран за семьдесят. Еще несколько лет – и никого из них не останется «по естественным причинам». И Горбачев сможет способствовать назначению своих сторонников. Помоему, он не будет устраивать драматические перевороты. 1956 год слишком хорошо врезался в память советским руководителям. Тогда десталинизация в России вызвала венгерскую революцию и события в Польше.

– *А каковы отклики на политику Горбачева в Югославии?*

– Любопытно, что югославы в массе своей поддерживают Горбачева. Они считают, что он способен произвести

изменения в системе изнутри и тем самым существенно ее улучшить. Они скептически относились к реформам Хрущева, но в Горбачева они верят. Впрочем, сближение взаимное. В советской прессе тоже больше нет статей, критикующих югославский социализм, в то время как западная, да и сама югославская пресса полны статей о плачевном положении югославской экономики. Вы знаете, например, что в Югославии инфляция достигает 100% в год?

– Да, действительно, даже в «Литературной газете» пишут о безработице в Югославии. Там говорилось, что безработица достигает 14%, а среди молодежи процент гораздо выше, но ни анализа причин, ни критики этой ужасной ситуации не было.

– Это меня не удивляет. Впрочем, заметьте, что в Югославии безработица есть следствие реформ. Как только коммунистический режим пытается провести экономические реформы и рационализировать производство, он с неизбежностью вызывает у себя безработицу. И если реформы Горбачева окажутся успешными, в Советском Союзе тоже будет безработица. Советские экономисты уже это предсказывают, хотя, с точки зрения теоретиков марксизма, безработица при социализме невозможна.

– По существу, инфляция и безработица в Югославии приняли гораздо более острые формы, чем в развитых странах Запада.

– Да, можно сказать, что Югославия сочетает в себе недостатки и капитализма, и социализма. Это социалистическая бюрократия в сочетании с капиталистическим «законом джунглей».

– Но есть ли надежда, что югославская экономика станет на ноги?

– Никакой. Можно было иметь какие-то иллюзии лет 20-25 тому назад, когда Югославия лишь вставала на путь реформ. Теперь пора подводить печальные итоги. И очевидно, что у властей нет ни экономических рычагов, чтобы изменить эту драматическую ситуацию, ни политических средств для подавления недовольства. Югославия – это не федерация, а конфедерация шести республик. Чтобы принять какое-то

решение, касающееся всей страны, все шесть правительств должны быть с ним согласны. И любое из шести правительств-членов может наложить свое вето... Потому-то я и отношусь скептически к реформам Горбачева, что он во многом повторяет схему, уже давно провалившуюся в Югославии.

– *Может быть, вы расскажете в нескольких словах, чем занимается ваш институт.*

– Наш институт занимается проблемами современности. У нас прекрасная библиотека, которой пользуются очень многие специалисты. В частности, у нас довольно уникальная коллекция периодики, как французской, так и зарубежной, в том числе советской. Мы также регулярно устраиваем научные симпозиумы и семинары, например, недавно у нас был симпозиум по правам человека в СССР. Кроме того, мы издаем ежемесячное издание «Восток и Запад», о котором вы, должно быть, слышали.

– *Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом журнале.*

– Журнал начал выходить в 1949* году. В нем сотрудничали такие фигуры эмиграции, как Борис Суварин, Борис Николаевский, Александр Керенский. Это был первый журнал во Франции, посвященный проблемам коммунизма. Наш «звездный час» пробил в 1953 году. Через полгода после смерти Сталина мы опубликовали эссе под заглавием «Патологический случай Иосифа Сталина: Калигула в Москве». Его авторами были Борис Суварин и Николай Валентинов, который написал замечательную книгу о Ленине и меньшевиках. На основании ряда конфиденциальных свидетельских показаний и огромного фактического материала они пришли к выводу, что сталинские чистки 30-х годов, равно как и его послевоенные кампании, невозможно понять, не принимая во внимание элемент личного психического расстройства у Сталина. Он был одержим приступами неконтрольного гнева, манией преследования, патологической подозрительностью, чем и объясняется его расправа со столькими старыми большевиками, которые были полностью ему преданы. Когда мы опубликовали это эссе, никто не обратил на него внимания, а Борис Николаевский даже написал нам, что приписывать чистки патологии Сталина – довольно примитивно. Но в 1956 году, после опубликования секретного отчета Хрущева, ситуация

переменилась, ибо обнаружались разительные совпадения между эссе Суварина и Валентинова и этим отчетом – например, детали о гибели Орджоникидзе. Тогда, наконец, была признана компетентность Суварина, что помогло переизданию его книги о Сталине.

– *И последний вопрос. Вы ведь читаете по-русски. Каких русских авторов вы любите? Что читаете из современной русской литературы?*

– «Континент» я читаю не очень регулярно. Обычно я смотрю на оглавление очередного номера «Континента» в «Русской мысли» и, если меня интересует какая-то статья, например, Джиласа, заказываю этот номер. Иногда читаю и немецкий «Континент». Из книг я читаю в первую очередь Солженицына, ну, конечно, Шаламова, Зиновьева и т. д. А из русской классики перечитываю Достоевского и Толстого.

Вела интервью Галина Келлерман

«Русская мысль»

призывает своих читателей и друзей,
всех, кому дорога русская культура и
бережное сохранение памяти о тех,
кого уже нет с нами,
принять участие в сборе средств
на памятник

Андрею Тарковскому

**Памятник будет воздвигнут
на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа
по проекту Эрнста Неизвестного**

Деньги и чеки высылайте на адрес редакции:
217 rue Faubourg-St. Honoré, 75008 Paris, France
• с обязательной пометкой: Mémoire Tarkovsky

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинемире США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. на срок 6 мес.

Газету прошу направлять по адресу:

Книги издательства «АНТИКВАРИАТ»

Александр Котомкин. О чехословацких
легионерах в Сибири. Воспоминания. Стр. 184.

Константин Вагинов. Труды и дни Свистоно-
ва. Роман. Стр. 152.

Иван Аксенов. Пикассо и окрестности. Стр. 72.

П. Заварзин. Работа тайной полиции. Воспо-
минания. Стр. 175.

П. Крупенский. Тайна императора. Истори-
ческое исследование. Стр. 115.

Владимир Лебедев. Борьба русской демо-
кратии против большевиков. Стр. 62.

Виктор Шкловский. Ход коня. Сборник ста-
тей. Стр. 206.

Эм. и О. Штейн. Чтобы Польша была Польш-
ей. Антология русской поэзии. Стр. 74.

Наталья Резникова. Пушкин и Собаньская.
Историческая повесть. Стр. 60.

Алексей Ремизов. Пляс Иродиады. Сборник
коляд. Стр. не нумерованы.

Редактор и издатель Э. Штейн

Antiquary
594 Chestnut Ridge Road,
Orange, Conn. 06477, USA.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



K

* * *

Наташеньке

Говорила Адамови Ева:

— То неправда, плода я не ела,
не срывала с запретного древа,
только, может быть, слишком смотрела,

только, может быть, слишком глядела,
как стояла, ничем не одета,
эта яблонька, ёлка, омела,
эта милого рая примета.

Никуды, ненаглядный, не деться
от мотыги да Каина в доме,
но Пречистая Дева Младенцу
наливное подаст на ладони.

Наталья Горбаневская

июнь 1987

ЖИЗНЬ, КАК ЕДИНЫЙ ВЫДОХ

Скончался Виктор Платонович Некрасов. Мне нет надобности, как это обычно делается в таких случаях, перечислять биографические данные и заслуги покойного. Его известность в нашей стране настолько велика и уникальна, что не требует каких-либо анкетных комментариев. На его книгах выросли и нравственно утвердились несколько поколений самых взыскательных читателей, как в Советском Союзе, так и за рубежом. К тому же, что, к сожалению, редко встречается в нашей среде, в нем гармонически сочетались и писательские, и человеческие качества: широта суждений, редкая доброжелательность, но в то же время и неизменная принципиальность. Он практически никогда не вступал в какую-либо литературную или общественную полемику, но когда где-нибудь и кем-нибудь попиралась элементарная справедливость, голос его звучал в полную, присущую только ему одному силу. Так было в смутную эпоху хрущевских гонений на творческую интеллигенцию, так было во время государственного кошунства в Бабьем Яру, так было в дни травли Андрея Сахарова и Александра Солженицына. Так было всегда, на протяжении всей его неповторимой жизни.

Нет, он не был, если так можно выразиться, сознательным борцом против советской системы, он просто отстаивал перед ней свое право оставаться писателем и человеком в подлинном понимании их назначения на этой земле, а вот этого власть, само существование которой зиждется на тотальном подчинении себе всего и вся, включая человеческую душу, и не могла ему простить. Испробовав на нем все свои методы, от публичного кнута до приватного пряника, она вытолкнула его на чужбину.

Но одного эта власть все же не учла. Не учла, что можно убить или изгнать писателя из родной страны, но нельзя уничтожить благотворные последствия его творчества. Рукописи, а тем более книги, как известно, не горят, Книги остаются. И по ним, а не по очередным постановлениям пленумов ЦК КПСС будут судить (и судят уже!) современники и потомки об эпохе, их породившей. Все, написанное замечательным русским писателем Виктором Некрасовым, принадлежит именно к таким книгам. И этого у нас уже никто не отнимет.

Вечная память тебе, дорогой Виктор Платонович, и вечная наша благодарность!

Владимир Максимов